

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ИНСТИТУТ ФИЛОСОФИИ РАН

С.А. Никольский

ГОРИЗОНТЫ СМЫСЛОВ

**Философские интерпретации
отечественной литературы XIX – XX вв.**

Голос
Москва
2015

УДК
ББК
Н

Рукопись подготовлена в рамках проекта РГНФ 14-03-00190 «Проблема «культурного кода» современной России. Философско-культурологический анализ» и рекомендована к печати Ученым советом Института философии РАН

В авторской редакции

Н С.А.Никольский. Горизонты смыслов. Философские интерпретации отечественной литературы XIX – XX вв. – М.: Голос, 2015. – 536 с.

Цель настоящей работы – показать, что значительная часть проблематики русского мировоззрения имеет исторические корни в русской литературе, формулировалась с первых этапов становления отечественного философствования и по-прежнему значима сегодня.

Как отвечала отечественная гуманитарная мысль на последние вопросы бытия? Какой была заключенная в ней совокупность мировоззренческих смыслов и ценностей? Как мировоззрение менялось?

Базовые характеристики русского мировидения рассматриваются в книге, составленной из расширенных вариантов статей, опубликованных автором в последние годы в журналах «Вопросы философии», «Космополис», «Философия и культура», «Человек», а также в изданиях, подготовленных в Институте философии Российской академии наук.

© С.А.Никольский, 2015
© ООО «Издательство «Голос», 2015

Оглавление

Предуведомление читателя.	5
-----------------------------------	---

Часть 1

О русском мировоззрении: предмет и методы исследования	11
«Западник» Чаадаев	35
«Ранние славянофилы» Алексей Хомяков, Иван Киреевский и Константин Аксаков	53
А.И. Герцен, дворянский революционер	80

Часть 2

Поэт и Демон. Лермонтовские вопросы Творцу	95
Мировидение земледельца в романной прозе И.С. Тургенева.	113
Дело и недеяние в России: версия И.А.Гончарова	152
Лев Толстой о смыслах русского мировидения	179
Достоевский: «подпольность» и мессианский национализм.	270
Нигилисты и гилисты автора «Левши»	
Мирознание земледельца в изображении А.П. Чехова Чехов о «человеке несчастном»	314
Государство и общество в зеркале отечественной словесности	340

Часть 3

Осип Мандельштам о «времени большевиков»	374
Голос и молчание Анны Ахматовой	407
Смерть в жизни и прозе Андрея Платонова	420
Вместо заключения	533

Предуведомление читателя

Высокая литература в России всегда была философской, равно как и философия нередко являла себя миру в связи с литературой или вовсе в литературной форме. Гайто Газданов, один из писателей русского зарубежья начала прошлого века, по этому поводу замечал: «Что такое творчество Достоевского или Толстого? Это, прежде всего, – очень упрощая, говоря схематически, – протест против того, как устроен мир, в котором мы живем; протест против чудовищной несправедливости государства и общепринятой морали. Это еще и ужас перед смертью, и невозможность принять наш мир, это загадка бытия, о которой писал еще Пушкин:

Кто меня враждебной властью
Из ничтожества воззвал?

Словом, ряд трагических, неразрешимых вопросов, поставленных с необыкновенной силой. И все-таки в этом есть какие-то проблески, какие-то иллюзии, какая-то надежда на то, что это может быть как-то когда-то изменено к лучшему. Если бы этого не было, то не стоило бы протестовать»¹.

Формулирование «последних» вопросов бытия, попытка их понимания, протест против «свинцовых мерзостей жизни» и надежда – разве это не нуждается в философском осмыслении? Что это, если не философия?

¹ *Газданов Гайто. О Чехов // Русское зарубежье о Чехове. Критика. Литературоведение. Воспоминания. М., 2010. С. 167.*

«Когда я начал читать Пушкину первые главы из “Мертвых душ”, – вспоминал Гоголь, – ...Пушкин, который всегда смеялся при моем чтении (он же был охотник до смеха), начал понемногу становиться все сумрачней, сумрачней, а, наконец, сделался совершенно мрачен. Когда же чтение кончилось, он произнес голосом тоски: “Боже, как грустна наша Россия!” Меня это изумило. Пушкин, который так знал Россию, не заметил, что все это карикатура и моя собственная выдумка! Тут-то я видел, что значит дело, взятое из души, и вообще душевная правда»².

Как отвечали классики отечественной гуманитарной мысли на фундаментальные вопросы бытия? Каким им виделась значимая для русских совокупность смыслов и ценностей?

Ответы на эти вопросы я пытаюсь дать, прибегая к интерпретации, понятой как процесс и результат извлечения смыслов, заложенных в тексте и мною осмысленных. Иногда на основе извлеченных смыслов даже удается построить собственную концепцию. При этом вопрос об аутентичности результата тому, что «замышлялось» автором, не всегда лежит в поле моего внимания. Вряд ли вообще возможно говорить о том, что кому-то доподлинно известно, что именно автором замышлялось. Наверное, с точки зрения дисциплинарного литературоведения это можно квалифицировать как недопустимое дилетантство. Однако в случае философствующей литературы, по моему мнению, культурно-просветительская функция знания не должна угнетаться требованиями его строгости уже в силу того, что классика потому и классика, что содержит в себе неиссякаемый источник интерпретаций. Смыслы, заложенные в произведение автором, в процессе их жизни в истории обнаруживают свои новые глубины и грани, претерпевают изменения, в том числе, вступая в соприкосновение с читателем. Таким образом, художественное

² Гоголь Н.В. Собр. соч.: В 9-ти томах. Т. 6. М., 1994. С. 79.

произведение оказывается феноменом коммуникации и чем более глубокие и разносторонние смыслы оно в себе содержит, тем большее разнообразие интерпретаций становится возможным.

Авторское слово, как открыл М.М. Бахтин, есть выражение «ценностной активности, проникающей в содержание и претворяющей его. Так, при чтении или слушании поэтического произведения я не оставляю его вне себя, как высказывание другого, которое нужно просто услышать и значение которого ...нужно просто понять; но я в известной степени делаю его своим собственным высказыванием о другом...»³ В авторской речи, конкретизируют бахтинскую позицию С.С. Неретина и А.П. Огурцов, «любое высказывание (единица речи), по сути, направлено на провокацию ответа или вопроса со стороны лица, внимающего этому высказыванию. Оно является границей другого высказывания». Для возникновения такого рода речи «необходимо погрузиться одновременно в текст и в глубину самого себя, в самосознание, то есть мыслить не о культуре, а мыслить и жить культурой»⁴.

Процесс этот интерпретация. И под этим углом зрения в книге рассматриваются некоторые из базовых характеристик российского взгляда человека на мир и на самого себя.

Материалом для исследования избрана проза и поэзия М. Лермонтова, И. Тургенева, А. Гончарова, Льва Толстого, Ф. Достоевского, М. Салтыкова-Щедрина, Н. Лескова, А. Сухово-Кобылина, А. Чехова, О. Мандельштама, А. Ахматовой, Андрея Платонова.

Первая часть включает статьи о западниках и славянофилах, вторая посвящена литературе XIX в., третья – знаковым фигурам XX в.

³ Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. М. 1975. С. 58 – 59.

⁴ Неретина С.С., Огурцов А.П. Время культуры. СПб. 2000. С. 253.

В работу вошли тексты, отчасти опубликованные в академических журналах и научных изданиях. Надеюсь, они будут востребованы в современных дискуссиях о традициях и новациях, патриотизме и космополитизме, об отечественном и европейском, о будущем страны.

* * *

Уасно 1

О Русском мировоззрении: предмет и методы исследования

Мо, что русское мировоззрение, как одно из духовных проявлений всех народов, населяющих Россию – а не только этнических русских, – существует и отличается от любого иностранного – очевидный факт, признаваемый на научном уровне и на уровне здравого смысла. Так, говоря о национальных особенностях, неотъемлемой частью которых является мировоззрение, Д.С. Лихачев писал: «Национальные особенности – достоверный факт... Отрицать наличие национального характера, национальной индивидуальности – значит делать мир народов очень скучным и серым»⁵. Отличительное, индивидуальное является тем, что позволяет людям лучше понимать самих себя, точнее выстраивать траектории собственного развития, улучшать отношения с соседями и с другими странами. «Именно индивидуальные особенности народов связывают их друг с другом, заставляют нас любить народ, к которому мы даже не принадлежим, но с которым столкнула нас судьба»⁶.

Разработка в отечественной философии проблематики русского мировоззрения, начатая в систематическом виде с конца тридцатых годов XIX столетия «Философическими письмами» П.Я. Чаадаева, успешно продолжалась вплоть до октября 1917 г. Однако в дальнейшем процесс этот был прерван, заменен «марксистско-ленинским учением» о коммунистическом мировоззрении. В этой связи одна из целей работы состоит в

⁵ Лихачев Д.С. Заметки о русском. М., 1984. С. 64.

⁶ Там же. С. 65.

том, чтобы прояснить те исторические корни, которые были найдены в русском национальном сознании отечественной философской мыслью и русской классической литературой, выявить их связь с национальной историей и культурой, показать актуальность для современного российского самосознания.

* * *

Под национальным мировоззрением, я понимаю систему идей, смыслов, взглядов, представлений, убеждений, верований, норм, ценностей и привычек, сложившихся в истории и культуре народа, воспринимаемых и воспроизводимых субъектом и проявляющихся в его поведении и действиях в обыденно-типичных или экзистенциально-экстремальных ситуациях. Главная особенность национального мировоззрения состоит в том, что эта осознанная, отрефлексированная и определенным образом упорядоченная система в своем «устойчивом ядре» присуща большим группам людей. То есть в сознании больших человеческих общностей есть некие базовые элементы, которые присущи многим людям, причисляющим себя к определенной культуре.

Среди этих базовых элементов не последнее место занимают языковые проявления сознания. Это фиксируемые языковедами так называемые «типично национальные» понятия, например, такие сугубо русские, как: *душа, судьба, тоска, счастье*, а также такие глаголы, относящиеся к нашему традиционному пониманию практической деятельности, как: *собираться, постараться, сложилось, довелось, получилось, появилось*. Эти понятия, по мнению филологов, являются специфически русскими, характерными именно для нашей лексики и национальной языковой картины мира, отсутствуют в других языковых картинах мира⁷.

⁷ См., напр.: *Зализняк Анна А., Левонтина И.Б., Шмелев А.Д.* Ключевые идеи русской языковой картины мира. М., 2005. С. 452 – 460.



Сравним, например, приведенные выше русские глаголы с английским глаголом “to do” – “делать”. Употребляющий английский глагол субъект сразу же фиксирует, по крайней мере, три момента заявляемого им намерения практической деятельности. Он четко определяет себя в качестве субъекта действия; сообщает о намерении приложить усилия, а именно сделать что-то конкретное; не допускает возможности ожидания каких-то благоприятствующих обстоятельств или исчезновения неблагоприятствующих и своей определенностью возлагает на себя ответственность за конечный результат. Конечно, глагол «делать» есть и в русском языке. Однако кроме него в нем есть и «собираться», «постараться», «сложилось» и прочие глаголы, которыми мы пользуемся не менее часто.

Национальное мировоззрение исторично, складывается постепенно. В истории ему предшествуют некоторые «протоформы» – «мироощущения» и «мировосприятия», впоследствии сливающиеся в «миросознание», что не означает исчезновения «мироощущения» и «мировосприятия». Эти неотрефлексированные, а подчас и вовсе неосознаваемые первичные мировоззренческие образования на определенной стадии исторического развития оказываются присущими либо народу в целом, либо его большим социальным группам.

Употребляемый в связи с мировоззрением термин «русское» трактуется, конечно, не в этническом, а в предельно широком – культурном смысле. С этих позиций оказывается, что даже если индивид не принадлежит к русскому этносу, но принимает как родную русскую культуру и русский язык, а также, будучи верующим, признает в качестве религиозной основы своего мировоззрения православие, то его мировоззрению можно назвать русским. Так, в XX в. «русскими поэтами» ощущали и называли себя, например, великие мастера слова евреи Осип Мандельштам и Иосиф Бродский.

Вместе с тем термин «русское» имеет разное, связанное с историей содержание. Находимый в русской философской и литературной классике текстовый материал до начала XX в. практически не содержит ничего (за исключением, пожалуй, образов украинцев – благодаря текстам Гоголя и Сковороды), что можно было бы отнести к мировоззрению иных народов, кроме русского.

На необходимость исследования проблематики национального мировоззрения еще на рубеже XX в. говорил философ С.Л. Франк: «Национальное мировоззрение, понимаемое как некое единство, ни в коем случае, конечно, не является национальным учением или национальной системой – таковых вообще не существует; речь идет, собственно, о *национальной самобытности мышления* самого по себе, о своеобразных духовных тенденциях и ведущих направлениях, в конечном счете о сути самого национального духа... Объект нашего исследования – не таинственная и гипотетическая “русская душа”, как таковая, а ее, если можно так выразиться, объективные проявления и результаты, точнее, преимущественно *идеи и философемы, объективно и осязаемо для всех содержащиеся в воззрениях и учениях русских мыслителей*... Поскольку облечь в понятия внутреннее содержание национального духа и выразить его в едином мировоззрении крайне трудно, а исчерпать его каким-либо понятийным описанием и вовсе невозможно, мы должны все-таки исходить из предпосылки, что *национальный дух как реальная конкретная духовная сущность вообще существует, и что мы путем исследования его проявлений в творчестве сможем все-таки прийти к пониманию и сочувственному постижению его внутренних тенденций и своеобразия* (Выделено мной. – С.Н.)»⁸.

⁸ Франк С.Л. Русское мировоззрение. СПб., 1996. С. 163.



О близком к пониманию Франка методе познания национального мировоззрения, переданного художником в литературных текстах, говорил и один из крупнейших русских философских и религиозных мыслителей о. С.Н.Булгаков. В своих работах, посвященных исследованию философского содержания творчества А.П. Чехова, в качестве метода анализа мировоззрения его героев он предлагал *«суммирование мыслей и впечатлений, этими произведениями вызываемыми (выделено мной. – С.Н.)»*⁹.

Конечно, при анализе того, какие впечатления у нас возникают, огромную роль играют художественные средства, то, как писатель доносит до нас конкретное переживание и идею. Однако для понимания духовного мира художника и изображаемых им персонажей нам, подчеркивает Булгаков, важно оставаться наше внимание не столько на художественной стороне, сколько на том, *«что составляет святая святых в каждом человеке, будь он великий мастер или заурядный чернорабочий, на его мирозерцании (Выделено мной. – С.Н.)»*¹⁰.

Возвратимся, однако, к анализу мыслей Франка. В приведенном тезисе о понимании и сочувственном постижении национального духа, прежде всего, стоит обратить внимание на две принципиально важные мысли. Во-первых, национальный дух постигаем через исследование творчества (в первую очередь Франк имеет в виду творчество писателей и философов). Во-вторых, «пониманию и сочувственному постижению» отводится главное место в методологии исследования проблемы. При этом, если предметом «понимания» могут быть идеи и философы, то с предметом «сочувственного постижения» дело обстоит сложнее.

В системе русского мировоззрения сочувственному постижению исследователя могут быть доступны только такие его

⁹ См. статью С.Н. Булгакова в кн.: Путешествие к Чехову. М., 1996. С. 592.

¹⁰ Там же.

элементы, которые действительно вызывают в нас, исследователях, согласное, согласованное с нашими переживаниями, со-чувство. Если же они такового чувства не вызывают или, напротив, порождают противное чувство, неприятие, например, то исследователям не остается ничего иного, кроме как постараться понять и сколь возможно рационально объяснить наблюдаемое. И делать это нужно так, чтобы принимались в расчет реалии не сегодняшнего дня, а, насколько возможно, того исторического времени, к которому они относятся.

Предлагаемому Франком методу понимания и сочувственного постижения присущ, на мой взгляд, «трехшаговый» характер. Во-первых, в воззрениях и учениях русских философов и писателей исследователю предлагается обнаружить объективно и ощутимо содержащиеся в них «идеи и философемы». Во-вторых, их своеобразие следует постигнуть посредством «интуитивного углубления и вчувствования». И наконец, в-третьих, на этой основе, должно состояться «сочувственное постижение» внутренних тенденций и своеобразия «национального духа». Также отмечу, что во всех «трех шагах» большую роль играет не столько рационально-логическое, сколько интуитивно-чувственное познание. И значение рационально-логического начала, по крайней мере, на заключительных этапах исследования, после совершения «трех шагов», включая классификацию, систематизацию и собственно построение мировоззренческой системы, преуменьшать нельзя.

Для осмысления проблемы во всей ее объемности одних установок понимания и сочувственного постижения, безусловно, не достаточно. Требуется дополнительное прояснение. В онтологическом смысле национальное (в том числе и русское) мировоззрение, не возникает у народа вместе с его появлением в истории. Оно результат его исторического пути и культурного творчества. Только на определенном этапе, – когда уже достигнута некоторая критическая масса исто-



рических дел, событий, а также их осознания и культурного оформления пережитого опыта, когда все это проходит стадию критической рефлексии, приходит пора философии – начинает выстраиваться система фундаментальных принципов, жизненных смыслов, ценностей и правил. Только тогда, по мере осознания и публичного признания, элементам этой системы посредством усилий философов и писателей придается общенародный и общенациональный статус, по которому данная конкретная большая совокупность людей начинает отличать себя от других.

Впрочем, во всякий момент исторического развития не только реальное событие формирует народное мировоззрение и народный дух, но и наоборот, событие является продуктом и результатом материализации отрефлексированного народного мировоззрения и народного духа.

В гносеологическом отношении национальное мировоззрение также имеет ряд особенностей. Прежде всего, его содержание формулируется не самим народом, а теми его творческими субъектами, которые осознают и способны реализовать это право. Этот труд по своей «цеховой» принадлежности берут на себя философы и писатели. При этом отличить их собственные представления от народных за редким исключением не представляется возможным. Поэтому исследователю остается только полагаться на проницательность и честность «толкователей», на их желание не столько донести до общественного сознания собственные любимые смыслы и ценности, сколько передать те, которые они «застали» и выявили у непосредственно наблюдаемого ими народа.

Поясняя эту мысль, приведу два отработанных в русской классической литературе принципиально отличных метода «производства» национального мировоззрения. Первый принадлежит Ф.М. Достоевскому, но отчасти представлен также и в произведениях Л.Н. Толстого. Суть его – в создании ху-

дожественных образов, иллюстрирующих любимые идеи писателей, будь то «всечеловечность» русского народа, особая миссия России в христианстве и вообще в мире, или представления об идеальных помещиках, растворяющихся вместе с крестьянами в разлитой по миру любви.

Суть второго метода, напротив, состоит в максимально объективном (критичном) отношении к реальности и в максимально точном ее воспроизведении при минимуме авторского домысливания. Как это сделать – вечный вопрос философа к самому себе.

Реальность эта, в отличие от прекраснодоушных мечтаний, полна не только неприятных, но и отвратительных сторон, в числе которых и взаимное непонимание, и взаимная ненависть помещиков и крестьян, и тупая лень массы пореформенного российского дворянства, и «прелести» первоначального капитализма. Этой реальностью полны произведения И.С. Тургенева, М.Е. Салтыкова-Щедрина, Н.С. Лескова, А.П. Чехова и многих других русских писателей.

Этим двум литературным методам в известной мере соответствуют и ориентации писателей: на славянофильскую философскую традицию у Достоевского и отчасти Л. Толстого, и на западническую – у Тургенева, Лескова и Чехова.

В гносеологическом отношении перед творческим субъектом также стоит задача определения того, какие из мировоззренческих элементов следует считать индивидуальными, какие – характерными для небольших групп людей, какие отнести в разряд мировоззрения больших групп, а какие полагать относящимися к мировоззрению народа.

Первым критерием верного ответа на этот вопрос, на мой взгляд, является частота отнесения той или иной характерной мировоззренческой черты именно к разряду черты общенациональной, а не «локальной» или «профессиональной», а также то, насколько сами исследователи склонны считать эту черту таковой. Так, например, А.С. Пушкин, В.Ф. Сол-



логуб, Л.Н. Толстой и другие отечественные писатели неоднократно говорили об одной и той же ценностной установке или даже о мировоззренческом убеждении русского дворянства – его праве «жить не по средствам»¹¹.

¹¹ Вспомним в «Евгении Онегине» у Пушкина: «Служив отлично-благородно/Долгами жил его отец. /Давал три бала ежегодно/ И промотался наконец». *Пушкин А.С.* Собр. соч.: В 10-ти т. Т. IV.М., 1981. С. 7.

В беседах главных героев повести В.Ф. Соллогуба «Тарантас» Ивана Васильевича и Василия Ивановича неоднократно повторяются слова о болезни русского дворянства – так называемой «жизни сверх состояния»: «Кажется, что наши дворяне ищут нищеты. У нас дворянская роскошь придумала множество таких требований, которые сделались необходимыми, как хлеб и вода; например, толпу слуг, лакеев в ливреях, толстого дворецкого, буфетчиков и прочей сволочи от двадцати до сорока человек, большие квартиры с гостинными, столовыми, кабинетами, экипажами в четыре лошади, ложи, наряды, кареты, – словом, можно сказать, что в Петербурге роскошь составляет первую жизненную потребность. Там сперва думают о ненужном, а уж потом о необходимом. Зато и каждый день дворянские именные продаются с молотка». *Соллогуб В.Ф.* Три повести. М., 1978. С. 162.

Из «Анны Карениной» Л.Н.Толстого приведу диалог Степана Аркадьевича Облонского и Бартнянского о деньгах. « – Деньги нужны, жить нечем.

– Живешь же?

– Живу, но долги.

– Что ты? Много? – с соболезнованием сказал Бартнянский.

– Очень много, тысяч двадцать.

Бартнянский весело расхохотался. О, счастливый человек! – сказал он. – У меня полтора миллиона и ничего нет, и, как видишь, жить еще можно!». *Толстой Л.Н.* Собр. соч.: В 22-х томах. Т. 9. М., 1982. С. 321 – 322. Об этой же дворянской «болезни» вспоминает и *А.И.Герцен* в «Былом и думах»: «Отец мой провел лет двенадцать за границей, брат его – еще дольше; они хотели устроить какую-то жизнь на иностранный манер без больших трат и с сохранением всех русских удобств. Жизнь не устраивалась, оттого ли, что они не умели сладить, оттого ли, что помещичья натура брала верх над иностранными привычками?». *Герцен А.И.* «Былое и думы». М., «БВЛ», 1969. Т. 73. С. 34.

Из этих писательских наблюдений вовсе не следует, что такая черта была присуща исключительно русскому дворянству. Похожее можно найти в убеждениях и привычках представителей привилегированных классов других стран.

Кроме того, как показывает даже начальная стадия исследования русского мировоззрения, русскому и нерусскому крестьянству присущи характеристики, ярко проявляющиеся у одних и начисто отсутствующие у других земледельцев, живущих в одно и то же историческое время, но в разные периоды собственной истории¹².

¹² В этой связи обратимся, например, к одной из страниц «Человеческой комедии» Оноре де Бальзака – роману «Крестьяне». Действие в нем происходит в одной из деревень Франции в начале XIX в. Конфликт события заключается в том, что лесник пытается арестовать крестьянку, совершившую незаконную порубку молодого дерева. «...Тут распахнулась дверь и, преодолев усилием воли, никогда не покидающей контрабандиста, последнее препятствие – крутую лестницу, – в кабачок влетела и растянулась во весь рост бабка Тонсар. ...Вслед за старухой в дверях показался лесник... После минутного колебания лесник сказал...

– У меня есть свидетели. ... В вязанке у нее десятилетний дубок, распиленный на кругляки...

– Свидетели чего?.. Что ты говоришь? – проговорил Тонсар (сын старухи. – С.Н.), став перед лесником. – Убирайся-ка отсюда подобру-поздорову... Можешь составлять протоколы и хватать людей на дороге, там твое право, разбойник, а отсюда уходи. Мой дом, надо думать, принадлежит мне.

– Я поймал ее на месте преступления. Идем со мной, старая.

– Арестовать мою мать у меня в доме, – да какое ты имеешь на это право? Мое жилище неприкосновенно! Уж это-то мне хорошо известно. Есть у тебя приказ об аресте за подписью следователя, господина Гербе? Сюда без судебного постановления ты не войдешь!». *Оноре де Бальзак. Собр. соч.: В 24-х томах. М., 1998. Т. 18. С. 65.*

При этом Бальзак, приводя пример довольно высокого уровня правового сознания крестьян, вовсе не идеализирует их. Более того – жестко судит: «...Следует раз навсегда разъяснить людям, привыкшим к крепким устоям буржуазных семейств, что в >



Вторым критерием для отнесения той или иной мировоззренческой черты к разряду национального мировоззрения, на мой взгляд, следует считать то, что писателями или философами в их произведениях рассматриваются явления, раскрываются исторические условия, обстоятельства или события, на которые они указывают как на причины появления тех или иных мировоззренческих черт. В этой связи, к примеру, можно сослаться на анализ П.Я. Чаадаевым такого явления, как установление в России крепостного права, породившего многие важные содержательные компоненты русского национального мировоззрения.

* * *

Попытка соединить в заявленной теме философский и литературоведческий анализ требует пояснений. Соединение это объясняется, во-первых, тем исторически сложившимся фактом, что именно философия и литература как направления духовной деятельности, прежде всего, дают наиболее глубокое и всестороннее представление о русском социуме. Особенности и противоречия русского бытия, отмечал Н.А. Бердяев, всегда находили себе отражение в русской литературе и русской философской мысли¹³.

> крестьянском быту не очень-то щепетильны по части морали. Родители обольщенной дочери только в том случае взывают к нравственности, если обольститель богат и труслив. На сыновей, пока государство не отнимет их у семьи, в деревне смотрят, как на средство наживы. Корысть завладела всеми помыслами крестьян, после 1879 года в особенности; им не важно, законен ли тот или иной поступок, не безнравственен ли, а только выгоден ли он для них, или нет. ...Вполне честный и нравственный крестьянин – редкость». Там же. С. 51. Можно ли, говоря о правовом сознании, представить нечто подобное в системе отношений власти и русских крестьян не то что в начале XIX в., но и столетие спустя?

¹³ Бердяев Н.А. Русская идея. Судьба России. М., 2000. С. 228.

Объяснение феномена предметной близости философии и литературы состоит, прежде всего, в том, что в России, в отличие от Европы, длительное время отсутствовало гражданское общество. Безраздельное господство самодержавного монарха, созданная им огромная и неповоротливая бюрократическая машина, давившая все с ней не согласующееся, непонятное и мало-мальски свободное, привели к тому, что какая-либо степень свободы в России была возможна исключительно в сфере духовного, прежде всего литературного, творчества. Отсюда – особая роль литературы в России.

Мысли об адекватном восприятии поэтическим гением духовного начала, содержащегося в народе, о выражении в творчестве поэта «народной души» находим в размышлениях Франка о творчестве Пушкина¹⁴. Кроме того, Франк считал нужным специально указать на связь литературного и философского анализа действительности, даже на литературную форму русского философствования как на особенность именно отечественной философской традиции: «В России наиболее глубокие и значительные мысли и идеи были высказаны не в систематических научных работах, а в литературной форме. Мы видим здесь художественную литературу, пронизанную глубоким философским восприятием жизни: кроме всем известных имен Достоевского и Толстого, я напому о Пушкине, Лермонтове, Тютчеве, Гоголе. Собственной формой русского философского творчества выступает свободно написанная статья, которая крайне редко посвящена определенной философской теме и обыкновенно пишется «по поводу», связанному с какой-либо проблемой исторической, политической и литературной жизни, и в то же время затрагивает глубокие и важные мировоззренческие вопросы»¹⁵.

¹⁴ Франк С.Л. Указ. соч. С. 214, 213.

¹⁵ Там же. С. 151.



При изучении проблематики отечественного мировоззрения важно иметь в виду, что первоначально в творчестве философов и литераторов XIX – начала XX вв. исследователь сталкивается с обращением не к мировоззрению конкретных социальных слоев, а к миросознанию русского человека вообще. При этом почти всегда, за исключением редких случаев, речь идет о мировоззрении земледельца – крестьянина или помещика. Когда же исследователи-философы хотели подчеркнуть иную социальную принадлежность слоев, которых сами выводили за рамки понятия «русский народ», то они прямо говорили о них как, например, о русской интеллигенции, духовенстве, купечестве или офицерстве.

Фигуры крестьянина и помещика всегда были одними из важнейших для русской литературы. При этом, в отличие от философии, занятой реконструкцией национального мировоззрения в его целостности, литература, начиная с «Записок охотника» И.С.Тургенева, т. е. примерно с середины XIX столетия, работает с персонажами в их индивидуально-типической конкретности. Если до Тургенева образы помещиков в их индивидуально-художественном выражении уже присутствовали, например, у Гоголя, то личности из среды крестьянства начинаются с Хоря и Калиныча. Их голосами русский крестьянин заговорил впервые. Именно конкретность дает возможность не только глубже воспринять проявляемые через литературные персонажи национальные черты, но и проверить на правильность то, что предлагается литератором в качестве обобщения.

Если продолжить мысль об индивидуализации далее, перенеся ее на характеристики, даваемые философами, то и по отношению к ним она кажется справедливой. Конкретные персонажи и демонстрируемые ими качества, типы мировоззрения, равно как и примеры нравственного или безнравственного поведения суммарно могут выступить в качестве

критерия для оценки справедливости характеристик, даваемых философами.

Литераторы, конечно, не могут представить читателю мировоззрение земледельца – крестьянина или помещика (если говорить о досоветской эпохе) в их имманентном виде. Художественный текст – не исторический документ. Максимально документально сознание крестьян отражено, например, в их письмах, в фольклоре, в документальных обращениях к властям. В литературном произведении мы чаще всего имеем дело с авторским вымыслом, представлениями самого художника о мировоззрении создаваемых им персонажей. Однако представления эти, с одной стороны, тяготеют к форме обобщенно-типической, возникают на основе художественного познания конкретной действительности и потому оказываются не менее ценны и значимы, чем философское познание и обобщение. С другой стороны, созданные художником образы – суть продолжение, воплощение, материализация осознаваемых автором пороков, представленных, естественно, не в непосредственном, а в превращенном виде, которые он считает не сугубо личными, но в определенной степени присущими народу в целом.

В этой связи характерны, например, откровения Н.В. Гоголя в «Выбранных местах из переписки с друзьями» по поводу первого тома «Мертвых душ». Отвечая на вопрос, почему эта поэма наделала столько шума, он пишет: «“Мертвые души” не потому так испугали Россию и произвели такой шум внутри ее, чтобы они раскрыли какие-нибудь ее раны или внутренние болезни, и не потому также, чтобы представили потрясающие картины торжествующего зла и страждущей невинности. Ничуть не бывало. Герои мои вовсе не злодеи; прибавь я только одну добрую черту любому из них, читатель помирился бы с ними всеми. Но пошлость всего вместе испугала читателей. Испугало их то, что один за другим сле-



дуют у меня герои один пошлее другого, что нет ни одного утешительного явления, что негде даже и приотдохнуть или перевести дух бедному читателю и что по прочтенье всей книги кажется, как бы точно вышел из какого-нибудь погреба на Божий свет. Мне бы скорей простили, если бы я выставил картинных извергов; но пошлости не простили мне. *Русского человека испугала его ничтожность более, чем все его пороки и недостатки...* Вот в чем мое главное достоинство; но достоинство это, говорю вновь, не развилось бы во мне в такой силе, если бы с ним не соединилось мое собственное душевное обстоятельство и моя собственная душевная история. Никто из читателей моих не знал того, что, *смеясь над моими героями, он смеялся надо мной.*

...Во мне заключалось собрание всех возможных гадостей, каждой понемногу, и притом в таком множестве, в каком я еще не встречал доселе ни в одном человеке... Я стал наделять своих героев сверх их собственных гадостей моей собственной дрянью (Выделено мной. – С.Н.)»¹⁶.

Конечно, созданное писателем не есть исключительно слепок с его души, а в преломленном виде является, прежде всего, слепком с действительности. И обе эти составляющие необходимы для философско-художественного обобщения. Так, в разговоре с адресатом письма Гоголь, далее, сетует: «Вот если бы ты... да собрал бы... дельные замечания на мою книгу, как свои, так и других умных людей, занятых, подобно тебе, жизнью опытною и дельною, да присоединил бы к этому множество событий и анекдотов, какие ни случались в околотке вашем, и во всей губернии, в подтвержденье или в опроверженье всякого дела в моей книге, которых можно бы десятками прибрать на всякую страницу, – тогда бы ты сделал доброе дело, и я бы сказал бы тебе мое крепкое спасибо»¹⁷.

¹⁶ Гоголь Н.В. Указ. соч. Т. 6. С. 77–78.

¹⁷ Там же. С. 80.

С другой стороны, наличие в душе автора того, что требуется для философско-художественного изображения, столь необходимо, что без него, по свидетельству Гоголя, нельзя и пытаться что-либо выдумать. «Тебе объяснится также и то, почему не выставлял я до сих пор читателю явлений утешительных и не избирал в мои герои добродетельных людей. Их в голове не выдумаешь. Пока не станешь сам хотя скольконибудь на них походить, пока не добудешь медным лбом и не завоюешь силою в душу несколько добрых качеств – мертвечина будет все, что не напишет перо твое, и, как земля от Неба, будет далеко от правды. Выдумывать кошмаров – я также не выдумал, кошмары эти давили мою собственную душу: что было в душе, то из нее и вышло»¹⁸.

В проблематике русского мировоззрения, если говорить о нем в связи с литературой XIX в., основное внимание следует уделить земледельцам, т.е. тем субъектам хозяйствования, чья жизнь и деятельность прямо или косвенно связаны с занятиями сельскохозяйственным трудом, в первую очередь – с возделыванием земли. В XVIII и XIX вв. это были помещики и разного статуса крестьяне¹⁹ – помещицы, государевы, свободные. С конца XIX в. к ним добавились, а частично и вытеснили их, капиталистические предприниматели – сельские буржуа – «кулаки», а также наемные работники – «батраки». В период советской власти к категории земледельцев относили колхозников, рабочих совхозов и немногочисленных крестьян-единоличников, а в конце

¹⁸ Там же. С. 81.

¹⁹ Крестьянство определяется как одна из исторически первых появившихся на земле социальных групп, занятая натуральным или натурально-товарным сельскохозяйственным производством на базе семейного хозяйства (двора), существующая в специфическом природном и культурном контекстах, а также отличающаяся особым типом ментальности и подчиненным положением по отношению к власти и иным социальным группам.



XX столетия к ним присоединились и постепенно стали занимать их место фермеры, управляющие и члены корпоративных сельскохозяйственных производственных структур. Все эти группы, их эволюция и взаимные превращения в дальнейшем также должны составить предмет мировоззренческого анализа.

Важнейшим исследовательским методом моей работы, наряду с анализом, является сравнение, в том числе сравнение между собой содержаний мировоззрения, выделяемых у своих литературных героев разными авторами. В связи с этим необходимо очертить те основные тематические сферы, в которых следует проводить исследование в части содержательной реконструкции феномена мировоззрения русского земледельца. При сравнительном анализе главное внимание нужно обращать на наиболее значимые сферы, в которых проявляется мировоззрение. Таковыми представляются: отношения земледельцев с природой и прирожденные страсти, которыми обуреваемы сами земледельцы; отношения крестьян и помещиков между собой; отношения с городом и властью, религией и культурой. Также следует рассматривать представления русских земледельцев о собственности, праве и нравственности.

Конечно, из этого не следует, что в исследовании нужно отказаться от содержательного анализа мировоззрения земледельца в других сферах и отношениях. Однако основу систематизации мировоззрения именно земледельца следует искать, прежде всего, в перечисленных тематических сферах.

Важным является вопрос об отборе писательских персоналий. В этой связи мне представляется точным замечание известного литературоведа второй половины XIX столетия Е.А. Соловьева о его современниках – русских писателях 30–40-х гг. В это время, замечает он, в российском обществе сложилось убеждение, что «мы не только вели-

кий народ, но что мы – великое, вполне овладевшее собою незыблемо твердое государство... Явилась целая фаланга людей, бесспорно даровитых, но на даровитости которых лежал общий отпечаток внешности, сопутствующей той великой, но чисто внешней силе, которой они служили отголоском... Произведения этой школы, проникнутые самоуверенностью, доходившей до самохвальства, посвященные возвеличению России во что бы то ни стало, в самой сущности не имели ничего русского, это были какие-то пространные декорации, хлопотливо и небрежно воздвигнутые патриотами, не знавшими своей родины». В то же время, продолжает Соловьев, в России были и другие литературные силы: во главе литературы стояли «Пушкин, Гоголь, Лермонтов, Кольцов, Жуковский, Вяземский; как критик в 1834 году начал свою деятельность Белинский; среди молодого поколения уже появились только еще вступающие на литературное поприще Тургенев, Некрасов, Достоевский, Григорович, Гончаров, Островский. Разумеется, с такими гигантами не под силу было справиться «барабанной» поэзии...»²⁰.

* * *

Теперь, когда обозначено то, что будет считаться предметом и методами исследования русского мировоззрения, попробую показать, как собственно происходит анализ художественных текстов. В качестве примера обращусь к рассмотрению отдельных элементов этого феномена.

Одной из фундаментальных черт русского мировоззрения XIX в., на мой взгляд, является его *расколотость* на два типа – патриархально-национальный и европеизированный. Об этом, в частности, в связи с крупным общественным событием – восстанием на Сенатской площади декабристов

²⁰ Соловьев Е.А. И.С. Тургенев: его жизнь и литературная деятельность. М., 2005. С. 34 – 35.



говорит А.И. Герцен: «Народ остался безучастным зрителем 14 декабря. Каждый сознательный человек видел страшные последствия полного разрыва между Россией национальной и Россией европеизированной. Всякая живая связь между обоими лагерями была оборвана...»²¹

Впрочем, такая постановка вопроса предполагает другую: а существовало ли единство народа и высших слоев, народа и власти до декабрьского выступления? Свидетельство, которое может прояснить вопрос, на мой взгляд, находим, в том числе и у Пушкина, в его романе «Капитанская дочка» и драме «Борис Годунов». Говоря общо, это единство было, но это было единство неразвитого целого. В обоих произведениях содержится целый ряд концептуальных признаков, позволяющих утверждать, что до начала XIX в. русская нация существовала только как предпосылка будущего гражданского национального целого, как неразвившееся, не осмысливающее самое себя в полной мере неевропеизированное преднациональное образование. Так, в «Капитанской дочке» изображенные Пушкиным герои – дворяне и простолюдины – по своему мирознанию очень близки, живут общими традициями и предрассудками.

В драме «Борис Годунов», вопреки советской трактовке народа как молчаливо осуждающего зверства власти, на самом деле все обстоит по-другому. Вспомним, например, как ведет себя народная толпа у дворца, когда решается вопрос о жизни и смерти жены и сына Бориса Годунова. Народ вначале сам бросается их казнить. Но затем вместо него это делают бояре. Народ безмолвствует. Что за этим?

В драме есть характеристика, данная народу боярами, в том числе боярином Пушкиным, за которым, по мнению некоторых литературоведов, скрывается авторское Я поэта:

²¹ Герцен А.И. Собр. соч.: В 30-ти томах. Т. 7. М., 1956. С. 214.

«Ш у й с к и й

... бессмысленная чернь
Изменчива, мятежна, суеверна,
Легко пустой надежде предана,
Мгновенному внушению послушна,
Для истины глуха и равнодушна,
А баснями питается она²².

П у ш к и н

... Попробуй самозванец
Им посулить старинный Юрьев день,
Так и пойдет потеха²³.

Ц а р ь

Нет, милости не чувствует народ:
Твори добро – не скажет он спасибо;
Грабь и казни – тебе не будет хуже»²⁴.

В драме народ и власть – одно целое. Не возьми бояре на себя убийство жены и сына Бориса Годунова, женщина и ребенок были бы растерзаны толпой. Пушкин не идеализирует ни народ, ни власть, говорит о присущей им общей ненависти.

В финале романа «Дубровский» есть сцена, когда толпа крестьян штурмует амбар, в котором спрятались их господа. Толпа не на шутку разъярена и вполне готова растерзать помещика и его семью. И потому нападающих – народ, крестьян – Пушкин называет злодеями. В этой ситуации они и есть злодеи.

Если посмотреть на приведенные примеры с герценовской позиции о расколе между «Россией национальной» и «Россией европеизированной», то они не могут быть истолкова-

²² Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: В 10-ти томах. Т. 7. М., 1995. С. 46.

²³ Там же. С. 41.

²⁴ Там же. С. 87.



ны в том смысле, что для русских якобы вообще характерны низменные и отрицательные качества, в то время как Европа будто исключительно являла примеры противоположного рода. Такое допущение ложно.

Другой важной чертой русского национального мировоззрения этого периода следует назвать его *природную ориентированность*. В особенности отчетливо она проявилась в сознании земледельческого населения страны. Земледелец не только не может жить без полного согласия с природой, но и не мыслит себя вне этого всеобъемлющего природного взаимодействия. Герои-земледельцы в произведениях Тургенева, Григоровича, Гончарова, Л.Н. Толстого, Салтыкова-Щедрина, Чехова во многих отношениях являют собой как бы человеческое инобытие природы. Это позволяет им гармонично встраиваться в глобальное природное целое, не конфликтовать с ним, жить и развиваться в согласии, сострадании и любви. Спаянность с природным целым позволяет русскому земледельцу органично вписываться в аграрный труд, исполнять его как радость и отдохновение души.

Правда, таким может быть лишь труд свободного человека, труд на себя. В этом случае он воспевается, например, как счастье крестьянки в мечтах селянки у Тараса Шевченко, причем воспевается в органической связи с материнским счастьем (дети, несущие родителям на поле обед, в стихотворении «Сон»).

«І сниться їй той син Іван
І уродливий, і багатий,
Не одинокий, а жонатий
На вольній бачиться, бо й сам
Уже не панський, а на волі;
Та на своїм веселім полі
Свою-таки пшеницю жнуть,
А діточки обід несуть»²⁵.

²⁵ Шевченко Тарас. Кобзар. Київ, 2001. С. 650.

Природа, однако, вовсе не всегда добра к землепашцу. Напротив, подчас она бывает безжалостна. Но мудрость земледельца в том и состоит, чтобы уметь понимать природу, если надо – перетерпеть и по-новому приноровиться к стихии.

Чуткость русского земледельческого самосознания к проявлениям природности органично связана с его, самосознания, открытостью к «переходу» в иное «бытие», с *готовностью к смерти*. В русском мировоззрении понимание смерти отнюдь не материалистическое. Смерть – не просто механическая остановка деятельности органов и систем человека, она – переход души в неземное существование, в метафизическое бытие.

Что такое представление глубоко и органично и действительно может считаться одним из проявлений русского самосознания, свидетельствует, в частности, отмечаемое многими писателями спокойствие, с которым земледелец принимает смерть. В этой связи вспомним тургеневские рассуждения о спокойствии русского мужика в момент смерти, его описание перехода от жизни к смерти в рассказе «Живые мощи» в «Записках охотника». Об этом же – у Григоровича в повести «Пахарь».

Не менее важной, чем природность или представление о смерти как об инобытии души, чертой русского мировоззрения следует, на мой взгляд, считать представление о *равноценности в человеческой жизни эмоционального и рационального начал*.

К сожалению, в традиции отечественной гуманитарной мысли было принято акцентировать внимание только на первой, эмоциональной стороне. Так, исследователи всегда подробно говорили об одном из главных персонажей тургеневских «Записок охотника» – мечтателе Калиныче и несравнимо меньше размышляли о рационалисте и хозяйственном мужике Хоре, и почти не анализировали его жизненную и



хозяйственную философию. Еще менее повезло в этом отношении персонажам Гончарова. Как известно, хрестоматийный «лежебока» и чувственный мечтатель Обломов из одноименного романа в этих интерпретациях заслонял собой деятельного и рационального «немца» Штольца, хотя считать последнего немцем (напомним, что у Штольца мать была русская) можно было только в контексте установки о типичности для русских людей обломовской лени, а для немцев – деловитости. На самом деле Штолец – тоже русский, вторая часть одного человека – «Обломова-Штольца» в его целостном историческом существовании.

В русской литературной традиции эмоциональное и рациональное начала всегда являли собой органическое единство, в равной мере считались ценными. У Тургенева, помимо разнообразных типов охотников и всякого рода нерадивых, не занятых рациональным хозяйственным делом помещиков и крестьян есть и прямо противоположные типы. Помимо Хоря в «Записках» мы находим образы вполне рациональных и деловых людей, например лесника по прозвищу Бирюк. В рассказе «Бежин луг» как бы уравнивают друг друга центральные образы двух мальчиков – мечтателя, эмоциональной натуры Кости и практичного, рационального Павлуши.

Надо отметить, что традиция изображения позитивных деловых персонажей в отечественной литературе началась еще до Тургенева – с Гоголя. Наряду с «отрицательной» фигурой Чичикова во втором томе поэмы «Мертвые души» есть и вполне позитивные образы, вызывающие у Чичикова подлинный интерес в связи с его рассуждениями о собственном будущем. Это образы рационального хозяина – помещика Костанжогло и предпринимателя Муразова. Несомненно, рациональным, положительным русским хозяином-земледельцем изображен и помещик Константин Левин в романе Л.Н. Толстого «Анна Каренина». Целой галереей позитивных

персонажей, в том числе и земледельцев, отмечено творчество А.П. Чехова. Впрочем, склад ума самих «эмоциональных» натур тоже не чужд известной рациональности. Другое дело, что рациональность, не является для них доминирующим качеством.

Приведенные примеры из художественных текстов с целью реконструкции отдельных черт мировоззрения русского земледельца демонстрируют творческую продуктивность заявленных философией методов его исследования. Думаю, что дальнейшая работа с массивом текстов художественных произведений русской литературной классики позволит вскрыть в русском мировоззрении новые характерные черты.

* * *

«Западник» Чаадаев

В размышлениях о судьбах России в конце XX – начале XXI вв. редко ставится вопрос о том, что представляет собой мировоззрение подавляющего большинства населения России – русских и, стало быть, русское мировоззрение. Между тем это важно как для понимания многих событий и проблем, относящихся к истории и современности, так и для понимания русских другими народами и русскими самих себя.

В истории отечественной философии имя Петра Яковлевича Чаадаева, родоначальника западничества²⁶, должно быть названо одним из первых. Именно с него начинается отчет систематической разработки темы русского мировоззрения, в том числе – особого внимания к вопросу о месте и роли России в мировой истории и соотношения путей развития России и Запада.

Появление в 1836 г. первого «Философического письма», которое, по словам Герцена, «потрясло всю мыслящую Россию», вызвало высочайшую реакцию – опубликовавший статью редактор журнала «Телескоп» был сослан, а Чаадаев объявлен умалишенным. Что же в интересующем нас ключе содержало в себе это философское произведение, значимость которого не утрачена и донныне?

Центральное место первого письма – беспрецедентный по точности и смелости тезис о «внеисторическом» положении русских, что предопределяет их неспособность, как выражается Чаадаев, «благоразумно устраиваться» в дейст-

²⁶ Соловьев Э.Ю. Западничество. Новая философская энциклопедия. М., 2010. Т. 2. С. 40 – 41.

вительности. «Одна из самых печальных особенностей нашей своеобразной цивилизации состоит в том, что мы все еще открываем истины, ставшие избитыми в других странах и даже у народов, в некоторых отношениях более нас отсталых. ...Мы стоим как бы вне времени, всемирное воспитание человеческого рода на нас не распространилось. Дивная связь человеческих идей в преемстве поколений и история человеческого духа, приведшие его во всем остальном мире к его теперешнему состоянию, на нас не оказали никакого действия. То, что у других составляет издавна самую суть общества и жизни, для нас еще только теория и умозрение. ... Оглянемся кругом себя, – предлагает философ. – Разве что-нибудь стоит прочно на месте? Все – словно на перепутьи. Ни у кого нет определенного круга действия, нет ни на что добрых навыков, ни для чего нет твердых правил, нет даже и домашнего очага, ничего такого, что бы привязывало, что пробуждало бы ваши симпатии, вашу любовь, ничего устойчивого, ничего постоянного; все исчезает, все течет, не оставляя следов ни вовне, ни в вас. В домах наших мы как будто в лагере; в семьях мы имеем вид пришельцев; в городах мы похожи на кочевников, хуже кочевников, пасущих стада в наших степях, ибо те более привязаны к своим пустыням, нежели мы – к своим городам. И никак не думайте, что это не имеющий значения пустяк. Несчастные, не будем прибавлять к остальным нашим бедам еще одной лишней – созданием ложного представления о себе самих, не будем воображать себя живущими жизнью чисто духовных существ, научимся благоразумно устраиваться в нашей действительности...»²⁷

К сожалению, «внеисторическое положение» в определенном смысле характеризует русских и сегодня, что говорит не только о фундаментальной природе чаадаевских наблюдений, но и об их актуальности. Приведу два свидетельства

²⁷ Чаадаев П.Я. Соч. М., 1989. С. 18, 19.

наших современников, удивительно схожие с приведенными чаадаевскими. «Невиданная ранее черта психологии – закрепление черт и признаков, – отмечает литературный критик и публицист Лев Аннинский. – Ничто не закреплено: ни черты характеров, ни признаки вещей. Каждый готов стать всем и рискует остаться ничем. Отсюда нетерпение в людях, и азарт гонки, и страх обмана, и озлобленность от непрерывного напряжения, и невозможность понять – где что и кто есть кто, ибо все крутится, меняется местами, ролями. В этом вращении всего и вся признаки драматически отлетают от вещей, слова от явлений, традиционные ценности – от ценностей меняющихся»²⁸.

В этом же ключе высказывался и писатель Виктор Астафьев. «Мы ведь все упавшие духом сейчас. Часто в депрессии пребываем. Да и как избежишь ее, когда помотришь вокруг, послушаешь... Я потому и в деревню забрался, в огороде копаюсь. Тянет к одиночеству. И по телевизору я уже тяжело переносу как вождей, так и литераторов... Ни в чем не уверен – ни в завтрашнем дне, ни в себе, ни в книгах своих»²⁹. В чем здесь внеисторизм?

За полными горечи наблюдениями кроется серьезная проблема. Состоит она в том, что в совокупной деятельности народа, доля собственно свободных личностей, т.е. тех, кто, во-первых, самостоятельно избирает и строит процесс своей деятельности и, во-вторых, несет личную и общественную ответственность за ее результаты, крайне мала. Иными словами, говоря о человеческой активности – предметной практической деятельности – нужно иметь в виду соотношение предпринимательской деятельности (толкуемой в самом ши-

²⁸ Аннинский Л., Глушкова Т. Фениксы и хамелеоны. Диалог критика и поэтессы //Что с нами происходит? Записки современников. М., 1989. С. 250.

²⁹ Литературная газета. № 39. 26 сентября 1990.

роком смысле этого слова, т.е., как самодеятельное творчество, а не коммерческая деятельность, как часто понимается этот термин сегодня) и деятельности по найму. Естественно, что эти два вида деятельности исходят от разных субъектов. В первом случае это свободный человек, а во втором – наемный работник, иногда даже раб.

Действительно, в то время как в европейских странах (а именно с Европой Чаадаев сравнивает Россию) институт рабства изжил себя и остался в истории, в России, спустя семьсот лет после принятия христианства, в XVII в. он вошел в силу в форме прикрепления крестьян к земле, а вместе с землей – к господам, слугам царя. При этом, в отличие от европейского рабства, распространявшегося в основном на пленных, т.е. иноплеменников, в России невольником был свой же народ. Кроме того, господа, становясь в положение угнетателей собственного народа, что было сильнейшей явной нравственной характеристикой, сами были не свободны – и как угнетатели, и как подданные более высокого господина.

Именно это состояние тотальной зависимости (включая экономическую несвободу) и стало главным препятствием для появления в обществе свободного человека, для активного развития его творческой самодеятельности. Положение зависимости, невозможности принимать самостоятельные решения и определяло внеисторическое положение практически всего народа, так как реальная конструктивная история может быть результатом только самодеятельности личностей.

Губительность рабского, крепостного состояния для становления свободной самодеятельной личности трудно переоценить. Раб не владеет ничем, не является хозяином своей деятельности, своей собственной жизни, не говоря уже о результатах своего труда. Об этом состоянии чаадаевские слова: “Ни у кого нет определенного круга действия, нет ни на что добрых навыков, ни для чего нет твердых правил...». В

этих мыслях, как кажется, недостает только одного слова, которое, впрочем, подразумевается контекстом произведения. Слово это – «собственный»: то есть, в ситуации несвободы у русского человека, действительно, нет «собственного круга действия», «собственных добрых навыков», «собственных твердых правил».

* * *

В отличие от России, продолжает свои рассуждения Чаадаев, народы Европы имеют общую идейную основу, «имеют общее лицо, семейное сходство; несмотря на их разделение на отрасли латинскую и тевтонскую, на южан и северян, существует связывающая их в одно целое черта... Еще не так давно вся Европа носила название христианского мира... Помимо общего всем обличья, каждый из народов этих имеет свои особенные черты, но все это коренится в истории и в традициях и составляет наследственное достояние этих народов. ...Дело здесь идет не об учености, не о чтении, не о чем-то литературном или научном, а просто о соприкосновении сознаний, охватывающих ребенка в колыбели, нашептываемых ему в ласках матери, окружающих его среди игр, о тех, которые в форме различных чувств проникают в мозг его вместе с воздухом и которые образуют его нравственную природу ранее выхода в свет и появления в обществе. Вам надо назвать их? Это идеи долга, справедливости, права, порядка. ...Вот она, атмосфера Запада, это нечто большее, чем история или психология, это физиология европейца. А что вы взамен этого поставите у нас?»³⁰

В русском обществе, полагает Чаадаев, не было этой общей основы, последовательно развивавшегося ряда подобных идей. А если что-то из этих идей и усваивалось, то лишь путем «бестолкового подражания» и, следовательно, не укоренялось. Это положение губительно для человека и обще-

³⁰ Чаадаев П.Я. Цит. соч. С. 22.

ства. Если человек «не руководим ощущением непрерывной длительности, он чувствует себя заблудившимся в мире». Его удел – «бессмысленность жизни без опыта и предвидения». Не имея общей устойчивой основы, свое бытие человек не сочетает «ни с требованиями чести, ни с успехами какой-либо совокупности идей и интересов, ни даже с наследственными стремлениями данной семьи и со всем сводом предписаний и точек зрения, которые определяют и общественную, и частную жизнь в строе, основанном на памяти прошлого и на заботе о будущем. В наших головах нет решительно ничего общего, все там обособленно и все там шатко и неполно»³¹.

К этой характеристике сознания, склада умов философ возвращается снова и снова. Вот, например, как в следующем отрывке: «В природе человека – теряться, когда он не в состоянии связаться с тем, что было до него и что будет после него; он тогда утрачивает всякую твердость, всякую уверенность ... Такие растерянные существа встречаются в разных странах; у нас – это общее свойство ... Я нахожу даже, что в нашем взгляде есть что-то даже проверить цитату до странности неопределенное, холодное, неуверенное, напоминающее обличие народов, стоящих на самых низших ступенях социальной лестницы ... Я бывал поражен этой немотой наших выражений»³².

Что же является причиной столь неутешительной оценки состояния русского человека и общества? Прежде всего, по мнению Чаадаева, все народы проходят период юношеского становления, когда их захлестывает волна «великих побуждений, обширных предприятий, сильных страстей». В эти периоды народы «наживают свои самые яркие воспоминания, свое чудесное, свою поэзию, свои самые сильные и плодотворные идеи». Это как бы фундамент дальнейшего

³¹ Там же. С. 23.

³² Там же.

бытия народов. Россия же, напротив, не имела ничего подобного. «Сначала дикое варварство, затем грубое суеверие, далее – иноземное владычество, жестокое, унижительное, дух которого национальная власть впоследствии унаследовала, – вот печальная история нашей юности»³³. Эту пору нашей истории «ничто не одушевляло, кроме злодеяний, ничто не смягчало, кроме рабства. Никаких чарующих воспоминаний, никаких прекрасных картин в памяти, никаких действенных наставлений в нашей национальной традиции... Мы живем лишь в самом ограниченном настоящем, без прошедшего и без будущего, среди плоского застоя»³⁴. Более того: «Мы составляем пробел в порядке разумного существования»³⁵. И далее: в то время как христианство, «безоружная власть», наделило другие народы выдающимися нравственными качествами и вело их к установлению на земле совершенного строя, мы «не двигались с места», у нас «ничего не происходило».

Причина этого – как в исторической судьбе страны, так и в действиях самого народа. Чаадаев с горечью отмечает, что русские, приняв христианство, не изменились в соответствии с его парадигмой. Вне процесса всеевропейского религиозного обновления нас удерживали «слабость наших верований или недостаток нашего верочения»³⁶.

Столь серьезные выводы не могли остаться без внимания современников. В том числе, и это особенно ценно, на «Философические письма» 19 октября 1836 г. последовал ответ Пушкина. Прежде всего, поэт обозначает свое видение исторических процессов, затрагиваемых Чаадаевым. «Нет сомнения, – пишет он, – что схизма (разделение церквей) отъединила нас от остальной Европы и что мы не принимали

³³ Там же.

³⁴ Там же. С. 20.

³⁵ Там же. С. 26.

³⁶ Там же. С. 29.

участия ни в одном из великих событий, которые ее потрясали, но у нас было свое особое предназначение. Это Россия, это ее необъятные пространства поглотили монгольское нашествие. Татары не посмели перейти наши западные границы и оставить нас в тылу. Они отошли к своим пустыням, и христианская цивилизация была спасена. Для достижения этой цели мы должны были вести совершенно особое существование, которое, оставив нас христианами, сделало нас, однако, совершенно чуждыми христианскому миру, так что нашим мученичеством энергичное развитие католической Европы было избавлено от всяких помех»³⁷.

Не соглашается Пушкин и с чаадаевскими оценками русской истории. «Войны Олега и Святослава и даже удельные усобицы – разве это не та жизнь, полная кипучего брожения и пылкой и бесцельной деятельности, которой отличается юность всех народов? Татарское нашествие – печальное и великое зрелище. Пробуждение России, развитие ее могущества, ее движение к единству (к русскому единству, разумеется), оба Ивана, величественная драма, начавшаяся в Угличе и закончившаяся в Ипатьевском монастыре, – как, неужели все это не история, а лишь бледный и полузабытый сон? А Петр Великий, который один есть целая всемирная история! А Екатерина II, которая поставила Россию на пороге Европы? А Александр, который привел вас в Париж? И (положа руку на сердце) разве не находите вы чего-то значительного в теперешнем положении России...?»³⁸

Поскольку культурно-религиозные основания являются одними из самых глубоких источников формирования национального мировоззрения, а высказываемые Чаадаевым мысли столь же кратки, сколь и резки, ограничусь лишь их констатацией, а также обращением к специалистам-религиоведам с

³⁷ Пушкин А.С. Собр. соч.: В 10-ти томах. Т.10. М., 1981. С. 336.

³⁸ Там же. С. 337.

предложением попытаться ответить на один из самых существенных вопросов, поставленных философом, – о слабости верований русских или недостатках самого православия.

В духовной истории России было еще одно принципиальное отличие от Европы, о чем Чаадаев не говорит. Многоконфессиональность народов, населяющих огромное пространство российского мира. Очевидно, что представленные в разных религиях и верованиях системы описания мира, Бога, природы, человека с его возможностями, надеждами, целями и ценностями различны, порой не совместимы, а часто даже не сопоставимы. Различие духовно-религиозных корней привело, далее, к различию выросших из этих корней культурно-нравственных систем. И если в Европе правовому сознанию всегда находилось адекватно понимаемая населением культурная основа, то в России судьбы культуры и одной из ее важнейших частей – права, были много сложнее.

Мало того, что российская власть во все времена была озабочена не качеством народа и его жизни, а собственным благополучием и количеством удерживаемых под собой территорий и потому не заботилась о правовом обуздании стихии русского мира. Утверждение права на основе разных религиозных и культурных оснований объективно было делом неизмеримо более трудным, чем его укоренение на более однородном массиве христианского сознания европейцев. При этом, обоснование и, тем более «прививка» права – вовсе не дело государства. Государство «способны только преподать право как факт, но не обосновать его». Само же обоснование и прививка – дело философии и культуры³⁹. Таким образом, – и по этой причине – необоснованности и непривитости – идеи долга, справедливости, порядка, которые, как полагает Чаадаев, образуют нравственную природу европейца, – столь мало присущи русским.

³⁹ Бибихин В.В. Введение в философию права. М., 2005.

В этом, кстати, в своем письме с Чаадаевым соглашается и Пушкин: «Поспорив с вами, я должен вам сказать, что многое в вашем послании глубоко верно. Действительно, нужно сознаться, что наша общественная жизнь – грустная вещь. Что это отсутствие общественного мнения, что равнодушие ко всему, что является долгом, справедливостью и истиной, это циничное презрение к человеческой мысли и достоинству – поистине могут привести в отчаяние. Вы хорошо сделали, что сказали это громко. Но боюсь, как бы ваши исторические воззрения вам не повредили...»⁴⁰.

Народу, столетиями жившему в условиях рабства, у которого за каждым из понятий долга, справедливости, порядка и права стоят разные религиозные и культурные основания, сделать эти нормы жизненными правилами, т.е. превратить всех в граждан, крайне трудно. Довольно вспомнить одну из классических картинок, которая показывает принципиальную несопоставимость разных культурных оснований для правовых идей, понятий о долге и справедливости, которая рисуется в известном рассказе Чехова «Злоумышленник».

Уже в первых ответах Дениса Григорьева в его беседе со следователем по поводу отвинчивания гаек на железнодорожном полотне четко акцентируются два важных качества, характерных для преимущественно языческого видения мира крестьянами – локальность и узкая ситуативность его восприятия. На вопрос – зачем отвинчивал гайку – Денис отвечает: «Коли б не нужна была, не отвинчивал бы». А на вопрос – кто это «мы», которые из гаек грузила делают, следует: «Мы, народ... Климовские мужики, то есть»⁴¹. Локально воспринимая мир, крестьянин видит гайку единственно в связи с собственной хозяйственной потребностью, даже не подозре-

⁴⁰ Пушкин А.С. Цит. соч. С. 337.

⁴¹ Чехов А.П. Полн. собр. соч. и писем: В 30-ти томах. Т.4. М., 1984. С. 84.

вая, что она может быть элементом иной, более сложной системы, предметом иных потребностей и целей. При этом он, в соответствии со своим ситуативным сознанием, убежден, что народ – это климовские мужики, с которых, видимо, начинается и которыми заканчивается мир. Следовательно не понятна локальность и ситуативность мышления крестьянина. Денис же, в свою очередь, искренен и удивлен непониманием следователя. Защищаясь от обвинений во лжи, он говорит: «Отродясь не врал, а тут вру...»

В диалоге, на самом деле, не прав следователь. Это он не понимает ситуации, того, что у него, служителя и знатока закона, с одной стороны, и темного крестьянина, с другой, разные видения мира и человеческого бытия в нем. Эти люди, если прибегнуть к сравнениям Чаадаева русских и европейцев, существа с разной «физиологией». Возможно, и такого рода представления Чаадаев и имел в виду, когда писал, что течение жизни не может быть изменено до тех пор, пока мы не выработаем в себе тех идей человеческого рода, на которых основана жизнь европейских народов и происходит их нравственное развитие.

России, полагал Чаадаев, нужно встать на путь ученичества. «К нашим услугам – история народов и перед нашими глазами – итоги движения веков»⁴². Путь обновления России, продолжает он, это путь освоения христианства: нам «необходимо стремиться всеми способами оживить наши верования и дать нам воистину христианский импульс... Вот что я имел ввиду, говоря о необходимости снова начать у нас воспитание человеческого рода»⁴³.

Начинать процесс изменения человеческой природы нужно на пути выработки собственного знания, осмысления собственного опыта, глубокого осознания прошлого, а не

⁴² Чаадаев П.Я. Цит. соч. С. 20.

⁴³ Там же. С. 29.

.....
.....
посредством одних только попыток заимствования готовых результатов у других народов. Все приобретения, составляющие нравственную природу народов, всегда итог их собственной внутренней работы, напряжения человеческих способностей и сил.

* * *

Говоря о преобразовании нравственной природы народа, Чаадаев отмечает, что совершать это русским довольно сложно, так как в отличие от цивилизованных стран, где давно сложились порядок и образцы упорядоченной и неспешной жизни, в России все приходится делать как бы в противоположность, наперекор заведенным правилам. «Вам, – отвечает он к обращавшейся к нему с письмами Е.Д. Пановой, – придется себе все создавать, сударыня, вплоть до воздуха для дыхания, вплоть до почвы под ногами. И это буквально так. Эти рабы, которые вам прислуживают, разве они не составляют окружающий вас воздух? Эти борозды, которые в поте лица взрыли другие рабы, разве это не та почва, которая вас носит? И сколько различных сторон, сколько ужасов заключает в себе одно слово: раб! Вот заколдованный круг, в котором все мы гибнем, бессильные выйти из него. Вот проклятая действительность, о нее мы все разбиваемся. Вот что превращает у нас в ничто самые благородные усилия, самые великодушные порывы. Вот что парализует волю всех нас, вот что пятнает все наши добродетели»⁴⁴.

Таким образом, обратившись к вопросам, казалось бы, сугубо индивидуального свойства, Чаадаев вновь возводит их к широкой социальной проблематике и, прежде всего, к проблеме крепостного права, к рабской природе человека. Затрагивая тему христианского обновления сознания нации, философ задает еще один сложный вопрос русскому православию. Почему в Европе освобождение человека было на-

⁴⁴ Там же. С. 40.

чато деятелями церкви и почему в России рабство уже спустя шесть столетий после принятия христианства, напротив, было учреждено? «Почему ...русский народ подвергся рабству лишь после того, как он стал христианским, а именно в царствование Годунова и Шуйского? Пусть православная церковь объяснит это явление. Пусть скажет, почему она не возвысила материнского голоса против этого отвратительного насилия одной части народа над другой»⁴⁵.

Осмысление, поиск ответов на вопросы подобного рода чрезвычайно важны, поскольку становление России будет происходить на пути не только экономического, но культурного и духовного обновления. И Чаадаев, несмотря на свои вопросы к русскому православию, стремится убедить нас в том, что действительно лучшее, что есть в людях, что определяет наши мысли и поступки, – от Сына Божия, а вовсе не нами производится. Это лучшее, утверждает философ, достается нам от Христа, а дело человека – устроить земную жизнь так, чтобы это лучшее раскрылось наиболее многообразно и полно. От этого зависит и место, которое тот или иной народ занимают в истории: «...Значение народов в человечестве определяется лишь их духовной мощью и ...то внимание, которое они к себе возбуждают, зависит от нравственного влияния в мире, а не от шума, который они производят»⁴⁶.

От того, насколько каждый человек «упразднил свою ветхую природу» и способствовал тому, чтобы в нем «зародился новый человек, созданный Христом» (от этой максимы христианства), и зависит осуществление этого нравственного переворота. При этом, прежде всего сам человек должен понять, что у него нет иного разума, кроме разума причащенного. Вся свою жизнь он удостоверяется в том, что, во-первых, находящаяся внутри него сила несовершенна, и, во-вторых,

⁴⁵ Там же. С. 41.

⁴⁶ Там же.

.....
.....
что настоящая, совершенная сила, находится вне его. Только от нашего осознания необходимости того, что мы должны подчиниться этой внешней силе и рождаются наши представления о добре, долге, добродетели, законе.

К сожалению, в нашей истории слишком часто имели место ситуации, когда воля человека, назвавшегося (в том числе и самозвано) нашим господином, признавалась выше заветов и заповедей, оставленных Христом.

Конечно, проблема готовности русских людей смириться перед самозванцами, поправшими заветы Христа и пытающимися занять в народном сознании его место, сложна и требует специального, а не беглого, рассмотрения⁴⁷. Однако уже на уровне обозначения ее абриса можно с высокой степенью достоверности утверждать, что в нашей истории часто имели место факты, когда представления какого-либо самозванного господина о добре, долге, добродетели и законе с готовностью (рабски) ставились народом на место представлений, предлагавшихся христианством.

В связи с попытками утверждения в последние десятилетия в российской деревне нового, аграрно-предпринимательского фермерского уклада, хотел бы привести литературный сюжет, сходный с сюжетами современными, который повествует о власти общинно-патриархальных настроений – важной части сложившегося в XIX в. русского мировоззрения. Обращусь к рассказу Н.Г. Гарина-Михайловского «Несколько лет в деревне». Описываемые события, как следует из его биографии, лично переживались автором в период его аграрных опытов в самарской деревне в начале 90-х гг. XIX в. В рассказе повествуется о многолетних усилиях честного русского помещика, поставившего себе благородную цель сделать крестьян своего поместья умелыми и зажиточными

⁴⁷ См.: Тульчинский Г.Л. Самозванство. Феноменология зла и метафизика свободы. СПб., 1996.

хозяевами, а также добрыми соседями. К сожалению, эти усилия, знания, бескорыстная помощь и многогранная доброта не приводят к успеху. И, несмотря на то, что в среде крестьян есть «богатеи», которым выгодно полунищенское существование основной массы – в таком виде ее легче эксплуатировать – и они всячески вредят действиям помещика, дело, конечно же, прежде всего в самих крестьянах.

При этом, идея отсутствия практического успеха рациональных преобразований в русской деревне, будучи «общим местом» описаний такого рода (вспомним, хотя бы Л.Н. Толстого с его рассказом «Утро помещика» и А.П. Чехова с рассказом «Новая дача», в основе которых лежали реальные истории), далеко не вся мораль произведения Гарина-Михайловского. Все неожиданнее и сложнее. Так, в тяжелый по погодным условиям год, крестьяне не послушались совета помещика дополнительно обработать землю, а понадеялись «на волю божью». Помещик же поступил «по науке». В результате, крестьяне остались без хлеба, а у помещика вырос хороший урожай. Часто помогая крестьянам и прежде, помещик и в этот раз обещал не оставить их в нужде. Что же делают крестьяне?

Бросив жребий, они решают – кому жечь помещичью мельницу, работавшую на всех, а также помещичьи амбары с хлебом. Пожары происходят последовательно один за другим. Вначале сгорает мельница, потом наступает черед амбаров. При этом, когда загорелись три амбара с хлебом и два удалось отстоять, потушив огонь на крышах, крестьяне радуются вместе с помещиком. (Они вообще изо всех сил показывают ему свое участие – действительно самоотверженно тушат огонь). Однако не успел помещик оправиться от произошедшего, как уже через несколько часов к нему снова бегут дворовые с вестью: спасенные амбары горят снова. Но если в предыдущем случае они были подожжены с крыш и, сбив

кровлю, огонь удалось погасить, то теперь, учтя «промашку», их подожгли снизу и спасти ничего нельзя. Сгорает все.

Помещик, вопреки воле крестьян, настаивавших не на земной, а на божьей каре, устроил следствие, дал делу судебный ход, а затем и уехал из деревни. Когда же через несколько лет он в силу надобности приехал в имение снова, его встретили с радостью, как ни в чем не бывало. При этом, крестьяне особенно были довольны тем, что, во-первых, помещику не удалось серьезно засудить пойманного поджигателя («Барину господь пошлет, – от пожара никто не разоряется, дело божие, смириться надо»⁴⁸, – таково было решение суда присяжных) и он, тем самым, «не взял грех на душу». А, во-вторых, они довольны тем, что «кара божья» не обошла никого из поджигателей – кто-то умер молодым, кто-то от «опоая», кто-то сошел с ума, кто-то пропал без вести.

Конечно, на преступление крестьян подбивали богатеи. Но ведь крестьяне долгое время – не один год – как показано в рассказе, были хозяйственно и экономически благодетельствуемы помещиком и его женой, учившей и лечившей крестьянских детей. Правда, они были недовольны тем, что помещик закрыл в деревне кабак, а также понуждал их зимой, вопреки обычаю, зарабатывать извозом. Но неужели это перевесило все добрые помещичьи дела и стало причиной столь жестокого поступка? Чего же тогда стоит постоянное обращение крестьян к Богу? Ответа в рассказе нет.

Последние строки типичны для русской традиции народной немоты. Помещик смотрит на крестьян и видит толпу. «Эта толпа была один человек. Я стоял перед этим человеком взволнованный, растроганный, с обидным сознанием, что я не знал и не знаю этого человека...»⁴⁹ Народ снова, в который раз, безмолвствует.

⁴⁸ *Гарин-Михайловский Н.Г.* Избр. соч. М., 1950. С. 277.

⁴⁹ Там же. С. 278.

Подобные сюжеты находим и у других писателей, что подтверждает правоту многих мыслей Чаадаева и потому действительно может быть отнесено к далеко не лучшим характеристикам русского, в данном случае, крестьянского мировоззрения.

* * *

Приведенные наблюдения и умозаключения философа позволяют понять, почему некоторые его критики отмечали его «нелюбовь» к России. Чаадаев слишком откровенен и честен: «Горе народу, если рабство не смогло его унижить, такой народ создан, чтобы быть рабом»⁵⁰. (Сравним со сказанным о русских Н.Г. Чернышевским полвека спустя: «Жалкая нация, нация рабов, сверху донизу – все рабы»⁵¹).

Впрочем, и сам Чаадаев понимает свою уязвимость для критики с позиций широко распространенного в тогдашнем «образованном» обществе, и даже занимающего господствующее положение «блаженного патриотизма», «патриотизма лени» и готов к этому. В его «Отрывках и афоризмах» находим: «Я предпочитаю бичевать свою родину, предпочитаю огорчать ее, предпочитаю унижать ее, только бы ее не обманывать»⁵².

Сравнивая Россию с современной ему Европой, Чаадаев, как мы видели, часто неллицеприятно отзывается именно о России. Но вместе с тем, он переживает те же чувства, что и Пушкин, который письме от 27 мая 1826 г. писал П.А. Вяземскому: «Я, конечно, презираю отечество мое с головы до ног – но мне досадно, если иностранец разделяет со мною это чувство. Ты, который не на привязи, как ты можешь оставаться в России? Если царь даст мне *слободу*, то я месяца не останусь. Мы живем в печальном веке, но когда воображаю Лондон,

⁵⁰ Там же. С. 173.

⁵¹ Чернышевский Н.Г. Избр. соч.. М., 1932. Т. 5. С. 488.

⁵² Чаадаев П.Я. Цит. соч. С. 172.

чугунные дороги, паровые корабли, английские журналы или парижские театры и (— —) — то мое глухое Михайловское наводит на меня тоску и бешенство. В 4-ой песне «Онегина» я изобразил свою жизнь; когда-нибудь прочтешь его и спросишь с милой улыбкой: где ж мой поэт? В нем дарование приметно — услышишь, милая, в ответ: он удрал в Париж и никогда в проклятую Русь не воротится — ай да умница»⁵³.

* * *

Понимая, что затронутая тема не только глобальна, но и болезненна для русского национального самосознания, в заключение хотел еще раз повторю. Рассматриваемые «больные» вопросы не являются исключительно и всецело присущими только русским, только русской истории. В той или иной мере они характерны для историй и мировоззрения многих других народов и стран. Но принципиальный вопрос в том — как к ним относиться: замалчивать или, обнаруживая, лечить и преодолевать.

* * *

⁵³ Пушкин А.С. Цит. соч. Т. 9. С. 231.

«Ранние славянофилы» Алексей Хомяков, Иван Киреевский и Константин Аксаков

Разговор об истоках русского мировоззрения, ограниченный проблематикой и идеями «западничества», был бы тенденциозным и неполным без обращения ко второму содержательному компоненту русского мировоззрения – «славянофильству»⁵⁴, в исходном варианте, представленном в творчестве А.С. Хомякова, И.В. Киреевского и К.С. Аксакова.

При этом для объективности изложения отмечу, что, начиная разговор об истоках русского мировоззрения именно с западничества, я, тем самым, обозначаю исторический приоритет именно этой формы русского мирознания и вступаю в противоречие с известным суждением о славянофильстве Н.А. Бердяева, который полагал, что не западничество, а именно славянофильство есть «первая попытка нашего самосознания, первая самостоятельная у нас идеология. Тысячелетие продолжалось русское бытие, но русское самосознание начинается с того лишь времени, когда Иван Киреевский и Алексей Хомяков с дерзновением поставили вопрос о том, что такое Россия, в чем ее сущность, ее призвание и место в мире»⁵⁵.

Начинать с западничества, на мой взгляд, следует по следующим основаниям. Во-первых, в послемонгольский период, с которого и можно говорить о зачатках первичных форм

⁵⁴ См.: Сухов А.Д. Славянофильство. Новая философская энциклопедия. М., 2010. Т. 3. С. 564 – 566.

⁵⁵ Цит. по предисловию к книге: Хомяков А.С. Соч.: В 2-х томах. М., 1994. Т. 1. С. 7.

российского мирозерцания, российская история обнаружила склонность именно к европейскому тренду своего развития и, потенциально, к идеологии западничества. В качестве примера можно сослаться на неоднократные попытки самодержавных особ вводить в России европейские рациональные новации, брать пример с Европы. Конечно, не всегда новации касались глубин того или иного явления, иногда лишь скользили по поверхности. Но, без сомнения, были и такие, которые шли на пользу – будь то области государственного управления или экономической жизни. Во-вторых, по глубине затрагиваемых проблем и произведенному общественному эффекту (вспомним об отклике А.С. Пушкина на статьи П.Я. Чаадаева), «Философические письма», на мой взгляд, превосходят то, что было написано первыми славянофилами. И, наконец, в-третьих, «Письма» вышли на три года раньше первой значительной работы А.С.Хомякова – статьи «О старом и новом», прочитанной в одном из московских салонов весной 1839 г.

Но, как бы там ни было, несомненно, что в идеологической традиции, начавшей складываться в России в XIX в., возникли две расходящиеся, а во многом и принципиально не соединимые мировоззренческие линии.

* * *

Глубинным основанием, побудившим Хомякова вырабатывать философское понимание России и русских, было то же самое, что и у Чаадаева, а именно – неудовлетворенность современной жизнью, положением народа и отношением к нему его господ. В одном из своих писем Хомяков в качестве главной формулирует мысль, которую, как он говорит, он «носил в себе с самого детства и которая долго казалась странною и дикою даже моим близким приятелям. Эта мысль состоит в том, что как бы каждый из нас не любил Россию, *мы все, как общество, постоянные враги ее... потому что*

мы иностранцы, потому что мы господа крепостных соотечественников, потому что одураем народ и в то же время себя лишаем возможности истинного просвещения...»⁵⁶ (Здесь и далее выделено мной. – С.Н.).

Констатация раскола внутри нации, невозможности в этой ситуации христианской жизни, неизбежность пороков, порождаемых этим положением, как в среде рабов, так и господ, – от всего этого только один шаг до позиций Чаадаева. В первую очередь я имею в виду утверждения мыслителя о пагубном для России антиевропейском векторе ее развития, о ее недостаточной христианизации, о наличествующем деспотическом способе правления, в том числе – о введении и поддержке крепостного права при согласии православной церкви.

В связи с вопросом об исторической первичности западной или славянофильской ориентации в российском мировоззрении и идеологическим оформлением противоположных взглядов на прошлое и настоящее России, на ее «судьбу» и «предназначение», существенно важно дать представление о реальном историческом пути страны. В особенности это относится к ключевому моменту ее истории – оформлению российской государственности. Вопрос ставится следующим образом. Действительно ли дело обстояло так, как его понимал К. Маркс, считавший, что «колыбелью Московии была не грубая доблесть норманнской эпохи, а кровавая тряси́на монгольского рабства... Она обрела силу, лишь став виртуозом в мастерстве рабства. Освободившись, *Московия продолжала исполнять свою традиционную роль раба, ставшего рабовладельцем, следуя миссии, завещанной ей Чингисханом...* Современная Россия есть не более чем метаморфоза этой Московии»⁵⁷?

⁵⁶ Там же. С. 9.

⁵⁷ Цит. по: Янов А. Россия: у истоков трагедии 1462 – 1584. М., 2001. С. 23 – 24.

В работах историков последних лет на этот вопрос даются прямо противоположные ответы. В этой связи сошлюсь на историко-философское исследование А.Л. Янова, в котором он, приводя многие факты и свидетельства, выдвигает гипотезу, согласно которой азиатскому вектору развития России, сделавшей ее евразийским вариантом традиционной восточной деспотии, о котором говорит Маркс, предшествовал иной, европейский вектор. Это был период протяженностью почти в целое столетие, когда страна успешно развивалась подобно другим европейским государствам и даже во многих отношениях опережала их. Отсчет этого времени идет с начала царствования Ивана III (1462 г.) и завершается в 60-х годах XVI столетия «самодержавной революцией», когда Иван Грозный разогнал правительство и ввел опричнину. Из наиболее знаменательных признаков и явлений этого «европейского вектора развития» Янов выделил следующие.

Во-первых, европейская традиция Киевской Руси, согласно которой русская власть, представлявшая собой симбиоз властей (симбиоз чего?) великого князя, вольных дружинников и бояр-советников, не только не была утрачена в эпоху татаро-монгольского завоевания, но была сохранена и эффективно действовала позднее, при Иване III. По словам В.О.Ключевского, приводимым А.Л.Яновым, в России этого периода образуется «абсолютная монархия, но с аристократическим правительственным персоналом», появляется «правительственный класс, с аристократической организацией, которую признавала сама власть»⁵⁸. Государство в лице великого князя не рассматривало страну как свою собственную «вотчину», а договаривалось с другими сословиями – в первую очередь с русской аристократией (боярством) и даже с состоятельным крестьянством и торговыми людьми (предбуржуазией). Как показано академиком М.В. Нечкиной, на

⁵⁸ Там же. С. 34.

мнение которой ссылается Янов, боярская Дума этого периода была «конституционным учреждением с обширным политическим влиянием, но без конституционной хартии», а ее правительственная деятельность имела законодательный характер⁵⁹.

Россия, далее, опередив на несколько веков Германию, Италию и Францию, малой кровью завершила воссоединение страны, в том числе были разгромлены две из трех оставшихся малых татарских орд. В-третьих, было создано национальное сословное представительство – Земский Собор и проведена земская реформа, передававшая власть на местах в руки «лутчих людей» – зажиточных крестьян и торговцев. Также был введен суд присяжных. В-четвертых, в Судебнике 1497 г. впервые было юридически закреплено право крестьян ежегодно в течение двух недель покидать своего господина («Юрьев день»). С помощью этой меры Иван III не закрепостил крестьян, как это трактовалось в советской историографии, а, напротив, юридически защитил их от всевозможных «уловок», к которым прибегали помещики для препятствования их уходу. Судебником также вводилась защита частной собственности, в том числе – крестьянской, и не только движимой, но и недвижимой – земли. И, наконец, Россия встала на путь церковной Реформации, выразившейся в борьбе «нестяжателей» против «иосифлян». Ее экономической целью было стремление государства отнять у монастырей захваченные ими в эпоху татаро-монгольского ига земли – треть сельскохозяйственных угодий страны, лишить церковь права не платить налоги и иметь собственную администрацию, которая по своему усмотрению творила суд и расправу над крестьянами на своих землях.

То, что эти реформы, имевшие никак не азиатско-деспотический, направленный на укрепление всевластия монарха,

⁵⁹ Там же. С. 497.

а, напротив, европейский характер, т.е. ограничивали монархию и пользовались поддержкой населения, свидетельствует эффективный тест – вектор национальной миграции. В эпоху Ивана III в Россию активно мигрировало население европейских стран, в то время как столетие спустя, при Иване IV, вектор бегства был направлен в противоположную сторону.

Таким образом, если принять во внимание приводимые А.Л. Яновым факты, то следует согласиться и с его заключительным выводом: именно боярство «предохранило абсолютистскую государственность от превращения в деспотизм»⁶⁰. Но если в Европе это положение было закреплено и продолжено последующим развитием, то в России при Иване Грозном была совершена «самодержавная революция», уничтожившая боярскую аристократию и установившая деспотическую форму правления, при которой монарх присвоил себе ничем не ограниченное право «людодержства» – возможность без разбора грабить и убивать свой народ. «В какой еще европейской стране собрались бы тысячи Кирибеевичей «в берлоге, где царь устроил (по словам В.О. Ключевского) дикую пародию монастыря», обязавшись «страшными клятвами не знаться не только с друзьями и братьями, но и с родителями»... В любой ли стране довольно было одного царского слова, чтоб превратить ее молодежь «в штатных (по выражению того же Ключевского) разбойников»? ...Порог чувствительности, за которым включались защитные механизмы от произвола власти, оказался в российской культурной традиции ниже, чем в абсолютистских монархиях. Если что-то в ней и можно отнести за счет страшных последствий 250-летнего варварского ига, то, наверное, именно это»⁶¹.

Сделанный Яновым исторический экскурс заставляет серьезнее отнестись к вопросу о «первичности» для русского

⁶⁰ Там же. С. 276.

⁶¹ Там же. С. 281.

мировоззрения «самобытно-восточной», «славянофильской» ориентации, а не «западнической», европейской. Кроме того, признание в истории России глубинного европейского вектора развития страны более убедительно объясняет существование в нашем народе в каждую эпоху, в каждом поколении «сословия европейцев». Оказывается, что начало западничеству в России было положено отнюдь не иницированными сверху, волюнтаристскими, хотя и масштабными мерами Петра I, а систематической работой, осуществлявшейся параллельно «низовыми» сословиями и государством двумя с половиной столетиями ранее, в эпоху Ивана III.

Тем не менее, несмотря на столь глубокую традицию, во второй половине XVI столетия в России в результате «самодержавной революции» был совершен радикальный поворот к деспотизму и, в частности, установлено крепостное право. Касалось оно не только земледельцев. Так, если для крестьян был отменен Юрьев день, то купцы потеряли право своевольно менять место жительства, священники – слагать с себя сан, а их сыновья – избирать иное поприще, кроме церковного служения. Даже боярам, владевшим вотчинной землей, запрещалось уходить от князя. С образованием сословия дворян – служилых людей, наделявшихся землей с «сидящими на ней» крестьянами, сделалась обязательной государственная служба. Таким образом, крепостное состояние, хотя и с разной степенью жесткости, было введено для всех групп российского общества.

С течением времени к крепостному положению россияне привыкали, приспособлялись и даже начали извлекать из него выгоды, живя за счет крепостных посредством прямого, откровенно-грубого или непрямого, стыдливо-умеренного паразитирования.

Для своего легитимного бытия деспотическая традиция нуждалась в идеологическом обосновании. И постепенно, не

делая это своей целью, но «попутно», роль эту начало выполнять славянофильство. Происходило это, конечно, не в силу обоснованной реакционности, поскольку, как признавался Хомяков, состояние быть «господами крепостных соотечественников» осознавалось им как несправедливое и тягостное. Однако на самом деле, охранительная позиция славянофильства по отношению ко всему русскому без достаточного критического разбора, что, напротив, было сильной стороной западничества, неизбежно вела к невольному примирению с крепостничеством.

Так, например, при объяснении национальных особенностей русского мировосприятия, действительно имевших место, заодно, посредством рассуждений о достоинствах «старины» – патриархальных отношениях помещиков и крепостных крестьян, невольно признавалась правомерной скрытая «патриархальностью» эксплуатация одной части народа другой. Именно эта, изначально содержащаяся в славянофильстве неправда и делала его позиции, в конечном счете, слабыми.

* * *

Исходные базовые положения славянофильства раньше других были сформулированы Хомяковым. Заключались они в следующем. Прошлое Руси – «чисто и прекрасно», а роль и влияние старины столь велики, что будущее страны «почти вполне» зависит от «понятия нашего о прошедшем» и его реконструкции. И хотя реконструкция, естественно, предполагает рациональное освоение, понимание, тем не менее, рационально познать прошлое, за редким исключением, согласно Хомякову, нельзя. «Старую Русь надобно – угадать»⁶².

Тезисы о «прекрасном прошлом», принципиальной несостоятельности научного познания и силе «поэтической

⁶² Хомяков А.С. Соч.: В 2-х томах. М., 1994. Т. 1. С. 459.

способности угадывать истину»⁶³ – как ни странно это для рационального знания, в сфере которого развивает себя славянофильство, не литературная вольность, а принципиальная позиция этого мировоззренческого течения. К этой идее славянофилы возвращаются постоянно. «Чем историк и летописец древнее и менее учен, – отмечает, например, в «Семирамиде» Хомяков, – тем его показания вернее и многозначительнее»⁶⁴. Существеннее материальных свидетельств и сведений об устройстве политической жизни «предания и поверья народа». Но еще более важен «самый дух жизни», который невозможно познавать, но можно «чувствовать, угадывать... Его нельзя заключить в определения, нельзя доказать тому, кто не сочувствует»⁶⁵.

То есть, самое важное, предполагаемое для реконструкции в будущем, тем не менее, лежит вне сферы понимания. Более того, получается, что воспринять этот «дух жизни» может только тот, кто им уже обладает. Но в этом случае, согласимся, лишается смысла сама идея реконструкции, воссоздания в будущем утраченного прошлого: для одних оно вовсе не утрачено, так как они им обладают; а для других оно невозможно, поскольку воссоздать его рациональным путем, не обладая им заранее, нельзя.

Потенциал великого прошлого России, продолжает Хомяков, столь велик, что «нам стыдно было бы не перегнать Запада. Англичане, французы, немцы не имеют ничего хорошего за собою. Чем дальше они оглядываются, тем хуже и безнравственнее представляется им общество. (Знаменательное с позиций христианской любви замечание как для «западников» в России, так и для народов Запада. – С.Н.). Наша древность представляет нам пример и начала всего доброго

⁶³ Там же. С. 49.

⁶⁴ Там же.

⁶⁵ Там же. С. 54 – 55.

в жизни частной, в судопроизводстве, в отношении людей между собою; но все это было подавлено, уничтожено отсутствием государственного начала, раздорами внутренними, игом внешних врагов»⁶⁶.

Что же именно прекрасного, проистекающего из облагороженной христианством русской души, согласно Хомякову, содержало в себе наше прошлое? Это «уничтожение смертной казни, освобождение Греции и церкви греческой в недрах самой Турции, открытие законных путей к возвышению лиц по лестнице государственных чинов, под условием заслуг или просто просвещения, мирное направление политики, провозглашение закона Христа и правды как единственных законов, на которых должны основаться жизнь народов и их взаимные сношения»⁶⁷.

В социальной жизни, продолжает Хомяков, «...русский дух утвердил навсегда мирскую общину, лучшую форму общежительности в тесных пределах; русский дух понял святость семьи и поставил ее как чистейшую незыблемую основу всего общественного здания; он выработал в народе все его нравственные силы, веру в святую истину, терпение несокрушимое и полное смирение. Таковы были его дела, плоды милости Божией, озарившей его полным светом православия. Теперь ...самый ход истории... обличил во много ложь западного мира и когда наше сознание оценило ...силу и красоту наших исконных начал, нам предлежит снова пересмотреть все те положения, все те выводы, сделанные западною наукою, которым мы верили так безусловно; нам предлежит подвергнуть все шаткое здание нашего просвещения бесстрастной критике наших собственных духовных начал и тем самым дать ему несокрушимую прочность»⁶⁸.

⁶⁶ Там же. С. 463.

⁶⁷ Там же. С. 462 – 463.

⁶⁸ Там же. С. 517

Почему же и как исчезло наше прекрасное прошлое? Причиной тому, по Хомякову, было объединение страны под единым государственным началом, «когда Русь срослась в одно целое. ...Все обычаи старины, все права и вольности городов и сословий были принесены на жертву для составления плотного тела государства, когда люди, охраненные вещественною властью, стали жить не друг с другом, а, так сказать, друг подле друга, язва безнравственности общественной распространилась безмерно, и все худшие страсти человека развились на просторе: корыстолюбие в судьях, ...честолюбие в боярах, ...властолюбие в духовенстве»⁶⁹.

Конечно, объединение страны, превращение ее в мощную державу обеспечило защиту от внешних врагов. И теперь, пишет Хомяков, настал черед соединения древних форм русской жизни с новыми условиями жизни в составе единого государства. По этому пути «мы будем подвигаться вперед смело и безошибочно, ...воскрешая древние формы жизни русской, потому что они были основаны на святости уз семейных и на неспорченности индивидуальности нашего племени. Тогда, в просвещенных и стройных размерах, в оригинальной красоте общества, соединяющего патриархальность быта областного с глубоким смыслом государства, представляющего нравственное и христианское лицо, воскреснет древняя Русь»⁷⁰.

Если отвлечься от медитативного характера славянофильских рассуждений, то уместно поставить вопрос: о каких временах, предшествовавших тому, когда «Русь срослась в одно целое» и были утеряны прелести патриархального бытия, идет речь? Ведь объединение было не только при Иване Грозном, но и при Иване III. Однако до Ивана III на Руси была власть Орды, а перед правлением Ивана Грозно-

⁶⁹ Там же. С. 468.

⁷⁰ Там же. С. 469 – 470.

го в стране наблюдалось становление зачатков гражданского общества. Значит, если не период татаро-монгольского ига, то эти, предшествовавшие Ивану Грозному, времена хвалят славянофилы? Но, в это время Россия ориентировалась на европейский путь, и о патриархальности можно говорить как о явлении исчезающем, на смену которому в общественных отношениях шло право, а в системе власти – сословное представительство. Вопрос о «золотом веке» Руси, о воссоздании которого мечтают славянофилы, не поддается конкретизации и повисает в воздухе.

Еще более труден для славянофильского утверждения о «благости старины» вопрос о временах, сопутствующих «срастанию Руси в одно целое» при Иване Грозном. За это «срастание», а на самом деле за укоренение деспотизма и смену европейского вектора развития страны на вектор азиатский, общество поплатилось первым в русской истории тотальным террором, а также разрушением единственных в России городских демократий Новгорода и Пскова, сопровождавшимся полным разорением и уничтожением горожан.

Впрочем, для Хомякова величие России, связанное с органическим соединением патриархальной, как он утверждает, старины, с одной стороны, и нравственного христианского государства, с другой, важная, но не высшая цель. Еще более значимо для него историческое предназначение славянства. Как важнейший вопрос, именно этот выделяет в наследии Хомякова его известный современник – Ю.Ф. Самарин, опубликовавший после смерти мыслителя отрывок из хомяковских «Записок о Всемирной истории». «К чему предназначено это долго не признанное племя, по-видимому, осужденное на какую-то страдательную роль в истории? Чему приписать его изолированность и непонятный строй его жизни, не подходящей ни под одну из признанных наукою формул общественного и политического развития: тому ли, что оно по природе

своей не способно к самостоятельному развитию и только предназначено служить как бы запасным материалом для обновления оскудевших сил передовых народов, или тому, что в нем хранятся зачатки нового просвещения, которого пора наступит не прежде как по истощении начал, ныне изживаемых человечеством?»⁷¹. То есть, если вопрос о будущности славянства все-таки может иметь счастливое решение (в случае реализации «зачатков нового просвещения»), то ответ на вопросы о прошлом и настоящем ничего хорошего не сулит.

Непризнание славянства западными народами, как полагает Хомяков, реальный факт, для объяснения которого он предлагает два варианта. Это либо принципиальная невозможность для «немецкого ума» понять принципы жизни славян, либо «скрытая зависть»⁷². Этому второму варианту объяснения, замечает Хомяков, не хотелось бы верить, «но что же делать? В народах, как в людях, есть страсти, и страсти не совсем благородные. Быть может, в инстинктах германских таится вражда, не признанная ими самими, вражда, основанная на страхе будущего или на воспоминаниях прошедшего, на обидах, нанесенных или претерпленных в старые, незапамятные годы. Как бы то ни было, почти невозможно объяснить упорное молчание Запада обо всем том, что носит на себе печать славянства»⁷³.

Комментировать тезисы об «инстинктах вражды» и «скрытой зависти» нельзя. Также следует признать, что попытки найти у Хомякова более основательные идеи, действительно объясняющие славянофильскую специфику понимания России и русских как нечто позитивное, значимых результатов не приносят.

* * *

⁷¹ Там же. С. 535.

⁷² Там же. С. 57.

⁷³ Там же.

Обратимся теперь к идеям другого мыслителя того времени – И.В. Киреевского, также считающегося основателем и одним из первых идеологов раннего славянофильства. В ответ на статью Хомякова «О старом и новом» незамедлительно, в том же 1839 г., последовала статья Киреевского. В ней он солидаризируется с основными тезисами Хомякова (о прекрасной русской старине, которую следует реконструировать; об ограниченности Запада; о неприятии как Запада в России, так и России на Западе; об ущербности западного христианства в сравнении с православной верой; об ограниченных возможностях и даже вреде рационализма). В ряде тезисов Киреевский идет дальше, углубляя то, что у Хомякова было лишь намечено.

Так, по его мнению, западное христианство отошло от первоначально чистого учения Христа. Недостаток веры и убеждений привели западное общество к «всеобщему эгоизму», ввергли западного человека в состояние постоянной неудовлетворенности и беспокойства.

О необходимости «потеснить разум, чтобы дать место вере» в качестве основополагающего принципа славянофильства ясно говорили его современники. Так, например, В.О. Ключевский следующим образом описывал различие православной и католической традиций, проявляющихся в славянофильстве и западничестве: «Непомерное развитие схоластики в вероучении и художественных форм в церковнослужении не спасло Католической церкви, этой блудной дочери христианства, ни от богохульного папства и непогрешимости, ни от мерзости религиозного фанатизма с его крестовыми походами на еретиков и инквизицией, явлениями, составляющими вечный позор католицизма. Люди, о которых идет речь (славянофилы. – С.Н.), никогда не были за такую Церковь: они слишком прониклись духом своей строгой матери, учившей «пленять разум в послушание веры»⁷⁴.

⁷⁴ Ключевский В.О. Дневник 1867 – 1877 гг. 30 марта 1868. В кн.: Ключевский В.О. Афоризмы. Исторические портреты и этюды. Дневники. М., 1993. С. 316.

Утверждение в западном обществе идей права также, по мнению славянофилов, способствовало его разобщению и потере высоких жизненных ориентиров. В то же время само право разрослось столь гипертрофированно потому, что вся общественная организация западных обществ базируется на индивидуальной, отдельной независимости, что предполагает изолированность индивида. Оттуда – святость внешних формальных отношений, святость собственности и условных постановлений, которые оказываются важнее личности.

Исторически, отмечает Киреевский, на Западе сложилось так, что каждый индивидуум есть частный человек, будь он рыцарь, князь или торговец, есть лицо самовластное, ничем, кроме законов, не ограниченное, и, более того, иногда даже само себе дающее законы. Каждое лицо как бы сидит в своей собственной крепости, «из нутра которой оно вступает в переговоры с другими и независимыми властями»⁷⁵. В Европе, продолжает он далее, – «все силы, все интересы, все права общественные существуют ...отдельно, каждый сам по себе, и соединяются не по нормальному закону, а – или в случайном порядке, или в искусственном соглашении. В первом случае торжествует материальная сила, материальный перевес, материальное большинство, сумма индивидуальных разумений, в сущности составляют одно начало, только в разных моментах своего развития. Потому *общественный договор* не есть изобретение энциклопедистов, но действительный идеал, к которому стремились без сознания, а теперь стремятся с сознанием все Западные общества, под влиянием рационального элемента, перевесившего элемент христианский»⁷⁶.

Что касается России, то она, по Киреевскому, благополучно избежала как заблуждений рационализма, так и изысков

⁷⁵ Киреевский И.В. Полное собрание сочинений в двух томах. М., 1911. С. 112 – 113.

⁷⁶ Там же. С. 116.

формального права. Просветительские и правовые функции с древности взяли на себя православные монастыри, церкви, отшельники, которые как сетью накрывали всю Россию, и посредством которых «распространялись повсюду одинаковые понятия об отношениях общественных и частных. Понятия эти, мало– помалу должны были переходить в общее убеждение, убеждение в обычай, который заменял закон, устраивая, по всему пространству земель, подвластных нашей Церкви, одну мысль, один взгляд, одно стремление, один порядок жизни. Это повсеместное однообразие обычая было, вероятно, одною из причин его невероятной крепости, сохранившей его живые остатки даже до нашего времени, сквозь все противодействие разрушительных влияний, в продолжение 200 лет стремившихся ввести на место его новые начала.

Вследствие этих крепких, однообразных и повсеместных обычаев, всякое изменение в общественном устройстве, не согласное со строем целого, было невозможно. Семейные отношения каждого были определены прежде его рождения; в таком же предопределенном порядке подчинялась семья миру, мир более обширный – сходке, сходка – вече и т.д., куда все частные круги смыкались в одном центре, в одной Православной Церкви вече было до церкви. Никакое частное разумение, никакое искусственное соглашение не могло основать нового порядка, выдумать новые права и преимущества. Даже само слово *право* было у нас неизвестно в Западном его смысле, но означало только справедливость, правду»⁷⁷.

В России «сила неизменяемого обычая делала всякое самовластное законодательство невозможным; ...разбор и суд, который в некоторых случаях принадлежал князю, не мог совершаться несогласно со всеобъемлющими обычаями, толкование этих обычаев, по той же причине, не могло быть произвольное; ...общий ход дел принадлежал мирам и при-

⁷⁷ Там же. С. 115.

казам, судившим также по обычаю вековому и потому всем известному; наконец, что в крайних случаях князь, нарушивший правильность своих отношений к народу и Церкви, был изгоняем самим народом, – сообразивши все это, кажется очевидно, что собственно княжеская власть заключалась более в предводительстве дружин, чем во внутреннем управлении, более в вооруженном покровительстве, чем во владении областями»⁷⁸.

По поводу этих суждений следует отметить, что они, и, в первую очередь, тезис о якобы народной власти и ограниченных военными обязанностями управленческих функций русских князей, далеко не всегда соответствует российской истории. К сожалению, начиная с Ивана IV, фундаментальная особенность российского государства состояла в том, что царева власть сочетала в себе функции управления и собственности. Такое положение обеспечивало собственнику полную свободу пользования, злоупотребления и даже уничтожения объекта собственности, включая подданных. Вообще, в российском понимании термин «государство», в отличие от английского «state», не подразумевает различия между частным и публичным. В России «государь» всегда обозначал собственника, и в первую очередь – собственника рабов. В то время как в Европе имела место иерархия (вассал моего вассала не мой вассал), в России не работала: все снизу доверху были подданные.

С Киреевским нужно согласиться в том, что в России право и правосознание не получили необходимого развития, им не пользовались, что всегда приводило, с одной стороны, к вопиющему бесправию неимущего и малоимущего большинства страны, а, с другой, к диким формам злоупотребления правом со стороны ничтожного меньшинства, захватившего собственность и власть. Примерами этого рода переполнена

⁷⁸ Там же.

русская классическая литература, да и сегодня мы продолжаем жить не столько по нормам закона, сколько по понятиям, возводимым в закон мало чем ограниченной властью.

К сожалению, в то, что право не получило в русской культурной традиции должного развития, свою лепту внесло и определенным образом трактуемое православие. В содержательной книге диакона Андрея Кураева «Протестантам о православии» приводится следующая притча: «Некоторый брат, обиженный на другого, пришел к авве Сисою и говорит ему: такой-то обидел меня, хочу и я отомстить за себя. Старец же увещевал его: нет, чадо, предоставь лучше Богу дело отмщения. Брат сказал: не успокоюсь до тех пор, пока не отомщу за себя. Тогда старец сказал: помолимся, брат! И вставши, начал молиться: Боже! Боже! Мы не имеем нужды в Твоем попечении о нас, ибо мы сами делаем отмщение наше. Брат, услышав сие, пал к ногам старца, сказал: не стану судиться с братом, прости меня!»⁷⁹.

В конкретной притче можно согласиться с ее моралью, что в жизни не должно быть ситуаций, при которых было бы правомерно обращение в суд одного брата с иском к другому. Наличие общих родителей, совокупность совместно пережитого и сделанного друг другу в течение жизни добра должно «перевешивать» любые обиды. И, скорее, следовало бы искать справедливости, а не «отмщения». Однако в данном случае приводится пример не столько житейски–конкретный, сколько принципиально–философский. Смысл его – отстаиваемая славянофилами позиция «вера выше закона», при которой праву места по существу нет.

В славянофильской трактовке ошибочна сама постановка вопроса о примате закона или веры. Явления эти существуют в разных плоскостях, разных системах координат и соотно-

⁷⁹ *Диакон Андрей Кураев. Протестантам о православии. М., 1999. С. 155.*

сать их в житейских, обыденных ситуациях нельзя. Хорошо, если люди договариваются друг с другом на основе общей веры. А если нет?

Приведенные представления о примате веры – позиция не только православия, но и славянофильского варианта русской философии. К сожалению, в этом вопросе, на мой взгляд, прав философ Э.Ю. Соловьев, написавший на заре «перестройки» более двадцати лет назад: «...Я отваживаюсь утверждать, что русская философия – сомнительный и ненадежный союзник в нашей сегодняшней борьбе за право и правовую культуру»⁸⁰.

Вместе с тем, нужно признать, что сравнение двух представленных Киреевским картин общественного устройства на Западе и Востоке познавательно. Сравним. Исходное разнообразие (несогласованность) частных интересов, устремлений и воль в западных обществах согласуется на основе общественного договора с помощью инструментов права. Система эта, как очевидно для славянофила, порочна и должна быть отвергнута. Иное дело в России, где, как утверждает Киреевский, проблемы согласования, по крайней мере, в старину, за редкими исключениями, не было. Насаждаемое повсеместно и всемерно истинное (православное) христианство пронизывало собой не только все ткани общества, но и сознание каждого индивидуума. «Одна мысль, один взгляд, одно стремление, один порядок жизни» – это уничтожение всякой особенности и индивидуальности, потеря всякого различия, апофеоз единения, слипание всех в одну гомогенную, однородную массу.

Впрочем, за аморфную тождественность всего и вся, за гомогенность приходится платить. И если в старину, в условиях неразвитых форм материальной трудовой деятельнос-

⁸⁰ Соловьев Э.Ю. Прошлое толкует нас. Очерки по истории философии и культуры. М., 1991. С. 234.

ти и общественных проявлений индивида – прежде всего в силу крайне скудных возможностей для индивидуального и общественного развития – плата была невелика, то по мере развития общества, по мере его социально-экономического развития, она делалась все более ощутимой. Высшая точка «однородности» в России была достигнута в прошлом веке, приведя к коллапсу социалистической системы в СССР. Она была противоположна западным социальным системам и, как это мечталось славянофилам, была отгорожена от внешнего мира железным занавесом.

По поводу приведенных рассуждений Киреевского также уместен вопрос: было ли в России когда-нибудь «золотое», по славянофильским канонам, время? И если это не относится к послемонгольской Руси, то какой период в развитии страны или даже одной ее географической точки можно указать в средневековье? И как быть тогда с российскими памятниками права, устанавливающими не только общность, но и различия, как быть с нормами, регламентировавшими разнообразные наказания за их нарушение? Как быть с повсеместными междуусобицами князей, которые никак не вписываются в идиллии гомогенного благоденствия? И где на Руси, кроме новгородской и псковской республик, похожих на западные образцы, да и то, существовавших непродолжительное, по историческим меркам, время, имели место зачатки гражданского общества, в частности, связка «мир – сходка – вече»? Вопросы такого рода, на которые в славянофильстве невозможны доказательные ответы, наводят на мысль о том, что в своих рассуждениях о русской старине адепты этого течения выдают воображаемое за бытовавшее, фантазию за реальность.

Конечно, следует отметить, что прием этот – «должное вместо сущего» – успешно применяется и в русской классической литературе, в частности, в произведениях Л.Н. Тол-

стого и Ф.М. Достоевского. Так, идеальный тип одного из героев «Войны и мира» Платона Каратаева столь нежизнен, что Толстой заставляет его умереть: герой не может существовать нигде, кроме прописанных для него автором обстоятельств. Впрочем, то, что позволительно для литературы (она, своего рода утопия), вовсе не позволительно для философии и, тем более – для философии истории. Поэтому фантазии, претендующие на статус знания, перестают быть художественными приемами и становятся теоретическими провалами. И таких, к сожалению, в славянофильстве немало.

Россия, пишет Киреевский далее, коренным образом отличалась и отличается от Запада своими представлениями о собственности. Страна не знала «частной, личной самобытности». «Человек принадлежал миру, мир ему. Поземельная собственность, источник личных прав на западе, была у нас принадлежностью общества. Лицо участвовало во столько в праве владения, во сколько входило в состав общества»⁸¹.

В этом, то есть в отличии российских и западных представлений о собственности, а также в формах ее реального существования, Киреевский прав, хотя и не до конца. Частная собственность в России, конечно, была. Ею обладали не только общественные институты – государство и церковь, но и частные лица – бояре, а потом, хотя и не с начального момента своего появления, дворяне. Обладало ею в составе общины и крестьянство. Именно крестьяне, в этом с Киреевским нужно согласиться, участвовали в праве владения постольку, поскольку входили в общество, обрабатывали надел.

Вопрос, однако, этим, как это происходит у Киреевского, не ограничивается, а дополняется другим, без которого вопрос о собственности не имеет практически-хозяйственного смысла. Этот дополнительный вопрос: насколько

⁸¹ Киреевский И.В. Полное собрание сочинений в двух томах. М., 1911. С. 115.

.....

такая – общинная – форма собственности была эффективной и, следовательно, имела историческую перспективу? Ответ на него мы начинаем получать тогда, когда в практике хозяйствования появляются новые технологии производства аграрного продукта. Их неприятие общинной системой и крепостным правом обнаруживается сразу же, что делает труд русского земледельца значительно менее эффективным, чем труд его западного собрата, имеющего землю в частной собственности. Таким образом, если при неразвитых производительных силах различия в системах собственности ощущаются не слишком сильно, то при сколько-нибудь зрелом их развитии форма собственности тут же дает о себе знать.

В России общинная собственность тормозит экономический прогресс и потому, начиная со второй половины XIX в., постоянно, хотя и чрезвычайно медленно, она эволюционирует в направлении все той же развитой на Западе частной земельной собственности. И хотя годы ее существования в России (1906 – 1917 и 1921 – 1929) непродолжительны, тем не менее, и их было достаточно, чтобы показать ее эффективность и возможность встраивания в российскую действительность, несмотря на все разговоры об исключительной исторической самобытности страны и ее якобы неискоренимой приверженности общинному укладу.

По мнению Киреевского, еще одно достоинство русской старины, принципиальным образом отличающим Русь от Запада, заключалось в том, что в общине человеку отводилась роль пчелы в большом рое. У каждого человека якобы был унифицированный, совершенно определенный набор понятий, норм и моделей поведения, «определенных прежде его рождения». Общий принцип развития, проявляющий себя в живой природе и, тем более, в обществе и заключающийся в увеличении многообразия, для славянофилов неприемлем.

«Многомыслие, разноречие кипящих систем и мнений, – отмечает Киреевский в своих рассуждениях о состоянии литературы, – при недостатке одного общего убеждения, не только раздробляет самосознание общества, но необходимо должно действовать и на частного человека, раздвояя каждое живое движение его души»⁸².

Киреевский, далее, откровенно сокрушается о погубленном при Петре I «раздолье Русской жизни». «Как возможен был Петр, разрушитель Русского и вводитель Немецкого? Если же разрушение началось прежде Петра, то как могло Московское Княжество, соединивши Россию, задавить ее? Отчего соединение различных частей в одно целое произошло не другим образом? Отчего при этом случае должно было торжествовать иностранное, а не Русское начало?»⁸³, – такковы горестные вопросы, требующие ответа.

То, что «погуба» начала давать о себе знать намного раньше, чуть ли не за 350 лет до Петра, уже в период «европейского столетия» неясно России, серьезное доказательство того, что дело не столько в конкретной личности, на чем настаивают славянофилы, а в общественных механизмах саморазвития, которые начинают складываться в обществе, если оно развивается свободно.

Перед исследователями остается все тот же вопрос: чем должны были быть те «защитные механизмы от произвола власти», которые оказались недостаточно развиты в русской культурной традиции и которые не сработали в период установления деспотизма? Что было причиной того состояния русского общества, о котором писал А.С. Пушкин в ответ на «Философические письма» Чаадаева: у нас наличествует «равнодушие ко всему, что является долгом, справедливостью и истиной», а «циничное презрение к человеческой

⁸² Там же. С. 125

⁸³ Там же. С. 119.

мысли и достоинству» может привести в отчаяние?⁸⁴ Какие мировоззренческие установки, идеи, ценности и верования работали (или, напротив, не работали) в период установления деспотизма? Какие содержательные моменты уничтожил и какие, напротив, привнес деспотизм в строй русского мировоззрения?

Вопросы, действительно, сущностные. Но дать на них адекватные ответы в рамках славянофильского мифотворчества нельзя. Иронизируя, скажу, что для ответа на эти вопросы славянофилам нужно было бы поискать в глубине веков какого-нибудь неграмотного старца, ведь, согласно Хомякову, «чем летописец древнее и менее учен, – тем его показания вернее и многозначительнее».

* * *

В отличие от трудов Хомякова и Киреевского работы К.С. Аксакова, в которых он обращается к вопросам русского мирознания, публиковались сравнительно поздно – с середины XIX столетия. Естественно, это обстоятельство позволяет смотреть на них как на произведения, в которых должен учитываться и осмысливаться опыт, пережитый за эти годы Россией и Европой. В первую очередь я имею ввиду приближающиеся (а, значит, готовящиеся и обсуждаемые в обществе) российские реформы 1860-х годов, включая отмену крепостного права, а также европейские революции 1848 г. в Германии и Франции. С учетом этого предположения выскажу гипотезу, касающуюся сущности славянофильской критики Запада.

В работе 1856 г., озаглавленной «Еще несколько слов о русском воззрении», Аксаков предметом своей критики делает «авторитет Европы», якобы мешающий возникновению в России «народного воззрения» – «самобытной национальной

⁸⁴ *Пушкин А.С.* Собрание сочинений в десяти томах. М., 1981. Т. 10. С. 337.

позиции», проявляющейся в науке, литературе, языке и даже одежде. «Уже полтора года лет мы состоим под безусловным авторитетом Западной Европы, – с сожалением констатирует Аксаков. ...В настоящее время ослабели эти постыдные нравственные узы; но крепко еще они нас опутывают. Мода царствует у нас, ибо полное покорство без вопросов и критики явлениям, вне нас возникающим, есть мода. Мода в одежде, в языке, в литературе, в науке, в самых негодованиях, в наших восторгах»⁸⁵. «Освободиться от чужого умственного авторитета», – такова выдвигаемая им теоретическая и общественная задача. И далее – симптоматичное: «Ни к чему и никогда не надобно относиться рабски»⁸⁶.

Как это понимать? Аксаков призывает к искоренению рабского следования идущей с Запада моды. И это как раз тот случай, когда «мысль изреченная есть ложь». То есть, антизападнический пафос славянофильства обнаруживает свою вторичность по сравнению с тем коренным, что славянофилы чувствовали, но ясно формулировали крайне редко: главный враг народа и России – российский деспотизм. Однако признать это, означало для них уподобиться западникам, несравненно более славянофилов идейно бунтовавших против российского самодержавия и указывавших на Европу, как на образец.

Это, далее, означало согласиться с тем, что в деле освобождения человека Европа действительно ушла дальше России и в этом России нужно догонять Запад, учиться у него. Или, наконец, если это ближе славянофилам, опираться на собственный опыт европеизации, а не призывать к воссозданию не критически воспринятого «славного опыта» патриархальной старины.

⁸⁵ Аксаков К.С. Эстетика и литературная критика. М., Искусство, 1995. С. 322.

⁸⁶ Там же. С. 323.

Абстрактность или даже мифологичность позиции, неконкретность критики подводят славянофилов снова и снова. О каком, например, модном российском следовании Европе в литературе и науке в середине XIX в., как утверждает Аксаков, идет речь? Какому «умственному авторитету», какой «европейской моде» следовали Пушкин и Гоголь, Лермонтов и Тургенев? Разве плелась в хвосте европейской мысли, начиная с Ломоносова, русская наука?

Аксаков пишет так, как будто имен этих в русской культуре нет. И объяснение этому возможно только одно: к другому, не славянофильскому «лагерю» принадлежали эти великие умы России, на поиски, прежде всего, «внутреннего», а не «внешнего» врага была направлена их мысль. И, значит, славянофилы предпочитали лишний раз не говорить о них, дабы не подвергать сомнению стройность и обоснованность своих воззрений и выводов. Многократно прав Лев Толстой, однажды сказавший о поисках человеком причин своих несчастий: все двери открываются вовнутрь.

Уничуждение Запада, противопоставление ему России у Аксакова, по сравнению с другими основоположниками славянофильства, достигает, пожалуй, высших степеней. Будучи свидетелем начала развития капиталистических отношений в Западной Европе, что в России будет происходить минимум на полстолетия позже, Аксаков не устает насмехаться и укорять европейцев за погоню за «богатствами и удобствами», при которых человек теряет свою душу. «К чему, например, книгопечатание, если потерял разум? ... Смешно, если на ковре-самолете будут перевозить устрицы, вновь выдуманные пирожки, булавочки и т.п.»⁸⁷, – саркастически замечает он. Прошло столетие, и булавочки действительно стали перевозить, в том числе и по воздуху. Хотя сомнительно, что сам по себе этот факт уменьшил число самостоятельно мыслящих людей.

⁸⁷ Там же. С. 418 – 419.

Аксаков категоричен и непреклонен: «Внешнее обновление материальное не нужно теперь человечеству. Духовное обновление – вот его подвиг»⁸⁸. К сожалению, согласно Аксакову, соблазнами Запада прельстились многие народы и сословия. Не избежала этого, начиная с петровских времен, и Россия. К счастью, полагает Аксаков, подвержены этому пороку «только верхние классы, простой народ остался на корню»⁸⁹. И спасся этот «корневой народ» – крестьянство тем, что сохранил свою общинную жизнь, жизнь в миру. Ничего не знал – не ведал. Крестьянин путем полного отрицания самого себя, своих интересов, целей и ценностей, растворяется в общинном целом. Через «высокий подвиг самоотвержения» личность, полагал славянофил, образует крестьянское общество – общину, мир. Уничтожая личность в себе, крестьянин доходит до «согласия с другими личностями» и, в конечном счете, обретает себя в Боге. Таков, согласно Аксакову, путь истинного христианина в России, таким видится ему путь и самой страны.

* * *

К сожалению, трагический путь России – России самодержавно-деспотической, коммуно-бюрократической и авторитарной не завершен до сих пор. Видим, как и двести лет назад, обычай и насилие торжествуют над законом и свободой человека. И существенную лепту в это положение вещей вносило и вносит славянофильство, под новыми именами претендующее на статус отечественной национальной идеологии.

* * *

⁸⁸ Там же. С. 428

⁸⁹ Там же. С. 429 – 430.

А.И. Герцен, дворянский революционер

В отличие от многих мыслителей отечественной гуманитарной мысли, чье место в истории определяется, прежде всего, их собственным творчеством, «местоположение» А.И.Герцена до недавнего времени было определено большевистской властью: по его поводу неоднократно высказывался сам главный авторитет русского марксизма В.И.Ленин. Ленину же Герцен понадобился исключительно в прагматическом смысле. Требовалось создать из отечественного материала «фундамент» под «единственно верное» коммунистическое учение, которое без такового выглядело не прочно и провоцировало крамольную мысль о механическом переносе на русскую почву идей и идеологии немецких вождей «мирового пролетариата», в своих исследованиях опиравшихся отнюдь не на русский материал. В случае отсутствия «фундамента» перед Лениным возникала дилемма. Либо он, адепты марксизма в России и облагодетельствуемые «революционным знанием» массы должны будут настолько проникнуться его (марксизма) космополитическим духом, что без учета русской истории допустят мысль о его пригодности для нашего Отечества. Либо должны будут молчаливо признать, что все, что в марксизме обосновывалось материалом, взятым из Европы XIX столетия, в полной мере подходит и для нашей, довольно отсталой в экономическом и политическом отношении страны. Создание же «фундамента» эти проблемы снимало.

Однако были сложности с персоналиями. Фигуры Чернышевского – мыслителя двойственного, поклонника мировой культуры и, одновременно, изобретателя российского варианта мефистофелевских гомункулов – «новых людей», Бакунина – анархиста и не реализовавшегося разрушителя мира или прикрывавшихся идеологией откровенных бандитов типа Нечаева и бомбометателей-цареубийц вкуче с их организациями, все они для этого замысла не подходили. Во-первых, нужно было более «раннее» имя, которое бы «связало» 60-е – 70-е годы с декабристами. Во-вторых, упомянутые фигуры слишком обнаруживали свое родство с задумываемой Ильичем партией и ее методами борьбы и, тем самым, ставили под сомнение вопрос о собственно большевистском приращении идеи политического противостояния. В-третьих, эта личность должна была быть своего рода связкой между дворянскими революционерами и революционными демократами и потому не только, как Чернышевский и Бакунин, происходить из самодержавных сословий, но лучше всего, если бы этот человек продолжал оставаться дворянином. Вот по этим основаниям и был избран Александр Иванович Герцен, которому предназначалось стать «мостом», соединить края на самом деле непреодолимой пропасти между дворянскими революционерами и революционными демократами.

В статье «Памяти Герцена», приуроченной к столетию со дня рождения Искандера (псевдоним Герцена), Ленин прямо пишет об этой утилитарной цели: «Рабочая партия должна помянуть Герцена... для уяснения своих задач»⁹⁰. И далее приводит взятые у Искандера слова о декабристах. «Люди 14 декабря» была фаланга героев, выкормленных, как Ромул и Рем, молоком дикого зверя... Это какие-то богатыри, кованные из чистой стали с головы до ног, воины-сподвижники, вышедшие сознательно на явную гибель, чтобы разбудить к

⁹⁰ Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 21. С. 255.

новой жизни молодое поколение и очистить детей, рожденных в среде палачества и раболепия»⁹¹. Славословия вслед за Герценом героев Сенатской площади, Ленин, однако, умалчивает об их коренном отличии от разночинных революционеров. В то время как для «революционных демократов» единственно приемлемой формой протеста против самодержавия было насилие, в предельной форме – революция, чем дальше, тем больше понимаемая хотя как великая и очистительная, но все-таки катастрофа, уничтожающая «старое» общество и делающая легитимным появление «нового человека», для «дворянских революционеров» (и Герцена, в том числе) ситуация и ее разрешение виделись принципиально по-иному⁹².

Закрывая глаза на это коренное отличие декабристов и Герцена от революционных демократов и современной ему социал-демократии в России, вождь-диктатор Ленин конституирует наличие в стране «трех поколений, трех классов», действовавших в русской революции. «Сначала – дворяне и помещики, декабристы и Герцен. Узок круг этих революционеров. Страшно далеки они от народа. Но их дело не пропало. Декабристы разбудили Герцена. Герцен развернул революционную агитацию»⁹³. И завершает: «Чествуя Герцена, пролетариат учится на его примере великому значению революционной теории»⁹⁴. Таким образом «фундамент» был создан – под большевистскую теорию революционного насилия скопом «подведены» декабристы и Герцен.

* * *

⁹¹ Там же.

⁹² О сложной внутренней эволюции Герцена, в конечном счете, приведшей его к реформизму, см.: Кантор В.К. Пути и катастрофы русской мысли. Кого будил А.И. Герцен?// Вопросы литературы. 2009. Июль – август.

⁹³ Там же. С. 261.

⁹⁴ Там же.

Проблему формирования политической воли новых революционных слоев российского общества (не важно, о каком именно слое шла речь – об артельном крестьянстве или пролетариате) Герцен, в особенности, в последний период жизни, рассматривал исключительно в связи с прогрессивным умственным и нравственным развитием общества. Если в общественном развитии не происходит окультуривания, полагал Искандер, то в случае революции народы, «ринутые в движение ... неотразимо увлекают с собой или давят все, что попало на дороге, хотя бы оно было и хорошо»⁹⁵.

В контексте обсуждения темы «дворянские революционеры – революционные демократы» в спорах второй половины XIX в. по отношению к первым часто всплывала аналогия: они-де «лишние люди» в традиционном понимании русской классической литературы или же их потомки. Рассчитывая задеть «благородных» – «лишних людей», равно как и Герцена в их числе, Н.А. Добролюбов в статье «Благонамеренность и деятельность» писал: «Нам пришло в голову: что, если бы Костина (героя одного из рассказов А.Н. Плещеева, «благонамеренного юношу») поселить в Англии, не давши ему, разумеется, годового содержания; что бы он стал там делать? На что бы годился?.. По всей вероятности, он там умер бы с голоду, если бы не нашел случая давать уроки русского языка... Да там о нем не пожалели бы, потому что людей, одаренных благонамеренностью, но не запасшихся характером и средствами для осуществления своих благих намерений, там давно уже перестали ценить»⁹⁶.

Герцен не мог не реагировать на столь грубый утилитаризм. Для него, как справедливо отмечал Н.Я. Эйдельман, «лишние люди» – это и декабристы, и Пушкин, и К. Рылеев,

⁹⁵ *Герцен А.И.* Собр. соч.: В 30-ти т. М., 1954 – 1965. Т. 6. С. 81.

⁹⁶ *Добролюбов Н.А.* Полн. собр. соч.: В 6-ти т. М.; Л., 1934 – 1939. Т. 2. С. 243.

и И. Якушкин, и И. Пущин. В николаевское время, отмечал Герцен, аристократия и канцеляристы перемешались, «канцелярия и казарма мало-помалу победили гостиную и общество». Против этого, как раз и восстали «лишние люди», романтики и аристократы, не умевшие, за что их корят, взяться за топор и за шило. Верно, «Чаадаев ...не умел взяться за топор, но умел написать статью, которая потрясла Россию и провела черту в нашем развитии... Чаадаева высочайшей ложью объявили сумасшедшим и взяли с него подписку не писать... Чаадаев сделался праздным человеком.

Иван Киреевский, положим, не умел сапог шить, но умел издавать журнал: издал две книжки – запретили журнал... Киреевский сделался лишним человеком... Заслуживают ли они симпатии или нет, это пусть себе решает каждый как хочет. Всякое человеческое страдание, особенно фаталистическое, возбуждает наше сочувствие, и нет ни одного страдания, которому нельзя было не отказать в нем»⁹⁷.

В романе «Былое и думы» – философско-художественной эпопее эпохи, Герцен рисует своих товарищей подчас не меньшими героями, которым, хотя и не выпало на долю публично выступить против самодержавия, но все их поведение свидетельствовало о такой способности и готовности. Вот как об идеях свободы, демократии и прав человека – существе грядущего переустройства общества – пишет сам Герцен, когда говорит о себе и своих товарищах в те времена. «После декабристов все попытки основывать общества не удавались действительно; бедность сил, неясность целей указывали на необходимость другой работы – предварительной, внутренней. Все это так.

Но что же это была бы за молодежь, которая могла бы в ожидании теоретических решений спокойно смотреть на то, что делалось вокруг, на сотни поляков, гремевших це-

⁹⁷ Герцен А.И. Цит. соч. Т. 14. С. 321 – 322.

пями по владимирской дороге, на крепостное состояние, на солдат, засекаемых на Ходыньском поле каким-нибудь генералом Дашкевичем, на студентов-товарищей, пропадавших без вести. В нравственную очистку поколения, в залог будущего они должны были негодовать до безумных опытов, до презрения опасности. Свирепые наказания мальчиков 16 – 17 лет служили грозным уроком и своего рода закалом; занесенная над каждым звериная лапа, шедшая от груди, лишенной сердца, вперед отводила розовые надежды на снисхождение к молодости. Шутить либерализмом было опасно, играть в заговоры не могло прийти в голову. За одну дурно скрытую слезу о Польше, за одно смело сказанное слово – годы ссылки, белого ремня, а иногда и каземат; потому-то и важно, что слова эти говорились и что слезы эти лились. Гибли молодые люди иной раз, но они гибли, не только не мешая работе мысли, разъяснявшей себе сфинксовую задачу русской жизни, но оправдывая ее упования»⁹⁸.

За «типологическим» вопросом о принадлежности Герцена к дворянским революционерам или революционным демократам легко угадывается другой – сущностный: о революционном насилии или о реформе как альтернативном способе развития, т.е. то, что у Ленина обозначается понятиями «либерализм» и «социал-демократия». Принятый с подачи Ленина и подаваемый в советский период как непререкаемая истина тезис о том, что эффективная борьба с царизмом возможна только посредством насилия (путь революционных демократов), а избранный дворянскими революционерами путь реформизма, обеспечивающий достижение цели только в долгосрочной перспективе, должен быть отвергнут, этот тезис себя изжил.

Это, однако, не снимает необходимости более глубокого понимания, зачем не только Ленину в 1912 г., но и пришед-

⁹⁸ Там же. Т. 8. С. 144 – 145.

шим к власти большевикам после 1917 г. понадобился авторитет Герцена. Дело, очевидно, заключалось в историческом оправдании содеянного. Отсюда – их «аллилуйя» революции и «анафема» реформе. Отсюда – исторический «фундамент» из декабристов и Герцена в составе «трех классов» русского революционного движения, хотя и «герои 14 декабря», и Искандер органически не принимали насилия и неизбежно следующей за ним кровавой диктатуры.

Продолжу цитирование текста герценовского автобиографического романа. «Черед был теперь за нами. Имена наши уже были занесены в списки тайной полиции. Первая игра голубой кошки с мышью началась так. Когда приговоренных молодых людей отправляли по этапам, пешком, без достаточно теплой одежды, в Оренбург, Огарев в нашем кругу и И. Киреевский в своем сделали подписки. Все приговоренные были без денег, Киреевский привез собранные деньги коменданту Стаалю, добрейшему старику, о котором нам придется еще говорить. Стааль обещался деньги отдать и спросил Киреевского:

– А это что за бумаги?

– Имена подписавшихся, – сказал Киреевский, – и счет.

– Вы верите, что я деньги отдам? – спросил старик.

– Об этом нечего говорить.

– А я думаю, что те, которые вам их вручили, верят вам. А потому на что ж нам беречь их имена. – С этими словами Стааль список бросил в огонь и, само собою разумеется, поступил превосходно»⁹⁹.

Обратим внимание на любопытную и, что важно, неоднократно повторяющуюся и позднее ситуацию, при которой две стороны – имеющие власть и потенциально власть отнимающие – оказываются по одну сторону баррикад, вступают в своего рода нравственный сговор. Естественен вопрос: како-

⁹⁹ Там же. С. 145.

ва могла быть основа этого «союза»? Что стояло за явным потворством власти ее врагам? Почему это «потворство»? Порядочность...

Иного оправдания, как то, что у обеих сторон было общее чувство необходимости перемен и если даже не было единства в понимании средств изменения положения вещей, то все же было нечто, обеспечивающее взаимное доверие и, как следствие, помощь, – иное понимание такого рода ситуаций вряд ли возможно. Этим общим для коменданта Стаала и Киреевского было, без сомнения, единство их собственной дворянской истории, нравственного императива служения Отечеству, присущей им одинаковой системы идеалов и ценностей, общей памяти, наконец. Обе стороны понимали, что объединяющей их целью является поиск общего блага, осуществляемый не насильственно, а путем согласия и реформ. В словосочетании «дворянский революционер» акцент делался на первом слове. К тому же, далеко не последним, скрепляющим этот союз моментом, было и то, что обе стороны ощущали за своей спиной дыхание нового народившегося варвара – революционных разночинцев и разного рода радикалов.

* * *

Основанием для рассмотрения «дворянских революционеров» как особого, более не повторяющегося в дальнейшем исторического течения в общем потоке революционного движения в России нужно считать и то, что оно присутствовало внутри широкого культурного (в том числе и литературного) контекста развития российского общества. Герцен и «дворянские революционеры» лично (как поэты и писатели) или как личности по совокупности своих взглядов органично существовали в контексте общей для них культурной среды и классической литературы XIX в.: «Фонвизин – Грибоедов – Пушкин – Гоголь – Тургенев – Гончаров – Толстой – Островский – Достоевский – Салтыков-Щедрин – Лесков – Чехов».

В этой литературе нет и намека на оправдание или какое-либо позитивное заявление идеи революционного насилия. Вся она проникнута (при всем своем глубоком понимании «свинцовых мерзостей русской жизни») идеями ненасилия, гуманизма, человеколюбия и просвещения соотечественников. Окончательный ее вывод заключался в том, что общественный прогресс возможен не ломкой «через колено», а только «постепенством малых дел».

Но в русской культуре присутствовала и иная линия, вставшая на службу той «партии пролетариата», о которой в связи с Герценом говорит Ленин, и адепты которой начали свое агрессивное литературно-политическое наступление на господствующую линию классики, на линию «реформаторов-постепеновцев». Расплодившиеся под крылом большевизма «люди ниоткуда» начали с призывов «сбросить Пушкина с корабля современности», а закончили замалчиванием «контрреволюционных» романов Достоевского и Лескова, переписыванием (в том числе и в форме киноэкранизаций) творений Фонвизина, Пушкина и других.

Такой была, например, судьба «Недоросля», экранизированная под названием «Господа Скотинины» в 1928 г. режиссером Г. Рошалем. Авторы советского фильма сосредоточивали свое внимание, прежде всего, на разоблачении помещичьих зверств в эпоху разгула крепостного права, а затем и на заслуженной каре (чего нет в тексте пьесы) крепостников со стороны восставшего народа. При этом самодурство фонвизинской Простаковой блекнет перед зверствами кинематографической помещицы. А чтобы зритель острее ощутил историческую обреченность крепостников, в фильме на первый план выдвигалась вовсе не Софья и ее возлюбленный Милон, не мудрый дядя Стародум, а портной Тришка, влюбленный в одну из крепостных девушек Простаковых-Скотининых. На честь девушки, согласно «домысливанию»

комедии Фонвизина, посягал безобразный Простаков. Но не помещик, а именно бедная крепостная страдала от рук его озверевший жены Простаковой. Так рождался праведный гнев в сердце оскорбленного в своем чувстве Тришки, и он вместе с восставшим народом предавал огню помещичью усадьбу Простаковых-Скотининых. В кинопроизведении не оставалось и следа от позитивных идей просветителя Стародума, как и самого Стародума, очевидно, потому, что Фонвизин вывел его как успешного предпринимателя и, одновременно, царского помощника.

Не меньшей революционной переделке подверглась и повесть А.С. Пушкина «Капитанская дочка». Сценарий фильма по повести, получивший в советском кинематографе название «Гвардии сержант», был написан выдающимся историком и теоретиком литературы В.Б. Шкловским. Правда, уже лет через десять он сам признавал ошибочность своей сценарной концепции. Но картина получилась весьма показательной для системы ценностей новорожденного социума, преобразующего под свои цели русскую культуру. Об этом фильме, поставленном в 1928 г. Ю.В. Таричем, в аннотированном каталоге «Советские художественные фильмы» было, в частности, сказано, что сценарист и режиссер избрали путь «исправления» исторических ошибок, якобы присущих пушкинскому произведению. Сохранив фабульную канву повести, экранизаторы вводили ряд дополнений, заново переписывали образы основных героев, а «сценарист и режиссер модернизировали историческую концепцию произведения в духе школы Покровского»¹⁰⁰.

Что касается самого Шкловского, то он в статье 1927 г. «Как ставить классиков» провозглашал кампанию их «мас-

¹⁰⁰ Советские художественные фильмы. Аннотированный каталог. Т.1. М., 1961. С. 267 – 268. М.Н. Покровский – до начала 30-х годов один из главных официальных историков советской власти.

сового исправления». Поскольку кино, как полагал ученый, – «великий искажитель», то с Толстым, Пушкиным, Лермонтовым, Достоевским нужно было «бороться» по линии изменения сведений, которые они сообщают. В кино, полагал он, нужно создавать вещи, «параллельные произведениям классиков»¹⁰¹. И поскольку «Капитанская дочка» Пушкина – кладезь «неправильных фактов», кинодраматург и создавал собственную «параллель» повести. По этому поводу у Тарича читаем: «Ввиду того, что общие установки и характеристика эпохи в «Капитанской дочке»... для нас, рассматривающих исторические явления с диаметрально-противоположной точки зрения, – оказались неверными и неприемлемыми, мы внесли ряд существенных корректур как в историческую часть повести, так и в бытовую»¹⁰².

Так, ужас пушкинского Петра Андреевича Гринева перед стихией беспощадного и бессмысленного русского бунта не был актуален для новой эпохи. Напротив, передовая советская художественная интеллигенция призывала его на головы дворянского сословия. В новой интерпретации персонажи символизировали собой определенный «классовый тезис». Петр Гринев олицетворял политику дворянской экспансии и отправлялся в Белогорскую крепость для захвата вольных крестьянских земель, а в финале этот ничтожный и трусливый дворянчик становился незадачливым любовником Екатерины II. Напротив, изображенный в повести предателем дворянин Швабрин в фильме делался правой рукой Пугачева и едва ли не идейным последователем Радищева. Он был демократичен, держал себя с народом запросто, был облачен в армяк и просвещал Машу, читая ей сочинения французских материалистов.

¹⁰¹ Цит. по кн.: Гуральник У.А. Русская литература и советское кино. Экранизация классической прозы как литературоведческая проблема. М., 1968. С. 75.

¹⁰² Там же. С.101.

Одним из близких соратников Пугачева в фильме становился предавший Гринева старый Савельич, а злодей Гринева исполнял пляску над его еще не остывшим трупом...

По Шкловскому, «Капитанская дочка» для того и была написана Пушкиным не от своего имени, а под маской простодушного и неумного Гринева, чтобы сгладить социальные противоречия, лежащие в основе пугачевщины. Шкловский полагал, что повесть якобы была сделана Пушкиным так, чтобы «не дать (не показать. – С.Н.) крепостное право», не дать заинтересованность дворян в наступлении на степь; ослаблены силы Екатерины в степи и вместо крепости дан какой-то загончик, в котором живут милые люди, обижаемые разбойниками». Иными словами, «Капитанская дочка» Пушкина не выдерживала проверки историей: «Пушкин, – следует вывод, – уже для своего времени лжет в своем произведении»¹⁰³.

Приведенные выдумки советских экранизаторов выглядели бы вполне анекдотически, не будь они одной из многочисленных конкретизаций заданной ленинизмом фальсификаторской методологии – органической части идеи революционного преобразования мира.

* * *

Явленная Герценом «идеология реформ» не может быть «предваряющей ступенькой» ленинской теории революционного насилия, поскольку решительно его отрицает. По этой причине в истории русского революционного движения нет единой линии «от декабристов до большевиков», а есть два взаимоисключающих подхода к вопросу о характере и методах изменения общественной действительности. И практическая реализация одного из них, закончившаяся глобальным российским крахом, еще один повод обратиться к оболганному, но исторически верному.

* * *

¹⁰³ Там же. С. 104.

Уачно 2

Поэт и Демон. Лермонтовские вопросы Творцу

Хотя в общественном сознании Лермонтов традиционно маркируется как «второй поэт России», певец ее красот и обретающихся в ней «лишних людей», философское содержание его поэзии и прозы далеко от адекватного осмысления. Похоже, у нашего высоко мнящего о себе «креативного» времени до сих пор не нашлось интеллектуальных и душевных сил для его понимания. Может быть календарный повод – отмечаемое в 2014 г. 200-летие со дня рождения Поэта – потревожит наш ленивый сон?

* * *

Более ста лет назад Александр Блок высказал одну из самых глубоких и до сего дня не раскрытых формул отечественного культурного бытия: «Лермонтов и Пушкин – образы “предустановленные”, загадка русской жизни и литературы». Два поэта – «“собственные имена” русской истории и народа русского. ... Дело идет о чем-то больше жизни и смерти – о космосе и хаосе». И если о Пушкине говорят, то «о Лермонтове еще почти *нет слов* – молчание и молчание».¹⁰⁴

Но как же *«нет слов»*? Ведь написано в 1906 г., уже после выполненных в XIX столетии множества исследований. Блок не мог не знать о попытках «разгадать» Лермонтова, приписывая ему то «томление духа» (Н.П. Дашкевич), то, напротив, якобы зарождающиеся в нем силы, которые обеспечивают ему в будущем «долгую и здоровую жизнь» (В.Г. Белин-

¹⁰⁴ Блок А.А. Педант о поэте. 1905. http://az.lib.ru/b/blok_a_a/text_1905_pedant_o_poete.shtml

ский). Наверняка им не остались незамеченными и попытки «согласовать» Лермонтова с догматами славянофильства (В.О. Ключевский, Н.А. Котляревский). Однако он, похоже, предпочел не заметить их. Равно как и учительного перста Ф.М. Достоевского: «Если б он перестал возиться с большою личностью русского интеллигентного человека, мучимого своим европеизмом, то наверно бы кончил тем, что отыскал исход, как и Пушкин, в преклонении перед народной правдой, и на то есть большие и точные указания. Но смерть опять и тут помешала. В самом деле, во всех стихах своих он мрачен, капризен, хочет говорить правду, но чаще лжет и сам знает об этом и мучается тем, что лжет...»¹⁰⁵. Лермонтов – лжец?

В зоне «молчания» Блок оставил и широко известный отзыв Владимира Соловьева с его обличительными оценками, в которых падший ангел поэта – «демон кровожадности», «демон нечистоты», «демон гордости». Якобы обуянный «демоническим сладострастием» Лермонтов «попусту сжег и закопал в прах и тлен то, что было ему дано для великого подъема как могучему вождю людей на пути к сверхчеловечеству»¹⁰⁶. Туда же, в небытие, отправлен и жесткий вердикт: «Судьба или высший разум ставят дилемму: если ты считаешь за собою сверхчеловеческое призвание, исполни необходимое для него условие, подними действительность, поборовши в себе то злое начало, которое тянет тебя вниз. А если ты чувствуешь, что оно настолько сильнее тебя, что ты даже борешься с ним отказываешься, то признай свое бессилие, признай себя простым смертным, хотя и гениально одаренным. Вот, кажется, безусловно разумная и справедливая дилемма: или стань

¹⁰⁵ *Достоевский Ф.М.* Дневник писателя за 1877 год. Полное собрание сочинений в тридцати томах. М., 1984. Т. 26. С. 117. Неприязнь автора «Бесов» к Лермонтову столь велика, что он даже сравнивает его с «бесноватым» Ставрогиным, имея в виду силу «демонической злобы».

¹⁰⁶ *Соловьев В.* Лермонтов. Литературная критика. М., 1990. С. 284.

действительно выше других, или будь скромным»¹⁰⁷. Гению – учительскую методичку?

К сожалению, традицию «молчания» фактически продолжил и отечественный XX век, обнаружив в творчестве Лермонтова классовую природу, а в самом поэте персону, в которой «гордо умирала аристократическая культура Руси конца XVIII в. – начала XIX в., обречённая на гибель катастрофой 14-го декабря» (Н.И. Коробка).

Классовая сентенция оказалась на редкость живучей. Например, в монографии уже 1975 г., изданной Институтом мировой литературы им. А.М. Горького, У.Р.Фохт серьезно задавался вопросом: «...Какая группа русского общества к 30-м годам вместе с Демоном (? – С.Н.) была лишена своего прежнего господствующего общественного положения, была социально изолирована и, сохранив известную часть своей материальной и культурной силы, не удовлетворяясь своим новым положением, озлобленная, замкнулась в себе, стала «скупать», а затем впала в гордое отчаяние?»¹⁰⁸ И, указав на «монархию бюрократическую», делает о низвергнутом с небес неожиданный вывод: «В результате противоречия между внешним и внутренним могуществом, которые остались Демону от прошлого, и пустотой и бессмысленностью его нового положения в первое время после изгнания, в результате этого конфликта крайне обострилось сознание собственного достоинства»¹⁰⁹.

В этом же ключе толковал Лермонтова и один из самых усердных его популяризаторов – И.Л. Адроников, который, к примеру, в замысле «Маскарада» видел стремление поэта

¹⁰⁷ Там же. С. 284 – 285.

¹⁰⁸ Цит. по тексту, переизданному в 2002 году: Фохт У.Р. «Демон» Лермонтова как явление стиля. В кн.: *М.Ю. Лермонтов: Pro et Contra*. СПб., 2002. С. 512 – 513.

¹⁰⁹ Там же. С. 510.

«разоблачить аристократию, опору императорского трона»¹¹⁰. В целом же, констатировал известный литературовед Б.М. Эйхенбаум, «литература о Лермонтове, несмотря на свою обширность, так бессильна и так ненаучна, что в работе над ним опереться почти не на что»¹¹¹.

Оставим «лермонтоведам» (или: пусть филологи... слишком высокомерно, ты сам оказываешься лермонтоведом) разбираться в содержательности и глубине множества научных исследований, посвященных поэту: только в изданном в 2003 г. библиографическом указателе за 1978–1991 гг. таких работ значится более трех с половиной тысяч. Сошлюсь на мнение одного из компетентных современных специалистов. «От разгадывания русских загадок Лермонтов отставлен. Споры-диспуты-ошибки – быть или не быть России Россией – обходятся без него. А раз отставлен, то, соответственно, и переведен в иное Созвездие. С понижением в чине. ...Что завтра будет, бог весть, но сегодня, здесь и сейчас, и впрямь не нужен – лишний»¹¹². Очевидно, что «понижение в чине» – случай не частый. Отчего же так?

Размышляя над этим, вспоминаешь слова Блока: у Лермонтова «...дело идет о чем-то больше жизни и смерти – о космосе и хаосе». Центральная в этой теме – фигура Демона¹¹³. Всеми признано, что этот образ сопровождает творчество поэта на протяжении всей жизни. Со Сократа к изображению этого персонажа обращаются многие мастера

¹¹⁰ Андроников Ираклий. Лермонтов. Исследования и находки. М., 2013. С. 592.

¹¹¹ Эйхенбаум Б.М. Лермонтов как историко-литературная проблема. В кн.: М.Ю. Лермонтов: Pro et Contra. СПб., 2002. С. 476.

¹¹² Марченко Алла. Лермонтов: под губительной звездой. М., 2014. С. 7.

¹¹³ Здесь и далее я буду писать имя персонажа с большой буквы. Когда же придется называть врага Бога, буду использовать строчную букву.

слова. В 1821 г. появляется мистерия Д.Г. Байрона «Каин», а в 1832 г. русская публика встречается с ним в трагедии И.В. Гете «Фауст». Демон – частый персонаж А.С. Пушкина.

В контексте темы космоса и хаоса Гете, Байрона, Пушкина и Лермонтова роднит не столько форма – связь с романтической традицией, сколько содержание: вопрос об отношениях человека с Богом и высшими сферами, место и степень свободы (несвободы) человека в устроенном Богом мире. В трактовках названных авторов обнаруживаются две отличные линии. У Пушкина и Гете – демон и Мефистофель играют свои роли в рамках, заданных изначально Библией. Они – падшие ангелы, извечные враги Творца, ненавистники свободы и любви, повелители зла. У Байрона и еще сильнее у Лермонтова, демон – оппонент-спорщик с Богом. Его укору Творцу – наличие на земле зла, невмешательство в злые деяния, превращение людей в низких рабов, закабаленных фатумом. Но между Демоном у Байрона и Лермонтова есть разница. Демон Байрона – обличитель. Демон Лермонтова – не только обличает, но предпринимает попытку выйти из определенной ему Богом роли злого духа, вырваться из своего состояния через любовь. Прав Белинский: «Демон не пугал Лермонтова. Он был его певцом»¹¹⁴.

* * *

Обращение исследователей к образу Демона в творчестве Лермонтова имеет длительную историю. Однако удачных попыток не много. Среди них – работа Д.С. Мережковского, критически отзывавшегося об известных ему исследованиях и впервые попытавшегося подойти к проблеме конструктивно. «Вся русская литература есть, до некоторой степени, борьба с демоническим соблазном, попытка раздеть лермонтовского Демона и отыскать у него “длинный, гладкий хвост, как у датской собаки”». Никто, однако, не полюбоствовал,

¹¹⁴ *Белинский В.Г.* Полн. собр. соч. М., 1955. Т. VII. С.37

действительно ли Демон есть дьявол, непримиримый враг Божий»¹¹⁵. Иными словами: хочет ли Демон божий мир разрушить или он озабочен вопросом о его улучшении и притом столь серьезно, что даже рискует спорить с Творцом. Вопрос Мережковского органически следует из увиденного им у Лермонтова нового философского взгляда на исследуемый предмет: «В христианстве – движение от «сего мира» к тому, отсюда туда; у Лермонтова обратное движение – оттуда сюда»¹¹⁶.

То, что предложил поэт, до него не предлагал никто. И в этом непривычном взгляде – одна из граней лермонтовского гения. Но зачем же ему понадобился новый угол зрения? Мой ответ заключается в следующем. В отечественной философирующей литературе Лермонтов, возможно, как никто иной, острее других ощутил несовершенство сотворенного Богом мира. И обычный ответ – несовершенство есть кара Бога за первородный грех первых людей – поэта не удовлетворяет. Лермонтовская крамола – есть ли в несовершенстве мира ответственность самого Творца? Конечно, этот вопрос содержали все теодицеи, начиная с первых веков христианства. Но на русской почве, да еще и сформулированный светским человеком, он был поставлен впервые.

Более того: для желающих улучшения мира ответ на сопутствующий вопрос – «Можно ли мир улучшить?» – в русле православной традиции не имел перспективы. Он подавлялся глубоко укорененном в русском мировоззрении представлением о фатуме, неизменности существующего порядка вещей. В этом сказалось жесткое следование византинизму с государственной идеей подданства, лишаящего человека личной свободы и, в то же время, отход от христианства с его идеей личной свободы выбора из разных возможностей.

¹¹⁵ Мережковский Д.С. М.Ю. Лермонтов. Поэт сверхчеловечества. В кн.: М.Ю. Лермонтов: Pro et Contra. СПб., 2002. С. 370.

¹¹⁶ Там же. С. 362.

Поэт, остро переживавший необходимость личной свободы и ее важнейшего средства – познания и связанного с этим выбора, удовлетвориться этим не мог.

Однако вопрошание к Богу от лица человека проблему решить не могло. Здесь требовалось иное существо, если не равновеликое Богу, то в чем-то ему подобное. Такое существо поэт увидел в Демоне. Демон – фигура, которой теологи отказывали в исправлении и спасении в отличие от человека, желая его иметь примером зла.

Лермонтов, конечно, знал о существующей традиции апелляции к этому персонажу. Однако пушкинский или гетевский демоны (если допустить, что Лермонтов об этом размышлял), для роли вопрошателя не годились. Они были классическим образчиками библейского зла, духа ада. Не вполне подходила для такой миссии и байроновская трактовка Люцифера. Лермонтову нужен был Демон, который бы не оппонировал, но попытался изменить порядок вещей, в том числе своим действием, рискуя собой. И этого Демона поэт создал.

Не берусь судить о степени распространенности такой трактовки образа Демона в лермонтоведении. Отмечу, что к вопросу о природе зла и ответственности за него Бога в жизни и творчества поэта недавно обратился Валерий Михайлов, тоже поэт, к тому же не чуждый «последних вопросов» бытия. Его реконструкция лермонтовского мировидения состоит в следующем. Человеческая жизнь – не «наше», о божеское воплощение. Промысел Божий – его *Провидение*, это Его воля в нас и через нас. «Православное понимание Промысла – действие премудрой и всеблаготворной воли Божией, которая благим целям, всякому добру способствует, а возникающее, через удаление от добра, зло пресекает и обращает к добрым последствиям»¹¹⁷.

¹¹⁷ Михайлов В. Лермонтов. Один меж небом и землей. ЖЗЛ. М., 2013. С. 137.

Но из его ответа проистекает следующее: если Бог творит добро и уничтожает зло, то последнее должно уменьшаться. Однако зла не становится меньше. Означает ли это, что благая Божья воля не достаточно сильна? К тому же, в этой трактовке нет нужды в Демоне, в субъекте крамольного вопроса. Акцент делается только на фигуре Творца. Он сам пресекает зло и творит (усиливает) добро. К тому же, по-прежнему не ясно, откуда в сотворенном Богом мире вообще берется зло. И почему всесильный Бог не может искоренить зло?

Наверное, эти вопросы жили в Лермонтове всегда и вконец измучили его. «Нужно было выстрадать слишком много, – подмечает В.Ф. Ходасевич, – чтобы и к Богу обратиться с последней благодарностью и последней просьбой: “За все, за все Тебя благодарю я... / Устрой лишь так, чтобы Тебя отныне / Недолго я еще благодарил”».

... Вот строки, кажется, самые кошунственные во всей русской литературе: в них дерзость содержания подчеркнута оскорбительной простотой формы»¹¹⁸.

Обратимся к Лермонтову. Сюжеты его произведений переполнены страданиями героев, причины которых – в несовершенстве сотворенного Богом мира. Значит, Бог сотворил мир не так, как следовало бы или ему противостояла злая сила, которую Всемогущий не смог победить. Именно это вполне еретическое допущение и осмеливается предполагать поэт, избирая позицию анализа «оттуда сюда». И не об этом ли спорил с Богом его лучший ангел, низвергнутый на землю?

Обратимся к Откровению Иоанна из «Нового Завета»: «7. И произошла на небе война: Михаил и ангелы его воевали с драконом. И дракон воевал, и ангелы его, 8 и он не осилил, и не нашлось уже для них места на небе. 9 И низвержен был дракон великий, змей древний, называемый Дьяволом и Са-

¹¹⁸ Ходасевич В. Ф. Фрагменты о Лермонтове. В кн.: М.Ю. Лермонтов: Pro et Contra. СПб., 2002. С. 435.

таной, обманывающий всю вселенную; он был низвержен на землю, и ангелы его были низвержены с ним»¹¹⁹.

Существует древняя, вероятно гностического происхождения, легенда, – продолжает этот сюжет Мережковский, упоминаемая Данте в «Божественной комедии», об отношении земного мира к этой небесной войне¹²⁰. Ангелам, сделавшим окончательный выбор между двумя станами, не надо рождаться, потому что время не может изменить их вечного решения; но колеблющихся, нерешительных между светом и тьмою, благость Божья посылает в мир, чтобы могли они сделать во времени выбор, не сделанный в вечности. Эти ангелы – души людей рождающихся¹²¹»¹²².

Мережковский продолжает: «Самое тяжелое, «роковое» в судьбе Лермонтова – не окончательное торжество зла над добром, как думает Вл. Соловьев, а бесконечное раздвоение, колебание воли, смешение добра и зла, света и тьмы»¹²³. Бесконечное колебание на земле – только отражение начатого на небесах противления Бога и дракона, богоборчества, из которого есть два исхода – в богоотступничество и в богосыновство¹²⁴. Борьба добра со злом есть вечное, неизбывное колебание, их «смешение», и фигура Демона это воплощает.

Лермонтов первый в русской литературе поднял философско-религиозный вопрос о субъекте зла. Он имел смелость

¹¹⁹ Откровение от Иоанна. Новый Завет. М., 1997. С. 497.

¹²⁰ См. песнь III «Ада» (ст. 31—42). Участь нерешительных ангелов, представленная у Данте, имеет мало общего с легендой, которую далее излагает Мережковский.

¹²¹ Эту легенду приводит в своем сочинении «О началах» (кн. 1, гл. 6, §2) христианский богослов Ориген (ок. 185—253/254), объявленный в 543 г. еретиком. (Ориген. О началах. Новосибирск, 1993. С. 89).

¹²² Мережковский Д.С. М.Ю. Лермонтов. Поэт сверхчеловечества. В кн.: М.Ю. Лермонтов: Pro et Contra. СПб., 2002. С. 358.

¹²³ Там же. С. 366.

¹²⁴ Там же. С. 369.

посмотреть на явление не с общепринятой христианской точки зрения, согласно которой зло послано человеку Богом в наказание за грехи его прародителей и освобождение от которого наступит как награда только в будущей небесной жизни. Поэт шагнул за пределы православного толкования и осмелился спросить Бога о его личной ответственности за разлитое по земле зло. Более того. Он выступил против сохранения в неизменном виде заданного Богом порядка вещей, против фатума, судьбы – рабства, устроенного Богом для людей. И свой вопрос (протест) он облек в образ низвергнутого Демона, который, борясь с Богом перестает быть драконом. Почему же в драконе происходят нравоперемены?

* * *

Не углубляясь в текст поэмы, я, тем не менее, должен адресоваться к ее содержанию, чтобы воспроизвести и интерпретировать узловые элементы лермонтовской трактовки Демона, сравнивая ее с образами демона у Пушкина, Люцифера у Байрона и Мефистофеля у Гете.

В своем прошлом Демон – «чистый херувим», стоящий подле Творца, которому верил и которого любил. (У Байрона Люцифер даже называет себя помощником Бога). Наказанный за жажду познания, он низвержен и сделан «бичом» земных рабов Бога.

Демон влюбляется в Тамару и в нем чудесным образом происходит перемена: «...То не был ангел небожитель... / То не был ада дух ужасный, / Порочный мученик – о нет! / Он был похож на вечер ясный: / Ни день, ни ночь, – ни мрак, ни свет!..»¹²⁵ Демон преобразен любовью и этой силой надеется изменить судьбу, предначертанную Творцом – «И входит он, любить готовый, / С душой, открытой для добра, / И мыслит он, что жизни новой / Пришла желанная пора»¹²⁶.

¹²⁵ *Лермонтов М.Ю.* Полное собрание сочинений. Т. IV. М., 2000. С. 237.

¹²⁶ Там же. С. 243.

Перемены происходят и в Тамаре, избравшей монашеское служение Богу. Но мечты о любви делают для нее недоступными восторги веры. Единение влюбленных вот-вот случится, но ему мешает посланный Творцом ангел. При его появлении Демон вновь обращается в «злого духа». В нем просыпается «старинной ненависти яд», и на этот раз ангел уступает.

В исповеди Демона, обращенной к Тамаре, раскрывается и определенное ему Богом предназначение, и мотивы его противоборства с Всевышним. «Я царь познания и свободы», – открывает себя Демон. Полюбив Тамару, он пытается изменить данную ему Богом судьбу и тем самым вновь восстает против Господа: «С моей преступной головы / Я гордо снял венок терновый, / Я все бывшее бросил в прах...»¹²⁷

Поступок этот – не только следствие охватившей Демона любви. Не менее значимо и его нежелание держать в рабстве ничтожных людей: «...пламень чистой веры / Легко навек я залил в них... / А стоили ль трудов моих / Одни глупцы да лицемеры?»¹²⁸

Тамара ужасается безумному богоборчеству. Но Демон успокаивает: «На нас не кинет взгляда: / Он занят небом, не землей!»¹²⁹ и дает клятву: «Клянусь любовью моей: / Я отрекся от старой мести, / Я отрекся от гордых дум; / Отныне яд коварной мести / Ничей уж не встревожит ум; / Хочу я с небом помириться, / Хочу любить, хочу молиться, / Хочу я веровать добру».¹³⁰

Светлые надежды несбыточны. Ответа, в какой момент персонаж из ищущего любви ангела, вновь превращается в злого духа, в поэме нет. Смерть. В ее финале божий ангел,

¹²⁷ Там же. С. 248.

¹²⁸ Там же. С. 250.

¹²⁹ Там же. С. 253.

¹³⁰ Там же. С. 254.

несущий в рай душу Тамары, встречается со вновь изменившимся Демоном – теперь вновь «адским духом»: «Но, Боже! – кто б его узнал? / Каким смотрел он злобным взглядом / Как полон был смертельным ядом / Вражды, не знающий конца, – / И веяло могильным хладом / От неподвижного лица»¹³¹.

Полюбивший Тамару и добившийся ответного чувства падший ангел вышел из определенной ему Богом судьбы, но вновь был водворен в предзаданную Творцом рамку, низвержен во зло. Бог не терпит своеволия: «И проклял Демон побежденный / Мечты безумные свои, / И вновь остался он, надменный, / Один, как прежде, во вселенной / Без упования и любви!»¹³² Любовь только к земному! Конечно, он и не мог достичь неба, и Лермонтов это понимал.

Разлитое в мире зло, ничтожество людей, невозможность борьбы со злом и невмешательство Творца в земные безобразия – таков, по всей видимости, исходный мотив лермонтовского богоборчества. Восставший против Бога демон – форма поэтического стремления к свободе, неприятие рабства, бунт против фатума.

* * *

В разработке проблематики Демона Лермонтов наследовал пушкинскую традицию обращения к теме свободы и судьбы. Но демон Пушкина иной. Он клеветает, презирает, насмехается, не верит любви и свободе¹³³. Демон является поэту в тот момент, когда тот полон надежд, преисполнен веры в близкую славу и любовь. Пушкинский демон-разрушитель «притягивается» в мир не своим, а чужим, человеческим помышлением о свободе, возникает вместе с мыслями о ней, чтобы их тут же убить. В противоположность Демону Лермонтова, он, тем более, не желает изменения своей соб-

¹³¹ Там же. С. 261 – 262.

¹³² Там же. С. 262 – 263.

¹³³ *Пушкин А.С.* Пол. собр. соч.: В 10 т. М., 1964. Т.1. С. 322.

ственной природы, она столь же неизменна, сколь и вечна. В конечном счете, демон Пушкина не выходит за границу жизни predetermined Творцом, не бунтует, не пытается стать иным.

Не надеется выйти за границы судьбы и сам Пушкин. «Свободы сеятель пустынный» горестно итожит: «Паситесь, мирные народы! / Вас не разбудит чести клич. / К чему стадам дары свободы? / Их должно резать или стричь. / Наследство их из рода в роды / Ярмо с гремушками да бич».¹³⁴ Пушкинская линия демонизма совпадает с линией Мефистофеля Гете. Впрочем, как и наоборот.

Первый поэт отечества многое сделал для укоренения мировоззренческого смысла судьбы в сознании становящегося российского общества. Вспомним сюжет из наиболее показательного в этом отношении произведения – повести «Метель» из цикла «Ивана Петровича Белкина». Ямщик выбирает короткий путь, но сбивается с дороги и герой оказывается у церкви. «Сюда! сюда!» – закричало несколько голосов. ... Непонятная, непростительная ветреность... я стал подле нее перед налоем; ... Нас обвенчали». После венчания, увидев лицо мужа, Марья Гавриловна с криком «Не он! не он!» падает без памяти. «Я повернулся, вышел из церкви безо всякого препятствия, бросился в кибитку и закричал: «Пошел!»...

– Боже мой, боже мой! – сказала Марья Гавриловна, схватив его руку, – так это были вы! И вы не узнаете меня?

Бурмин побледнел... и бросился к ее ногам...»¹³⁵. Опыте – романтизм

Похожая история образует сюжет «Станционного смотрителя». В обоих, что отличает автора «Повестей» от «Демона» Лермонтова, счастливый конец. насчет «Ст. см.» вопрос. Пушкин не восстает против провидения, не оскользается в

¹³⁴ Там же.

¹³⁵ Там же. Т.6. С. 68 – 69.

бунт богоборчества. Он последовательный православный христианин, для которого свобода дана людям лишь для того, чтобы они своими добрыми делами смыли с себя проклятие первородного греха и сделались угодными Богу. Во всех иных отношениях она – источник своеволия, греховного соблазна, торжества дьявола. Только приятие божественной предопределенности гарантирует людям царство свободы и вечной жизни в граде Небесном.

Концепт судьбы как божественной предопределенности, однажды возникнув в пространстве отечественного литературного философствования, впоследствии прочно закрепляется в нем, регулярно воспроизводится. У Пушкина – он свидетельство благой воли Творца, обнаруживающейся в отдельном человеке. У Тургенева проявляет себя как во благо, так и во зло не только в человеке, но и в природной стихии, с которой человек сливается вплоть до полного растворения. Толстой, с одной стороны, углубляет концепт судьбы, низводя его до последних слоев человеческой психики (например, рассказ «Дьявол»), а, с другой, расширяет его содержание до масштабов социального слоя и народа в целом, выводит за пределы России и заявляет о нем как о существенном свойстве мирового порядка. В интерпретации Достоевского в фантоме-судьбе проступают черты языческого идола вот-вот, писатель концентрируется на исследовании его бесовского начала, покоящегося на дне человека и приходит к заключению о неизбежности подчинения ему.

На фоне этой широкой отечественной литературно-философской панорамы Лермонтов стоит особняком. Он один решается взглянуть не «снизу вверх», а «сверху вниз» и предполагает в феномене судьбы форму божеского рабства, он один осмеливается формулировать вопрос об ответственности Творца за человеческую несвободу. Наиболее отчетлив этот посыл – в «Демоне».

Но если с отечественной словесностью в этой теме у Лермонтова нет согласия, то в мировом контексте ситуация выглядит по-иному. В тональности рассмотрения вопросов хаоса и космоса, равно как и в методологическом подходе к проблеме Лермонтову наиболее созвучен его ближайший литературный предшественник поэт-романтик Джордж Гордон Байрон.

* * *

В предисловии к мистерии «Каин» Байрон оговаривает для себя свободу философского рассуждения, отказывается от узких библейских рамок. «...Мой сюжет не имеет ничего общего с Новым Заветом»¹³⁶, (почему Новый завет – Каин – Ветхий) – говорит он. При этом, если Лермонтов избирает точку вопрошания Бога в траектории «сверху вниз», то байроновский сюжет предполагает ракурс лишённого истории «горизонтального» контакта с Иеговой. Контакт в такой плоскости возможен потому, что действие в мистерии разворачивается буквально на первой ступеньке человеческой истории – в семье первых людей Адама и Евы и их сыновей Авеля и Каина.

У Байрона, как и у Лермонтова, узел проблемы – в рабской зависимости человека от божественной воли (судьбы), что сперва рассматривается через конфликт Иеговы и Люцифера, а потом и Иеговы с Каином. Люцифер – помощник Бога в творении мира, отказавшийся впоследствии быть послушным орудием Его воли: «О нет, я не имею ничего / С Ним общего – и не скорблю об этом. / Я соглашусь быть чем угодно – выше / Иль даже ниже – только не слугою / Могущества Иеговы. Я не Бог, / Но я велик...»¹³⁷

Видя мир, погруженный во зло, Люцифер избирает позицию взыскательной критики Бога, о чем заявляет Каину при

¹³⁶ Байрон Д.Г. Малое собр. соч. СПб., 2012. С. 93.

¹³⁷ Там же. С. 112.

первом же знакомстве: «Мы существа, / Дерзнувшие сознать свое бессмертье, / Взглянуть в лицо всеильному тирану, / Сказать ему, что зло не есть добро»¹³⁸. Сравнивая свою судьбу с судьбами ангелов, кои предпочли «бряцание на арфах» мукам свободы, Люцифер проводит между собой и ими черту: «Они поют и говорят лишь то, / Что им велят. Их устрашает участь / Быть в мире тем, чем мы с тобою стали: / Ты – меж людей, я – меж бессмертных духов»¹³⁹.

В отличие от автора «Демона», протестное начало у Байрона вместе с Люцифером олицетворяет и первенец Адама Каин: «У них на все вопросы / Один ответ: “Его святая воля, / А Он есть благ”. Всесилен, так и благ?»¹⁴⁰ И если от Люцифера мы можем проложить дорожку к Демону, то от Каина нам придется торить тропу, пожалуй, к Печорину с его презрением к людям и признание фатума, существование которого он вынужденно приемлет, но которому, как и Каин, не желает покоряться.

Печоринское презрение к людям – того же рода, что и непокорство Каина. И о сыне Адама можно сказать, что он – отклонение от нормы. «Печорины, как подмечает Л. Шестов, – болезнь, а как ее лечить, знает лишь один Бог... Под этими словами вы найдете самую задушевную и глубокую мысль Лермонтова: как бы ни было трудно с Печоринскими – он не отдаст их в жертву середине, норме»¹⁴¹. Почему поэту так дорог спорщик с Творцом?

Сюжет «Каина» в концентрированном виде дает понимание судьбы человека, возжелавшего свободы и не побоявшегося в этом своем желании вступить в спор с Богом. Скотовод Авель приносит кровавую жертву Иегове, и она принимает-

¹³⁸ Там же. С. 105.

¹³⁹ Там же. С. 104.

¹⁴⁰ Там же. С. 100.

¹⁴¹ Шестов Л. Из книги «Достоевский и Ницше. (Философия трагедии)». В кн.: М.Ю. Лермонтов: Pro et Contra. СПб., 2002. С. 390.

ся, а плоды земледельца Каина Бог отвергает. Каин не внемлет уговорам Авеля последовать его примеру и, не преклоняя колен, дерзит Богу: «Дух, для меня неведомый! Всесильный / И всеблагой – для тех, кто забывает / Зло дел Твоих! Иегова на земле! / Бог в небесах, – быть может, и другое / Носящий имя, – ибо бесконечны / Твои дела и свойства! Если нужно / Мольбами ублажать Тебя, – прими их!»¹⁴² Но «мольбы» Каина звучат почти как угрозы. Каин, восставший на Творца и убивший Авеля, обрекается на вечное скитание и мученье.

Исчезает и Люцифер. В его последних словах – наставление людям, желающих быть свободными. Зло и добро – не от Бога и дьявола. Они суть «сами по себе». Человеку нужно отказаться от простого ответа: добро – от Бога, зло – от сатаны. Следует признать, что Творец дал людям только один дар – «древо знания – ваш разум». И человеку необходимо жить, руководствуясь императивом: «Терпи и мысли – созидай в себе / Мир внутренний, чтоб внешнего не видеть: / Сломи в себе земное естество / И приобщись к духовному началу!»¹⁴³ Человеку – быть независимым от Бога и, тем самым, возвыситься до небес? Что это, как не бунт?

* * *

Демон Лермонтова, продолжающий Люцифера и Каина Байрона – ключевой образ всего творчества поэта, наиболее глубоко раскрывающий глубинные основы его жизненной позиции. Лермонтов – богоборец, не успевший встать (будем надеяться) на путь богосыновства.

«Не обвиняй меня, всесильный, / И не карай меня, молю,
/ За то, что мрак земли могильный / С ее страстями я люблю;
/ За то, что редко в душу входит / Живых речей твоих струя, /
За то, что в заблужденье бродит / Мой ум далеко от тебя»¹⁴⁴.

¹⁴² Там же. С. 179.

¹⁴³ Там же. С. 166.

¹⁴⁴ *Лермонтов М.Ю.* Пол. собр. соч. Т. I. М., 2001. С. 76.

Рано ушел от нас автора «Демона». Не позволил Создатель развиваться богоборческой мысли? Ведь было «...содержание, добытое со дна глубочайшей и могущественнейшей природы, исполинский взмах, демонский полет – с небом вражда гордая».– «Все это заставляет думать, – писал Белинский, – что мы лишились в Лермонтове поэта, который, по содержанию, шагнул бы дальше Пушкина»¹⁴⁵. Или все же шагнул?

И остались не разрешенные вопросы. Откуда на земле зло? Почему всесильный Бог не помогает его искоренить? Почему Творец – враг свободы и порабощает людей судьбой? Вопросы Лермонтовым поставлены. По-прежнему «нет слов», а «здесь и сейчас он лишний»?

* * *

¹⁴⁵ *Белинский В.Г.* Полн. собр. соч. Т. VIII. С. 84 – 85.

Мировидение земледельца в романной прозе И.С. Тургенева

«Записками охотника» И.С.Тургенев ввел в контекст рефлектирующего сознания российского общества новые фигуры – крестьян и позитивно изображенных помещиков. Им впервые в целостном виде был обозначен и новый для отечественной культуры предмет – мировоззрение земледельцев середины XIX в. с присущими ему характерными чертами. Среди них – расколотость мировоззрения на патриархальное и европеизированное; активная ориентированность сознания на внешнюю природу; признание примата в человеческой жизни эмоционально-чувственного начала, приоритетное внимание к внутренней природе, страстям человека и меньшее внимание началу рациональному; житейски-спокойное приятие (крестьянином, прежде всего) идеи и самого факта смерти; и, наконец, отсутствие боязни потустороннего мира, вера в связь посюстороннего и загробного.

Тургенев середины 1850-х гг. четко разграничивает мировоззрение крестьянское и, более развитое, помещичье. Объясняется это, прежде всего, большей, в сравнении с XVIII в., интеллектуальной насыщенностью жизни сельского дворянства, пережитыми страной событиями, активными контактами с Европой. Разделение мировоззрения земледельца на две ветви в писательском ракурсе обнаруживается в следующем. В романной прозе существенно расширяется прежний, преимущественно деревенский контекст места действия. События разворачиваются в городе, переносятся

за границу. Этому, безусловно, способствовали и новые тенденции развития европейской культуры, заинтересованным потребителем, а, отчасти, и творцом которой была Россия. С другой стороны, и общие процессы либерализации и демократизации отечественной жизни (ряд социальных реформ, надвигающееся событие – отмена крепостного права), способствовали активному осмыслению русского мировоззрения.

Особенной приметой романного творчества Тургенева стало и то, что иногда на место центрального героя произведения вместо крестьянина и помещика встает новый, как правило, молодой человек, причем не всегда помещик, но разночинец, полукровка, маргинал. И, наконец, между романами возникает внутренняя связь: каждый последующий органично, подробно, полемически продолжает и развивает тематику, концептуальные идеи предыдущего¹⁴⁶.

Все это, однако, не означает, что размышления Тургенева о мировоззрении русского земледельца, которые обнаруживались в написанных ранее произведениях, прерываются. Аграрное мировоззрение этого периода пока еще не претерпело коренных ломок, его новые ориентации, ценности и смыслы только начинают складываться.

Своим романским циклом («Рудин», «Дворянское гнездо», «Накануне», «Отцы и дети», «Дым», «Новь») Тургенев достиг новых высот в развитии отечественной духовной культуры. Так, он первым начал искать развернутые ответы на вопрос, от решения которого зависела историческая судьба страны. Вопрос этот – как возможно позитивное преобразование действительности? – первоначально был представлен

¹⁴⁶ Историческая первичность тургеневской романной эпопеи, предваряющая создание национальной картины жизни в «Войне и мире» Толстого, представляется явлением бесспорным, но до сих пор мало замечаемым исследователями тургеневского творчества.

в форме: «когда в России появятся настоящие люди»¹⁴⁷. И поиски ответа не ограничивались кругом людей, имевших непосредственное отношение к земледелию. По этой причине анализ мировоззрения тех, кто к аграрной сфере имел лишь опосредованное отношение, также необходим, поскольку они, хотя и не относились к земледельцам напрямую, тем не менее, рождением, воспитанием или родством были связаны с деревенской средой, в разной мере выражали строй мыслей ее коренных представителей.

* * *

В галерее создаваемых Тургеневым на протяжении более чем двадцати лет персонажей, нацеленных на позитивное дело, место на авансцене отводится Дмитрию Николаевичу Рудину – герою одноименного романа. Уже первый значимый разговор в романе происходит в русле главной темы – отношения к делу. Речь идет о статье, в связи с которой Рудин отстаивает важность «знания основных законов, начал жизни», без чего «нет почвы, на которой он (человек. – С.Н.) стоит твердо» и, стало быть, нет и самого дела. Это и есть собственно философский вопрос – о начале и деле, связанный с фаустовским (слово и дело). Оппонент Рудина – Пигасов, из тех, кто собственно и занят делом, настаивает: я практический человек, мне факты подавай¹⁴⁸. Но фактов нет. О чем речь и каких фактов – не ясно. И в ответ на слова о «почве», Пигасов заявляет: «Честь и место!», тем самым как бы обозначая вопрос: найдется ли для Рудина место на родной земле и будет ли его дело достойным чести.

Следует остановиться и на важном для Рудина понятии «почвы», которая, будучи заявленной как знание законов и

¹⁴⁷ Формулировку этого вопроса мы находим в романе «Накануне», причем вложена она в уста Шубина и Увара Ивановича – персонажей, ведущих философскую линию произведения, и повторяется дважды: стало быть, автор подчеркивает ее принципиальную важность.

¹⁴⁸ Тургенев И.С.. Собр. соч.: В 12-ти т. М., 1976. Т.2. С. 28 – 31.

начал бытия, в этом определении явно не адекватна многообразию жизни. В финале романа, в подводящем жизненные итоги разговоре Рудина с Лежневым, герой признается: «Строить я никогда ничего не умел; да и мудрено, брат, строить, когда и почвы-то под ногами нету, когда самому приходится собственный свой фундамент создавать!»¹⁴⁹

Ответственен ли за это сам Рудин? Похоже, да. Впрочем, это мнение отлично от позиции литературоведа А. Ботюто, который полагает, что Тургенев изображает Рудина «без вины виноватым». «Инициатива его подавлена именно обстоятельствами. Она гаснет в обессиливающей атмосфере тупости, инертности, казенного бессердечия и затхлой бездуховности, царящих в матеро-косной дворянско-помещичьей и чиновно-бюрократической среде»¹⁵⁰.

Такая позиция – не «новодел» советского времени. Свое начало она берет от Добролюбова, который, объясняя причины невозможности появления русского Инсарова, винит порядок русской жизни, который нельзя «прошибить» «по-степенством» малых дел¹⁵¹.

Однако «среда» виновна не во всем. Вспомним хотя бы заключительное «предприятие» Рудина – превращение реки К...ой губернии в судоходную. «...Мы наняли работников... ну, и приступили. Но тут встретились различные препятствия. Во-первых, владельцы мельниц никак не хотели понять нас, да сверх того мы с водой без машины справиться не могли, а на машину не хватило денег»¹⁵². Отсутствием основанного на здравом смысле практического расчета отличаются и другие начинания героя.

В оценке образа Рудина я также расхожусь и с позицией известного литературоведа Ю.В. Лебедева. На Западе, пола-

¹⁴⁹ Там же. С. 117.

¹⁵⁰ Там же. С. 293 – 294.

¹⁵¹ Добролюбов Н.А. Избранное. М., 1985. С. 378.

¹⁵² Тургенев И.С. Собр. соч.: В 12-ти т. Т.2. С. 120.

гает он, «рациональный, умозрительный элемент развивается в ущерб непосредственным и неразложимым сердечным движениям. Самодовольный и самодовлеющий ум уничтожает полноту восприятия мира в его многоцветности, в его божественной гармонии»¹⁵³. Впрочем, – продолжает Лебедев, – «мы чувствуем, что не все погублено в душе Рудина холодным аналитическим умом». И, в качестве позитивного примера указывает на «речной» проект¹⁵⁴. Позиция Лебедева странна потому, что исследователь не замечает тургеневской иронии в связи с «речным» проектом и пытается всерьез говорить об ущербности «чрезмерного рационализма» европейской цивилизации.

Сказанное никак не меняет мнения о том, что в созданной Тургеневым галерее образов, посредством которых он ищет ответ на вопрос о позитивном преобразовании России, у Рудина есть свой личностный капитал и свое место. Писатель отмечает характерный для героя ораторский талант, его способность зажигать аудиторию. К тому же он честен и трезво оценивает свои недостатки. Суждение о Рудине автора дополняется мнением делового человека и хозяина Михаила Михайловича Лежнева (тип этот, кстати, чем дальше, тем больше будет набирать силу и в творчестве Тургенева, и вообще в русской литературе. – *С.Н.*): «...Он не сделает сам ничего именно потому, что в нем натуры, крови нет; но кто вправе сказать, что он не принесет, не принес уже пользы? ... Несчастье Рудина состоит в том, что он России не знает»¹⁵⁵. Но если бы дело было только в этом одном!

* * *

Новым поворотом в ответе на вопрос о появлении «настоящих людей» стал роман «Дворянское гнездо». Образом

¹⁵³ Там же. С. 303.

¹⁵⁴ Там же. С. 304 – 305.

¹⁵⁵ Там же.

Лаврецкого Тургенев открыл в русской литературе тему частной жизни не «лишнего», а «уместного», образованного, рационального, нравственного и, что особенно важно, хозяйственно успешного человека. Отмечу важную черту, объединяющую Рудина и Лаврецкого – их воспитанность Западом. Позже в этой характеристике к ним примкнут Берсенева и Шубин («Накануне»), Литвинов («Дым»), Соломин («Новь»). О хозяйственной успешности героя «Дворянского гнезда» можно судить по замечанию Тургенева: спустя много лет Лаврецкий «сделался действительно хорошим хозяином, действительно выучился пахать землю и трудился не для одного себя; он, насколько мог, обеспечил и упрочил быт своих крестьян»¹⁵⁶.

В романной прозе Тургенева не всегда можно найти прямые выходы на ранее выделенные темы связи земледельца с природой, отношений с общиной, усадьбой, городом, властью, религией. Однако анализ мировоззрения его персонажей дает новое измерение также и при рассмотрении темы, заявленной прежде. Ведь в своих столкновениях со смыслами господствующего дворянско-земледельческого мировоззрения новые герои вскрывают до того невидимые в нем грани. Так, например, это обнаруживает Лиза («Дворянское гнездо»), вынесенная сюжетом к нравственному выбору (Лаврецкий оказывается женатым) и тем, что, как она считает, ей надо замаливать грехи помещика-отца, несправедливо нажившего богатство. Об этом и нестыковки жизненных ценностей образованного и рационального Лаврецкого с базовыми элементами помещичьего мировоззрения, если понимать под ним не только его носителей по месту их деревенского местопребывания, но по содержательному наполнению. В последнем случае к дворянам-земледельцам, например, уместно отнести выходца из помещичьей среды преуспевающего камер-юнкера

¹⁵⁶ Там же. С. 282.

ра Владимира Паншина, для которого, по его собственному признанию, «легкость и смелость» в жизни – первое дело. В ряд с жизненными установками Паншина встает и мировоззрение законной супруги Лаврецкого – Варвары Павловны, образ которой перекликается с более поздней чеховской фигурой – Раневской из «Вишневого сада». Все это создает понимание, того, как и по каким линиям русское мировоззрение расколото в своей патриархальной и европеизированной ипостасях.

Вопрос о «нестыковке» мировоззрений Лаврецкого и Лизы, с одной стороны, и большинства обитателей имения и гостей Лизиной матери-помещицы, с другой, еще более осложняется тем, что оба происходят из одной и той же помещичьей среды. Судьба Лаврецкого типична и нетрадиционна в одно и то же время. Перебравшись в юности в Москву, Федор Лаврецкий стал учиться. Между тем, светская жизнь не обошла его стороной, и богатого жениха вскоре заметила дочь отставного неудачника-генерала. В отличие от Федора Ивановича, Варвара Петровна была особа практичная и вскоре эта ее способность проявилась в том, что во время их пребывания в Париже, уже будучи замужем, она Лаврецкому изменила. Федор Иванович этого не перенес и жену оставил, назначив приличное содержание. Проскитавшись по Европе четыре года, Лаврецкий вернулся на родину. Свое решение он мотивировал так: пусть «вытрезвит меня здесь скука, пусть успокоит меня, подготовит к тому, чтобы и я умел не спеша делать дело»¹⁵⁷. И новый помещик начал прилежно заниматься хозяйством.

Образом Лаврецкого Тургенев подходит к проблематике русского мировоззрения, прежде всего, с личностной стороны. В сюжетной линии Лаврецкий – Лиза точка напряжения заключается в том, что их возникшая и несостоявшаяся

¹⁵⁷ Там же. С. 188.

любовь вызывает сильный общественный резонанс. Проблема состоит в трагической неприемлемости российским обществом того времени самой мысли, что в своей частной жизни мужчина или женщина вправе выходить за пределы традиционных банально-обыденных представлений о том, как и зачем жить. Внешне у Тургенева все кажется простым: смерть Варвары Петровны оказывается известием ложным и она является в деревню. С этого момента мировоззренческая «сшибка» Лаврецкого и жены делается неизбежной. И она происходит: знаменателен факт чрезвычайно быстрого «прощения» супружеской измены Варвары Петровны хозяйкой деревенского салона – Лизиной матерью. Что же подвигает добропорядочную мать семейства быть столь снисходительной к явному пороку?

Несомненно, обаяние лживой светскости, которое излучает Варвара Петровна и к которой так восприимчива русская старина. Тот калейдоскоп чувств, оценок, мнений, принципов, которые обозначаются Варварой Петровной по мере авторского раскрытия ее характера, и составляет существо несколько камуфлированного под Европу, но по сути все того же лицемерно-лживого традиционного русского мировоззрения человека в его отношениях с семьей. Только если прежде помещик, к примеру, беззастенчиво «брал» как вещь приглянувшуюся ему дворовую девушку и жена смотрела на эту «шалость» сквозь пальцы, то теперь нравы приобрели некоторый лоск. Ведь именно слова о «неопытности молодости» звучат из уст Марьи Дмитриевны в ее попытках «примирить» Лаврецкого с женой. Так произошли ли перемены в российском сознании в сторону европейского вектора его развития?

Утверждение личностного поступка, в том числе и величиною в целую жизнь – главное достоинство романа Тургенева. В нем впервые в русской литературе «лишний» человек

оказывается уместным, не влачит бесцельного существования, не гибнет от случая, а проживает жизнь с достоинством, делая свое дело так, как считает нужным. И в отличие от Рудина, Лаврецкий находит свое место в России.

Образом Лаврецкого Тургенев сделал решающий шаг в разрешении вопроса о позитивном преобразовании действительности. Прежде всего, в той части российского мировоззрения сознания, которая относится к любви и семейной жизни. И в трагической ситуации Лаврецкий, в отличие от Рудина, не теряет достоинства.

К тому же он и рациональный хозяин. А это уже новая, ранее отсутствовавшая в русской литературе, часть ответа на вопрос о позитивном преобразовании страны, о ее новых людях.

* * *

О принципиальной важности позиции Тургенева, отраженной в «Накануне» говорит тот факт, что, прочитав посвященную роману статью Добролюбова «Когда же придет настоящий день?», Тургенев поставил перед редактором революционно-демократического «Современника» Некрасовым ультиматум – не печатать ее. А когда ультиматум был отвергнут, с журналом порвал.

Существо идейных разногласий либерального писателя с революционным критиком хорошо видно и по откликам из нынешнего века. В статье П.Г. Пустовойта читаем: «Инсаров в понимании Тургенева – это борец не за социальное преобразование общества, а за национальное освобождение страны. ...Добролюбов же связывал появление русских Инсаровых с осуществлением революционных идеалов. Для либерала Тургенева русский Инсаров мог быть просто умеренно-прогрессивным деятелем. Для Добролюбова русский Инсаров – это революционер»¹⁵⁸.

¹⁵⁸ История русской литературы XIX века. 40-60-е годы. М., 2001. С. 267.

В своем отстаивании революционного пути как единственно верного Добролюбов был последователен. Критически относясь к персонажам романа – скульптору Шубину и ученому Берсеневу в их сравнении с Инсаровым, он делает очень точный прогноз о России: «Они (русские Инсаровы. – С.Н.) хотят прогнать горе ближних, а оно зависит от устройства той среды, в которой живут и горюющие и предполагаемые утешители. Как же тут быть? Всю эту среду перевернуть – так надо будет перевернуть и себя (выделено мной. – С.Н.); а подите-ка сядьте в пустой ящик, да и попробуйте его повернуть вместе с собой. Каких усилий это потребует от вас! – между тем как, подойдя со стороны, вы одним толчком могли бы справиться с этим ящиком. Инсаров именно тем и берет, что не сидит в ящике; притеснители его отечества – турки, с которыми он не имеет ничего общего; ему стоит только подойти, да и толкнуть их, насколько силы хватит. Русский же герой, являющийся обыкновенно из образованного общества, сам кровно связан с тем, на что должен восставать»¹⁵⁹. Верно. Как же тут быть?

Тему революционного переустройства России Добролюбов развивает и в связи с образом Елены. По нему, Елена выбирает «волны восстания», лишь бы не «осудить себя на эту тяжелую пытку, на эту медленную казнь... И мы рады, что она избегла нашей жизни. ...Что в самом деле ожидало ее в России? Где для нее там цель жизни, где жизнь?»¹⁶⁰. В Елене Добролюбову видятся черты революционера-ниспровергателя. В то же время дворянам Шубину и Берсеневу с их способностями лишь к «малым делам» от критика достается полной мерой. «...Что же им делать тут, в этом обществе? Перестроить его на свой лад? Да ладу-то у них нет никакого, и сил-то нет. Починивать в нем кое-что, отрезывать и отбрасывать понемножку разные

¹⁵⁹ Добролюбов Н.А. Цит. соч. С. 362.

¹⁶⁰ Там же. С. 374 – 375.

дрязги общественного устройства? Да не противно ли у мертвого зубы вырывать, и к чему это приведет?»¹⁶¹.

То, что Шубин и Берсенеv – не фигуры «второго ряда», а выражение авторских идей о единственной возможности приемлемых позитивных преобразований, подтверждает уже первая, наиболее философичная глава романа. Главная ее тема – о великих и малых делах. Шубин говорит о стариках-антиках, в творениях которых виден весь мир и к которым красота «с неба сама сходила». Нам «так широко раскидываться не приходится: руки коротки. Мы закидываем удочку на одной точке, да караулим. Клюнет – bravo! А не клюнет...»¹⁶² В ответ Берсенеv возражает, что чувствовать красоту нужно везде. И если представление об общем дает знание, то действовать нужно все-таки в одной точке, в том числе и пытаясь «вертеть ящик вместе с собой».

В романе, помимо хрестоматийно известного Инсарова, есть интереснейшее лицо – троюродный брат Елениного отца Увар Иванович Стахов. Этот «отставной корнет лет шестидесяти» жил на проценты с небольшого капитала жены. Он ничего не делал и «навряд ли думал», ел часто и много, почти ничего не говорил, а когда ему «приходилось выразить какое-либо мнение, судорожно двигал пальцами правой руки по воздуху, сперва от большого пальца к мизинцу, потом от мизинца к большому пальцу, с трудом приговаривая: “Надо бы... как-нибудь, того...”»¹⁶³. Но если Увар Иванович и шутовской персонаж, то лишь в шекспировском духе – пересмешника героев, часто в парадоксальной форме доносящий до читателя идейный замысел автора. Назначение Увара Ивановича серьезно. Он вписывается в роман, с одной стороны, как своеобразное природное начало, а, с другой, как персонифицированная в од-

¹⁶¹ Там же, С. 370 – 371.

¹⁶² Тургенеv И.С. Цит. соч. Т. 2. С. 9.

¹⁶³ Тургенеv И.С. Цит. соч. Т. 2. С. 35.

ном человеке типично русская помещичья среда¹⁶⁴. Не случайно Шубин называет его «черноземной силой», «фундаментом общественного здания», «почтенным витязем».

Тургеневские эпитеты определенно формируют у читателя двойной Во-первых, напрашиваются ассоциации с заколдованным витязем-головой в поэме Пушкина «Руслан и Людмила». В диалоге с Русланом Голова сообщает, что и сама прежде была витязем, но потом оказалась во власти злого колдовства. Теперь же, когда Руслан доказал свою доблесть, она готова ему служить, продолжать прошлую праведную жизнь. Этой аналогией тургеневский «почтенный витязь» как бы заявляет «новым людям»: не все во мне плохо, есть и доброе прошлое, и меня возьмите, будем жить вместе.

Во-вторых, Увар Иванович как «черноземная сила», навеивает ассоциации с гоголевским Виём – начальником гномов, у которого веки на глазах идут до самой земли. Вспомним, как он появляется: «...Ведут какого-то приземистого, дюжего, косолапого человека. Весь был он в черной земле. Как жилистые, крепкие корни, выдавались его засыпанные землею ноги и руки. Тяжело ступал он, поминутно отступаясь. Длинные веки опущены были до самой земли»¹⁶⁵. При встрече с чудовищем философа Хому подводит любопытство: он, вопреки запрету, взглядывает на Вию, тот его немедленно обнаруживает, и Хома гибнет. Не спрятан ли за аналогией намек на нетерпение, часто свойственное молодым героям, на их желание опередить события, глянуть в глаза Вию –двинуть «ящик» толчком снаружи, не заботясь о его содержимом.

Шубин, как и Хома, любопытен – теребит Увара Ивановича вопросами о будущем. Но между ними есть какая-то «странная связь и бранчливая откровенность». И поэтому

¹⁶⁴ Не та ли это «среда», о необходимости изменения которой постоянно пеклись революционеры, и Добролюбов, в том числе?

¹⁶⁵ Гоголь Н.В. Собр. соч. М., 1994. Т. 2. С. 354.

Вий – Увар Иванович не причиняет Шубину зла, а только как бы придерживает его, приговаривая: «всему свое время».

Примечательна их беседа о будущем. Шубин горячится: «Нет еще у нас никого, нет людей, куда ни посмотри. Все – либо мелюзга, грызуны, гамлетики, самоеды, либо темнота и глушь подземная, либо толкачи, из пустого в порожнее переливатели да палки барабанные! ... Что ж это, Увар Иванович? Когда ж наша придет пора? Когда у нас народятся люди?

– Дай срок, – ответил Увар Иванович, – будут.

– Будут? Почва! Черноземная сила! Ты сказал: будут? Смотрите же, я запишу ваше слово. Да зачем же вы гасите свечку?

– Спать хочу, прощай»¹⁶⁶.

По прошествии некоторого времени, когда Инсаров умер, а Елена пропала в пучине Балканских событий, мы узнаем, что и Берсенева, и Шубин не копят небо зря. Оба сделали карьеру и работают за границей. Один только Увар Иванович не переменялся и на повторенный в письме вопрос Шубина, будут ли в России настоящие люди, только «поиграл перстами». Дескать, однажды уже отвечал, что ж вторично спрашиваешь, егозишь. В этом же контексте звучит и неоднократно задаваемый Шубиным вопрос – в самом ли деле он, да и Берсенева, не такие интересные, да и вообще – менее значительные личности, чем Инсаров? Не слишком ли велико место, отводимое в нашем общественном сознании революционному поступку, не стоило ли бы расширить поле позитивных представлений о красоте упорного каждодневного труда?

Вопрос этот не кажется лишним в российской иерархической системе «признанных обществом» ценностей, навязанных ему вначале революционно-демократической, а затем и марксистско-ленинской идеологией. Вот и у Ю.В. Лебедева: «Силы Инсарова питает и укрепляет живая связь с родной землей, чего так не хватает русским героям романа... И Бер-

¹⁶⁶ Тургенев И.С. Цит. соч. Т. 2. С. 126.

сенева, и Шубин – тоже деятельные люди, но их деятельность слишком далека от насущных потребностей народной жизни. Это люди без крепкого корня, отсутствие которого придает их характерам или внутреннюю вялость, как у Берсенева, или мотыльковое непостоянство, как у Шубина»¹⁶⁷.

В логике заочного спора Тургенева – Добролюбова, по мнению критика, выходит, что счастье, как однажды высказался о нем К.Маркс, в борьбе¹⁶⁸. Впрочем, Тургенев сомневается в абсолютной ценности этого человеческого занятия. Очевидно, если и есть возможность повернуть ящик, толкая его извне, то это вовсе не отменяет необходимости затем поворачивать его, сидя внутри. А вот по силам ли это людям типа Инсарова?

Впрочем, по заверению Увара Ивановича, в России ожидалось появление новых людей. Одним из них и стал герой следующего романа Тургенева – разночинец Евгений Васильевич Базаров.

* * *

Мертвых надо хоронить, а не пытаться рвать у них больные зубы, – наставлял Добролюбов в статье о романе «Накануне». В позитиве же сквозила надежда на появление «русских Инсаровых». Но как согласуются их идеи и ценности с самосознанием мыслящего слоя, в первую очередь – дворян-помещиков, а среди них – либералов, на эти вопросы не было ответов. Труд дать их и взял на себя Тургенев романом «Отцы и дети» – первым в отечественной философско-литературной

¹⁶⁷ Лебедев Ю. Жизнь Тургенева. Всеведущее одиночество гения. М., 2006. С. 393.

¹⁶⁸ Свою статью «Когда же придет настоящий день?» Н.А. Добролюбов завершает словами: «Он (Инсаров. – С.Н.) необходим для нас, без него вся наша жизнь идет как-то не в зачет, и каждый день ничего не значит сам по себе, а служит только кануном другого дня. Придет же он наконец, этот день! И, во всяком случае, канун недалек от следующего за ним дня: всего-то какая-нибудь ночь разделяет их!...» Добролюбов Н.А. Цит. соч. С. 378.

мысли публичным мировоззренческим диспутом русских либералов с революционными демократами, а также первым романом–предостережением против революционного нетерпения. Кому же там революционно не терпится?

В романе «Отцы и дети» как продолжении предыдущих, в новой философско-художественной форме вновь рассматривается концепция-вопрос: «Можно ли повернуть ящик – общество, находясь не снаружи, а сидя внутри него?», а в Базарове предложен один из вариантов «русского Инсарова», уже после выполнения задачи изгнания поработителей столкнувшегося с проблемой позитивного преобразования общества, в котором он живет сам и несвобода которого является его, общества, органичным состоянием.

Базаров, списанный с Добролюбова и Чернышевского, – тип революционера-преобразователя, еще не прибегающий ни к бомбам, ни к револьверу¹⁶⁹, явил России мирный способ революционного изменения общества. Его невинная суть была в идеологическом уничтожении (отрицании) части основополагающих, но «отживших» общественных принципов, ценностей, идей. Нигилизм был всегда (Бог – всё и ничто). То есть, по существу Базаров прибегает к своеобразному идеологическому терроризму как предтечи терроризма физического¹⁷⁰.

¹⁶⁹ Идея террора, насильственного преобразования действительности с ее апофеозами – убийством Александра II и публичным оправданием–возвеличиванием убийцы Веры Засулич – придет в российское самосознание пятнадцать – двадцать лет спустя вслед за идеологией «нигилизма» и отчасти будучи подготовлена именно ею.

¹⁷⁰ О соотношении нигилизма и терроризма известно свидетельство ученого и революционера П.А. Кропоткина, который отмечал, что в XIX веке в общественном сознании допускалось смешение этих двух понятий. По мнению Кропоткина, это была ошибка. Нигилизм «неизмеримо глубже и шире терроризма». Нигилизм при известных условиях может включать в себя терроризм. См.: *Кропоткин П.А. Русская литература. Идеал и действительность*. М, 2003. С. 101.

По каким же основаниям производится отбор, очистка «ящика»? Вопросы эти тем более важны, поскольку «нигилизм» – это вовсе не свод смыслов и ценностей, отвергать которые нигилисты договорились. Нет, это произвольно избираемая каждым субъектом-нигилистом совокупность элементов общественного самосознания, по отношению к которым он самочинно решает – отвергать их или не отвергать, принимать или нет¹⁷¹.

Следующий существенный вопрос – каким образом совершается само выбрасывание «лишнего». То, что предпринимает Базаров при реализации этой задачи, есть намеренное упрощение, опошление, редукция до примитивного уровня. Заметим, что, будучи человеком не глупым и, очевидно, в глубине души сознающим, что что-то в его «вере» не так, он

¹⁷¹ В этом же ключе трактовал нигилизм и один из пронизательных литературных критиков «правого» лагеря, современник Тургенева – М.Н. Катков, издатель и редактор либерального журнала западнического направления «Русский вестник». В своей статье «Роман Тургенева и его критики» он отмечал: «Религия отрицания направлена против всех авторитетов, а сама основана на грубейшем поклонении авторитету. У нее есть свои беспощадные идолы. Все, что имеет отрицательный характер, есть уже eo ipso (вследствие этого) непреложный догмат в глазах этих сектаторов. Чем решительнее отрицание, тем менее обнаруживает оно колебаний и сомнений, тем лучше, тем могущественнее авторитет, тем возвышеннее идол, тем непоколебимее вера. Отрицательный догматик ничем не связан; слово его вольно как птица; в уме его нет никаких определенных формаций, никаких положительных интересов, которые могли бы останавливать и задерживать его; ему нечего отстаивать, нечего охранять; он избавлен от необходимости сводить концы с концами. Ему нужна только полная самоуверенность и умение пользоваться всеми средствами для целей отрицания. Чем менее он разбирает средства, тем лучше. Он в этом отношении совершенно согласен с отцами иезуитами и вполне принимает их знаменитое правило, что цель освящает всякие средства». См.: Библиотека русской критики. Критика 60-х годов XIX века. М., 2003. С. 150 – 151.

психологически старается подавить это чувство и постоянно хамит, снижает сложное до простейшего, эмоционально и поведенчески демонстрируя небрежение: зевая, обрывая разговор или даже бесцеремонно покидая собеседника. Такое поведение Базаров обнаруживает, начиная с первого появления в гостях у Кирсановых, при том, что понимает, что для хозяев непозволительно одернуть гостя-наглеца.

Следующая часть вопроса относительно содержимого, выбрасываемого из «ящика – общества», (того, что, как говорил Кропоткин, должно лететь «за борт») – что именно назначается к выбрасыванию. Базаров заявляет: выбрасывается бесполезное, а оставляется полезное. Но полезно кому? И снова оказывается, что решение зависит от индивидуального произвола.

Полезен ли «предмет забавы» Николая Петровича – Фенечка? Если для Никлая Петровича, у которого, по нигилисту, «губа не дура», то нет. Да и на Аркадия он готов распространить не лишнее подлости суждение: «Видно, лишний наследничек нам не по нутру?»¹⁷². А вот для собственного удовольствия Евгения Васильевича, Фенечка очень даже полезна. И хотя ничего, кроме добра, от Кирсановых он не видел, «демократ» не отказывает себе в маленькой плотской утехе – насильственном поцелуе.

Полезен ли базаровский знакомец Ситников? Казалось бы – человек пустой и никчемный. Более того: Базаров постоянно шпыняет его за отца – винного откупщика, спаивающего народ. Кажется, очевидно: вреден. Но с точки зрения утверждения в обществе самого Базарова (а он, оказывается, несмотря на свое намеренное уничтожение и об этом думает) – нет: «Ситниковы нам необходимы. Мне, пойми ты это, мне нужны подобные олухи. Не богам же, в самом деле, горшки обжигать!..»¹⁷³ При этом Тургенев дает понять, что в народе

¹⁷² Тургенев И.С. Цит. соч. Т. 2. С. 186.

¹⁷³ Там же. С. 246.

Базаров разбирается не слишком, да и народ считает его за «шута горохового»¹⁷⁴.

У Тургенева есть отчетливые указания на то, что нигилизм и показной демократизм базаровых – вещь конъюнктурно-показная и используется ими лишь для того, чтобы перевернуть общественную пирамиду с ног на голову и самим оказаться на вершине. По большому же счету, нецивилизованность и даже дикость Базарова к демократизму никакого отношения не имеет. Демократическое общество складывается не у дикарей, а у экономически независимых свободных личностей. Для появления же личностей, кроме экономической самостоятельности, важна та самая культура, т.е. образование и просвещение и ее преемственность (хотя, конечно же, к преемственности относится и то, что наработано дикарями), которую и олицетворяют собой братья Кирсановы, Аркадий, Одинцова. Поэтому Базаров, будь его воля, смог бы построить лишь очередную самодержавную деспотию так хорошо известную в России. И хотя базаровская деспотия не построилась, но именно с Базарова и его реальных жизненных проекций начинается отсчет длинной вереницы революционных переустроителей¹⁷⁵ российского мира и многие присущие этому персонажу черты в дальнейшем еще дадут о себе знать.

К счастью, тотальное российское раздолбайство (у уездного лекаря ланцеты тупы и адского камня, даже при работе в зоне тифозной эпидемии) в данном случае выполняет роль защитной реакции: самоназванный «новый человек» гибнет

¹⁷⁴ Там же. С. 291 и 317 – 318.

¹⁷⁵ Базаров действительно первый в длинной череде отечественных общественных преобразователей. Вместе с тем, этот персонаж – определенное продвижение в тенденции, складывающейся из образов «говоруна» Рудина и «иноземного национального освободителя» Инсарова. Следующий за ними Базаров – первый, кто четко сформулировал идею переустройства российского общества и даже предложил для этого рецепт отбрасывания «лишнего».

от яда мужицкого трупа. И этот сюжетный ход обнажает перед нами не базаровский, игрушечный по большому счету, а настоящий великий исконный российский нигилизм как отрицание культуры во всех ее проявлениях, в том числе – и в форме культуры профессиональной. «Вы, господин Базаров, хотели торжества нигилизма, так извольте получить», – примерно так мог бы звучать вынесенный Базарову приговор.

Но потому-то нам и жалко этого несимпатичного грубияна, что гибнет он не от своего – наполовину потешного «отрицательства», а от столкновения с действительно чудовищным реальным явлением – дикостью русского бытия, чуждого культуре, изначально построенном на небрежении человеческой жизнью.

Символический финал. В особенности если смотреть на столкновение Базарова и Кирсановых как на модель конфликта реальной просвещенно-монархической деспотии и идущей ей на смену деспотии варварско-разночинной, коммуно-тоталитарной.

Именно это существо конфликта не понимали реальные революционеры. Так, цитировавшийся ранее Кропоткин, честно не замечает, что суждение о Николае Петровиче Кирсанове как о человеке, живущем «ленивой жизнью помещика», – только часть правды. А другая часть в том, что в молодости Николай Петрович честно служил и что сын Николая Петровича, Аркадий, хозяйственные дела в отцовском имении поправил, «сделался рьяным хозяином и «ферма» уже приносит довольно значительный доход»¹⁷⁶. Не в выводах ли подобного рода и заключается авторский ответ на проблему «отцов и детей»?

В этом же, позитивном ключе – преемственности и культуры решен в романе и вопрос о самом Базарове. Ведь он – лекарский сын, который продолжил дело своего отца и де-

¹⁷⁶ Там же. С. 331.

лал это столь не по-российски добросовестно и аккуратно, что начал вскрывать труп умершего не по обязанности, а из любви к профессии. То есть, в главном, в деле, Базаров, как и Аркадий, дают ясный ответ на пресловутую проблему: дети продолжают дела отцов, и это продолжение возможно только в традиции культуры, а не варварского нигилизма.

Вопреки известным критико-литературоведческим заключениям о герое романа, думаю, что Базаров не столько жил, сколько болел нигилизмом и погиб именно от его разнесенного по всей стране микроба. Базаров, заболев и будучи поставлен на грань жизни-смерти, в силу имеющихся у него рациональных задатков и природного здравого смысла от опасных революционных игрушек отказывается и, умирая, от болезни нигилизма излечивается. В последних сценах мы не узнаем его – ни в отношениях с родителями (прежде: «Ну, подождут, что за важность!»), ни в отношениях с Одинцовой, (прежде: «богатое тело!»). Будучи поставленным на порог смерти, он возрождается. И, наверное, не только, чтобы угодить матери, соглашается на совершение над ним христианского обряда – причастия, символа духовного вознесения. Думаю, окажись в этот момент рядом брата Кирсановы, он и с ними нашел бы общий язык.

Безусловно прав Н.Н.Страхов в своем заключении об этом романе Тургенева: «Базаров все-таки побежден ...самою идеею жизни. ...Гоголь об своем “Ревизоре” говорил, что в нем есть одно честное лицо – смех; так точно об “Отцах и детях” можно сказать, что в них есть лицо, стоящее выше всех лиц и даже выше Базарова – *жизнь*»¹⁷⁷.

* * *

Хотя следующий роман И.С. Тургенева «Дым» появился после «Отцов и детей» только спустя шесть лет, в 1867 г.,

¹⁷⁷ Библиотека русской критики. Критика 60-х годов XIX века. М., 2003. С. 104 – 105.

одна из ведущих линий, намеченная в «Отцах», – творческого усвоения русским обществом западных ценностей или поиск иных начал – линия эта в новом романе была продолжена. Объяснение необходимости поддержания давнего спора, начатого Чаадаевым и Хомяковым еще в конце 1830-х гг., в существенной мере заключалось в том, что сам отказ от системы крепостной зависимости произошел лишь отчасти. Не только крестьянство, получившее всего лишь личное освобождение и вынужденное выкупать у помещиков землю, оставалось зависимым сословием. Юридически несвободными по-прежнему были и дворяне, помещики в том числе.

Освобождение от крепостничества в России не было результатом имманентного развития общества, как, например, отмена рабства в США стала результатом войны Севера с Югом. То есть, в обществе, в его земледельческих слоях, прежде всего, к началу 1860-х гг. еще не сформировались те силы, которые бы своей энергией привели к уничтожению крепостного права. Освобождение было монаршей милостью и, значит, не рассматривалось как «свое», как выстраданный земледельцами хозяйственный и общественный результат, к которому они стремились. Напротив, будучи привнесено извне, освобождение рассматривалось земледельцами лишь как новая, навеянная подражанием Западу мода, как жизненная сложность, ломающая привычный уклад, и даже, как говорил чеховский Фирс, «несчастье». Свойственные капитализму экономическая и политическая свободы в системе российских хозяйственных и общественных ценностей по-прежнему сколько-нибудь видного места не занимали.

Общественное напряжение после отмены крепостного права не ослабело, что ощущалось даже таким либеральным помещиком, каковым был, например, Тургенев. В одном из его писем читаем: «С моими крестьянами дело идет – пока – хорошо, потому что я им сделал все возможные уступки, –

но затруднения предвидятся впереди». И далее: «Будем мы сидеть поутру на балконе и преспокойно пить чай и вдруг увидим, что к балкону из церкви по саду приблизится толпа Спасских мужичков. Все, по обыкновению, снимают шапки, кланяются и на мой вопрос: “Ну, братцы, что вам нужно?” — отвечают: “Уж ты на нас не прогневайся, батюшка, не посетуй... Барин ты добрый, и оченно мы тобой довольны, а все-таки, хошь не хошь, а приходится тебя, да уж кстати вот и их (указывая на гостей) повесить”». В другом добавлял: «Мои уступки доходят до подлости. Но Вы знаете сами, что за птица русский мужик: надеяться на него в деле выкупа — безумие. Всякие доводы теперь бессильны»¹⁷⁸. В этом и вопрос: сверху, опоздав (потому что привыкли) и не сумев поставить заслоны. Увиденный Тургеневым в деле освобождения русский крестьянин коренным образом отличается от героев «Записок охотника» или, например, от немого Герасима из «Муму». И у Тургенева срываются горькие слова: «Странное дело!.. Честности, простоты, свободы и силы нет в народе — а в языке они есть»¹⁷⁹.

Год от года общественно-политическая ситуация в стране накалялась. Однако понимания выхода из кризиса не было. Революционные демократы все более склонялись к тому, чтобы любыми средствами вызвать в стране крестьянскую революцию. Либералы и западники настаивали на необходимости утверждения в России хозяйственной и общественно-политической системы, основанной на собственности, экономической эффективности, свободе и правах человека. Славянофилы же, обуреваемые чувством ложно понятой национальной гордости, старались измыслить некий особый русский путь, в том числе стремились обосновать принци-

¹⁷⁸ Труайя Анри. Иван Тургенев. М., 2005. С. 139.

¹⁷⁹ Цит. по: Лебедев Ю. Жизнь Тургенева. Всеведущее одиночество гения. С. 430.

пиально отличную от западной Европы российскую «особость», предопределенную Богом всемирно-историческую миссию русского народа¹⁸⁰. Эта замешанная на верноподданничестве казуистика не на шутку раздражала убежденного западника Тургенева, который видел в дворянах не только реакционеров, но и строителей России.

В отличие от предыдущих романов, в которых главные персонажи делаются настоящими хозяевами лишь в финале, герой «Дыма» помещик Григорий Иванович Литвинов – хозяин уже сформированный, завершающий заграничную командировку, в ходе которой он прилежно изучал технологии сельскохозяйственного производства. Решение «учиться с азбуки» на Западе к нему пришло не от скуки, а от желания поставить и в России эффективное хозяйство, принести пользу землякам, а, может быть, и всему краю.

С первых глав Тургенев вводит своего героя-помещика в круг отдыхающих в Бадене русских славянофилов, занятых спорами о судьбе родины. Что же представляют собой эти люди? Как и положено кружку, члены которого претендуют на вселенскую миссию, они возвеличивают своего лидера-гуру: «Но Губарев, Губарев, братцы мои!! Вот к кому бежать, бежать надо! Я решительно благоговею перед этим человеком! Да не я один, все сподряд благоговеют. Какое он теперь сочинение пишет, о... о... о!..

¹⁸⁰ Такая позиция не была необычной для русского общества середины XIX в. Достаточно сказать, что познакомившись примерно в этот период с Толстым, Тургенев к своему удивлению обнаружил в нем человека, который с удовольствием играл роль не только завсегдатая цыганских кабаков и солдафона, но и пламенного общественного трибуна, видевшего спасение России в немедленном и полном разрушении европейской цивилизации. К тому же, рекомендуя себя в качестве либерала, Толстой накануне реформы все еще оставался на стороне крепостников-собственников. *Лебедев Ю.* Цит. соч. С. 101, 125.

– О чем это сочинение? – спросил Литвинов.

– Обо всем, братец ты мой, вроде, знаешь, Бекля... только поглубже, поглубже... Все там будет разрешено и приведено в ясность».¹⁸¹

«Гуру» – господин помещицкой наружности, «почтенной и немного туповатой, ... с широкой шеей, с косвенным, вниз устремленным взглядом» речей не произносил, отделяясь ничего не значащими междометиями или словами типа – «мм... это..., это заметить надо» или «тут... нужна другая мера». И лишь в один из моментов общего разговора он неожиданно вставляет несколько фраз: «Ммм... А община? ... Община... Понимаете ли вы? Это великое слово! ... Нам нужно теперь слиться с народом, узнать... узнать его мнение»¹⁸² Впрочем, такой странный разговор ничуть не мешает адептам адресоваться к Гуру с величайшим почтением.

Верный своему художественному приему – не осуждать, но демонстрировать, Тургенев знакомит читателя и с представителем другой стороны – западником Потугиным. На вопрос Литвинова, отчего Губарев и прочие господа так хлопочут, тот отвечает: они и сами этого не ведают. Что же в таких идейных междусобойчиках говорится о Западе? Он, конечно же, «гнилой». Но хоть бы действительно его презирали! А то – все фраза и ложь. «Ругать-то мы его ругаем, а только его мнением и дорожим, то есть в сущности мнением парижских лоботрясов»¹⁸³.

Отчего же столь влиятелен Губарев, не имеющий ни дарований, ни способностей? – интересуется Литвинов. – А у него много воли, следует ответ. «Мы, славяне, вообще, как известно, этим добром не богаты и перед ним пасуем. Господин Губарев захотел быть начальником, и все его

¹⁸¹ Тургенев И.С. Собр. соч.: В 12-ти томах. Т.4. М., 1976. С. 14.

¹⁸² Там же. С. 22 – 23.

¹⁸³ Там же. С. 28.

начальником признали. ... Правительство освободило нас от крепостной зависимости, спасибо ему; но привычки рабства слишком глубоко в нас внедрились; не скоро мы от них отделаемся. Нам во всем и всюду нужен барин; барином этим бывает большею частью живой субъект, иногда какое-нибудь направление над нами власть возьмет... теперь, например, мы все к естественным наукам в кабалу записались... Почему, в силу каких резонов мы записываемся в кабалу, это дело темное; такая уж, видно, наша натура. Вот где важна гуманистика! Но главное дело, чтобы у нас был барин. Ну, вот он и есть у нас; это, значит, наш, а на все остальное мы наплевать! Чисто холопы! И гордость холопская, и холопское уничижение. Новый барин народился – старого долой! То был Яков, а теперь Сидор; в ухо Якова, в ноги Сидору! ... Вот таким-то образом и господин Губарев попал в барья; долбил-долбил в одну точку и продолбился. Видят люди: большого мнения о себе человек, верит в себя, приказывает – главное, приказывает; стало быть, он прав и слушаться его надо. ... Кто палку взял, тот и капрал»¹⁸⁴. Далее Потугин останавливается на идеологии славянофильского движения.

«Удивляюсь я, милостивый государь, своим соотечественникам. Все унывают, все повесивши нос ходят, и в то же время все исполнены надежды и чуть что, так на стену и лезут. Вот хоть бы славянофилы, ... та же смесь отчаяния и задора, тоже живут буквой «буки». Все, мол, будет, будет. В наличности ничего нет, и Русь в целые десять веков ничего своего не выработала, ни в управлении, ни в суде, ни в науке, ни в искусстве, ни даже в ремесле... Но постойте, потерпите: все будет. А почему будет, позвольте полюбопытствовать? Вот где наше дело – будущее! А потому, что мы, мол, образованные люди, – дрянь; но народ... о, это великий народ! Видите этот армяк? Вот откуда все пойдет. Все другие идолы

¹⁸⁴ Там же. С. 28 – 29.

разрушены; будемте же верить в армяк. Ну, а коли армяк выдаст? Нет, он не выдаст... А стоило бы только действительно смириться – не на одних словах – да попризанять у старших братьев, что они придумали и лучше нас и прежде нас!»¹⁸⁵ Вот отменили крепостное право и тут же начались крики о бедности крестьян после освобождения. Да ведь кто сказал, что к хорошему переходят через лучшее? Нет, через худшее – «через худшее к хорошему!»

То, что у славянофилов не нашлось на сказанное резонных возражений, свидетельствует, что не оппонируя по существу, все свое несогласие с Потугиным – Тргеневым они заключили в возражение, что Тургенев-де не знает и не понимает России. Достоевский, например, посоветовал Тургеневу приобрести телескоп, чтобы из французского прекрасного далека лучше разглядывать своих современников-земляков. Более того. Обличитель дошел до фраз: «...Нельзя же слушать такие ругательства на Россию, от *русского изменника, который мог бы быть полезен. Его ползанье перед немцами и ненависть к русским я заметил давно*»¹⁸⁶ (Выделено мной. – С.Н.). Сказанное не мешало, между тем, обличителю одалживать у Тургенева денег для покрытия карточных долгов, причем возврат следовал далеко не всегда.

Пребывание Литвинова за границей после краха отношений с Ириной завершается возвращением в Россию. Едет он в деревню, где вплотную занимается устройством аграрных дел. Естественно, что применение приобретенных за границей знаний было отложено. «Нужда заставляла перебиваться со дня на день, соглашаться на всякие уступки – и вещественные, и нравственные. Новое принималось плохо, старое всякую силу потеряло; неумелый сталкивался с недобросо-

¹⁸⁵ Там же. С. 30

¹⁸⁶ Письмо Ф.М. Достоевского от 16 августа 1867 года. Цит. по: *Труайя Анри*. Иван Тургенев. М., 2005. С. 180.

вестным; весь поколебленный быт ходил ходуном, как трясина болотная, и только одно великое слово “свобода” носилось как божий дух над водами. Терпение требовалось прежде всего, и терпение не страдательное, а деятельное, настойчивое, не без сноровки, не без хитрости подчас...

...Но минул год, за ним другой, начинался третий. Великая мысль осуществлялась понемногу, переходила в кровь и плоть: выступил росток из брошенного семени, и уже не растоптать его врагам – ни явным, ни тайным. Сам Литвинов хотя и кончил тем, что отдал большую часть земли крестьянам исполу, т.е. обратился к убогому, первобытному хозяйству, однако кой в чем успел: возобновил фабрику, завел крошечную ферму с пятью вольнонаемными работниками, – а перебивало их у него целых сорок, – расплатился с главными частными долгами... И дух в нем окреп...»¹⁸⁷.

Романом «Дым», который многие исследователи считают одним из лучших тургеневских произведений, после его выхода были недовольны все. Консерваторы – недоброжелательным изображением высшего общества, революционеры – невниманием к возможной революции, славянофилы – культурной «дискредитацией» России, ее унижением перед Западом. И почти никто не заметил того конструктивного элемента, который, как и в предыдущих романах, сказался в истории литвиновского хозяйствования в России. Впрочем, само дело только зарождалось, а заложенное свободой семя только «давало росток». Но росток креп и в следующем, финальном произведении тургеневской эпопеи, получил развитие.

* * *

После отмены крепостного права революционно настроенная часть российского общества начала пробовать силы в низовой работе с крестьянством: возникло «хождение в народ». Общим для всех народников была уверенность в не-

¹⁸⁷ Там же. С. 161.

избежности революции, в возможности стороной обойти капитализм, в особой роли общины. При этом, если Бакунин и Кропоткин высказывались за инициирование в деревне бунта, за слом государства, то сторонники П.Н. Ткачева отстаивали идеи заговора. Что же до П.Л. Лаврова, то он упирал на пропаганду.

Отдавая должное самоотверженности революционеров, Тургенев, тем не менее, стоял на умеренных позициях, о чем и заявил романом «Новь». Текст предваряется эпиграфом о том, что целина, «новь» требует от земледельца не работы сохой, которая лишь «царапает» землю, а глубоко забирающего плуга. В письме А.П. Философовой автор высказывался еще более четко: «Народная жизнь переживает воспитательный период внутреннего здорового развития, разложения и сложения», теперь «Базаровы не нужны» и, напротив, «нужно трудолюбие, терпение; нужно уметь жертвовать собою без всякого блеску и треску... Что может быть, например, низменнее – учить мужика грамоте, помогать ему, заводить больницы и т.д.»¹⁸⁸.

Предваряя анализ произведения, скажу, что путь постепенной выработки в народе устойчивой привычки к каждодневному, методичному, то, что у нас, русских, называется «занудному» труду, этому пути в российском сознании того время не придавалось особого значения. И потому Соломин, выражающий авторскую позицию, олицетворяющий это труженическое начало, оказался (в противоположность Базарову) не только не популярен среди читателей, но даже критикуем.

Сам же роман, сводивший счеты с идеологией революционного нетерпения, исповедуемой народниками, с одной стороны, и изоляционистско-патриархальными настроениями славянофилов и правительственных адептов, с другой,

¹⁸⁸ Там же. С. 290 – 291.

большинством читающей публики был отвергнут. Все, как выразился Тургенев, принялись «бить его палками».

Причина неприятия Соломина состояла в том, что «герой» этот для России был вовсе не героичен и не централен. Выведенный писателем тип труженика массово обнаруживал себя в капиталистической Европе. И если Тургенева можно упрекнуть в его «незнании» России, так это только в том смысле, что, будучи убежденным сторонником либерального пути развития, он перенес Соломина-европейца в российскую среду, которой он своими устремлениями был чужд. Народникам он не подходил, поскольку отвергал идею революционизации крестьянства. Со славянофильской идеологией Соломин – западник, рационалист и индивидуалист – не согласовывался по идейным основаниям. С устремлениями правительственных кругов, все более тяготевших к отечественным «формам» либерализма (как говаривал один из персонажей «Дыма» – «вежливо, но в зубы»), он не согласовывался демократизмом и приверженностью идее правового ограничения самодержавия.

Так кто же эти люди, «хожденцы в народ»? Познакомившись с ними, мы должны признать, что перед нами своеобразные социальные мутанты, что видно не только по их происхождению и бытию, но по поведению и даже внешности. Машурина – из небогатой южнорусской дворянской семьи, оставившая родителей и добившаяся в Петербурге родовспомогательного аттестата. Она более похожа на мужчину, нежели женщину. Паклин, как чертик из табакерки впрыгивающий в романное пространство через отверстие приоткрытой двери, и вовсе по своему физическому облику вызывает сочувствие: он мал ростом, хил, хром, с короткими ручками и кривыми ножками. Центральный герой – Алексей Дмитриевич Нежданов – полукровка-аристократ, живущий на «пансионе», рожденный от матери-дворяной и ее хозяина-помещика.

Объединяет этих людей готовность действовать по приказу революционного начальства. И начальство незамедлительно дает о себе знать письмом. При этом, когда послание прочитано, его торжественно сжигают и зажженная спичка распространяет сильный запах серы, чем автором дается намек на отнюдь не божеское, но дьявольское происхождение цидульки. То, что она именно такого свойства, подтверждается Паклиным: «...Хотим целый мир кверху дном перевернуть...»¹⁸⁹

Впрочем, сопутствующий появлению нечистого запаха серы может быть отнесен и к неожиданно возникающему новому персонажу – сановнику Сипягину. Этот дворянин, наряду с его приятелем – помещиком-ростовщиком Калломейцевым, представляют в романе новейшую олигархически-правительственную идеологию, смысл которой – в обосновании правомерности извлечения помещиками максимальной прибыли из бедственного пореформенного положения деревни.

В романе продолжается заявленная еще в «Рудине» линия противостояния двух враждебных друг другу идеологических лагерей российского общества. Только если в «Рудине» и «Дворянском гнезде» она развивалась в любовно-личностном ключе, а в «Накануне» и в «Отцах и детях» – в форме противостояния славянофильства и западничества через столкновение «старого» и «нового», то в «Дыме» и, в особенности, в «Нови» – посредством «материализации» идеологических постулатов в организационно оформляющихся общественных силах.

На мой взгляд, в «Нови» Тургенев первым в русской классической литературе, не только поставил вопрос о содержании народнической идеи¹⁹⁰, но и о правомочности и нравствен-

¹⁸⁹ Там же. С. 191.

¹⁹⁰ В чем он безусловно предварил романы Н.С.Лескова и Ф.М.Достоевского.

венных основаниях революционных действий. У Тургенева, гениально прозревшего нравственную ущербность того, что в XX столетии назвали «экспортом революции» (не важно – было ли это как у Ленина – из города в деревню, или как у Че Гевары – из страны в страну), неприятие вызывает сам принцип действий, при котором «цель оправдывает средства». Именно им руководствуется тайный лидер народовольцев. Именно к нему прибегают Паклин и Маркелов. Впрочем, также поступают и оппоненты «революционеров» – помещики Сипягин и Калломейцев.

Современного читателя, знакомящегося с описанными в романе эпизодами хождения в народ, не оставляет чувство алогичности происходящего. Глубина непонимания народом «хожденцев» доходит до абсурда: так, в ответ на страстные лозунги, выкрикиваемые в толпе мужиков Неждановым, крестьяне, ничего не поняв, лишь замечают «сердитый барин». Впрочем, почти все романские герои-народовольцы в успех дела не верят. Но, тем не менее, в соответствии с инструкциями дело делать пытаются.

На этот вопрос находится три ответа. Первый вытекает из всех шести книг эпопеи. Продвигаясь от романа к роману, читатель постепенно сознает, что вековой конфликт между крестьянами и помещиками в принципе может быть разрешен только переходом хозяйственных отношений на новый, более высокий уровень, который бы окончательно отменил систему господства – подчинения. Только-только возникшие в системе российских общественных связей собственность и свобода как основания и фундаментальные нормы социальной жизни для своего закрепления нуждались в конкретных воплощениях.

Вместе с тем, интуитивно ощущая близость появления новых хозяйственных и общественных форм и ошибочно связывая их с якобы имеющимися у общины потенциалами со-

циальной справедливости и экономической эффективности, народники надеялись своим «хождением» «разбудить» именно их и тем избежать ужасов первоначального капитализма.

Второй ответ связан с природой самих «хожденцев». Достигать цели «будоражить народ», постепенно приучая его к возможности новых, ранее немыслимых форм поведения, на эту заведомо разрушительную деятельность могли подвигнуться лишь люди особого типа – «мутанты–маргиналы», которые не могли устроиться в нормальной жизни. Вспомним тоскливую безответную влюбленность в Нежданова Машуриной, полные безнадежности откровения уродца Паклина или недалекость и хроническую человеческую неудачливость Маркелова¹⁹¹.

И, наконец, третий ответ связан лишь с благородным порывом, исключительно индивидуальным нравственным намерением. В «Нови» носитель его – Марианна, традиционный тургеневский тип русской девушки, которая, узнав о задаче, за решение которой взялся ее названный возлюбленный, тут же решается жертвенно помогать ему.

Безнадежность дела народников еще более укрепляется и качеством тех персонажей – крестьян, на которых они рассчитывают, хотя и найти сочувствующих революционной агитации сложно. Так, осмотревшись в имении Сипягина, Нежданов обнаруживает, что мужики отделенные недоступны, а у дворовых людей «уж очень пристойные физиономии». Нет надежд и у Маркелова: «Народ здесь довольно

¹⁹¹ Вот такую характеристику Маркелову дает Тургенев: «Маркелов был человек упрямый, неустрашимый до отчаянности, не умевший ни прощать, ни забывать, постоянно оскорбляемый за себя, за всех угнетенных, – и на все готовый. Его ограниченный ум бил в одну и ту же точку: чего он не понимал, то для него не существовало; ...Хозяин он был посредственный: у него в голове вертелись разные социалистические планы, которые он также не мог осуществить». Там же. С. 231.

пустой, ...темный народ. Поучать надо. Бедность большая, а растолковать некому»¹⁹². Однако, некоторые кадровые наметки у Маркелова появляются. Это «дельный малый» буфетчик Кирилл (по авторской ремарке – «Кирилл этот был известен как горький пьяница»), а также Еремей из деревни Голоплек. Впоследствии именно это «олицетворение русского народа» было в числе первых, кто выдал Маркелова властям. Впрочем, в своей неудаче Маркелов винит, прежде всего, себя: «...это я виноват, я не сумел; не то я сказал, не так принялся! Надо было просто скомандовать, а если бы кто препятствовать стал или упираться – пулю ему в лоб! Тут разбирать нечего. Кто не с нами, тот права жить не имеет...»¹⁹³

Свой опыт прививки крестьянам революционных взглядов появляется и у Нежданова. Однако в разговорах он вроде бы даже робел и перед пьяницей Кириллом, и перед Менделем Дутиком и кроме очень общей и короткой ругани от них ничего не услышал.

Еще один народный элемент по прозвищу Фитюев, и все поставил Нежданова в тупик: оказалось, что у него мир, община, отобрал надел, потому что этот здоровый мужик, оказывается, «не мог работать» и днями бродил по деревне и просил «грошика на хлебушко». Фабричный народ тоже «не дался» Нежданову. Все эти люди были либо «ужасно бойкие», либо «ужасно мрачные».

Неутешительный диагноз о готовности крестьянства к революционным действиям подтверждает Соломин: «Мужики? ...Кулаки только свою выгоду знают; остальные – овцы, темнота». Но тут же он обнаруживает и серьезное негодование, когда слышит о несправедливости на суде, о притеснении рабочей артели¹⁹⁴. Соломин, чья судьба и жизненные занятия

¹⁹² Там же. С. 228.

¹⁹³ Там же. С. 404.

¹⁹⁴ Там же. С. 264 – 265.

сильно отличаются от остальных героев, не сходится с ними и по предполагаемому революционному делу. Что же он за человек?

Управляющий фабрикой Василий Федотыч Соломин – сын дьячка, преуспевший в изучении математики и механики настолько, что получает возможность в течение двух лет пополнять образование в Манчестере. Возвратившись из капиталистической Англии в феодальную Россию, Соломин как западник отчетливо видит ошибочность не только славянофильских рецептов, но и рекомендаций народников. Для практика Соломина очевидна бессмысленность «хождения в народ». Нужна постепенная легальная работа с «низами» через школу, больницу, судебную защиту. Но главное лекарство все же – труд. В разговоре Соломина с Марианной Тургенев обозначает его как универсальное средство не только против воспитанных иноземным владычеством и крепостничеством традиционных русских «болячек» – лени, вялости, скуки, но и против нового недуга – революционного зуда. Марианне Соломин говорит: «А вот вы сегодня какую-нибудь Лукерью чему-нибудь доброму научите; и трудно вам это будет, потому что не легко понимает Лукерья и вас чуждается, да еще воображает, что ей совсем не нужно то, чему вы ее учить собираетесь; а недели через две или три вы с другой Лукерьей помучаетесь; а пока – ребеночка ее помоете или азбуку ему покажите, или больному лекарство дадите ...По-моему, шелудивому мальчику волосы расчесать – жертва, и большая жертва, на которую немногие способны»¹⁹⁵.

Трудом как главным содержанием должна наполниться российская общественная среда. Но какова эта среда? И хотя развернутый ответ дается Тургеневым постоянно, он, тем не менее, считает важным посвятить этой теме еще одну специальную главу, герои которой напоминают гоголевских

¹⁹⁵ Тургенев И.С. Собр. соч.: В 12-ти томах. Т.4. С. 360 – 361.

«Старосветских помещиков». Отмечу, что образы этой главы также выведены западником-Тургеневым в контексте его продолжающейся полемики со славянофилами. В подтверждение приведу лингвистическое доказательство.

Одним из ключевых славянофильских понятий 1830-х – 1840-х гг., как известно, было «русская старина», которое в разных контекстах, но неизменно как идеал, обнаруживается в текстах Хомякова, Киреевского, Аксакова. Так вот, описывая быт своих «старосветских помещиков» Фимушки и Фомушки Субочевых, Тургенев на трех страницах текста более десяти раз (!) употребляет слово «старый» и производные от него эпитеты: «старинные обитатели», «старость», «старик», «старинный быт», «старенький альбом», «старинные кушанья», «старинные романсы», «старые времена», «старенький дом». К этому добавляются и синонимы – «древний», «стертый от времени» и др. Случайно ли это? Было бы странно полагать, что мастер слова намеренно стандартизировал и обеднял свой язык без какой-то специальной цели. Тем более что ни в других своих произведениях, насколько могу судить, к этому приему Тургенев не прибегает. Без сомнения, в этой нарочитой речевой стандартизации слышится отголосок полемики со слепой славянофильской тягой к русской старине. (Вспомним, кстати, и позднейшую шутку-предложение Чехова – создать «Славянофильско-русский словарь»).

Итак, что же за персонажи дворяне Субочевы и чем важны для рассматриваемых проблем? «Оазис» Субочевых – своего рода богадельня, в которой хорошо обиженным жизнью людям. Кроме уродца Паклина, здесь живут его горбатая сестра Снандулия и карлица Пифка. Способ изживания жизни помещиков Фимушки и Фомушки – не исключение, а типичное явление, к которому, что важно для характеристики тогдашнего русского мировоззрения, горожане относятся «с уважением». Знакомством начинающих революционеров с Субоче-

выми Паклин дает народникам дельный совет: до того, как затевать ломку общественной жизни, оглядеться вокруг себя и понять, что представляет собой российский мир.

Фимушка и Фомушка происходили из «коренного» дворянского рода, всю жизнь прожили на одном месте и никогда не изменяли ни своего образа жизни, ни привычек. Их ближайший круг – дворовые люди за десятилетия также нисколько не изменились, и в ответ на то, что «для всех крепостных вышла воля» их старый слуга Каллионич, например, отвечал, «что мало ли кто какие мелет враки; это, мол, у турков бывает воля, а его, слава богу, она миновала»¹⁹⁶.

Фимушка-Фомушка живут в ими самими сотворенном, не имеющем отношения к реальности, мире. В этом мире у них есть даже свои собственные слова и представления, как, например, такое: теперь французы, «должно быть, все презлые стали». Глава о «старосветских помещиках» содержит важную деталь – отношение XVIII в. к затеваемому революционному делу и даже исторический суд над ним. Так, Фимушка определяет, кто есть кто из навестивших их с мужем гостей. О Маркелове сказала, что он «горячий, погубительный человек», о Соломине – «прохладный, постоянный», о Паклине – «вертопрах», а Нежданова назвала «жалким». Согласимся, что оценки оказались точны и подтвердились. Финал же этому пророчеству кладет карлица, кричащая вслед уходящим гостям: «Дураки, дураки!» Не поняли, дескать, они XVIII в. и, тем самым, века нынешнего, в коем многое присутствует из старых времен. И обе мысли, надо признать, правда. Но только потому, что время слоисто.

Посетив век восемнадцатый, начинающие революционеры отправляются в двадцатый, к купцу Голушкину. Происходил он из староверов, но с их трудовыми качествами ничего общего не имел. Это, напротив, был тип русского эпику-

¹⁹⁶ Там же. С. 276.

рейца, т.е. он много и без разбора ел, отчаянно пил, а пуще всего бахвалился. В бессвязной (из-за количества выпитого) застольной беседе неожиданно возник существенный для тактики народнического движения вопрос о степени решительности планируемых действий. При этом даже обычно молчавший Соломин заявляет, что их акции должны иметь постепенный характер, но если раньше они вводились сверху, то теперь их надо инициировать снизу. Мысль эта поддержки не нашла: Маркелов заявил, что нам постепеновцев не нужно. А Голушкин поддержал: «Не нужно, к черту! Не нужно... , надо разом, разом!»¹⁹⁷. Прощаясь и направляясь снова в «оазис», Паклин итожит дневные визиты: «И там чепуха – и здесь чепуха... Только та чепуха восемнадцатого века ближе к русской сути, чем этот двадцатый век»¹⁹⁸.

К теме «качества» русского человека Тургенев счел нужным добавить собственные мысли, поместив их в подводящий итог всем событиям диалог Паклина и Машуриной¹⁹⁹. «...Мы, русские, какой народ? Мы все ждем: вот, мол, придет

¹⁹⁷ Там же. С. 292.

¹⁹⁸ Там же. С. 294.

¹⁹⁹ Хотя эти мысли вложены в уста далеко не позитивного персонажа Паклина, они, тем не менее, на мой взгляд, являются мыслями Тургенева. Ведь их содержание верно отражает не только существо проблем, изложенных в романе, но и согласуется с мыслями писателя, известными по другим источникам. Что же до того, что их произносит Паклин, то ответ, по-видимому, в том, что, как верно предположил в своем исследовании российской истории и культуры Т.Г.Масарик, в романе этот персонаж играет особую роль «злобного спорщика». Герой этот – результат тургеневской романной переключки с античной трагедией. Так, в «Илиаде» Гомера Терсит – греческий воин, осмеливавшийся во время Троянской войны спорить с предводителем греков Агамемноном. Гомер изображает его злобным, болтливым и уродливым. См.: Масарик Т.Г. Россия и Европа. Эссе о духовных течениях в России. Санкт-Петербург, 2003. Кн. III. Ч. 2 -3. С. 320.

что-нибудь или кто-нибудь – и разом нас излечит, все наши раны заживит, выдернет все наши недуги, как больной зуб. Кто будет этот чародей? Дарвинизм? Деревня? Архип Перепентьев? Заграничная война? Что угодно! Только, батюшка, рви зуб!! Это все – лень, вялость, недомыслие!»²⁰⁰

Все верно. Но есть ли этому альтернатива? Тургенев полагает, что есть, и она в Соломине, который из изложенной в романе народовольческой истории сумел вывернуться и построил в Перми завод. И верно о нем говорит Паклин: «Такие, как он, – они-то вот и суть настоящие. Их сразу не раскусишь, а они – настоящие, поверьте; и будущее им принадлежит... Теперь только таких и нужно! Вы смотрите на Соломина: умен – как день, и здоров – как рыба... Как же не чудно! Ведь у нас до сих пор на Руси как было: коли ты живой человек, с чувством, с сознанием – так непременно ты больной! А у Соломина сердце-то пожалуй, тем же болеет, чем и наше, – и ненавидит он то же, что мы ненавидим, да нервы у него молчат, и все тело повинуется как следует... значит: молодец! Помилуйте: человек с идеалом – и без фразы: образованный – и из народа; простой – и себе на уме... Какого вам еще надо? ...Знайте, что настоящая, исконная наша дорога – там, где Соломины, серые, простые, хитрые Соломины!»²⁰¹

Итак, в последнем, шестом романе, Тургенев дает развернутый ответ на вопрос – когда в России появятся настоящие люди. Имя ответу – Соломин.

Но сложно дается русским познание правды простых истин. Ведь ко всему прочему, как верно подметил Тургенев: «...Русские люди – самые изолгавшиеся в целом свете». Впрочем, тут же добавил: «...а ничего так не уважают, как

²⁰⁰ Тургенев И.С. Собр. соч.: В 12-ти томах. Т.4. С. 425 – 426.

²⁰¹ Там же. С. 428 – 429.

правду, ничему так не сочувствуют, как именно ей»²⁰². Жаль, что это уважение и сочувствие возникают обычно задним числом и остаются, как правило, лишь в сфере эмоций, редко осмысливаются и почти никогда не переходят в дело. Все критяне лгут, сказал критянин. Поскольку дело – это и есть столь нелюбимая «занудная» работа, а нам, русским, как правило, хочется всего и сразу. И в этом нам от купца Голушкина привет.

* * *

²⁰² Там же. С. 325.

Дело и недеяние в России: версия И.А. Гончарова

Иван Александрович Гончаров – один из самых философичных русских писателей XIX столетия. Будучи предельно реалистическим и тонким психологом, этот художник, вместе с тем, возвышался до философского размышления над явлениями и процессами, характерными для всего русского общества. Наиболее яркие его персонажи – Илья Ильич Обломов и Александр Адуев – не просто литературные герои, наделенные всеми признаками живых личностей, но олицетворения социальных явлений русской жизни 40-х годов XIX столетия, особенные типы русского общества, выходящие за конкретные исторические рамки. Недаром слово «обломовщина», равно как и эпитет «обыкновенный», взятый из названия романа «Обыкновенная история», со времени их создания автором и по настоящий день имеют обобщающе-философское и специфически российское содержание и смысл.

Гончаров не столько сочинял, сколько с помощью своих персонажей исследовал жизнь и умянастроения общества. Уже первое его сочинение – «Обыкновенная история», опубликованное в журнале «Современник» в 1847 г., имело, по выражению Белинского, «успех неслыханный». А Иван Тургенев и Лев Толстой отзывались о появившемся спустя двенадцать лет романе «Обломов» как о «капитальной вещи», имеющей «невременный» интерес. О том, что герой главного произведения Гончарова стал одной из знаковых в русской культуре фигур, свидетельствует и неослабевающее

внимание к нему на протяжении более полутора столетий.

К сожалению, созданные Гончаровым оппозиции «Адуев-племянник – Адуев-дядя» и «Обломов – Штольц» не нашли удовлетворительной разгадки в наших литературных и философских исследованиях. На мой взгляд, бытующая социально-философская их интерпретация неизменно оказывалась упрощенной, далекой и от авторского замысла, и от контекста, создаваемого русской философской и литературной мыслью XIX в. Чтобы попытаться адекватно понять гончаровский замысел, я хотел бы предложить две рабочие гипотезы. Первая касается внутренней связи между двумя романами Гончарова и уже проанализированными мной ранее романами Тургенева, а вторая – трактовки в романе «Обыкновенная история» образа дяди, Петра Ивановича Адуева.

При работе над своими произведениями как Гончаров, так и Тургенев исходили из одного и того же, созревшего в недрах самой действительности вопроса: возможно ли в России позитивное дело, и если «да», то каким образом? Или же несколько иначе: каковы должны быть новые, требуемые жизнью люди? Какое место в их жизни должно отводиться «достовам разума» и «велениям сердца»?

Возникновению этих вопросов способствовало накопление в национальном мировоззрении новых смыслов и ценностей, что, несомненно, было связано с целым рядом событий. Прежде всего, с тем, что в середине XIX в. Россия стояла на кануне отмены крепостного права и появления нового социально-экономического общественного уклада, в основании которого лежала прежде неизвестная, большей части народа не ведомая свобода. И свобода эта не «вырастала» из логики развития социальных групп российского общества, не «вытекала» из какого-либо переживаемого события, а привносилась в национальную жизнь извне. Формулированию новых для страны задач, в том числе вопроса о возможности позитив-

ного дела способствовало и то, что после петровского соединения России и Европы, а еще более – после войны 1812 г., в обществе укреплялось ощущение принадлежности к европейской цивилизации. Но какие собственные положительные образцы могли восприниматься в России как равнозначные европейским? Без уяснения ответа на этот вопрос думать о европейском пути России было пустым занятием. Именно решением загадки новой исторической судьбы нашего отечества и заняты герои Тургенева и Гончарова.

Романы обоих писателей находятся в одном содержательном поле. И точно так же, как существует внутренняя связь между романами Тургенева, она есть и между двумя основными произведениями Гончарова – «Обыкновенной историей» и «Обломовым». Только обнаруживается она не в сфере *идейных* поисков героев, как это имеет место у Тургенева, а локализована в психологии, во внутреннем мире персонажей, в пространстве непрекращающейся борьбы между разумом и чувствами, «умом» и «сердцем». В этой связи и сформулированный Тургеневым вопрос о возможности позитивного дела в России претерпевает у Гончарова соответствующую коррекцию и звучит так: как возможен и каким должен быть русский герой, ставящий своей целью позитивное дело?

Вторая гипотеза, позволяющая глубже понять новое содержание, которым наполнялось русское мировоззрение, как уже говорилось, относится к роману «Обыкновенная история», к образу Петра Ивановича Адуева.

Современные Гончарову сторонники славянофильского и самодержавно-охранительного прогноза развития страны склонны были видеть в Адуеве-старшем воплощение ненавистного им, но неумолимо вызревающего в России капитализма. Так, один из журналистов болгаринской «Северной пчелы» писал: «Автор не привлек нас к этому характеру ни одним великодушным поступком его. Повсюду виден в нем

если не отвратительный, то сухой и холодный эгоист, человек почти бесчувственный, измеряющий счастье человеческое одними лишь денежными приобретениями или потерями»²⁰³.

Более тонко изложена, но так же далека от истины, трактовка, предлагаемая и в современном исследовании Ю.М. Лощица. В образе Адуева-дяди критик находит черты демона-искусителя, чьи «язвительные речи» вливают в душу юного героя «хладный яд». Это осмеяние «возвышенных чувств», развенчание «любви», насмешливое отношение к «вдохновению», вообще ко всему «прекрасному», «яд» скептицизма и рационализма, постоянная насмешливость, враждебность к любому проблеску «надежды» и «мечты» – арсенал демонических средств²⁰⁴.

Однако заслуживает ли Петр Иванович именованья «демон»? Вот, например, характерный разговор Петра Ивановича с Александром по поводу столичных планов племянника. На прямой вопрос дядюшки о цели приезда в столицу следует ответ: «Я приехал... жить. <...> Пользоваться жизнью, хотел я сказать <...> мне в деревне надоело – все одно и то же... <...> Меня влекло какое-то неодолимое стремление, жажда благородной деятельности; во мне кипело желание уяснить и осуществить... <...> Осуществить те надежды, которые толпились...»²⁰⁵. Реакция дяди на этот бессмысленный лепет благородна и вполне терпима. Впрочем, он предостерегает племянника: «<...> у тебя, кажется, натура не такая, чтоб поддалась новому порядку; <...> Ты вон изнежен и избалован матерью; где тебе выдержать все <...> Ты, должно быть, мечтатель, а мечтать здесь некогда; подобные нам ездят сюда дело делать. <...> Вы помешались на любви, на дружбе да на прелестях жизни, на счастье; думают, что жизнь только в

²⁰³ Цит. по: *Лощиц Ю.М.* Гончаров. М., 2004. С. 77.

²⁰⁴ Там же. С. 75.

²⁰⁵ *Гончаров И.А.* Собр. соч.: В 8 томах. М., 1977. Т. 1. С. 57.

этом и состоит: ах да ох! Плачут, хнычут да любезничают, а дела не делают... как я отучу тебя от всего этого? – мудрено! <...> Право, лучше бы тебе остаться там. Прожил бы ты век свой славно: был бы там умнее всех, прослыл бы сочинителем и прекрасным человеком, верил бы в вечную и неизменную дружбу и любовь, в родство, счастье, женился бы и незаметно дожил до старости и в самом деле был бы по-своему счастлив; а по-здешнему ты счастлив не будешь: здесь все эти понятия надо перевернуть вверх дном»²⁰⁶.

Разве не прав дядя? Разве не заботлив, хотя и не обещает, как просит мать Александра, прикрывать ему платком рот от утренних мух? Разве по-хорошему не назойливо, в меру не нравоучителен? А вот и финал разговора: «Я предупрежу тебя, что хорошо, по моему мнению, что дурно, а там как хочешь... Попробуем, может быть, удастся что-нибудь из тебя сделать»²⁰⁷. Согласимся, что, оценив то, что продемонстрировал Александр, решение дяди – большой аванс и уж точно – груз, возлагаемый на самого себя.

Лошиц обвиняет Петра Ивановича в клевете. Но разве клеветает он? В каких случаях Адуев-старший не верит действительной любви, а, тем более, свободе? И если он и в самом деле не «благословляет» деревенское безделье и сонный паразитизм жизни обитателей Грачей, откуда прибыл Александр, то разве не перевозносит труд в разных его формах – в присутствии, на заводе, в журнале? Да и в отношении «чувствований и сердечных проявлений» дядя может дать фору племяннику. И разве не радуется он успехам Александра в чиновных и журналистских делах? Кем, как не старшим другом и благородным покровителем становится он для Александра? И если бы его отношение к племяннику не было любовно-заботливым, хотя в то же время и иронично-критическим, то разве не созрел бы

²⁰⁶ Там же. С. 58–59.

²⁰⁷ Там же. С. 60.

у него серьезный конфликт с женой – теткой Александра, которая ему покровительствовала? Однако же таковой конфликт не возник. Стало быть, действовали «злодей» дядя и воплощение доброты тетка не розно, а согласно.

За явлениями, увиденными Гончаровым посредством «литературного зрения», скрывается тектоническое общественное преобразование – уже произошедшая в Европе и начинающаяся совершаться в России смена социально-экономических укладов. В это время западные соседи России, в основном освободившись от примет средневекового рабства, уже прошли через горнило гуманизма Возрождения, религиозной Реформации и, завершая преобразование умов, вступили на путь буржуазных революций, которые в центр общества на место родовитого человека-паразита поставили человека дела. И хотя в разных странах Европы этот процесс шел с разной скоростью и имел свои особенности, общий знаменатель – базовые представления о том, как, зачем и за счет чего и за счет кого жить²⁰⁸ – уже определился.

Процесс столкновения разных систем ценностей и взаимоисключающих друг друга принципов отношения к миру как раз и присутствует в конфликте племянника и дяди Адуе-

²⁰⁸ Шел этот процесс не просто. Так, например, крупный немецкий социолог XX в. Норберт Элиас описывает случай (имевший место еще в 1772 г.) с великим Гете в гостях у некоего графа. После обеда, пишет Элиас, Гете «остается у графа, и вот прибывает знать. Дамы начинают перешептываться, среди мужчин тоже заметно волнение. Наконец граф, несколько смущаясь, просит его уйти, поскольку высородные господа оскорблены присутствием в их обществе буржуа: «Ведь вам известны наши дикие нравы, – сказал он. – Я вижу, что общество недовольно вашим присутствием...». «Я, – сообщает далее Гете, – незаметно покинул пышное общество, вышел, сел в кабриолет и поехал...» *Элиас Н.* О процессе цивилизации. Социогенетические и психогенетические исследования. Т. 1. Изменения в поведении высшего слоя мирян в странах Запада. М. – СПб., 2001. С. 74.

вых. Постоянно рассуждая о соотношении разума и чувства, ума и сердца, герои романа на самом деле отстаивают свой уклад жизни и решают вопрос, должен ли человек быть деятелем, или же достойный его удел по-прежнему недеяние.

* * *

С особой силой эта проблематика раскрывается в романе «Обломов». О его значимости для понимания мировоззрения значительного социального слоя имеется много свидетельств, в том числе и Вл. Соловьева: «Отличительная особенность Гончарова – это сила художественного обобщения, благодаря которой он мог создать такой всероссийский тип, как Обломова, равного которому *по широте* мы не находим ни у одного из русских писателей»²⁰⁹. В этом же духе о своем авторском замысле высказывался и сам Гончаров: «Обломов был цельным, ничем не разбавленным выражением массы, покоившейся в долгом и непробудном сне и застое. Не было частной инициативы; самобытная русская художественная сила сквозь обломовщину не могла прорваться наружу... Застой, отсутствие специальных сфер деятельности, служба, захватывавшая и годных и негодных, и нужных и ненужных, и расплывавшая бюрократию, все еще густыми тучами лежали на горизонте общественной жизни... К счастью, русское общество охранил от гибели застоя спасительный перелом. Из высших сфер правительства блеснули лучи новой, лучшей жизни, проронились в массу публики сначала тихие, потом явственные слова о «свободе», предвестники конца крепостному праву. Даль раздвигалась по-немногу...»²¹⁰.

То, что поставленная в «Обломове» проблема соотношения дела и недеяния – центральная, подтверждается уже первыми страницами романа. Как материализованное, воплощенное «недеяние», Илья Ильич не нуждался во внешнем мире и не пускал

²⁰⁹ Соловьев В.С. Собр. соч.: В 10 томах. Т. 3. СПб. С. 191.

²¹⁰ Гончаров И.А. Цит. соч. Т. 8. С. 82 – 84, 87.

его в свое сознание. Но если это все же случилось, на его «лицо набегала из души туча заботы, взгляд туманился, на лбу являлись складки, начиналась игра сомнений, печали, испуга»²¹¹. Тот же принцип сохранения внутренней нетронутости, ее защиты демонстрирует и обломовский слуга Захар, который живет как бы «параллельно» барину. Рядом с барской комнатой – его угол, где он вечно пребывает в полусонном состоянии. Как и Обломов, он «охраняет» рубежи своего замкнутого бытия от любых вторжений внешнего мира: получено неприятное письмо из деревни от старосты – оба, и барин и слуга, дружно делают все для того, чтобы это письмо не сыскалось. Захар это «Обломов – 2», комната барина – его вселенная, а сам он – ее демиург.

Двенадцатилетняя история петербургской жизни Обломова – история строительства «линии обороны» от всего, чем живет человек. Так, прослужив два года, он дело оставил, написав самому себе справку: хождение на службу г. Обломову прекратить и вообще воздерживаться от «умственного занятия и всякой деятельности». Друзей он постепенно от себя «отпустил», а влюблялся столь осторожно, что ни разу не пошел на серьезное сближение, поскольку таковое, как он знал, влекло к большим хлопотам. Влюбленности его, по определению Гончарова, напоминали повести любви «какой-нибудь пенсионерки на возрасте».

В чем же причина такого жизненного уклада Ильи Ильича? В воспитании, образовании, общественном устройстве, барско-помещичьем образе жизни, несчастливом сочетании личных качеств, наконец? Вопрос этот видится центральным, и потому я постараюсь рассмотреть его с разных сторон, исходя из дихотомии «деяние – недеяние».

Наиболее важное указание на верный ответ, кроме иных, рассыпанных по всему тексту, лежит в обломовском сне. В чудном краю, куда сон перенес Илью Ильича, нет ничего бес-

²¹¹ Там же. С. 4.

покоящего взор – ни моря, ни гор, ни скал. Вокруг весело бегущей реки верст на двадцать вокруг раскинулись «улыбающиеся пейзажи». «Все сулит там покойную, долговременную жизнь до желтизны волос и незаметную, сну подобную смерть». Все стабильно и неизменно в этом мире. Даже одна из изб, наполовину висящая над обрывом, висит так с незапамятных времен. А проживающая в ней семья, безмятежна и лишена страха даже тогда, когда с ловкостью акробатов взбирается на висящее над крутизной крыльцо. «Тишина и невозмутимое спокойствие царствуют и в нравах людей в том краю. <...> Интересы их были сосредоточены на них самих, не перекрещивались и не соприкасались ни с чьими»²¹².

Во сне Илья Ильич видит и себя самого, маленького, семи лет, с пухлыми щеками, осыпаемого страстными поцелуями матери. Потом его так же ласкает толпа приживалок, потом его кормят булочками и отпускают гулять под присмотром няньки. «Неизгладимо врезывается в душу картина домашнего быта; напитывается мягкий ум живыми примерами и бессознательно чертит программу своей жизни по жизни, его окружающей»²¹³. Вот отец, целыми днями сидящий у окна и от нечего делать задевающий всех, кто идет мимо. Вот мать, долгие часы обсуждающая, как из мужниной фуфайки перешить Илюше курточку, и не упало ли в саду яблоко, которое еще вчера созрело. А вот и главная забота обломовцев – кухня и обед, о которых совещаются целым домом. И после обеда – священное время – «ничем не победимый сон, истинное подобие смерти». Восставши ото сна, напившись по двенадцати чашек чаю, обломовцы снова бездельно разбредаются кто куда.

Снится Обломову, как няня нашептывает ему о неведомой стороне, «где нет ни ночей, ни холода, где все совершается чудеса, где текут реки меду и молока». При этом «нянька или предание так искусно избегали в рассказе всего, что су-

²¹² Там же. С. 107.

²¹³ Там же. С. 113.

шествует на самом деле, что воображение и ум, проникшись вымыслом, оставались уже у него в рабстве до старости»²¹⁴. Поэтому взрослый Илья Ильич, отлично зная, что такое сказка, втайне хочет верить, что есть медовые и молочные реки и бессознательно грустит – зачем сказка не жизнь, и все тянет его полежать на печи и поесть за счет доброй волшебницы.

А вот Илье Ильичу тринадцать лет и он уже в пансионе у немца Штольца, который «человек дельный и строгий, как почти все немцы». Может быть, у него Обломов и выучился бы чему-нибудь дельному, да Верхлево тоже некогда было Обломовкой и потому в деревне только один дом немецкий, а остальные – обломовские. Вот так, дыша «первобытную ленью, простотою нравов, тишиною и неподвижностью», «ум и сердце ребенка исполнились всех картин, сцен и нравов быта прежде, нежели он увидел первую книгу.

«<...> Плохо верили обломовцы <...> душевным тревогам; не принимали за жизнь круговорота вечных стремлений куда-то, к чему-то; боялись, как огня, увлечения страстей; и как в другом месте тело у людей быстро сгорало от вулканической работы внутреннего, душевного огня, так душа обломовцев мирно, без помехи утопала в мягком теле. <...> Они сносили труд как наказание, наложенное еще от праотцев наших, но любить не могли, и где был случай, всегда от него избавлялись, находя это возможным и должным. Они никогда не смущали себя никакими туманными умственными или нравственными вопросами; оттого всегда и цвели здоровьем и весельем, оттого там жили долго...»²¹⁵.

²¹⁴ Там же. С. 120.

²¹⁵ Там же. С. 125-127. В отношении того, что представляет собой Обломовка – утраченный рай или затхлое болото, всегда велись острые споры. Не рассматривая их по существу, приведу верную, на мой взгляд, позицию В. Кантора, согласно которой сон подается Гончаровым «с позиции человека *живого*, пытавшегося преодолеть засыпание-умирание своей культуры» См.: *Кантор В.К.* Русский европеец как явление культуры. М., 2001. С. 240.

По мере развертывания сюжета читатель все полнее подводится к пониманию того, что Илья Ильич – явление окончательно оформившееся, достигшее предельной стадии своего развития, напрямую подводящее к столь важному для русского мировосприятия конфликту между делом и недеянием. И тут без Штольца, как обломовского антипода, как наименее понятой стороны этого конфликта, не обойтись.

То, что «обломовщина» – существенная, типичная, начавшая исчезать в России лишь после отмены крепостного права, но все еще живая часть русской жизни и русского мировоззрения до сих пор понимается не всегда. Этому же способствует и невнимание к противоположной по содержанию, мировоззренческой интенции – необходимости позитивного жизнеустройства, интенции, в литературе нашедшей выражение в появлении образов человека дела.

Напомню, что не только у Гончарова встречаем мы тип так называемого положительного героя. У Гоголя это помещик Костанжогло и предприниматель Муразов; у Григоровича – пахарь Иван Анисимович, его сын Савелий, равно как и мыкающийся от несчастья к несчастью, но, упорный трудяга Антон Горемыка; у Тургенева – крестьянин Хорь и лесник Бирюк, помещик Лаврецкий, скульптор Шубин и ученый Берсенев, врач Базаров, помещик Литвинов, заводской управляющий Соломин. И позднее такие герои – как отражения реальности или как надежда – неизменно присутствуют в текстах Л. Толстого, Щедрина, Лескова, Чехова. Судьба их, конечно, как правило, тяжела, живут они как бы против течения общей жизни. Но ведь живут же, и потому было бы неверно делать вид, что их нет или что они для российской действительности не важны. Напротив, именно на них и держится то, что называется устоями, общественным фундаментом бытия, европейским вектором развития России и, наконец, прогрессом.

К сожалению, отечественная литературоведческая и философская традиция, выстроенная в советское время исключительно под революционно-демократическим углом зрения, этих фигур не замечала: у революционаристского способа переустройства мира должны были быть свои герои – ниспровергатели-революционеры типа Инсарова. Допущение на эту роль реформатора-постепеновца неминуемо выглядело бы как посягательство на основы коммунистической системы. Сама мысль о возможности реформационного изменения жизни неизбежно поднимает вопрос о допустимости и целесообразности «разрушения до основания» (в этой связи вспомним, к примеру, известное признание Ленина, что если бы столыпинские реформы удались, большевикам с их идеей революционной ломки в российской деревне делать было бы нечего).

Другой стороной апологии революционной мясорубки должно было стать и стало гипертрофированное внимание к «обломовщине» и всему относимому на ее счет. Свою лепту в это внес и Н.Г. Добролюбов. В статье «Что такое обломовщина?», вышедшей в 1859 г., критик, верный идее «в России без революции позитивное дело невозможно», выстраивает длинный ряд литературных персонажей, которых в разной мере числит «обломовцами». Это Онегин, Печорин, Бельтов, Рудин. «Давно уже замечено, – пишет он, – что все герои замечательнейших русских повестей и романов страдают от того, что не видят цели в жизни и не находят себе приличной деятельности. Вследствие того они чувствуют скуку и отвращение от всякого дела, в чем представляют разительное сходство с Обломовым»²¹⁶.

Здесь есть и другой вопрос: коль скоро в литературе появился такой обобщающий тип, как Обломов, не значит ли

²¹⁶ Добролюбов Н.Г. «Что такое обломовщина?» В кн.: «Библиотека русской критики. Критика 50-х годов». М., 2002. С. 352 – 353.

это, что «ничтожество» осмыслено, что дни его сочтены и грядет новая сила? И не Штольц ли это? Что до последнего, то он, по Добролюбову, – плод «забегания вперед литературы перед жизнью». Конечно, литература, если она – философия, такой и должна быть. «Штольцев, людей с цельным, деятельным характером, при котором всякая мысль тотчас же является стремлением и переходит в дело, еще нет в жизни нашего общества» и в контексте обозначаемой в русском самосознании оппозиции «душа, сердце – разум, ум» слова, которые бы были понятны «русской душе», Штольц не произносит.

В своих оценках якобы чуждого русской культуре «немца» Добролюбов ни в прошлом, ни в настоящем не одинок. Так же пренебрежительно о Штольце как о «символе разумной промышленной деятельности», а не о живом человеке отзывается и младший современник Добролюбова, философ и революционер П.А. Кропоткин. При этом он столь пренебрежителен, что даже не утруждает себя разбором художественных аргументов в пользу авторских резонов появления и трактовки в романе Штольца²¹⁷. Для него Штольц – человек, не имеющий с Россией ничего общего.

В этом же ключе высказываются и наши современники П. Вайль и А. Генис. Согласно их определениям, Андрей Иванович – это «человек-машина», «человек-роль» и даже «похож на Чичикова, каким он мог бы стать к третьему тому «Мертвых душ»»²¹⁸. Еще дальше в критике Штольца пошел уже цитировавшийся Ю.М. Лощиц, работа которого дает своеобразный поворот проблеме «деяние – недеяние». Фактически критик пишет «Апологию Обломова», своеобразно истолковывая авторский замысел романа. Уже само название

²¹⁷ *Кропоткин П.А.* Русская литература. Идеал и действительность. М., 2003. С. 157.

²¹⁸ *Петр Вайль, Александр Генис.* Родная речь. Уроки изящной словесности. М., 2011. СС. 164, 166.

деревни «Обломовка» трактуется Лощицом не как у Гончарова (обломившийся и потому обреченный на потерю, исчезновение, край чего-то – хоть той избы в сне Обломова, что висит на краю обрыва). Обломовка – это «обломок некогда полноценной и всеохватной жизни <...> И что такое Обломовка, как не всеми забытый, чудом уцелевший <...> блаженный уголок» – обломок Эдема? Здешним обитателям о б л о м и л о с ь доедать археологический обломок, кусок громадного когда-то пирога»²¹⁹.

Далее Лощиц проводит аналогию между Ильей Ильичом и Ильей Муромцем, сидевшим на печи первые тридцать три года своей жизни. Правда, вовремя останавливается, поскольку богатырь, в конце концов, с печи слез, чего не скажешь про Обломова. Затем на место Ильи Муромца заступает сказочный Емеля – мудрый дурак, – поймавший волшебную щуку и безбедно существовавший за ее счет. И Обломов, по Лощицу, – «мудрый лентяй, мудрый дурак». Пускай «другие непрерывно что-то замышляют и промышляют, все мнутятся, даже с самым лукавым вступают в сделку, но все же ни в чем они в итоге не успевают и никуда не поспевают. <...> Зачем Емеле карабкаться на заморские золотые горы, когда рядом, лишь руку протяни, все готовое: и колос золотится, и ягода пестреет, и тыква полнится мякотью. Это и есть его “по шучьему веленью” – то, что рядом, под рукой»²²⁰. А «пока существует сонное царство, Штольцу все как-то не по себе, даже в Париже плохо спится. Мучит его, что обломовские мужики испокон веку пашут свою землю и снимают с нее урожаи богатые, не читая при этом никаких агрономических брошюр. И что излишки хлеба у них задерживаются, а не следуют быстро по железной дороге – хотя бы в тот же Париж»²²¹.

²¹⁹ Лощиц Ю.М. Указ. соч. С. 171.

²²⁰ Там же. С. 173 – 174.

²²¹ Там же. С. 178.

Оставим в стороне мифы о «богатых урожаях» и хлебных излишках. Не будем спрашивать со славянофильствующего гуманитария знания отечественной экономической аграрной истории. Однако отчего столь сильная неприязнь именно к Штольцу? Лощиц проясняет ее цитатой из дневниковой записи М.М. Пришвина 1921 г.: «Никакая “положительная” деятельность в России не может выдержать критики Обломова: его покой таит в себе запрос на высшую ценность, на такую деятельность, из-за которой стоило бы лишиться покоя... Иначе и быть не может в стране, где всякая деятельность, в которой личное совершенно сливается с делом *для других*, может быть противопоставлена обломовскому покою»²²². По мысли Лощица, под «положительной» деятельностью Пришвин разумеет социальный и экономический активизм «мертво-деятельных» ртво-деятельных»швин разумеет социальный и экономический активизм «рытогооге – хотя тся.ню, за его жизненные тяготы. да поспе людей типа Штольца. Цитировано точно. Вот только думал так Михаил Михайлович в то время, когда, как и многие его современники-интеллигенты, еще не растратил иллюзий относительно возможности воплощения в России славянофильско-коммунистического идеала слияния «личного дела» с «делом для других» с дальнейшим дрейфом к «скрепам». А когда испил до дна двадцатые годы и увидел материализацию «идеала», в частности, в коллективизаторской практике большевиков по отношению к его соседям-крестьянам, которые, накидывая петлю, оставляли записку «Ухожу в лучшую жизнь», то ужаснулся и писать стал нечто противоположное.

В трактовке образов Штольца и Обломова Лощиц доходит до фантастических предположений: «От Штольца начинает пахнуть серой, когда на сцену выходит <...> Ольга Ильинская»²²³. Штолец-Мефистофель использует Ольгу, как

²²² Там же. С. 174.

²²³ Там же. С. 179.

дьявол – прародительницу человеческого рода Еву и как Мефистофель – Гретхен, «подсовывая» ее Обломову. Впрочем, и Ольга, согласно Лощицу, та еще «штучка»: она любит для того, чтобы «перевоспитать», любит «из идейных соображений». Но, к счастью, Обломов встречает подлинную любовь в лице «душевно-сердечной» Агафьи Матвеевны Пшеницыной. Вместе с вдовой Пшеницыной воспаряет Обломов в книге Лощица на невероятную высоту: «... Не в один присест разгрызается обломок громадного пиршественного пирога; не сразу обойдешь и оглядишь со всех сторон лежачекаменного Илью Ильича. Пусть и он передохнёт сейчас вместе с нами, пусть предастся самому любимому своему занятию – сну. Может быть, ему сейчас снятся самые первые дни существования <...> Спит Обломов – не сам по себе, но со всеми своими воспоминаниями, со всеми людскими снами, со всеми зверями, деревьями и вещами, с каждой звездой, с каждой отдаленной галактикой, свернувшейся в кокон»²²⁴. Такова, к сожалению, распространенная трактовка. Неужели именно это посредством своих героев прозревал сам Гончаров?

Содержащийся в романе ответ, в первую очередь, имеет отношение к жизненной истории Штольца, которую повествователь счел нужным рассказать, сопроводив замечанием об уникальности феномена Андрея Ивановича для российской действительности. «Деятели издавна отливались у нас в пять, шесть стереотипных форм, лениво, вполглаза глядя вокруг, прикладывали руку к общественной машине и с дремотой двигали ее по обычной колее, ставя ногу в оставленный предшественником след. Но вот глаза очнулись от дремоты, послышались бойкие, широкие шаги, живые голоса <...> Сколько Штольцев должно явиться под русскими именами!»²²⁵.

²²⁴ Там же. С. 183–184.

²²⁵ *Гончаров И.А.* Указ. изд. Т. 2. С. 171.

Именно такая трактовка Штольца дается и в работе чешского исследователя Т.Г. Масарика: «В фигуре Штольца Гончаров в “Обломове” пытается предложить лекарство от обломовской болезни <...> от “аристократически-обломовской неподвижности” – Россия должна пойти в обучение к немцу с его практичностью, работоспособностью и добросовестностью», чем, в частности, был недоволен славянофильский поэт Ф. Тютчев²²⁶.

Феномен Штольца, вполне русского по рождению, вере и языку, Гончаров объясняет прежде всего его воспитанием, которое избрал для него не только отец (в этом случае на свет явился бы ограниченный немецкий бюргер), но и мать. И если отец олицетворяет материально-практическое, рациональное начало и хотел бы видеть в сыне продолжение намеченной его предками линии жизни делового человека, то мать – начало идеально-духовное, эмоциональное, и в сыне ей грезится культурный “барин”²²⁷. Столь необычное сочетание разных способов воспитания и самой жизни привело к тому, что вместо узкой немецкой колеи Андрей стал пробивать такую «широкую дорогу», которая не мыслилась ни одному из его родителей. Симбиоз взаимоисключающих начал привел и к формированию особой духовно-нравственной конституции. Об Андрее Ивановиче повествователь сообщает, что «он искал равновесия практических сторон с тонкими потребностями духа. Две стороны шли параллельно, перекрещиваясь и переливаясь на пути, но никогда не запутываясь в тяжелые, неразрешаемые узлы»²²⁸. Штолец – одно из проявлений сочетания ума и сердца, рационально-прагматического и чув-

²²⁶ Масарик Т.Г. Россия и Европа. Эссе о духовных течениях в России. Кн. III. Ч. 2–3. СПб., 2003. С. 281, 283.

²²⁷ Гончаров И.А. Указ. изд. Т. 2. С. 160–161.

²²⁸ Там же. С. 168.

ственно-эмоционального начал при безусловном доминировании первого²²⁹.

Но ведь и Илья Ильич не всегда был лежебокой, и его обуревали замыслы «служить, пока станет сил, потому что России нужны руки и головы для разрабатывания неистощимых источников». Он также жаждал «объехать чужие края, чтоб лучше знать и любить свои». Он был уверен, что «вся жизнь есть мысль²³⁰ и труд <... > труд хоть безвестный, темный, но непрерывный», дающий возможность «умереть с сознанием, что сделал свое дело»²³¹. Но затем Илья Ильич рассудил, что труд с покоем в финале ни к чему, если покой, при наличии трехсот душ, может быть обретен и в начале жизненного пути. И перестал трудиться. Свой новый выбор Обломов подкрепил следующим ощущением: «жизнь моя началась с погасания»²³².

Разговор Штольца с Обломовым об изначальном угасании приобретает трагический характер, поскольку оба сознают, что у Ильи Ильича нет чего-то такого, что не только приобрести или найти, но и назвать-то точно не удастся. И Андрей Иванович, ощущая это, тяготится так же, как невольно тяготится здоровый человек, сидя у постели неизлечимо больного: он вроде бы и не виноват, что здоров, но сам факт обладания здоровьем заставляет его чувствовать неловкость.

²²⁹ В подтверждение отмечу, что Гончаров только в отношении двух элементов чувственно-эмоциональной сферы – воображения и мечты – позволяет себе сильные замечания: Штолец «боится» их. Кроме того, «так же тонко и осторожно, как за воображением, следил он за сердцем. Здесь, часто оступаясь, он должен был сознаться, что сфера сердечных отправлений была еще terra incognita» (там же. С. 169).

²³⁰ Важный акцент а паре «разум – чувство», который делался Обломовым, когда «обломовщина» еще не взяла верх.

²³¹ *Гончаров И.А.* Указ. изд. Т. 2. С. 188.

²³² Там же. С. 191.

И, пожалуй, единственное, что он может предложить – увезти друга за границу, а потом сыскать ему дело. При этом несколько раз заявляет: «Я не оставлю тебя так... Теперь или никогда – помни!»²³³

Внимательно перечитав даже одну только эту сцену, понимаешь, насколько неверны преобладающие в некоторых исследованиях трактовки Штольца как всего лишь дельца, насколько далеки они от понимания гончаровского замысла – попытки еще раз, как и у Тургенева, обратиться к огромной по значимости для России проблеме – возможности позитивного дела. И если у Тургенева, наряду с прочими ответами, явственно звучат слова о необходимости личной свободы как основы настоящего дела, то у Гончарова к этому добавляется мысль о необходимости глубинной переделки нашего обломовского естества.

Так кто же такой Штолец? Он, прежде всего, – профессионал и профессионал успешный, именно в этом, кажется, главная отечественная причина «нелюбви» к нему. Ведь и подан он Гончаровым как «капиталист, взятый с идеальной стороны». «Слово же капиталист звучит для нас почти ругательством. Мы можем умилиться Обломову, живущему крепостным трудом, самодурам Островского, «дворянским гнездам» Тургенева, даже найти положительные черты у Курагиных, но Штолец!.. Почему-то ни у кого не нашлось столько укоризненных слов относительно Тарантьева и Мухоярова, «братца» Агафьи Матвеевны, которые буквально обворовывают Обломова, сколько их употреблено по отношению к другу детства Штольцу, выручающему Обломова именно потому, что видит он (он, именно он видит!) золотое сердце Ильи Ильича. Происходит интересная подмена: все дурные качества, которые можно связать с духом наживы и предпринимательства и которые очевидны в Тарантьеве и

²³³ Там же. С. 192.

Мухоярове, горьковских купцах, предпринимателях Чехова и Куприна, у нас адресуют Штольцу»²³⁴.

Становление капитализма в России к 60-м годам XIX в. (с учетом возможности для русских учиться новому укладу в передовых странах Западной Европы) с неизбежностью должно было создавать и создавало реальных «штольцев». Конечно, они «двигались по другим орбитам», нежели русские писатели, и потому их жизнь не всегда попадала в поле зрения литературы. Однако свидетельства об их деятельности и, главное, ее результаты, уже имелись.

Кроме того, рассматривая творчество Гончарова в общем культурном контексте становления русского самосознания и мировоззрения, выскажу следующую гипотезу: с позиций рассмотрения становления в России нового человека, «позитивного» человека дела, вкладом Гончарова в этот процесс мне представляется видение такого человека в единстве двух его дополняющих друг друга ипостасей – Обломова и Штольца. Это единство создает переходную фигуру, еще хранящую в себе определенные черты прежнего времени, и, в то же время, уже демонстрирующую своей жизнью новое начало в общественном развитии. Что жизненно и сохранится в будущем? Что с неизбежностью отомрет? Что придет на смену отживающему? Все это – в совокупном образе героя по имени Обломов-Штолец. Вот почему, на мой взгляд, каждый из героев романа, по сути, возмещает то, что отсутствует или недостаточно развито в другом.

* * *

Но вернемся к Обломову и «обломовщине». Илья Ильич выступает прекрасным адвокатом своего способа бытия. И его аргументы в пользу собственного жизненного проекта не кажутся беспочвенными. «Хороша жизнь! Чего там искать? Интересов ума, сердца? Ты посмотри, где центр, около кото-

²³⁴ Кантор В.К. Цит. соч. С. 257.

рого вращается все это: нет его, нет ничего глубокого, задевающего за живое. Все это мертвецы, спящие люди, хуже меня, эти члены света и общества! Что водит их в жизни? Вот они не лежат, а снуют каждый день, как мухи, взад и вперед, а что толку? <...> Отличный пример для ищущего движения ума! <...> Чем я виноватее их, лежа у себя дома. <...> Дела-то своего нет, они и разбросались на все стороны, не направились ни на что. Под этой всеобъемлемостью кроется пустота, отсутствие симпатии ко всему! А избрать скромную, трудовую тропинку и идти по ней, прорывать глубокую колею – это скучно, незаметно; там всезнание не поможет и пыль в глаза пускать некому»²³⁵. Верно.

Однако в этой же жизни существуют и Андрей Иванович Штольц, и Петр Иванович Адуев, деятельность которых вовсе не исчерпывается одной суетой. Оба, несомненно, рациональны, но не глухи к голосу сердца, активны и самостроительны. А жизненный проект самого Обломова далек и от рациональности, и от активности: покойно-беззаботное существование в деревне, удовольствия и нега, задумчивость, но «не от потери места, не от сенатского дела, а от полноты удовлетворенных желаний, раздумье наслаждения»²³⁶. Что же это за ценности – «удовлетворенные желания» и раздумье наслаждения? «Обломовщина это, – определяет рационалист и активист Штольц. – «Труд – образ, содержание, стихия и цель жизни, по крайней мере, моей»²³⁷. Что возразить?

На выбор Ильи Ильича между двумя проектами жизни сильно влияет знакомство с Ольгой Ильинской, а связанное с ней последующее развитие событий раскрывает новую грань в паре «деяние – недеяние». Если в начале романа Обломов предстает перед нами как человек, лишенный деловитости

²³⁵ Там же. С. 180–182.

²³⁶ Там же. С. 185, 187.

²³⁷ Там же. С. 189.

и пребывающий в состоянии, подобном спячке, то после знакомства с Ольгой он иной. В Обломове обнаруживаются активность и бурные порывы чувств. Одновременно просыпается и рациональное начало, но особого рода, действие которого направлено не на культивирование и укрепление, а на обуздание активности и даже уничтожение высоких чувств: Илья Ильич прибегает к помощи разума, чтобы избежать власти сердца. И в рационализации своего жизненного «credo» этот чувственный сибарит может дать фору даже хрестоматийному рационалисту Штольцу. Обломов давит свое живое чувство поистине мертвящим рационализмом, тогда как Штолец (кажется, сухарь и делец), полюбив, обнаруживает умение жить не только разумом, но и чувствами.

Роман «Обломов», написанный Гончаровым в 1859 году за 18 лет до толстовской «Анны Карениной» (завершена журнальная публикация была в 1877 году) – первый отечественный философский роман о любви в ее высшем трагическом проявлении страсти. Ни у кого из русских писателей до Гончарова мы не находим столь глубоко понимания и столь мастерского изображения этого высшего проявления человеческой сущности. В сравнение, возможно, может быть взят только Шекспир. И это трагедийное действие – убийство Илеей Ильичем любви, тоже предполагается включать в житейскую мудрость, воспеваемую адептами «прекрасной русской старины»?

Как возможно сочетание в Обломове высоких чувств, сердца и направленного на их подавление ставшего деструктивным «рацио»? Как в рационалисте Штольце (вслед за Петром Ивановичем Адуевым) возможна жизнь высоких чувств? И не является ли этот конструктивный рационализм той самой основой, на которой высокие чувства только и могут обрести благодатную почву? Похоже, истинно человеческое чувство живет не иначе, как на основе развитой созидательной

рациональности, дела, духовности, культуры. А варварская, некультуренная сердечность, так называемая природная душевность, не будучи преобразована культурой, равно как и надеяние, неизменно ведут к трагической развязке. В этом случае проявляющее себя «рацио» легко становится убийцей сердечного движения. Недеяние оказывается способным на изощренную активность с целью уничтожения жизни.

Случившаяся с Обломовым любовь действует на него, по его признанию, как живая вода. «Жизнь, жизнь опять открывается мне, – говорил он как в бреду»²³⁸. Однако он тут же соизмеряет любовные переживания со своими внутренними стандартами: «Ах, если бы испытывать только эту теплоту любви да не испытывать ее тревог! <...> Нет, жизнь трогает, куда ни уйди, так и жжет! <...> Любовь – претрудная школа жизни!»²³⁹

В словах Ильи Ильича есть известная доля правды, поскольку попадает он в руки девушки особой. Ольга умна, целеустремленна, и, в известном смысле, Илья Ильич становится ее целью, перспективным «проектом», на котором она пробует силы и посредством которого стремится доказать себе и другим, что она сама – нечто значимое. Потому при всяком удобном случае она «казнила его апатию глубже, действительнее, нежели Штольц <...> и он бился, ломал голову, изворачивался, чтоб не упасть тяжело в глазах ее или чтобы помочь ей разъяснить какой-нибудь узел, не то так геройски рассечь его»²⁴⁰, про себя же Илья Ильич сетует, что такая любовь «почище иной службы» и все больше чувствует себя, как в оковах. Да и Ольга косвенно подтверждает это ощущение: «Что я раз назвала своим, того уже не отдам назад, разве отнимут».

²³⁸ Там же. С. 245.

²³⁹ Там же. С. 248.

²⁴⁰ Там же. С. 250.

В конце концов «любовь-служба» доводит Илью Ильича до кризиса. Он принимает решение расстаться с Ольгой и делает попытку вернуться в скорлупу своей квартиры-раковины. Понять мотив этого нетривиального, к тому же, принятого на вершине любовных отношений, поступка для понимания природы Обломова и «обломовщины» важно, хотя и трудно. Тем более, что сам Гончаров к ответу приступает несколько раз и, наконец, формулирует нечто по видимости иррациональное: «Должно быть, он поужинал или полежал на спине, и поэтическое настроение уступило место каким-то ужасам <...> Обломов с вечера, по обыкновению, прислушивался к биению своего сердца, потом ощупал его руками, поверил, увеличилась ли отверделость там, наконец, углубился в анализ своего счастья и вдруг попал в каплю горечи и отравился. Отрава подействовала сильно и быстро»²⁴¹.

Этим физиологическим объяснением Гончаров, как и в начале романа, указывает на первоисточник решений Обломова – органическую доминанту его существа. В то же время он предоставляет своему герою возможность дать собственную версию разрыва. И версия эта имеет вполне рациональную форму: оказывается, он принимает решение, заботясь об Ольге. Начиная с посылы «это не любовь, а только предчувствие любви», Илья Ильич на полную мощь включает свой деструктивный рационализм и доходит до конечного, по видимости благородного и спасительного предела-оправдания: «Я похищаю чужое!».

Естественно предположить, что, принимая благородное решение о расставании с любимой ради какой-то высокой цели, влюбленный будет испытывать страдание или, по крайней мере, беспокойство. Что же Илья Ильич? «Обломов с одушевлением писал; перо летало по страницам. Глаза сияли, щеки горели. <...> Обломову в самом деле стало почти

²⁴¹ Там же. С. 259.

весело. Он сел с ногами на диван и даже спросил: нет ли чего позавтракать. Съел два яйца и закурил сигару. И сердце, и голова у него были наполнены; он жил»²⁴². Жил, уничтожая чувства, связывающие его с подлинной жизнью и снова пробуждающие его якобы-жизнь. Отрешаясь от «дела» любви и возвращаясь к недеянию, привычке? Несколько утомительно Обломов живет.

Впрочем, случившееся под воздействием разума крушение «сердечного дела» привело к благому в будущем результату: Ольга будет счастлива со Штольцем, а Илья Ильич обретет адекватный его жизненным устремлениям покой с Агафьей Пшеницыной. В отличие от Ольги, Агафья Матвеевна «полюбила Обломова просто, как будто простудилась и схватила неизлечимую лихорадку»²⁴³. Согласимся, что при таком «способе увлечения» речь о разуме и его участии в «делах сердца» вовсе не идет. Но о ломке идет, и, что примечательно, только при этом варианте любовных отношений, как отмечает повествователь, для Ильи Ильича в Агафье Матвеевне открылся «идеал покоя жизни». Как там, в Обломовке, его отец, дед, их дети, внучата и гости «сидели или лежали в ленивом покое, зная, что есть в доме вечно ходящее около них и промышляющее око и непокладные руки, которые обошьют их, накормят, напоят, оденут и обуют и спать положат, а при смерти закроют им глаза, так и в своей жизни Обломов, сидя и не трогаясь с дивана, видел, что движется что-то живое и проворное в его пользу и что не взойдет завтра солнце, застелют небо вихри, понесется бурный ветер из концов в концы вселенной, а суп и жаркое явятся на столе, а белье его будет чисто и свежо, как это делается, не даст себе труда подумать, чего ему хочется, а оно будет угадано и принесено ему под нос, не с ленью, не с грубостью, не грязными руками Захара, а с бодрым и крот-

²⁴² Там же. С. 264.

²⁴³ Гончаров И.А. Указ. изд. Т. 2. С. 398.

ким взглядом, с улыбкой глубокой преданности, чистыми, белыми руками и с голыми локтями»²⁴⁴.

В этом по существу и сконцентрирована вся философия «обломовщины», все горизонты чувственных желаний, душевных порывов и фантазий Ильи Ильича. В своем естестве Обломов напоминает мифическое существо, абсолютно – вплоть до оплодотворения и рождения новой жизни – самодостаточное. От мира ему нужен всего лишь минимум питающих и поддерживающих вещей. И это – счастливый Обломов, Обломов, наконец избавившийся от разума, понуждающего к деятельности или хотя бы задающий о ней вопросы.

Но я погрешил бы против истины, если бы на этом и завершил интерпретацию знаменитого романа. Остаются еще Ольга и Штольц. Как же рисует их портреты и как относится к ним их создатель?

Делает это он с неизменной, искренней симпатией. Как и Обломова за его «золотое сердце», он их тоже любит, хотя, конечно, по-другому. Они – живые люди, наделенные не только разумом, но душой и глубокими чувствами. Вот, например, первая встреча Штольца с Ольгой в Париже после ее разрыва с Обломовым. Увидев ее, он сразу же «хотел броситься», но потом, пораженный, остановился и стал вглядываться: столь разительной была произошедшая с ней перемена. Она тоже взглянула. Но как! «Всякий брат был бы счастлив, если б ему так обрадовалась любимая сестра».

Или вспомним, как описывает Гончаров размышления Штольца перед объяснением с Ольгой, когда ему становилось даже «страшно» от мысли о том, что жизнь его может быть кончена, если он получит отказ. И продолжается эта внутренняя работа не день-два, а шесть месяцев. «Перед ней стоял прежний, уверенный в себе, немного насмешливый и

²⁴⁴ Там же. С. 400 – 401.

безгранично добрый, балующий ее друг»²⁴⁵, – говорит о влюбленном Штольце автор. Разве не столь же свидетельствующими о любви к герою эпитетами в превосходных степенях отзывается Гончаров и об Обломове в пору его влюбленности в Ольгу?

В отношении Ольги и Андрея Гончаров говорит то, что мало о ком говорит русский автор: «Шли годы, а они не уставали жить». И было это счастье «тихим и задумчивым», о котором мечтал, бывало, Обломов. Но было оно и деятельным, в котором Ольга принимала живейшее участие, потому что «без движения она задышалась как без воздуха».


Образами Андрея Штольца и Ольги Ильинской И.А. Гончаров, может быть, впервые и почти что в единственном экземпляре, создал в русской литературе образы счастливых, гармоничных в своих сердечных и разумных началах людей. Образы эти оказались столь редки и нетипичны, что не были ни узнаны, ни признаны. Такими они остаются и поныне. Похоже, что подобно Лермонтову, Гончарова также не миновала судьба быть недопонятым.

В контексте оппозиции «дело – недеяние» для Гончарова, наряду с традиционными «отрицательными» персонажами, были столь же важны образы действительно положительных героев. Поэтому и необходимо разрушить возведенные вокруг них стены тенденциозных и ложных интерпретаций, воссоздать конструктивные смыслы и ценности, изначально вложенные в них автором. В этом мне видится одно из насущных требований времени.

* * *

²⁴⁵ Там же. С. 438.

Лев Толстой о смыслах русского мировидения

ундаментальные основания творчества Льва Толстого, базовые смыслы опоры возводимого им здания русского мировоззрения – «природа», «народ», «любовь и страсть», «жизнь и смерть», «живое и мертвое».

«Строительство» писатель начал в 1851 году, поставив задачу написать историю своего детства. И хотя в трилогии изображена жизнь столичного дворянства, а поместная жизнь затронута лишь с краю, через незамутненный детский взгляд на окружающий мир явственно просматривается коллизия природного и социального. Природа, как независимое от человека бытие, всецело определяет в трилогии атмосферу жизненного мира прежде всего потому, что является непосредственным проявлением божественного, выступает абсолютным нравственным мериллом человеческого поведения. С природным у Толстого рифмуется мировидение всего русского народа (крестьянства) в его «роевой» жизни. И именно через детское непосредственное восприятие особенно остро предстают и наиболее важные для понимания русского мировоззрения понятия – живого (жизни) и мертвого (смерти).

В прозе Толстого мировоззренческие смыслы, взятые сами по себе, не представлены. Это у идеолога славянофильства С.Т. Аксакова в его автобиографической хронике, в том числе, в повествовании о детских годах Багрова-внука – события жизни следуют за программно ангажированным и упрощенным видением бытия. Способ художественного освоения действительности у Толстого, иной, предполага-

ющий глубокое и содержательное ее постижение. А уж какой идеологический знак на полученном результате может быть поставлен, художника предугадать не пытается. Критик Н.Н. Страхов, замечал, что художественность Толстому «не дается даром». Она не может существовать отдельно от реалистически переданных «глубоких мыслей и глубоких чувств»²⁴⁶.

Отметить это тем более важно потому, что в первой части трилогии предметом рассмотрения писатель избирает процесс вхождения в мир маленького человека, для которого все в этом мире впервые. Николенька Иртеньев взрослеет на наших глазах. И взросление его – детское, отроческое, юношеское есть осмысление и переживание открывающегося мира и его самого, как его части.

Вот Николенька разбирает вопрос, «добр ли мир и любит ли он (мир) его (Николеньку)». А вот Николенька передает свои первые ощущения в отношении «чего-то вроде первой любви». Но есть и близкие к метафизике вопросы. Так, с первых строк «Детства» сознание маленького героя тревожит образ смерти. Повесть, как помним, начинается пробуждением Николеньки с мыслью о смерти матери и с возникающим вслед за этим чувством неустроенности мира, который полон тревог и неожиданностей и в котором нет искренности и доверия. Он и себя ловит на неискренности в отношении к самым близким людям. Минуя то, что Н.Г. Чернышевским названо в трилогии «диалектикой души», что связано с открытием глубокого психологического анализа в прозе, взглянем на означенную коллизию как на выражение характерных черт мировидения.

Ребенок старается противостоять разрушению и смерти. Эти чувства передаются Николеньке во время панихиды с

²⁴⁶ *Страхов Н.Н.* О «Войне и мире». В кн.: «Библиотека русской критики. Критика 60-х годов XIX века». М., 2003. С. 309.

криком крестьянского младенца. «...Лицо покойницы было открыто, и все присутствующие, исключая нас, один за другим стали подходить к гробу и прикладываться. ...Я поднял голову – на табурете подле гроба стояла ...крестьянка и с трудом удерживала в руках девочку, которая, отмахиваясь ручонками, откинув назад испуганное личико и уставив выпученные глаза на лицо покойной, кричала страшным, неистовым голосом. Я вскрикнул голосом, который, я думаю, был еще ужаснее того, который поразил меня, и выбежал из комнаты»²⁴⁷. Первый опыт встречи живого со смертью. Полная незащищенность и полный ужас. С этого начинается Толстой разговор о смерти, продолжать который он будет всю жизнь.

Детское сознание усваивает новые для себя смыслы не только в личном столкновении с действительностью, но и через взаимодействие с сознанием народным, как бы спрашивая у него опыта и совета. И оно демонстрирует примеры согласия с миром, естественности пребывания в нем. Юному герою оно являет себя в личности и судьбе няни Натальи Савишны. Смерть матери обозначила границу детства героя и его переход в эпоху отрочества. На этом рубеже няня сыграла особую роль в становлении мальчика. Как никто другой, она могла делать положенные ей дела механически, без усилия, отдаваясь при этом в душе глубокой скорби. Повествователя вообще поражает присущая народу способность привыкать к спокойному и будничному исполнению тяжелейших обязанностей даже в обстановке высочайшего духовно-нравственного напряжения. Позднее Толстой вспомнит об этом, описывая оборону Севастополя и схватки с Наполеоном, когда в образах русских солдат на крымских бастионах, капитана Тушина и его подчиненных в Шенграбенском сражении воплотит лики рабочих войны.

²⁴⁷ Толстой Л. Н. Собр. соч. в 22-х тт. Т. 1. М., 1978. С. 99.

Наталья Савишна ежедневно беседовала с Николенькой, и ее тихие слезы и спокойные набожные речи доставляли ему отраду и облегчение. И она же своей смертью дала ребенку урок, перенося страдания с истинно христианским терпением и смирением. Няня, отмечает Толстой, «могла не бояться смерти, потому что она умирала с непоколебимою верою и исполнив закон евангелия. Вся жизнь ее была чистая, бескорыстная любовь и самоотвержение. ...Она совершила лучшее и величайшее дело в этой жизни – умерла без сожаления и страха»²⁴⁸. Сам автор трилогии учился этому всю жизнь.

Уже в первых произведениях Толстого выстраивается тот ряд смыслов и ценностей, развитие которых определит философское и этическое содержание его последующих произведений. И главное здесь то, что обернется в «Войне и мире» так называемой «народной мыслью», формирующейся в лоне не разума, а глубинного чувства. Кажется, что мысль эта исходит из того нерассуждающего народного естества, которое единит простого человека с плотью и духом мироздания, с природой. Способность такого инстинктивного, подсознательного единения с природным миром присуща, как полагают Толстой, не только человеку из народа, а вообще всякому человеческому существу и неминуемо проявляется в нем, как только он отторгнет от себя ложный социальный регламент. Чем иным, как не этим главнейшим делом занят, например, любимый герой Толстого Пьер Безухов? Чем иным, как не переменой мест в иерархической системе своих ценностей озабочен Андрей Болконский, снизивший в своем сознании мечтания о славе и, напротив, возвысивший то, что он для себя назвал «небо», лежа на поле Аустерлица? Что иное, как не это же единение с природой (Богом) ищет в своей хозяйственной деятельности Константин Левин?

* * *

²⁴⁸ Там же. С. 107.

Единение как включение в природу, следование ей, ее преобразование трактуется Толстым вполне в духе предложенной А.Ф. Лосевым интерпретации толкования охоты у Платона. Охотничью терминологию Платон применяет к научному исследованию и, в частности, к диалектике. При помощи терминов охоты даются понятия любви и сама любовь. Прекрасное, истинное и доброе мыслится у Платона всегда как предмет охотничьего уловления. В кратком изложении этот тезис у А.Ф. Лосева имеет следующий вид: «Все наши знания летают по воздуху независимо от нас, наподобие голубей. Мы должны затратить большие усилия для того, чтобы поймать этих голубей и поместить их в своей душе. Это будет значить, что мы приобрели те или другие знания, то есть приобрели голубей. Мы их имеем в своей душе. Но обладание этими знаниями, или голубями, еще не означает настоящего и полного знания; надо еще применить эти знания и извлечь их из души, где они могут находиться и не в виде настоящего знания, а в виде чего-то забытого и неиспользованного. Нужно произвести вторичную ловлю этих голубей, уже ловлю в пределах нашей собственной души. Находясь в нашей душе, они так же ускользают от нас, как они ускользали во время своего полета по воздуху. Значит, для приобретения настоящего знания нужно произвести эту вторичную ловлю и поимку, уже ловлю в недрах нашей собственной души. И вот, когда эта вторичная поимка состоялась, только тогда мы действительно владеем приобретенными знаниями и действительно пользуемся ими в жизни.

Нам кажется, едва ли кто-нибудь станет после всего этого утверждать, что гносеология и эстетика Платона не имеет никакого отношения к охоте. И гносеология и эстетика и вся философия Платона мыслится им в виде охоты, в виде выживания, преследования, поимки и использования тех живых существ, которые отличаются диким характером и которые

только в порядке человеческого воспитания становятся ручными, всегда доступными и максимально понятными. После этой разработанной картины в «Теэтете» никто уже не может сомневаться, что охота – прасимвол платоновской философской эстетики»²⁴⁹.

Вместе с тем, охота, занятия которой так любимы русским народом, естественным образом высвобождает в человеке инстинкты, благотворные в мирной жизни и приобретающие чудовищную разрушительную силу во время войны. Охота обнажает корневое родство людей, стоящих на разных ступенях социальной иерархии, а всех вместе – с миром Божьего творения, с природой. Михаил Лифшиц много внимания уделяет анализу эпизодов охоты у Толстого, чтобы показать, как «чудо искусства» посредством «крестьянского голоса Толстого» напрямую связывается с его философскими и общественными идеями. «Охота – это благородный пережиток тех времен, когда простая жизнедеятельность животного соединялась с первыми шагами общественного труда. Замечательно, что по мере развития цивилизации охота не исчезает из поля зрения человека, она становится более свободной от чисто утилитарного назначения, приобретает известную самостоятельность как полезная игра сил. Человек играющий... представляет собой интересный предмет для писателя»²⁵⁰.

Тема охоты, полагает Лифшиц, не является случайностью в русской литературе XIX века. Она вошла в нее вместе с обращением к природе, к крестьянскому быту как фундаментальным опорам национального мирознания. У Тургенева, например, в его «Записках» дворянин-охотник – человек странствующий, находящийся вне дома, усадьбы, свободный

²⁴⁹ А. Ф. Лосев. История античной эстетики. Т. 3. <http://www.psyoffice.ru/9/lose003/txt21.html>

²⁵⁰ Лифшиц Мих. Мифология древняя и современная. М., 1979, С. 181.

от обязательств перед ними – и в этом качестве постигающий мир. Но и те, кто попадает в круг его вольной охотничьей жизни, особенно если это крестьяне, как Ермолай или Калиныч, – и они на какое-то время, а то и навсегда отрываются от почвы, пренебрегают своими исконными занятиями. И у Толстого между искусственной жизнью помещичьего дома и миром природы стоит все тот же мужик, которому барин должен подчиниться.

В «Войне и мире», отмечает Лившиц, «во всей сцене охоты есть, в сущности, только двое настоящих мужчин: это старый волк, взятый в плен после отчаянной борьбы, и ловчий Данила. Охотники-господа, хотя для них, собственно, и устроен весь этот спектакль, не являются его настоящими участниками... Сами по себе они люди будто не вполне взрослые, нуждающиеся в опеке... Как всякое серьезное испытание, охота подводит своего рода «гамбургский счет». Она переворачивает социальные отношения, и на один миг все, что тянется кверху или книзу, все ступени и ценности меняются местами. Игра становится настоящим миром, а то, другое, – звание, богатство, связи, условия, – чем-то ненастоящим. Но это только на один миг. И как только окончилась игра, слишком близкая к настоящей жизни, возвращается тот, другой мир, в котором... барин снова волен над телом и даже над самой жизнью своего человека...»²⁵¹

Охотой – диалогом человека с природным началом – поверяет правду своего бытия и Дмитрий Оленин в повести «Казачи» (1863). Отмечая в творчестве Толстого влияние на него Руссо и английских сентименталистов, особенно Стерна, М.М. Бахтин, в частности, видит в этом произведении ясно выраженную тему противопоставления природы и культуры. «Неотъемлемая природа – это дядя Ерощка, дух – Оленин. Но Оленин – носитель осложненного культурного начала:

²⁵¹ Там же. С. 183.

созерцая природную жизнь казаков, он в себе переживает эту антитезу. Что же такое дух, который ощущает в себе Оленин? Это – способность видеть себя в сознании других. Две оценки, двойная рефлексия вызывает конфликты, которые Толстой связывает с культурой и ее целями. С его точки зрения, психологическое расположение человека к самооглядке дурно. Не нужно слушать совесть, подсказывание которой и есть рефлексия: она разрушает природную целостность человека... Сознание добра и зла вносит неуверенность, разлад и ложь. Рефлексирующему Оленину противопоставлены казаки. Казаки безгрешны, потому что они живут природной жизнью»²⁵². Не называя, Бахтин по сути отмечает здесь один из главных смыслов толстовского мировидения – свойственную человеческому сознанию природную ориентированность, благотворную и глубинную связь человека с природой.

Период 1857 – 1863 гг., когда были написаны «Казаки», – время одного из ранних кризисов в мировоззренческих поисках Л. Толстого, ведущих его к разрыву со своей средой. «На мои глаза, – замечал Н.А. Некрасов в письме к Толстому в 1856 году, – в Вас происходит та душевная ломка, которую в свою очередь пережил всякий сильный человек, и Вы отличаетесь только – к выгоде или невыгоде – отсутствием скрытности и пугливости»²⁵³.

В эти годы в творчестве писателя и в его переписке также можно найти следы тех тяжелых впечатлений, которые оставляла в Толстом окружающая жизнь. Так, в августе 1857 года он писал своей тетушке А.А. Толстой: «Ежели бы вы видели, как я в одну неделю, как барыня на улице палкой била свою девку, как становой велел мне сказать, чтобы я прислал ему воз сена, иначе он не даст законного билета моему человеку, как в моих глазах чиновник избил до полусмерти

²⁵² Бахтин М. М. Собр. соч. в семи тт. Т. 2. М., 2000. С. 239.

²⁵³ Некрасов Н. А. Полн. собр. соч. и писем. Т. 10. М., 1952. С. 291.

70-тилетнего больного старика за то, что чиновник зацепил за него, как мой бурмистр, желая услужить мне, наказал загулявшего садовника тем, что, кроме побой, послал его босого по жнивью стеречь стадо, и радовался, что у садовника все ноги были в ранах, – вот, ежели бы это все видели и пропасть другого, тогда бы вы поверили мне, что в России жизнь постоянный, вечный труд и борьба со своими чувствами. Благо, что есть спасенье – мир моральный, мир искусств, поэзии и привязанностей»²⁵⁴.

Протест Толстого против «тяжелой действительности» заключается в том, по его словам, что, выбирая, карабкаться ли ему вверх по этой грязи или идти в обход, он выбирает «обход»: «философия (не изучаемая, а своя, нелепая, вытекающая из настоящей душевной потребности), религия такая же и искусство, последнее время, вот были мои обходы»²⁵⁵.

Толстой склонен отстаивать лозунг «морального искусства», которое выдвигает на первый план не политические и социальные задачи, а цели «общечеловеческого», философско-нравственного порядка. В своей автобиографической трилогии писатель начинает поиски путей нравственного самоусовершенствования человека, полагая, что именно личное моральное совершенствование быстрее поведет к уничтожению всего зла и лжи в жизни, чем любые социальные перемены. Здесь, внутри этого «беспощадного анализа»²⁵⁶, закладываются основы его будущего этического учения.

Дмитрий Оленин – один из первых добровольных изгнанников в прозе Толстого, продолживший традицию пуш-

²⁵⁴ Толстой Л. Н. Цит. соч. Т. 3. С. 478.

²⁵⁵ Там же. С. 479.

²⁵⁶ Именно эту главную особенность в трилогии Толстого отмечал его современник известный литературный критик Аполлон Григорьев. См.: Аполлон Александрович Григорьев. «Литературная деятельность графа Л. Толстого. Статья вторая». В цит. соч. «Библиотека русской критики». С. 243.

кинского Алеко. Оленин – молодой богатый дворянин, рано оставшийся без родителей. «Для него не было никаких ни физических, ни моральных оков; он все мог сделать, и ничего ему не нужно было, и ничто его не связывало. У него не было ни семьи, ни отечества, ни веры, ни нужды. Он ни во что не верил и ничего не признавал. Но, не признавая ничего, он не только не был мрачным, скучающим и резонирующим юношей, а, напротив, увлекался постоянно...»²⁵⁷ Оленин уезжает на Кавказ из общества, живущего, по оценке Толстого, неприродной и ненародной жизнью.

Угол зрения меняется, когда Оленин оказывается на Кавказе. Улетучивается из сознания романтическая модель войны, наполненная образами Амалатбеков, черкешенок, гор, обрывов, страшных потоков и опасностей. Поначалу герой радуется новому чувству свободы от внешней оценки его поведения. Отсутствие признаков цивилизации, грубость местных жителей рождали иллюзию внешней свободы. Естественно, что Оленин был воспринят в станице как чужой. Поначалу единственный, кто отнесся к нему с приязнью, был «дядя Ерощка» – «неотъемлемая природа», по выражению Бахтина. Он и выглядит неким природным демоном, напоминая обликом Пана. Огромного роста, с седою как лунь широкою бородой и такими широкими плечами и грудью, что в лесу, где не с кем было сравнить его, он казался невысоким, «так соразмерны были все его сильные члены». Приязнь Ерощки ко вновь прибывшему юнкеру была вызвана, прежде всего, возможностью даром у него выпить. Но это проявлялось в старике так естественно и простодушно, что не вызывало у Оленина отторжения. Юнкер и старый казак подружились. Казак излагает Оленину свою нехитрую философию некоего эпического прошлого, золотого века, на фоне которого нынешнее время выглядит противоестественным и карли-

²⁵⁷ Толстой Л.Н. Цит. соч. Т. 3. С. 167.

ковым. «Нынче уж и казаков таких нету. Глядеть скверно», – констатирует Ерошка. Не признает он ни религиозных, ни юридических норм и законов. «А по-моему, все одно. Все бог сделал на радость человеку. Ни в чем греха нет. Хоть с зверя пример возьми. Он и в татарском камыше и в нашем живет. Куда придет, там и дом. Что бог дал, то и лопает. А наши говорят, что за это будем сковороды лизать. Я так думаю, что все одна фальшь... Сдохнешь..., трава вырастет на могилке, вот и все...»²⁵⁸

Тут Ерошка касается самого существенного, прежде всего, для Толстого, а потом уж, конечно, и для Оленина, – вопроса о смерти, «засевшего в писателе». Проблему эту Толстой не мог разрешить всю жизнь ни духовными, ни интеллектуальными усилиями, а потому то и дело апеллировал к природному чувству простого человека, мужика, крестьянина.

В связи с темой смерти вспоминаются и другие работы Толстого. Так, перед «Кзаками» в творчестве автора «Войны и мира» появляются два произведения, прямо связанные с названной проблемой и почерпнутые из личного опыта. Это рассказ «Люцерн», возникший из впечатлений Толстого во время его первой поездки в 1857 году во Францию и Швейцарию. Зрелище казни гильотиной, при которой он присутствовал на одной из площадей Парижа, совершило в его душе переворот. После мучительной бессонной ночи в своем дневнике он записал: «Сильное и недаром прошедшее впечатление. Я не политический человек. Мораль и искусство».

В 1858 году вышел рассказ «Три смерти», замысел которого подробно истолкован самим Толстым в письме к тетке: «Моя мысль была: три существа умерли – барыня, мужик и дерево. – Барыня жалка и гадка, потому что лгала всю жизнь и лжет перед смертью... Мужик умирает спокойно, именно потому, что он не христианин. Его религия другая, хотя он

²⁵⁸ Там же. С. 221.

по обычаю и исполнял христианские обряды; его религия – природа, с которой он жил. Он сам рубил деревья, сеял рожь и косил ее, убивал баранов, и рожались у него бараны, и дети рожались, и старики умирали, и он знает твердо этот закон, от которого он никогда не отворачивался, как барыня, и прямо, просто смотрел ему в глаза... Дерево умирает спокойно, честно и красиво. Красиво, – потому что не лжет, не ломается, не боится, не жалеет»²⁵⁹.

Строки писателя дают редкую возможность сравнить авторский замысел и реальность художественного текста. Итак, «правда первая» – «барыня жалка и гадка». Она чужда природе и отделена от нее массой искусственных вещей и предметов. Она не находит контакта с окружающими ее, в том числе и близкими людьми. Все плохо, потому что остаются жить, в то время как она умирает. Не верит она и в «помощь неба». Бог и природа глухи к ней.

Другая смерть – сознательная смерть старого ямщика, умирающего в чужой избе, на печи, под разговоры о том, что он уже второй месяц один занимает целый печной угол. Два значимых поступка совершает этот человек, смиренно принимающий близкую кончину. Соглашается отдать свои новые сапоги обратившемуся к нему молодому парню. И звучит это как ответ на вопрос: собирается ли он жить дальше? И второй – публично затребованное и полученное обязательство в обмен на сапоги положить на могилу надгробный камень. Позабывшись таким образом об увековечении своего земного бытия и попросив прощения за доставленные неудобства, ямщик умирает.

По прошествии нескольких месяцев, все еще не купив камень, парень идет в лес и рубит дерево, чтобы сделать крест на могилу. И кончина дерева – новый опыт смерти, описанный Толстым. Здесь нет ничего тягостного. Даже окружав-

²⁵⁹ Там же. С. 455.

шие раньше срубленное дерево другие деревья стали еще радостнее красоваться на образовавшемся просторе. А взошедшее солнце осветило радость живых деревьев и птиц.

Смерть дерева для Толстого – высшая мера правды, естественности, к которой приближается мужик и которой чужда и даже враждебна барыня. В рассказе «Три смерти», как и в повести «Казачи», Толстой заявляет свой критерий правды: это природа и сознание Ерошки, почти сливающегося с бытием.

Мировоззренческая борьба со страхом смерти присуща и самому Толстому и, наконец, разрешается его собственным, совершенным в конце жизни этическим поступком – уходом из привычной, но ставшей чуждой жизненной среды. И этот уход оказывается уходом в смерть.

Дмитрий Оленин – первый герой в прозе Толстого, который задумывается над уходом в почти природное бытие. И ему все чаще приходит в голову та же мысль, которая потом будет беспокоить в разной форме проявления и в разном практическом разрешении и Безухова, и Левина, и Нехлюдова, – порвать со своим сословием и перейти в область естественного бытия. «Что ж я не делаю этого? Чего же я жду?» – спрашивал себя Оленин, но так и не смог выскочить из ловушки рефлексий. Ему так и не удастся стать своим в среде казаков. Приговор ему будет произнесен устами казачки Марьяны: «Уйди, постылый!». И когда он будет покидать станицу, ни Ерошка, ни полюбившаяся ему Марьяна даже не обернутся в его сторону, обозначив тем самым непроходимую границу между размышляющим героем русской классики XIX века и естественной жизнью природы и народа.

Но вернемся к автобиографической трилогии Толстого, к тому, как в ней разворачиваются пары «природное – социальное», «естественное – искусственное», «народное – господское». Один из выводов первой части трилогии состоит в том,

что детство есть своего рода норма и образец человеческого поведения, потому что в детстве человек непосредственно, не умом, а чувством усваивает положительные, истинные стороны в отношениях с другими людьми и окружающей средой и поэтому сам наиболее человечен. См. выше

Во второй части – «Отрочество» – ведущей темой писателя становится неминуемый и тяжелый разлад духовно подросшего человека с окружающим социальным и природным миром. Порой от этого разлада герой даже испытывает наслаждение, но в то же время не хочет с ним мириться. Толстой не доверяет возможностям разума. Состояние своего героя, душу которого тревожат интеллектуальные проблемы, он склонен считать едва ли не болезнью, свойственной этому возрасту. «Склонность моя к отвлеченным размышлениям до такой степени неестественно развила во мне сознание, что часто, начиная думать о самой простой вещи, я впадал в безвыходный круг анализа своих мыслей...»²⁶⁰ Это не недоверие, это апория

Завершающая часть трилогии – «Юность» (1857) открывается картиной весны, символизирующей эпоху юношеского становления. В это время юноша обладает уже значительным жизненным опытом, хотя еще наивен и легковерен. Он видит разлад и в своем собственном духовном мире, и в устройстве человеческих отношений, но считает, что ничего опасного в этом нет, так как, по его мнению, человек может достичь совершенства посредством разумной деятельности. Однако в разночинской среде, в которую погружается герой, он терпит поражение как аристократ и «комильфо». Происходит крушение устремлений, в основе своей ложно направленных.

Вообще, герой трилогии Толстого сколько существует, столько и занимается поиском жизненного дела, разумного, полезного и благого для себя и других. Он ни на чем не

²⁶⁰ Там же. С. 168.

останавливается окончательно, нигде не находит завершения своим поискам. Вот он принимает решение «написать себе на всю жизнь расписание своих обязанностей и занятий, изложить на бумаге цель своей жизни и правила, по которым всегда уже, не отступая действовать»²⁶¹. Николай хочет подчинить жизнь некоему регламенту разума, но тут же останавливается на мысли: «Зачем все так прекрасно, ясно у меня в душе и так безобразно выходит на бумаге и вообще в жизни, когда я хочу применять к ней что-нибудь из того, что я думаю?..»²⁶²

М. Бахтин, говоря о художественном содержании трилогии, видит основную ее тему в «противопоставлении целостной природы и рефлекслирующего духа». «Сначала в Николеньке воплощена целостная, единая, еще детская жизнь. Но далее, в Москве, возникает рефлексия: голос «я» и все то, что противопоставляется этим “я”. Абсолютная чистота, детская наивность Николеньки дает возможность ясно обозначиться этим двум “я”: “я для себя” и “я для другого”. То он живет для себя, то устремляет свои мечтания по лежащему вне его, внешнему пути. Ему нужно согласовать эти два “я” “я для себя” и “я для других”, а они не согласовываются, диссонируют. Отсюда его психологическая неловкость, неуклюжесть. Дружба Николеньки с Нехлюдовым – это попытка выйти из разлада и хотя бы в общении с одним человеком остаться самими собой, сойтись со своим глубинным “я”. Но горе в том, что определение в мнении других разрушает “я для себя”, разрушает природное единство. В продолжение всего творчества Толстой будет располагать мир по этим двум категориям, пока “я для других” станет всей культурой, а “я для себя” – одиноко»²⁶³

²⁶¹ Там же. С. 199.

²⁶² Там же. С. 200.

²⁶³ Бахтин М.М. Собр. соч. в семи томах. Т. 2. М., 2000. С. 238 – 239.

Автобиографическая трилогия Толстого изображает мир в его природно-народной первооснове через становящееся самосознание индивида, поверяя таким образом в его формировании «правду» и «ложь». Намеченная в трилогии «диалектика души» получит полное развитие позднее, в эпопее «Война и мир». В ней же будет использован и опыт «военной» прозы, в частности, «Севастопольских рассказов».

* * *

С определенной точки зрения вся жизнь Льва Толстого – от молодых лет до глубокой старости – это или побег из своей среды, или намерение его совершить. Разлад с жизнью для Толстого – неразрешимая проблема. И на Кавказ, по его признанию, он едет от долгов и привычек. Главное, может быть, было в том, что, покинув университет и пережив крушение своих планов 1847 года, он просто не знал, куда себя деть, чем заняться.

Кавказ, судя по повести «Казачи», открывал перед писателем, во-первых, возможность сближения с народом – солдатской массой и казаками, и, во-вторых, давал шанс испытать себя трудными обстоятельствами жизни. Но Кавказом бегство не ограничилось. Уже в ноябре 1854 года Толстой в Севастополе, участник войны с Турцией и ее европейскими союзниками. Вскоре, в 1855 году, появляются «Севастопольские рассказы», цикл очерков об увиденной писателем войне. В этом произведении, при всей свойственной очерковому жанру рассказов документальности, предметом художественного освоения вновь становится русское мировоззрение, явленное Толстым в новых своих гранях.

В «Севастопольских рассказах» Толстой впервые ставит проблему смены ценностных приоритетов. Говоря так, я имею в виду следующее. Каждый социальный слой, продуцируя и осваивая свой тип культуры, живя в ней, осознает и рационализирует ее посредством определенных смыслов и

ценностей, выстроенных иерархически. Но вот этого социального слоя касается мощное социальное событие – война, которое устраивает своеобразную проверку как каждому из этих смыслов и ценностей, так и той иерархии, в которой они существуют. И содержание их меняется, а иерархия выстраивается по-новому. Говоря иными словами, с каждым новым подвигом, жертвой, грехом нечто существенное происходит с национальным самосознанием, оно меняется.

Эта смена не может произойти, не затронув каждого человека. И когда из его мира нечто уходит, то, вместе с тем, нечто сразу же и находится. Но и ушедшее не забывается, не исчезает шанс этим остатком воспользоваться: нет человека без утраты. «Ушедшее – ставшееся» меняется в своем существе, но так, что при этой перемене мы узнаем брезжение в себе себя неявленного. Этот «раскол абсолютный» – вполне библейское состояние, состояние метаноии. Μετανοεῖν – «перемена своих мыслей» означает не «перерешил» нечто, а «сменил» всего себя. Это опыт неузнавания себя, преобразования, даже без того, чтобы отдать в себе в этом отчет. (Это Толстой опишет в сцене умирания князя Андрея).

Возвращаясь к «Севастопольским рассказам», надо отметить, что именно в них Толстой заявляет необходимость выработки личного правдивого представления о войне как особом катастрофическом социальном феномене. Вы «увидите войну не в правильном, красивом и блестящем строе, с музыкой и барабанным боем, с развевающимися знаменами и гарцующими генералами, а увидите войну в настоящем ее выражении – в крови, в страданиях, в смерти...»²⁶⁴. И еще – в отношении собственного философско-художественного метода: «Где выражение зла, которого должно избегать? Где выражение добра, которому должно подражать в этой повести? Кто злодей, кто герой ее? Все хороши и все дурны.

²⁶⁴ Толстой Л.Н. Цит. соч. Т. 2. С. 93.

...Герой же моей повести, которого я люблю всеми силами души, которого старался воспроизвести во всей красоте его и который всегда был, есть и будет прекрасен, – правда»²⁶⁵.

Представление Толстого о войне, данное в «Севастопольских рассказах», существенно отличается от того, которое находим в «Казаках» или, например, в повествовании «Набег. Рассказ волонтера». В «Казаках» герой Толстого только прикасается к войне, еще не погружаясь в ее безжалостное и всепоглощающее нутро. Для героев «Казаков» война идет как бы вахтовым методом, т.е. постольку, поскольку сами они назначают ее себе как занятие, в том числе – для получения наград, чинов, захвата лошадей и имущества горцев. Вот, к примеру, картина из «Набега». Командующий русским отрядом наблюдает поле боя:

« – Какое прекрасное зрелище! – говорит генерал, слегка припрыгивая по-английски на своей вороной тонконогой лошадке.

Очаровательно! – отвечает, грассируя, майор и, ударяя плетью по лошади, подъезжает к генералу. – Истинное наслаждение – воевать в такой прекрасной стране, – говорит он.

И особенно в хорошей компании, – прибавляет генерал с приятной улыбкой»²⁶⁶.

В изложении Толстого между Кавказской и Крымской войной разница огромна. Если на Кавказе Россия воюет с теми, кого она считает своими подданными и, значит, тогда, когда сама того захочет, то в Крымской войне ей противостоит иноземный враг, методически и последовательно выполняющий задачу вытеснения русских с полуострова. На Кавказе война – ангел смерти, прилетающий лишь время от времени, вроде случайного пистолетного выстрела пленного чеченца в молодого казака. Война в Крыму – затаившийся в соседней

²⁶⁵ Там же. С. 144 – 145.

²⁶⁶ Там же. С. 25.

извилине солдатского окопа убийца, не смыкающий глаз ни днем, ни ночью.

Впрочем, не только в Кавказской, но и в Крымской войне, уже в начальной ее фазе Толстой явственно различает «войну дворянскую» и «войну народную». В первых частях цикла – «Севастополь в декабре месяце» и «Севастополь в мае» тема «господ на войне» прорисовывается явственно и порой граничит с авторским чувством презрения к изображаемым в ней персонажам из дворян. Так, подробно повествуется об одном из офицерских застолий в городе, на котором вдоволь хорошего вина, на серебряном подносе человек приносит чай со сливками и крендельками и можно под фортепианный аккомпанемент спеть цыганскую песенку. В продолжение слов подполковника, что без удобств воевать невозможно, следует подтверждающая реплика одного из участников вечеринки: «...Я не понимаю и, признаюсь, не могу верить, – сказал князь Гальцин, – чтобы люди в грязном белье, во вшах и с неумытыми руками могли бы быть храбры. Этак, знаешь, этой прекрасной храбрости дворянина, – не может быть»²⁶⁷.

Проблемно-тематический круг военных очерков широк. Это – и война с человеческой и природной точки зрения, и душевные состояния людей на войне, и величие русского солдата-крестьянина, спокойно, уверенно и без похвальбы защищающего родину. Тема войны как испытания духовных сил нации предстает уже в первом рассказе цикла в ходе своеобразной экскурсии по Севастополю, в котором гидом выступает автор.

Первые впечатления «экскурсии» самые неприятные: странное смешение лагерной и городской жизни, прекрасного города и грязного бивуака не только далеко от естества, но кажется отвратительным беспорядком. Но вот «гид» просит обратить внимание «на этого фурашатского солдата, ко-

²⁶⁷ Там же. С. 115.

торый ведет поить какую-то гнедую тройку и так спокойно мурлыкает себе под нос, что, очевидно, он не заблудится в этой разнородной толпе, которой для него не существует, но что он исполняет свое дело... так же спокойно, и самоуверенно, и равнодушно, как если бы все это происходило где-нибудь в Туле или в Саранске...»²⁶⁸.

И это – общая примета всех тех, кто живет и служит здесь. Так что напрасно, замечает автор, мы будем искать здесь выражение особого геройства. Ничего этого нет. Есть будничные люди, занятые будничным делом. Но это не должно поселить в нас сомнения в героизме защитников города. Автор приглашает читателя в залу бывшего Собрания, превращенного в госпиталь, и убеждает нас в своей правоте, показывая картины негромкой стойкости раненых в самых жестоких страданиях, приглашает склониться перед этим молчаливым, бессознательным величием и твердостью духа, этой стыдливостью перед собственным достоинством.

Кульминационное место испытаний человеческого естества в первом очерке цикла «Севастопольские рассказы» – четвертый бастион. И опять Толстой показывает две разные точки зрения на этот «страшный бастион»: тех, кто на нем никогда не был; и тех, кто живет там. Первые убеждены, что четвертый бастион есть верная могила для каждого, кто пойдет на него. Вторые, говоря про бастион, скажут, что там сухо или грязно, тепло или холодно в землянке.

Продолжая погружать читателя в прозу военной жизни, автор выводит его на дорогу к бастиону, представляющую собой сплошную грязь. Едва ли не каждая часть текста содержит в себе это слово. Эта грязь, смешанная с кровью, собственно, и есть прозаический образ войны, противостоять которой гораздо труднее, нежели вообразить противостояние в войне в ее придуманном героическом выражении. Война как работа – вот

²⁶⁸ Там же. С. 96 – 97.

толстовское определение этого явления, ставшее основополагающим в отечественной прозе о войне уже в XX веке. Поэтому и образ солдата как незаметного рабочего войны (вспомним капитана Тушина) займет центральное место в толстовском сюжете. И исполнять эту работу кому как не крестьянину приличнее всего. «Взгляните в лица, осанки и в движения этих людей: в каждой морщине этого загорелого скуластого лица, в каждой мышце. В ширине этих плеч, в толщине этих ног, обутых в громадные сапоги, в каждом движении, спокойном, твердом, неторопливом, видны эти главные черты, составляющие силу русского, – простоты и упрямства; но здесь на каждом лице кажется вам, что опасность, злоба и страдания войны, кроме этих главных признаков, проложили еще следы сознания своего достоинства и высокой мысли и чувства»²⁶⁹.

Вообще грязь, а на самом деле – растворенная в воде, перемешанная с водой земля (в том числе и земля-кормилица, и мать сыра-земля), играет роль сопутствующего элемента в толстовских описаниях могущего каждое мгновение состояться перехода человека от жизни к смерти. Вспомним, что такая же «грязь» сопровождает путь умирающей от чахотки барыни в рассказе «Три смерти». В особенности символична она в момент остановки кареты с умирающей на одной из станций: экипаж барыни стоит прямо посередине грязи, и сил выбраться из нее на сухое место у умирающей, в отличие от сопровождающих ее, нет. Образ этот – как бы предупреждение всем умирающим о том, что земля уже готова принять их в свое мягкое нутро. И они, хотя и по-разному реагируют на этот сигнал, но все же не так, как собирающиеся жить дальше. Эти последние через грязь перебираются, от грязи отмываются, как-то грязь преодолевают.

Очерк завершает толстовское восхищение неколебимой силой русского духа. «Главное, отрадное убеждение, которое

²⁶⁹ Там же. С. 106.

вы вынесли, – это убеждение в невозможности взять Севастополь, и не только взять Севастополь, но поколебать где бы то ни было силу русского народа, – и эту невозможность видели вы... в глазах, речах, приемах, в том, что называется духом защитников Севастополя. То, что они делают, делают они так просто, так малонапряженно и усиленно, что, вы убеждены, они еще могут сделать во сто раз больше... они все могут сделать... Из-за креста, из-за названия, из угрозы не могут принять люди эти ужасные условия: должна быть другая, высокая побудительная причина. И эта причина есть чувство, редко проявляющееся, стыдливое в русском, но лежащее в глубине души каждого, – любовь к родине»²⁷⁰.

Провозглашая славу русскому духу, Толстой возвышается до еретической с государственных позиций мысли: всякая война противна человеческой природе. И «или война есть сумасшествие, или, ежели люди делают это сумасшествие, то они совсем не разумные создания, как у нас почему-то принято думать»²⁷¹.

Но правда Крымской войны в том, что герой Севастополя – русский народ – защищает свою землю. Социальный эгоизм, ложь общества, в том числе – армейской верхушки, офицерства, колеблют эту правду. Писатель глубоко разочарован в русском офицерстве. Еще в Севастополе он сочиняет гневную записку великому князю о состоянии русской армии. В ней Толстой говорит об ужасающих условиях, в которые поставлена жизнь «угнетенных рабов» – солдат, принужденных повиноваться «ворам, угнетающим наемникам, грабителям», о низком моральном и профессиональном уровне офицерства. Об этом же он повествует и во втором цикле рассказов. Впрочем, декорации из фальши и тщеславия разрушаются, как только эти офицеры оказываются один на один с суровой правдой войны.

²⁷⁰ Там же. С. 108 – 109.

²⁷¹ Там же. С. 111.

Но что же такое эта «правда», как ее понимает автор очерков? Правда – это олицетворяющие ее солдаты, которых встречают по пути на бастион «офицеры-аристократы» и которых они пытаются отчитать за «трусость». И перед этой олицетворенной правдой иному «аристократу» становится стыдно за себя. Правда также в тех переживаниях, которые испытывает «аристократ» Праскухин за мгновение до смерти, терзаясь мыслью, не напрасно ли он струсил, может быть, бомба упала далеко, а потом проникается холодным, исключаящим все другие мысли ужасом, когда видит бомбу в аршине перед собой.

Правда – в той короткой, всего в одно предложение главке, которая звучит так: «Сотни свежих окровавленных тел людей, за два часа тому назад полных разнообразных, высоких и мелких надежд и желаний, с окоченелыми членами, лежали на росистой цветущей долине, отделяющей бастион от траншеи, и на ровном полу часовни Мертвых в Севастополе; сотни людей – с проклятиями и молитвами на пересохших устах – ползали, ворочались и стонали, – одни между трупами на цветущей долине, другие на носилках, на койках и на окровавленном полу перевязочного пункта; а все так же, как в прежние дни, загорелась зарница над Сапун-горою, побледнели мерцающие звезды, потянул белый туман с шумящего темного моря, зажглась алая заря на востоке, разбежались багровые длинные тучки по светло-лазурному горизонту, и все так же, как и в прежние дни, обещая радость, любовь и счастье всему ожившему миру, выплыло могучее, прекрасное светило»²⁷². Смещение ужасного и прекрасного, идущего от человека и природы.

Солнце, которое поднимается в «Севастопольских рассказах» над цветущей долиной, впоследствии сыграет свою значительную роль и в Бородинском сражении в «Войне и мире», обозначив в этой великой схватке праведные силы русских.

²⁷² Там же. С. 148 – 149.

В «Севастопольских рассказах» у Толстого впервые появляются и «маленькие Наполеоны», «маленькие изверги», готовые сию минуту затеять сражение, убить сотню человек для того только, чтобы получить лишнюю звездочку или треть жалованья. В последней главке очерка Толстой раскрывает свое философское кредо, показывая равенство как нападающих, так и защищающих перед громадностью Природы и Смерти. «На нашем бастионе и на французской траншее выставлены белые флаги, и между ними в цветущей долине кучками лежат без сапог, в серых и синих одеждах, изуродованные трупы, которые сносят рабочие и накладывают на повозки. Ужасный, тяжелый запах мертвого тела наполняет воздух. Из Севастополя и из французского лагеря толпы народа высыпали смотреть на это зрелище и с жадным и благоклонным любопытством стремятся одни к другим»²⁷³.

Кажется, этот миг единения, когда смешиваются языки (народы и речи), уже навеки останется нерушимым, поскольку каждый чувствует и переживает свою вину перед противником. Но в настоящих условиях, а, возможно, и в любых иных единение людей невозможно. Собственно, эта мысль – об имманентном противостоянии человека человеку в социуме никогда не оставляет Толстого ни в его творчестве, ни в жизни. Толстой указывает на катастрофу, к которой ведет человеческий эгоизм, разрушающий естество жизни и лучшее в человеке. Так не безумен ли, действительно, человек, способный на такое?

В синтезирующей части очерков «Севастополь в августе 1855 года» образ города, в котором раскрывается противостояние естественной и искусственной жизни, дан через индивидуальный характер поручика Михайлы Козельцова. Козельцов – офицер недюжинный. Обычно он первым делал все, что считал правильным и что ему самому хотелось, а другие уже

²⁷³ Там же. С. 152.

делали то же самое и были уверены, что это хорошо. Он не понимал другого выбора, как первенствовать или уничтожаться. Самолюбие было двигателем его внутренних побуждений.

Козельцов, конечно, вряд ли отдавал себе отчет в том, что в этом поведении реализовался его свободный выбор, что его волевое усилие органично предлагалось другим как пример для подражания, и что на основе него и многих других подобных волевых усилий, впоследствии возникала общая для воинов привычка, а вслед за ней и воинская традиция.

Читатель застаёт Козельцова в тот момент, когда он направляется в Севастополь из госпиталя, где лечился после ранения осколком в голову. Неожиданно для себя в дороге он встречается с младшим братом Владимиром, юношей семнадцати лет. На войне он оказался потому, что «совестно жить в Петербурге, когда тут умирают за отечество»²⁷⁴. Вместе с тем старшему уже приходится оплачивать карточный проигрыш младшего, что последний глубоко переживает и в утешение предается мечтам о своих будущих подвигах, в которых он обязательно спасет Михайлу.

Владимир Козельцов – один из первых образов молодого человека у Толстого, трудно осваивающего повседневную прозу жизни и войны. Юношу настигает чувство «одиночества и всеобщего равнодушия к его участи». «Один, один! Всем все равно, есть ли я, или нет меня на свете», – думает он с ужасом. «Это сознание одиночества в опасности – перед смертью, как ему казалось, – ужасно тяжелым, холодным камнем легло ему на сердце... «Господи! неужели я трус, подлый, гадкий, ничтожный трус? Неужели за отечество, за царя, за которого с наслаждением мечтал умереть так недавно, я не могу умереть честно? Нет! я несчастное, жалкое создание!»... Утвердиться в твердом и мужественном поведении в условиях постоянной опасности толстовский герой находит

²⁷⁴ Там же. С. 170.

возможность лишь обратившись к Богу. «Ежели нужно умереть, нужно, чтоб меня не было, сделай это, господи, – думал он, – поскорее сделай это; но ежели нужна храбрость, нужна твердость, которых у меня нет, – дай мне их, но избави от стыда и позора, которых я не могу переносить, но научи, что мне делать, чтобы исполнить твою волю»²⁷⁵.

Мысли о смерти, определяющие рефлексивное бытие любимых героев Толстого, тревожат и Владимира. Молитва, произносимая автором, органично перерастает в молитву героя, очищая его душу. «Господи великий! только ты один слышал и знаешь те простые, но жаркие и отчаянные мольбы неведения, смутного раскаяния и страдания, которые восходили к тебе из этого страшного места смерти, – от генерала, за секунду перед этим думавшего о завтраке и Георгии на шею, но со страхом чующего близость твою, до измученного, голодного, вшивого солдата, повалившегося на голом полу Николаевской батарееи и просящего тебя скорее дать ему там бессознательно предчувствуемую им награду за все незаслуженные страдания! Да, ты не уставал слушать мольбы детей твоих, ниспосылаешь им везде ангела-утешителя, влагавшего в душу терпение, чувство долга и отраду надежды»²⁷⁶.

Толстой вновь и вновь возвращается к мысли о единстве человечества перед высшим судом, которая естественно отменяет всю суету, все мелкие человеческие распри, но которая тонет в повседневном потоке жизни, состоящем из тщеславия, эгоизма, страха. И те герои Толстого, которым он предоставляет возможность проникнуться этой мыслью, на своем примере как раз и показывают ее (этой мысли) исцеляющее воздействие на человеческую душу.

Последний очерк цикла помечен концом декабря 1855 года. А 2 ноября 1854-го Толстой делает запись в своем днев-

²⁷⁵ Там же. С. 171.

²⁷⁶ Там же. С. 177 – 178.

нике: «Велика моральная сила русского народа. Много политических истин выйдет наружу и разовьется в нынешние трудные для России минуты. Чувство пылкой любви к отечеству, восставшее и вылившееся из несчастной России, оставит надолго следы в ней. Те люди, которые теперь жертвуют жизнью, будут гражданами России и не забудут своей жертвы. Они с большим достоинством и грустью будут принимать участие в делах общественных, а энтузиазм, возбужденный войной, оставит навсегда в них характер самопожертвования и благородства»²⁷⁷.

В севастопольских очерках Толстой впервые поставил ряд важных для его творчества философско-этических вопросов: о войне как явлении, существенным образом меняющем содержание и иерархию смыслов и ценностей, сложившихся в мирное время; о войне как моральном испытании человека; об исторической роли народа и его судьбе; о неблагополучии в современном ему российском обществе. В то же время Толстой осмысливает войну с философско – нравственных позиций, прежде всего – с точки зрения ее противоречия естественной природе человека, равно как и природе как таковой.

* * *

Тема смерти, присутствующая в качестве одной из главных в военной прозе Толстого, в ранний период творчества начинает исследоваться им и в бытовой ситуации. И в этой связи нужно вспомнить его рассказ «Метель» (1856). С мастерством умелого классификатора Толстой разбирает особенности этого «невоенного вида» смерти, рассуждает о способах, позволяющих человеку не соскользнуть с грани между жизнью и смертью.

В отличие от «Казаков» или, тем более, «Севастопольских рассказов», феномен близкой смерти, возможность погибнуть в рассказе принципиально иная. У путешественника

²⁷⁷ Там же.

зимой по степи Войска Донского барина (автора) есть возможность с самого начала отказаться отправляться в путь в начинающуюся метель. И то, что он делает выбор – ехать, задает рамки сознательно затеянной игры со смертью. Более того, в сюжете рассказа у героя имеются, по крайней мере, две возможности выйти из игры в самом начале. Во-первых, когда посоветовавшись с ямщиком и не получив от него твердого положительного ответа о возможности доехать до следующей станции, он все же выбирает: ехать. И, во-вторых, когда уже поворотив назад, он встречаетдвигающиеся в нужном ему направлении тройки и решает присоединиться к ним. У героя рассказа есть так же и недоброе предчувствие, проигнорированное им. Так, доставшийся ему в возницы ямщик оказывается «какой-то не такой» – и сидит он не так, и роста он большого, и шапка у него какая-то не ямская. И вообще – вся его фигура как будто «не обещала ничего хорошего», что и подтвердилось.

Когда же выбор, наконец, был сделан и барин отправился в путь в метель, он – равно в реалистичной и сюрреалистичной (в форме сна) картине – глубоко погружается в ночной сеанс знакомства со смертью. В образах, посещающих героя во сне, доминирует тот, который сопрягается с чувством беспомощности, невозможности вмешаться в ход происходящих событий.

В ситуации игры со смертью, которую описывает Толстой, обнаруживаются свои правила и логика. Так, одно из правил состоит в том, что участвующие в игре люди не должны, не имеют права бояться и относиться к возможному смертельному исходу со страхом или со словесными жалобами. Из представленных в рассказе персонажей ни один не показывает своего страха, жалобы невозможны.

Другое правило состоит в том, что в процессе игры со смертью нельзя задавать вопросы, касающиеся главного –

выживешь или нет. Это правило невольно нарушает наименее опытный – сам путешественник. Пересаживаясь в сани к новому вознице, он произносит неподобающий вопрос:

« – А что, не знаете вы, где мы теперь?»

Вопрос этот, как мне показалось, не понравился ямщикам»²⁷⁸. И, действительно, в ситуации продолжающейся игры – борьбы со смертью, спрашивать «выживем ли, победим?» – не только бессмысленно, но и дурной знак. Без доли суеверия здесь не обойтись.

Примечательны и вносят свою лепту в понимание хода игры со смертью и создаваемые Толстым образы людей. Общее, объединяющее их стремление – это во что бы то ни стало продолжать исполнять назначенное каждому дело. Так, мужичок, ругаясь и рискуя жизнью, тем не менее, бросается в непроглядную мглу ловить оторвавшихся лошадей, а другой приходит ему на помощь, приспособливая для этого еще одну лошадь. Не перестает рассказывать свои сказки «советчик», от которого до поры никакого дела не требуется. Не падает духом передовой возница Игнат. «Мне казалось, – замечает автор, – он боялся упасть духом»²⁷⁹. Вспомним, что такое же поведение – во что бы то ни стало продолжать делать назначенное им – отмечает Толстой и у солдат – защитников Севастополя.

В ситуации игры со смертью Толстой даже предполагает возможность некоторой, лишенной морали умственной фантазии, которая посещает автора. «Чем же, однако, все это кончится? – вдруг мысленно говорю я, на минуту открывая глаза и глядя в белое пространство. – Чем же это кончится? Ежели мы не найдем стогов и лошади станут, что, кажется, скоро случится, – мы все замерзнем». Признаюсь, хотя я и боялся немного, желание, чтобы с нами случилось что-ни-

²⁷⁸ Там же. С. 228.

²⁷⁹ Там же. С. 230.

будь необыкновенное, несколько трагическое, было во мне сильней маленькой боязни. Мне казалось, что было бы недурно, если бы к утру в какую-нибудь далекую, неизвестную деревню лошади бы уж сами привезли нас полузамерзлых, чтобы некоторые даже замерзли совершенно»²⁸⁰. Очевидно, что автор не числит себя среди «совершенно замерзших» и в полусонном состоянии вряд ли справедливо корить его за невольный юношеский аморализм.

В разворачивающейся перед нами картине явно различимы образы тех, кто эту ситуацию переживает впервые (автор), и тех, кто в ней уже бывал ранее. «Бывалые» – ямщики задают и правила игры, и общий оптимистичный настрой происходящему. Читателю и впервые попавшему в эту ситуацию путешественнику свою уверенность они передают изредка роняемыми фразами: «Будьте покойны: доставим!» , действительно, так и происходит и именно эта фраза венчает рассказ: «Доставили-таки, барин!». Так завершается еще одно толстовское литературно-философское исследование смерти.

* * *

Осмысленный опыт становления ребенка – подростка – юноши, равно как и лично пережитый и исследованный Толстым в раннем периоде творчества опыт войны как пограничной ситуации, приближенной к человеку смерти помог ему по-новому (в отличие, например, от Пушкина, Гоголя или Тургенева) подойти к проблеме содержания русского мировоззрения. В этой связи, сделанное Л. Толстым открытие, на мой взгляд, включает несколько важных моментов.

Это, во-первых, мысль о том, что составляющие русского мировоззрения смыслы и ценности в качестве базовых включают в себя близость русского сознания к природе. Это, далее, мысль о том, что в условиях пограничного между жизнью и

²⁸⁰ Там же. С. 232.

смертью состояния человека, присущие ему смыслы и ценности начинают менять свое содержание и иерархию. То, что казалось важным и необходимым в мирной жизни, становится второстепенным или даже ненужным в близости смерти. А что считалось правильным и необходимым, оказывается несущественным, отходит на задний план или вовсе исчезает.

Толстой так же показал, что в пограничных условиях войны, близости смерти, самым глубоким основанием, наиболее фундаментальной основой перестройки содержания и иерархии русского мировоззрения выступает христианство: герои обращаются к Богу. При этом, уже в ранний период творчества в его собственных представлениях характер этих отношений через посредническое участие в них православной церкви начинает ставиться под сомнение, что в дальнейшем вылилось в известный конфликт.

И, наконец, еще один момент, принципиально важный для содержания толстовского творчества в дальнейшем, состоит в его акцентировке и осмыслении природы, народа, жизни и смерти как наиболее важных понятий и ценностей. Начавший прозревать этот смысл с первых шагов своей литературной деятельности автор «Войны и мира» в последующих произведениях все обстоятельнее раскрывает основополагающую значимость этих понятий для всего строя русского самосознания. При этом, при анализе критически важных, по своей сути экзистенциальных ситуаций и состояний бытия человека, субъектом, меряющим добро и зло, правду и ложь, геройство и трусость, выступает персонаж из народной среды – крестьянин в охотничьем облачении или в солдатской шинели, равно как и «опростившийся» до приятия народной правды дворянин. Как я стараюсь показать, природа, народ, жизнь и смерть – первоосновы мировидения, создаваемого Л. Толстым. Именно к их осознанию через постижение себя и мира он и ведет своих героев.

* * *

Переходя к роману «Война и мир», я, прежде всего, хотел бы обратить внимание на необходимость иного, чем общепринятое, толкование у Толстого тем войны и мира. Необходимые трактовки мне представляются более широкими, нежели принятые обозначения военного и мирного времени. На мой взгляд, они связаны с понятиями «смерти» и «жизни», равно как и с пограничным состоянием перехода от жизни к смерти.

В мировоззренческой системе Толстого война есть не просто и не только вооруженное столкновение, но и – в широком смысле – всякая «нежизнь», преддверие смерти; в равной мере и неестественные, «искусственные» общественные отношения есть также состояния войны, часто ведущие к смерти. Так, основанный на расчете, искусно смоделированный брак Пьера и Элен, кончается его распадом. Аморальная связь Долохова с Элен, едва не завершается его гибелью. Построенные на ложных идеалах мечтания Андрея Болконского до Аустерлица (слава и признание героем, ради чего князь был бы готов пожертвовать счастьем и самой жизнью близких ему людей) завершаются тем, что он сам оказывается на грани жизни и смерти.

Уже в первом эпизоде романа – на светском вечере у Анны Павловны Шерер почти все ее гости интересуются не содержанием передаваемых друг другу мыслей и чувств, а лишь их формой, заданной стандартами светскости. Вполне органично делать это могут люди, подобные князю Василию Курагину, эталонному человеку формы, предельно расчетливому, который, в том числе знает, что влияние в свете есть капитал, который нельзя растрачивать на ходатайства для бедной знакомицы, пусть даже ее родитель в молодости и облагодетельствовал его. И в то же время в салоне неприлично «естествен» и потому опасен для светских общественных связей Пьер, непосредственный в своих изъяснениях.

Неподлинное, неживое мимикрирует, пытается принять форму живого. Долохов на пари выпивает бутылку рома, сидя на подоконнике и рискуя разбиться. Казалось бы, какое проявление живого – молодечества, лихости, удалства! Но у этого ухарства нет оправданной жизненной цели. За ним – одно лишь желание еще раз возвыситься в глазах собственного круга. То, что движителем в данном случае выступает именно неживое, утверждающее себя через риск гибели или даже верную смерть, показывает реакция Долохова на импульсивный порыв Пьера, намеревающегося повторить трюк. Нам ясно, что неловкий Пьер наверняка разобьется. Знает это и Долохов. Но он пренебрегает этим потому, что, как будет обнаружено еще не раз, он один из «актеров» войны (смерти). Поэтому, находя в предрешенной попытке Пьера еще один штрих для возвышения себя, Долохов бросает: «Пускай, пускай!»²⁸¹, ведь тем громче прозвучит весть о долоховской лихости.

Вспомним в этой связи и шулерскую игру Долохова с Николаем Ростовым в отместку за отказ Сони принять его предложение выйти замуж. Долохов знает, что проигрыш в сорок три тысячи почти смертелен для семейства графа, которым он был принят со всем радушием. И, тем не менее, он хладнокровно идет на возможное убийство. О том, что в это время Долохов служит мертвому, «войне», сообщает сам Толстой, описывая происходящее с ним. Это было то настроение, когда «как бы соскучившись ежедневною жизнью, Долохов чувствовал необходимость каким-нибудь странным, большею частью жестоким, поступком выходить из нее»²⁸². «Выходить» ...из жизни. Куда? Только в смерть, в данном случае – чужую.

Участие живого («мира») в том, что создается и действует по логике мертвого («войны»), для живого не проходит бес-

²⁸¹ Толстой Л. Н. Собр. соч. в 22-х тт. Т. 4. М., 1978. С. 46.

²⁸² Там же. С. 56.

следно. Вспомним, что втянутый в карточную игру («войну») с Долоховым Николай Ростов, зная о тяжести удара, который он своим проигрышем наносит отцу, тем не менее, продолжает играть. А заем, как загипнотизированный, сообщает отцу об этом беспечными словами и наглым тоном: проигрался; с кем, дескать, не бывает и платить нужно завтра. И лишь смиренно-покорное поведение графа Ильи Андреевича как перед лицом смерти (не здесь ли один из зародышей толстовского «непротивления злу насилием»? – С.Н.), заставляет Николая очнуться и вернуться к жизни спасительным криком: «Папенька! па...пенька! – закричал он ему вслед, рыдая, – простите меня! – И, схватив руку отца, он прижался к ней губами и заплакал»²⁸³.

С криком происходит рождение (возвращение к жизни) толстовских героев. Крик – как первый звук новорожденного, сына Андрея Болконского, например, – один из толстовских знаков избежания смерти, ее отступления перед жизнью, победа живого «мира» над мертвой «войной». (В этой же связи вспомним и о крике девочки, а затем и самого Николеньки Иртеьева при виде тела умершей матушки. И здесь криком живое возвращает себя к жизни, проводя границу в опасной близости со смертью).

С феноменом смерти сталкиваются все основные герои романов Толстого. Размышляет о смерти Пьер накануне дуэли с Долоховым. В шаге от смерти на Аустерлицком поле духовно перерождается князь Андрей. Преображается Наташа у постели умирающего Болконского. Слабеет, но не ломается в своем императивно-требовательном отношении к миру князь Николай Андреевич, получивший известие о смерти сына. Узнав о кончине брата, внутренне укрепляется княжна Марья. Отметим, что для всех «положительных» героев перед лицом смерти характерна внутренняя крепость.

²⁸³ Там же. С. 66.

Но как по-разному относятся к смерти те, кто стоит на стороне неживого, «войны» и живого, «мира». Два слова – «Смерть... Ложь...» ставит рядом раненый на дуэли Долохов. Как же должен бояться смерти человек, награждающий этим словом оставляемый им мир. И, напротив, князь Болконский, провозжая на войну и не исключая возможности смерти сына, напутствует его: «Помни одно, князь Андрей: коли тебя убьют, мне, старику, больно будет... – Он неожиданно замолчал и вдруг крикливым голосом продолжал: – А коли узнаю, что ты повел себя не как сын Николая Болконского, мне будет... стыдно! – взвизгнул он»²⁸⁴. Долг и честь – средства старого князя и князя Андрея, помогающие им преодолевать страх смерти.

В знаменитой пьесе Е. Шварца «Тень» герой избавляется от вышедшей из под его контроля и воплотившей в себе все негативное тени словами «Тень, знай свое место!». Так и здесь, в романной эпопее, нас не покидает чувство, что настоящие герои романа способны в решающий момент сказать: «Смерть, знай свое место!». И смерть отступает.

В чем же сила героев, способных произнести такие слова? Ответ на этот вопрос Толстой искал целую жизнь и отвечал много раз. Дается он в романной эпопее и наиболее развернуто, пожалуй, звучит для читателя посредством образа солдата из народа – капитана Тушина. Капитан – вовсе не органически бесстрашное существо, слепо исполняющее волю столь же геройского начальства. Как все живые, он думает о возможной гибели и боится ее. Но фактической бесстрашным Тушина делает тщательное исполнение работы войны, полное включение и подчинение логике совершаемого дела.

Такие же ответы мы получаем от героев толстовских «Севастопольских рассказов». Такие же ответы звучат в словах, чувствах и поступках тургеневских персонажей-крестьян.

²⁸⁴ Там же. С. 141.

Да, смерть беспощадна и неумолима. Но это вовсе не значит, что человек должен безропотно позволять ей влиять на его жизнь и личное поведение. И такой человек, согласно Толстому, прежде всего – человек из народа, крестьянин или родственные ему по духу земледельцы-помещики.

Так, при изображении своих любимых героев из семейства Ростовых, Толстой не упускает случая подчеркнуть, что именно они – часть народа. В первую очередь это касается их характеров, свойственной им искренности чувств, открытости, непосредственности. Особняком среди них стоит образ старшей дочери графа Веры. О ней нам неоднократно сообщается, что она чересчур рассудочна, рациональна, а ее верные, справедливые замечания часто вызывают общую неловкость, при том, что возразить по существу ей нечего.

В некоторой параллели с этим находится и изображение союзной русским австрийской армии. У австрийцев, как у Веры или ее мужа полковника Берга, все рассчитано, спланировано, отлажено, действуют они строго по предписаниям. «Что за точность, что за подробность, что за знание местности, что за предвидение всех возможностей, всех условий, всех малейших подробностей! Нет, мой милый, выгодней тех условий, в которых мы находимся, нельзя ничего нарочно выдумать. Соединение австрийской отчетливости с русской храбростью – чего же вы хотите еще?»²⁸⁵, – говорит Долгоруков князю Андрею незадолго перед сражением и последовавшим затем разгромом союзных войск.

Что же произошло? Что, кроме точного расчета, действует в жизни? Каково место разума и на что, кроме него, следует надеяться человеку? Вот и Пьер, о котором речь впереди, начинает поиски своего нового пути в жизни с умствованиям масонов. Так в толстовской прозе отзывается давно исследуемая русской классикой, в том числе, и современником Тол-

²⁸⁵ Там же. С. 316.

стого Гончаровым, проблема «разум – чувство, ум – сердце».

Проблема смерти является одной из центральных во всем творчестве Л.Н. Толстого. Как отмечает А.А. Гусейнов, «встав перед необходимостью выяснить личное отношение к смерти (а для Толстого это означало разумно обосновать смерть, выработать сознательное отношение к ней, то есть так обосновать и выработать такое отношение, которое позволяло бы жить осмысленной жизнью с сознанием неизбежной смерти), – встав перед такой необходимостью, Толстой обнаружил, что его жизнь, его ценности не выдерживают проверки смертью»²⁸⁶. Отсюда – его поиски, казалось бы, неразрешимых ответов.

Смерть не только личное переживание человека. Она также «последнее» основание, опираясь на которое можно получить возможность мыслить о живом мире. Прав М. Мамардашвили, когда говорит, что «философы считают, что без символа смерти, без того, чтобы жить в тени этого символа, – ничего нельзя понять, ничего нельзя в действительности испытать»²⁸⁷. Вот почему, начиная работу над своим главным трудом жизни – романом «Война и мир», писатель формулирует в нем вопросы, которые в равной мере относятся и к его героям, и к нему самому. Так, смерть является одним из главных предметов в размышлениях Пьера. «Что такое жизнь, что смерть? Какая сила управляет всем?» – спрашивал он себя. И не было ответа ни на один из этих вопросов, кроме одного, не логического ответа вовсе не на эти вопросы. Ответ этот был: «Умрешь – все кончится. Умрешь и все узнаешь – или перестанешь спрашивать». Но и умереть было страшно»²⁸⁸.

В своих стараниях понять природу смерти Толстой прибегает к ее расширительному толкованию – как неживого, не

²⁸⁶ Гусейнов А.А. Великие моралисты. М., 1995. С. 203.

²⁸⁷ Мамардашвили М. Лекции о Прусте. М., 1995. С. 15.

²⁸⁸ Толстой Л.Н. Там же. С. 70.

осененного духовностью, аморального. Особенно тщательно технологию действия неживого по поглощению-умервщлению живого он раскрывает на примере обольщения Наташи Анатодем Курагиным.

Как помним, граф Илья Андреевич приезжает из деревни в Москву, взяв с собой Наташу. Само агрессивное действие неживого (искусственного) по ассимилированию живого Толстой показывает на фоне оперного представления, изображая его подчеркнуто иронически: «На сцене были ровные доски посередине, с боков стояли крашенные картоны, изображавшие деревья, позади было протянуто полотно на досках. В середине сцены сидели девицы в красных корсажах и белых юбках. Одна, очень толстая, в шелковом белом платье, сидела особо, на низкой скамеечке, к которой был приклеен сзади зеленый картон. Все они пели что-то. Когда они кончили свою песню, девица в белом подошла к будочке суфлера, и к ней подошел мужчина в шелковых в обтяжку панталонах на толстых ногах, с пером и кинжалом, и стал петь и разводить руками.

...Они пропели вдвоем, и все в театре стали хлопать и кричать, а мужчина и женщина на сцене, которые изображали влюбленных, стали, улыбаясь и разводя руками, кланяться»²⁸⁹.

Наташа сперва смотрит на все происходящее с удивлением и насмешкой. Оно даже кажется ей «диким». Отметим, что эту реакцию естественного, живого на искусственное, театральное, неживое Толстой развивает непрерывно, возвращаясь к нему несколько раз. Делается это для того, чтобы ярче показать процесс «поглощения живого неживым», поскольку и в околотеатральном, искусственном мире все происходит так же, как и на подмостках с крашеными картонами. Показывая общение Наташи с Элен и ее братом Анатодем вперемешку с представлением на подмостках сцен жиз-

²⁸⁹ Там же. С. 337.

ни, любви и смерти, Толстой подчеркивает принципиальную однотипность происходящего.

В атмосфере театра на сцене и в жизни Наташу охватывает состояние «опьянения». Она перестает понимать – где она и что с ней делается. В ее голове начинают мелькать неожиданные, не связанные между собой мысли. И в это время она увидела Анатоля, на лице которого читалось выражение «добродушного довольства и веселья». Анатолий расположился в партере рядом с Долоховым, который сидел в первом ряду, упершись ногой в рампу. Этой позой хозяина Толстой дает понять, что Наташа попала в чужой мир, в царство неживого.

Здесь, в этом царстве искусственного, Долохов, Элен и Анатолий как настоящие ангелы смерти правят бал. При этом они, как и актеры на сцене, подделываются под живое. Делать им это тем более не сложно, поскольку они действительно внешне красивы и вполне самоуверенны, так что Наташе они и все окружающее начинает казаться радостным и веселым. Невольно она и сама начинает подражать Элен, начав с простого – улыбнувшись Борису Друбецкому так же, как это делала графиня Безухова, а потом сев так, чтобы Анатолию лучше был виден ее профиль. Постепенно Наташа перестает находить происходящее странным и, напротив, начинает считать его доставляющим удовольствие.

Появление в ложе Элен ее брата Анатолия у Толстого сопровождается ремаркой: «в ложе ...пахнуло холодом». И это в театре, где горит множество свечей и который полон разгоряченных полуобнаженных людских тел! Неживое (смерть) несет с собой холод и с замораживания горячей крови живого начинается умерщвление жизни. Вот и Анатолий, начиная овладение Наташей, приглашает ее на костюмированную карусель, то есть вновь – в ситуацию имитации, подделки. Наташа хотя и чувствует, что в поведении Анатолия есть «неприличный умысел», противиться не в силах. «...Его близость,

и уверенность, и добродушная ласковость улыбки победили ее. ...Она с ужасом чувствовала, что между ним и ею нет никакой преграды.

...Наташа вернулась к отцу в ложу, совершенно уже подчиненная тому миру, в котором она находилась. Все, что происходило перед нею, уже казалось ей вполне естественным»²⁹⁰. Вдруг, внезапно вспомнив об Андрее Болконском, Наташа ужасается. Все, в том числе и вся прежняя ее чистота любви к князю Андрею, кажется ей темным, неясным и страшным. «Погибла», – думает она, но найти возможность противостоять не может. Осознав, что между нею и Анатолом не осталось преград, Наташа признается Соне: у меня нет воли, он – мой властелин, я – раба его. Один из актов жизни-спектакля завершился: неживое поглотило живое.

Бездуховное и аморальное, составляющее существо того, что Толстой называет искусственным, есть инобытие смерти, ее реальное присутствие в человеческой жизни, в естестве каждого. Неживое в своем путешествии по реальному миру неминуемо ведет к гибели живого. Гибнет Наташина любовь к князю Андрею. Толстой определяет поступок Наташи словами Пьера как «низость, глупость и жестокость»²⁹¹. Но как и почему он стал возможен, на это ответа нет. Впрочем, такое положение лишь усиливает впечатление об иррациональной силе неживого, огромной власти смерти.

Встреча живого, ставшего неживым, с живым, таковым и оставшимся, как правило, губительна для последнего. И только в том случае, когда живое, превратившееся в неживое, воссоединяется с себе подобным, также неживым, трагедии не происходит. Счастливы в браке ограниченно-рассудительная Вера Ростова и мелочно-прагматичный Берг. Удачен брак по расчету Бориса Друбецкого и Жюли. Удовлетворен

²⁹⁰ Там же. С. 344.

²⁹¹ Там же. С. 375.

жизнью Долохов, наслаждающийся управлением волей других людей, Анатоля Курагина в том числе. Искренне предан своим господам – Анатолию Курагину и Долохову – и счастлив полнотой своего «неживого» существования троичный ямщик Балага, любивший «перекувырнуть извозчика и раздавить пешехода по Москве». В повседневной, мирной жизни людей, неживое, искусственное ведет постоянную войну с естественным, живым. И это тоже – трактовка названия великого романа.

Отметим еще одну традицию, присущую русской культурной мысли, ярко явленную Толстым. Традиция эта идет от «мертвых» и «живых» душ великого Гоголя. Начавший ее великий автор «Ревизора», тем самым поставил перед многими поколениями русских мыслителей вопрос о сосуществовании, взаимодействии, в том числе – и о войне и мире – живого и мертвого начал в жизни каждого человека, в жизни общества. Но если у Гоголя «мертвые» души как бы отделены от живого, а сам мир живых дан только в наметках второго тома поэмы, то у Толстого мы находим картину, во многих отношениях отражающую реальную сложность переплетений, контактов и взаимодействий живого и мертвого, в том числе – и в пределах отдельных персонажей. В самом деле: какое – живое или мертвое начало – берет верх в князе Николае Болконском в его отношениях с княжной Марьей? И как мог олицетворяющий неживое начало Долохов нежно любить свою старую мать и калеку-сестру? Нет вечного мира и вечной войны, а есть состояние «войны – мира» как формы жизни людей.

Для описания образа Наташи, побывавшей в лапах неживого, автор привлекает фигуру Пьера – олицетворение нравственного начала. Его присутствие позволяет четче увидеть происходящую с Наташей аномалию. В особенности важно замечание: «...Наташа чувствовала между собой и им в

высшей степени ту силу нравственных преград – отсутствие которой она чувствовала с Курагиным...»²⁹². Нравственные преграды в отношениях людей, моральная цельность, развитое моральное чувство оказываются, таким образом, атрибутами жизни, обеспечивающими успешное противостояние человека смертельному началу.

Еще один способ противиться смерти Толстой обнаруживает в сцене действий солдат-артиллеристов на кургане, который во время Бородинского сражения посещает Пьер. Важнейшая особенность, объясняющая небрежение солдат смертью, состоит в том, что люди эти живут и действуют как единый организм, проникнутый, как выражается Толстой, «теплым патриотизмом». При этом обнаруживается удивительная закономерность: чем более проявляет себя смерть, унося одного за другим защитников, тем веселее и оживленнее они себя ведут. В этой борьбе жизни со смертью обнаруживается одна важная особенность живого. Оказывается, сила «огня жизни» напрямую не зависит от количества людей, несущих в себе этот огонь. Напротив, чем меньше остается живых, тем сильнее разгорается огонь. То есть, тем выше ответственность каждого человека за свое поведение в близости смерти, ибо каждый может оказаться последним, в ком огонь жизни проявляет себя.

Свое исследование феномена смерти Толстой продолжает и в финале романа. Однако если ранее его внимание было сосредоточено преимущественно на самом факте смерти, на том, как смерть «действует», в том числе – и в своем проявлении в качестве искусственного, то теперь его больше интересует отношение к смерти героев романа, обреченных на смерть, поставленных на грань «жизни-смерти». К этим персонажам, безусловно, относится смертельно раненый и умирающий князь Андрей; арестованный и приговоренный, как

²⁹² Там же. С. 76.

он думает, к расстрелу Пьер; больной и знающий о своей неминуемой гибели Платон Каратаев; это, наконец, не смотря на мгновенность происходящего умирания, и Петя Ростов.

В том, как умирает князь Андрей, Толстой, может быть, наиболее внимательно пытается рассмотреть феномен великого таинства того, что есть смерть. Легкость бытия – внешнее проявление более глубинного состояния, которым проникается князь Андрей после того как освобождается от «страшно мучительного чувства страха смерти». Страх смерти исчезает в тот момент, когда вопрос о дальнейшей жизни решен отрицательно.

Отречение от земной жизни князя Андрея происходит по мере того как он вдумывается в открытое ему начало не земной, а вечной любви. Сущность этой любви – «всех любить», «всегда жертвовать собой для любви», означает в обычной жизни «никого не любить», «не жить этой земной жизнью». И чем больше он проникается этим «началом любви», тем больше он отрекается от жизни, тем совершеннее уничтожает «ту страшную преграду, которая без любви стоит между жизнью и смертью».

В дальнейшем анализе феномена смерти особенно важны страницы романа, на которых Толстой рассуждает о состоянии князя Андрея в последние два дня, когда началась окончательная «нравственная борьба между жизнью и смертью, в которой смерть одержала победу»²⁹³, которое Наташа назвала «*это сделалось с ним*».

Истина, что есть две любви – любовь земная как привязанность к отдельному живому и «вечная любовь», не связанная с живым, – не умещается в сознании князя Андрея. «?Любовь? Что такое любовь? – думал он. Любовь мешает смерти. Любовь есть жизнь. Все, все, что я понимаю, я понимаю только потому, что люблю. Все есть, все существует

²⁹³ Там же.

только потому, что я люблю. Все связано одною ею. Любовь есть бог, и умереть – значит мне, частице любви, вернуться к общему и вечному источнику”. Мысли эти показались ему утешительны. Но это были только мысли. Чего-то недоставало в них, что-то было односторонне личное, умственное – не было очевидности. И было то же беспокойство и неясность. Он заснул»²⁹⁴. В этом рассуждении Толстого обратим внимание на замечание «но это были только мысли». Толстой, как и всякий человек, не в силах разгадать тайну вечной любви, но в отличие от других людей он вплотную приближается к грани, разделяющей земную и вечную любовь и отдает себе отчет в принципиальной неспособности человека перейти эту грань и, тем самым, приблизиться к пониманию любви вечной. И здесь вновь автор романа подтверждает найденное им решение в ответе на вопрос как не бояться смерти. Оно – в стремлении живого к нравственному совершенству. «... Так он успокоился? смягчился? Он так всеми силами души всегда искал одного: быть вполне хорошим, что он не мог бояться смерти»²⁹⁵, – говорит Толстой словами Пьера.

Наряду с жизнью и смертью как фундаментальными смыслами и ценностями русского мировоззрения, столь же значимыми в толстовских представлениях выступают ценности народа и природы, что прежде всего связано с Пьером Безуховым в его безоговорочном слиянии с народом.

Как помним, появлению Безухова на Бородинском поле предшествует молитва Наташи в домашней церкви Разумовских и молебен в войске накануне сражения. Наташа Ростова, недавно пережившая свой «Аустерлиц», так же ищет путей согласия с окружающим миром. После первых слов священника «Миром господу помолимся» в ее душе звучит: «Миром, – все вместе, без различия сословий, без вражды,

²⁹⁴ Там же. С. 69 – 70.

²⁹⁵ Там же. С. 230.

а соединенные братской любовью – будем молиться». Это состояние души Наташи есть отраженное состояние русского мира накануне войны. Оно передается Пьеру и в рифму домашней молитве Ростовой над Бородинским полем звучит позднее общий молебен перед сражением. Так задаются масштабы происходящего с нацией и с человеком. Мировидение Пьера в этом эпизоде равновелико развертывающемуся перед ним событию. И сам он выглядит соразмерным масштабу героического эпоса, как бы превращаясь в былинного богатыря. И если ранее Пьер был исполнителем чужой эгоистической, противостоящей законам мироздания воли, то теперь он следует этим высшим правилам, выявляя, таким образом, свои силы и возможности.

Пьера в его движении по Бородинскому полю сопровождает солнце. Оно как бы открывает и просвечивает до мельчайших подробностей панораму предстоящей битвы, которая теперь приобретает, по существу, вселенские масштабы. Это историческое столкновение народов становится постижением ими своей природной сути. Природа как бы сочувствует русскому миру, его мировидению и поэтому ведет, поддерживает Пьера в главную минуту постижения им жизни. Природные и народные русские силы сливаются воедино. Солдаты батареи Раевского, их «мир» становятся вровень с Историей и Природой. В лицах этих простых людей, по сути, крестьян, горит солнечный, божественный огонь. Он и влечет к себе Пьера, стремящегося испытать на себе его величавую силу. А голос вне его, Пьера, говорил: «Война есть наитруднейшее подчинение свободы человека законам Бога. Простота есть покорность Богу; от него не уйдешь. И они просты. Они не говорят, но делают. Сказанное слово серебряное, а несказанное – золотое. Ничем не может владеть человек, пока он боится смерти. А кто не боится ее, тому принадлежит все. Ежели бы не было страдания, человек не знал бы границ

себе, не знал бы себя самого. Самое трудное... состоит в том, чтобы уметь соединять в душе своей значение всего. Все соединить?.. Нет, не соединить. Нельзя соединять мысли, а сопрягать все эти мысли – вот что нужно! Да, сопрягать надо, сопрягать надо!» – с внутренним восторгом повторил себе Пьер, чувствуя, что этими именно, и только этими словами выражается то, что он хочет выразить, и разрешается весь мучающий его вопрос...»²⁹⁶

Пьер не подозревает, что самое главное Слово для его отношений с миром родилось вовсе не в абстрактных разговорах с масоном-«благодетелем», а пришло из жизни. Это был голос берейтора, разбудившего Пьера: «Запрягать надо, пора запрягать, ваше сиятельство!». («Сопрягать» – «запрягать» – кажется, чего ближе!). Так, из крестьянского низа, из словажеста рождаются важные для Пьера смыслы. Они настолько важны, что Пьер, восстав от сна, отвергает «простые» корни важных для него смыслов. Он не хочет видеть грязный постоянный двор с колодцем посредине, у которого солдаты полили лошадей, а хочет понять то, что открывалось во сне, не подозревая, что «сопряжение-запряжение» грязного постоянного двора с философско-нравственными поисками – ответ на его вопросы.

Весь дальнейший сюжетный путь Пьера и есть, по Толстому, путь простоты сопряжения своей жизни с жизнью народа и природы. Проследив движение Безухова через Бородино и далее, можно увидеть, что ни у Пьера, равно как и ни у кого из тех, в ком живет ощущение народного и природного целого нет иного пути, чем подчинить свое частное (внешнее) существование – общенародному (внутреннему). Таково мировидение Толстого, пытающегося философско-эпическим сопряжением разных уровней национальной жизни преодолеть эгоизм своего времени.

²⁹⁶ Там же. С. 306.

Пытаясь осмыслить замысел толстовской эпопеи, можно заключить, что ее итог – в конструировании цели, к которой должен двигаться русский мир. Цель эта – семейное единство нации, установленное на природном фундаменте, включающем в себя и гармоническое сочетание мужского (Пьер) и женского (Наташа) начал.

* * *

Начатое в романе «Война и мир» осмысление фундаментальных смыслов и ценностей русского мировоззрения было продолжено Толстым в «семейном» романе «Анна Каренина». Сравнивая главные темы двух великих творений – любви и дела, жизни и смерти (мертвого и живого), отмечу следующее. В ряде ключевых содержательных пунктов роман «Анна Каренина» является не просто произведением, написанным вслед за «Войной и миром», но его философским развитием и углублением. Один из таких развиваемых сюжетов – любовь женщины в высшей и аномальной, выходящей за пределы рационального форме ее проявления – страсти.

В «Войне и мире», к предмету этому – страсти – Толстой только прикоснулся. Феномен этот он не рассматривал, прежде всего, в силу своей собственной эволюции. Как отмечают исследователи жизни и творчества Толстого, одной из его личных проблем, изжитых, может быть, лишь к старости, всегда была проблема телесного зова, любовного влечения, овладеть, подчинить своей воле которые великий мыслитель и жизнелюб с переменным успехом стремился всю жизнь. Что же такое страсть?

Размышляя над ее природой, в том числе, адресуясь и к мировой литературе, к Шекспиру, прежде всего, характерным представляется следующее. От любви страсть отличается тем, что не затрагивает фундаментальные, сущностные, прежде всего нравственные качества человека, то есть те, которые дают ему о себе знать в виде постоянных раз-

мышлений и, что самое важное, ведут к поискам ответов на вопросы о добродетели, истине и красоте. Под влиянием страсти человека охватывает ложная уверенность в том, что он не нуждается в размышлении об этих предметах, что он уже априори обладает их пониманием. И человек начинает действовать безоглядно, не рефлектируя и, в конце концов, иррационально.

Страсть и исследование ее природы появляется у Толстого в «Анне Карениной». При этом, центр страсти размещается внутри, в сердце героини романа. В отличие от Наташи, увлекаемой внешней злой силой, Анна ничего не может поделаться прежде всего со своим сердцем, плененным страстью.

В паре «Анна – Вронский» именно Анна – источник страсти. На протяжении романа нас не покидает ощущение, что Вронский – всего лишь облеченный в человеческое тело резонатор бурно прогрессирующей страсти героини. Анна, например, постоянно нуждается в физическом присутствии Вронского, озабочена тем, чтобы он жил исключительно во взаимодействии с ее страстью, чтобы у него не было никаких независимых от нее интересов и отношений. Вспомним, что даже в период их наиболее спокойной совместной жизни в деревне, любая отлучка Вронского по делам приводит к напряжению, подозрениям, конфликтам.

Сравнение «Войны и мира» и «Анны Карениной» в отношении глубины проработки некоторых проблем оказывается в пользу более позднего произведения и в теме дела, поданной посредством творческой реализации помещика Левина в его хозяйствовании. (В «Войне и мире» Пьер только в финале приступает к практическим занятиям). Константин Левин – не менее значимый герой романа, чем Анна Каренина. И не случайно оба они, хотя и в разных отношениях, обладают собственным недюжинным масштабом. Как верно отмечали, например, известные исследователи творчества Льва Толсто-

го А. Зверев и В. Туниманов, «...эти персонажи существенно близки, пусть диаметрально разными оказываются итоги их жизненной одиссеи. ...Ведь главным сюжетным узлом этой одиссеи и в том, и в другом случае становятся кризис привычных ценностей и жажда жизни в согласии с требованиями естественного морального чувства, а не под властью общепринятой ложной нормы»²⁹⁷.

Константин Левин – первая тщательно проработанная толстовская программа-ответ на вопрос о возможности в современной ему России «позитивного дела». Для Левина, как и для самого Толстого, эталонный ответ – крестьянствование. Сельские занятия, присущее им разнообразие, целиком заполняющие жизнь человека возможны лишь в коллективном гармоничном взаимодействии многих людей и в непосредственном контакте с природой, в русской литературе всегда были одним из излюбленных позитивных примеров идеально организованного человеческого бытия. Начиная с Фонвизина с его «государственным предпринимателем» Стародумом, через образы «примерных помещиков» во втором томе гоголевских «Мертвых душ» сельские «люди дела» все активнее осваивают пространство русской классической прозы и поэзии. В особенности, как я старался показать это ранее, эта проблематика была широко представлена в рассказах и романах Тургенева и Гончарова. Примеры эти развеивают до недавнего времени прочно бытовавший в отношении русской классики миф о ее населенности исключительно «мертвыми душами» и «лишними людьми». Успешно продолжил традицию «позитивного дела» в России и Л. Толстой.

Говоря об исследовании любви-страсти Толстым, следует признать, что явление это он рассматривает в заведомо невозможных для существования этого чувства условиях. И уже по этой причине чувство такого рода и в таких обстоятельст-

²⁹⁷ *Зверев А., Туниманов В.* Лев Толстой. ЖЗЛ. М., 2007. С. 294.

вах сродни тому, которое исследуется Шекспиром в трагедиях «Ромео и Джульетта», «Отелло» или «Король Лир».

Очевидно, что, чтобы выжить и успешно противостоять враждебным обстоятельствам, любовь-страсть должна быть аномально сильна и до болезненности изощрена. В нездоровой среде личные качества людей, пережитый ими опыт не позволяют их чувству любви быть жизнеспособным, быть в меру сильным и гармоничным (то есть, не переходить границы, за которой начинается саморазрушение). Более того: чтобы в нездоровой среде вообще быть, страсть должна закалиться в противостоянии и, значит, во-первых, одолеть враждебные силы, и, во-вторых, не разрушиться после неизбежной деформации в борьбе с тем, что ей противостоит.

Сказанное, как представляется, позволяет сформулировать следующее наблюдение в отношении природы страсти как любви в ее аномальном проявлении. Наблюдение это заключается в том, что явленная человеком любовная страсть – столь же имманентно присуща индивиду, сколь и является результатом его реакции на ненормальные общественные отношения. Применительно к толстовской героине это означает, что страсть Анны неуклонно усиливается и доходит до самоуничтожения не только в силу ее конкретного наличия в сердце женщины по имени Анна Каренина, но и по внешним причинам. И к числу последних следует отнести и то, что ее любовник не имеет достаточных представлений и не умеет жить семейной жизнью, оставленный муж – преуспевающая на государственном поприще механическая машина, только один раз являющая человеческие чувства, а брат – эгоистичный, не способный к сопереживанию сибарит. Так же следует помнить и о том, что в принятых светским обществом понятиях скрываемая супружеская измена княжны Бетси – норма, а стремление Анны открыто отстаивать свое право на жизнь по любви – патология.

Развернутая в романе трагедия Анны представляется даже более существенной, чем ее пытался первоначально изобразить автор, когда он, как замечают Зверев и Туниманов, ставил перед собой задачу «сделать эту женщину только жалкой и не виноватой»²⁹⁸. Ведь если сравнить столкновение с миром неживого Анны со столкновением с неживым Наташи Ростовой, то различие огромно. Наташа – лишь жертва, слабое существо, попавшее в сети мертвечины, зараженное ее ядом, которое благодаря обстоятельствам счастливо спасается и постепенно выздоравливает. Цели уничтожить Наташу у мира неживого нет, потому что она не только не воевала с ним, но и не пыталась противостоять.

Иное – Анна. Она и на самом деле изменница, пользовавшаяся изначально возможностями и силой «света» благодаря браку по расчету с Карениным, она – плоть от его плоти. Вспомним, что до решающего шага – признания Анны мужу в своей измене и последовавшей за тем открытой любви к Вронскому, Анна не выходила за пределы общепринятых в обществе измен. И вдруг Анна решается изменять открыто. Чему же она изменяет? Какие отношения разрушает, какие границы переходит?

Несомненно, поставлен в унижительное положение, оскорблен и действительно страдает от незаслуженной обиды ее муж. Алексей Александрович никогда не обманывал Анну. Он никогда не стремился казаться лучшим, чем был на самом деле. Тому порукой его природная ограниченность. Он просто не додумался бы до этого. Он так же не обманывал Анну в своем следовании законам светской жизни. Это Анна изменила первоначально и негласно заключенному между ними договору. Поэтому ненависть Анны персонально к мужу хотя и понятна, но несправедлива. В муже Анна ненавидит собственное прошлое, сделку со «светом».

²⁹⁸ Там же. С. 295.

Другое дело, и это обнаруживает одна из великих сцен романа – прощения Карениным Вронского и своей жены в момент, когда она почти умирает после родов, это то, что Алексей Александрович вдруг оказывается способным выисаться над ложными установлениями «света» и находит в себе силы превратить свое убеждение в поступок. «Душевное расстройство Алексея Александровича все усиливалось и дошло теперь до такой степени, что он уже перестал бороться с ним; он вдруг почувствовал, что то, что он считал душевным расстройством, было, напротив, блаженное состояние души, давшее ему вдруг новое, никогда не испытанное им счастье. Он не думал, что тот христианский закон, которому он всю жизнь свою хотел следовать, предписывал ему прощать и любить своих врагов; но радостное чувство любви и прощения к врагам наполняло его душу»²⁹⁹.

В этой сцене Толстой открывает нам великую истину, кающуюся природы страсти. Она лечится прощением и смертью. То же говорит и Шекспир: со смертью Ромео и Джульетты стихает война семейств Монтекки и Капулетти, со смертью Дездемоны умирает страсть Отлелло, со смертью Корделии гаснет страсть короля Лира. Страсть умирает вместе с тем, в ком она жила. И, очевидно, иного способа избавления от нее не существует.

Избегая вовлечения в логику развития страсти, Каренин отрекается от своего христианского поступка, равнозначного бунту против общества и возвращается в лоно привычных ложных установлений. Его возможная личностная позиция – простить жену и даже ее любовника – конечно же, была бы высмеяна «светом». На это мужественное решение у Алексея Александровича сил не хватает. Да и само такое решение было бы сродни страсти, хотя и иного рода. Но Каренин – человек без страстей. И вскоре он принимает реше-

²⁹⁹ Там же. С. 452 – 453.

ние: ни в чем Анне на уступки не идти, развода не давать, сына от матери отстранить.

Приступая к анализу природы страсти, Толстой посредством других героев вводит нас в сходную со страстью пограничную область – область подлинной сильной любви. Делает он это двояко: позитивно, передавая переживания Левина, вознамерившегося сделать предложение Кити, и негативно, от противного – повествуя о Вронском. Левин, как помним, приехав в Москву, направляется на каток, где развлекается Кити. Приблизиться к Кити он не решается. Его останавливает все, даже ее улыбка. Кити догадывается о любви к ней Левина, но отдает предпочтение Вронскому. Между тем, в ее отношениях к тому и другому была существенная разница – не в пользу Алексея Кирилловича: в нем она чувствует «какую-то фальшь»³⁰⁰. Но фальшь эта – из того, что признано «светом» высоким и ценным и носит имя «блеск».

Классически точную оценку двух главных любовных линий: Анны – Вронского и Кити – Левина находим у В. Набокова. О первом союзе Набоков говорит как о построенном лишь на физической любви и потому обреченном. Женитьба же Левина «основана на метафизическом, а не физическом представлении о любви, на готовности к самопожертвованию, на взаимном уважении»³⁰¹.

Но, добавлю от себя, за этой духовно богатой и личностно наполненной метафизикой, конечно же, незримо стоят ценности семьи и дома. В русском мировоззрении, как это уже много раз показывали классики отечественной литературы до Толстого, дом – не просто общее теплое место, где у каждого есть свое пространство для тела и души, где согласованно перемещающиеся тела родственны, а души звучат в унисон. Без этого, конечно, нет подлинного метафизического Дома.

³⁰⁰ Там же. С. 57.

³⁰¹ *Набоков В.* Лекции по русской литературе. М., 1996. С. 230.

И для Толстого Дом – тот, который строят Левин и Кити, Дом любви и общего высокого духа. У Анны Дома нет и для нее он вообще невозможен.

Отдавшись страсти, Анна делается другим человеком и многое начинает видеть в ином свете. Даже ее любимый сын Сережа кажется ей хуже, чем она воображала его во время разлуки. Но Вронский – совсем иное существо. В сравнении с Анной он менее тонок, развит, глубок. «В его петербургском мире все люди разделялись на два совершенно противоположные сорта. Один низший сорт: пошлые, глупые и, главное, смешные люди, которые веруют в то, что одному мужу надо жить с одной женой, с которой он обвенчан, что девушке надо быть невинною, женщине стыдливою, мужчине мужественным, воздержанным и твердым, что надо воспитывать детей, зарабатывать свой хлеб, платить долги, – и разные тому подобные глупости. Это был сорт людей старомодных и смешных. Но был другой сорт людей, настоящих, к которому они все принадлежали, в котором надо быть, главное, элегантным, красивым, великодушным, смелым, веселым, отдаваться всякой страсти не краснея и над всем остальным смеяться»³⁰².

И далее – четкое обозначение отношений: подлинная страсть у Анны и, первоначально, подобие страсти (как бы санкционированной «светом», родственной волокитству Стивы), у Вронского. Нельзя с точностью утверждать, оказался ли Вронский сам по себе способен выйти за пределы волокитства или тому была причиной сила страсти Анны, но скоро его отношение к связи с Анной сделалось иным. Вронский не сознает, что зреющее в обществе недовольство, кроме характерного для всякого общественного организма свойства отрицательно реагировать на нарушения установленного порядка вещей, подпитывается и негодованием по поводу

³⁰² Толстой Л.Н. Там же. С. 129.

небрежения им, обществом. Ведь и Вронский, а еще более Анна с ее историей замужества и перехода из провинциальной глуши в высший свет, были и по праву рассматриваются обществом как его, общества, члены, которым следует быть благодарными и послушными.

Впрочем, невозможность полного осознания всего, что пришло в движение вследствие поступка Анны и Вронского, не мешает Вронскому интуитивно нащупать верный по отношению к страсти Анны выход. «...Ему в первый раз пришла в голову ясная мысль о том, что необходимо прекратить эту ложь, и чем скорее, тем лучше. «Бросить все ей и мне и скрыться куда-нибудь одним с своею любовью», – сказал он себе»³⁰³. В самом деле, позиция отшельничества, сознательного удаления от мира, например, жизни помещиком в провинциальной глуши – реальный выход, во всяком случае – возможная альтернатива зреющему общественному ostracismу, основанному на понимании совершенно определенного способа того «как огонь блюсти», – как говорит Толстой.

Если попытаться смотреть на поведение Вронского беспристрастно, то мы вряд ли найдем повод для слов упрека. Вронский старается быть нормальным человеком, который любит Анну. Это Анна увлечена потоком и не управляет собой. То, что это так, Толстой косвенно дает понять разными способами, в том числе и очень странным для способной к любви женщины – ее равнодушием, нелюбовью к дочери. Дочь – возможность будущей жизни, в том числе и с любимым человеком, ее отцом, Вронским, как бы не существует для Анны. Она вся во власти сжигающего ее чувства, которое столь сильно, что, кажется, остановило ее дальнейшее развитие, закрыло для нее будущее, заставляет вновь переживать однажды возникшую страсть. В этом, как представляется, обнаруживается еще одна черта страсти – возможность

³⁰³ Там же.

ее развития лишь на основе и за счет тех чувств, сознания и опыта, которые были характерны для человека в момент, когда страсть им овладевает. Покоренный страстью человек не способен к развитию, он попадает на круг постоянного переживания того опыта и полноты сознания, которые оказались в нем в момент его покорения страстью. Он как бы консервируется в этом своем состоянии и для него из этого состояния есть только один выход – в смерть.

Лишение способности к дальнейшему развитию – само по себе одна из форм смерти и потому все, кого настигает страсть, становятся персонажами трагедии, а их физическая смерть – лишь материализацией состоявшейся ранее смерти сознания и чувств, ума и сердца, если прибегнуть к терминам русской литературно-философской традиции. Вспомним, к примеру, последние годы жизни гончаровского героя – Ильи Ильича Обломова в супружестве с вдовой Пшеницыной: он как будто застывает, что особенно остро видно во время посещения его Штольцем. То есть, в случае Обломова, страсть убивает Илью Ильича (или, что то же самое, Илья Ильич убивает в себе любовь-страсть к Ольге) мгновенно, но при этом исполнение ритуала погребения откладывается.

Возможность по мере чтения и истолкования литературного произведения «домысливания», проработки глубинных смысловых ходов и направлений, которые логически просматриваются читателем или допускаются автором, хотя и не всегда им реализованы и потому не могут быть показаны в тексте как результат работы именно его ума и души, – это, собственно, одна из отличительных черт подлинно крупного литературно-философского произведения, «Анны Карениной», в том числе. Приведу размышления Иосифа Бродского: «Пишущий стихотворение пишет его прежде потому, что язык ему подсказывает или просто диктует следующую строчку. Начиная стихотворение, поэт, как правило, не знает,

чем оно кончится, и порой оказывается очень удивлен тем, что получилось, ибо часто получается лучше, чем он предполагал, часто мысль его заходит дальше, чем он рассчитывал. Это и есть тот момент, когда будущее языка вмещивается в его настоящее. ...Пишущий стихотворение пишет его прежде всего потому, что стихотворение – колоссальный ускоритель сознания, мышления, мироощущения»³⁰⁴.

Предположение Бродского мне кажется верным, поскольку, как известно, первоначально автор «Войны и мира» задумывал написать роман о «мысли семейной» и при этом придать ему несколько ироничное толкование: первоначальное название было «Молодец баба» и рассказывать он должен был о «барских амурах». Однако по мере погружения в проблему любви-страсти Толстой, следуя за логикой проблематики или даже тем путем, о котором говорит Бродский, создал нечто совершенно иное, подтвердив «демоническую репутацию» (Бродский) литературы. У него получилась «поэма страсти». И как таковая она «действительно превосходит все, что было создано до Толстого русскими авторами»³⁰⁵.

Для понимания степени ненормальности Анны в ее подвластности страсти Толстой сводит свою героиню с Левиным – с собой. И столкновение это знаменательно и важно для понимания декларируемых в романе смыслов и ценностей прежде всего по следующим из этого эпизода выводам. Вот как сюжетно разворачивает эту линию автор. Вместе со Стивой Левин посещает Анну – знакомится с ней. И его сразу же поражает то количество достоинств, которые он видит в этой вызывающей чувство жалости женщине. «Кроме ума, грации, красоты, в ней была правдивость. Она от него не хотела скрывать всей тяжести своего положения.

³⁰⁴ *Сочинения Иосифа Бродского*. Санкт-Петербург, 1997. Т. 1. С. 16.

³⁰⁵ *Зверев А., Туманинов В.* Там же. С. 304.

...Левин все время любовался ею – и красотой ее, и умом, образованностью, и вместе простотой и задушевностью. Он слушал, говорил и все время думал о ней, о ее внутренней жизни, стараясь угадать ее чувства. И, прежде так строго осуждавший ее, он теперь, по какому-то страшному ходу мыслей, оправдывал ее и вместе жалел и боялся, что Вронский не вполне понимает ее».

На вопрос Стивы, какой ему показалась Анна, Левин отвечает: «...Необыкновенная женщина! Не то что умна, но сердечная удивительно. Ужасно жалко ее!»³⁰⁶.

Впрочем, Толстой тут же замечает: но он чувствовал, что в «нежной жалости», которую он испытывал к Анне, было «что-то не то». И это «не то» – одно из объяснений феномена «Анна Каренина». Для Толстого, строящего свой собственный тип русского мировоззрения, «не то» означает страсть как результат тлетворного влияния города, жизни человека вне природы и народа, ради одних лишь плотских потребностей и утех.

«Естественный» и «нормальный» человек Левин, живя в городе «шалает». Он понимает, что тем, чем он занят в Москве, он никогда не стал бы заниматься в деревне, поскольку это одни разговоры, еда и питье. Он понимает, что живет «бесцельною, бестолковою жизнью, притом жизнью сверх средств». А ненормальная жизнь рождает ненормальные отношения людей. Ненормальная и неестественная жизнь в городе – причина того, что в Анне не просыпается материнское чувство к дочери. И, возможно, одной из причин этой аномалии Толстой полагал то, что Анна, как было заведено прежде всего у городских дам, сама не кормит ребенка, а поручает это кормилице. (Сам Толстой, как известно, добивался того, чтобы его жена сама кормила всех их тринадцать детей, несмотря на тяжкие боли, которые Софья Андреевна испытывала каждый раз в процессе кормления). Ненормальная и

³⁰⁶ Толстой Л. Н. Там же. С. 290 – 291.

неестественная городская жизнь не позволяет Анне отказаться от сложившихся у нее с Вронским «отношений борьбы» за его, Вронского свободу и против ее, Анны, фактически крепостного общественного состояния.

Развязка романа с неотвратимостью приближается. Владеющий Анной в городе «злой дух» в очередной раз берет верх. «И смерть, как единственное средство восстановить в его сердце любовь к ней, наказать его и одержать победу в той борьбе, которую поселившийся в ее сердце злой дух вел с ним, ясно и живо представилась ей. ... Нужно было одно – наказать его»³⁰⁷. как перед всякой физической кончиной, которую не раз описывал Толстой, у смертельно раненого (большого, авнеии с минутной «о

Ночью после двукратного приема опиума ей опять приснился старый сон-кошмар, в котором уже неоднократно являвшийся в ее сонном сознании старичок-мужичок, наклонившись, не обращая на нее внимания и бормоча какие-то бессмысленные французские слова, что-то творил с железом. Анна итожит свои счета с жизнью: «...Все мы ненавидим друг друга»; «Никогда никого не ненавидела так, как этого человека!», – думает она о Вронском. «Если бы я могла быть чем-нибудь кроме любовницы, страстно любящей одни его ласки; но я не могу и не хочу быть ничем другим», – открывается ей страшная правда довлеющей над ней страсти. «Сергея? – вспомнила она. – Я тоже думала, что любила его, и умилялась над своею нежностью. А жила же я без него, променяла же его на другую любовь и не жаловалась на этот промен, пока удовлетворялась той любовью». И она с отвращением вспоминала про то, что называла той любовью»³⁰⁸.

Все и всё вокруг ей кажутся «уродливыми и изуродованными». Последнее слово знаменательно, Оно, вполне в согла-

³⁰⁷ Там же. С. 345.

³⁰⁸ Там же. С. 359.

сии с толкованием Бродского о самостоятельности текста под пером автора, означает переход к приближающейся развязке: через некоторое время тело Анны будет в самом деле изуродовано и, опережая этот ужас, Анна подсознательно начинает привыкать к тому, что то, что с ней сделается, есть чуть ли не обыденность жизни, то есть то, что она видит постоянно, к чему привыкла и что, по этой причине, уже не может быть страшно.

Но привыкнуть к этому нельзя. И последней попыткой – возвратом к жизни все же становится ее инстинктивное движение выхватить назад из-под едущего вагона свое тело, под который она его только что бросила. Но поздно. «И свеча, при которой она читала исполненную тревог, обманов, горя и зла книгу, вспыхнула более ярким, чем когда-нибудь, светом, осветила ей все то, что прежде было во мраке, затрепала, стала меркнуть и навсегда потухла»³⁰⁹. Анны не стало. Страсть загасила свечу-жизнь.

Так, впервые в «Войне и мире» приблизившись к проблематике любви, выходящей на одну из своих смертельных границ – страсть, Лев Толстой раскрыл природу этого чувства в романе «Анна Каренина», показал его личностные истоки, равно как и способствующую его возникновению пагубную среду. Вместе с тем, в соответствии с собственной интеллектуальной и духовной эволюцией, Толстой все большее внимание уделяет анализу свободы и ответственности отдельного человека в его поступках и действиях в конкретных обстоятельствах жизни, в полной мере сосредоточившись на этой проблеме в романе «Воскресение».

* * *

Во взаимодействии своих позитивных героев с неверно устроенным и потому враждебным им внешним миром Толстой старается рассматривать обе взаимодействующие сто-

³⁰⁹ Там же. С. 364.

роны. Но если в «Войне и мире» он лишь вскользь касается природы общества, в котором живут князь Андрей, Пьер и Наташа, а в «Анне Карениной» делает это хотя и более основательно, но по необходимости локально – в связи со специфическим чувством любви-страсти героини, то в «Воскресении» общество, наряду с эволюцией героя романа князя Дмитрия Ивановича Нехлюдова, становится главным предметом авторского анализа и получает обобщающее определение.

При этом главный герой начинает интересовать Толстого не столько через его внешние связи (как это было в случае с Константином Левиным в его деревенских хозяйственных занятиях), сколько через его собственное «изменение – преобразование – воскресение». И если в «Анне Карениной» Толстой посредством образа героини открыл нам содержание одного из многих человеческих путей «нисхождения – гибели», то в «Воскресении» вектор движения, представленный Масловой и Нехлюдовым, направлен ввысь: через покаяние – к нравственному возрождению.

Рассмотрение «Воскресения» под углом зрения разработки системы русского мировоззрения примечательно еще и тем, что впервые в русской классической литературе в качестве центрального исследуемого предмета вводится смысл и ценность «дела» не как хозяйственной практики, а как делания человеком самого себя. В дальнейшем, такого рода занятие будет рассмотрено на материале романной прозы Ф.М. Достоевского, причем «делание человеком самого себя» анализируется автором «Преступления и наказания» как в толстовской траектории «возвышения – воскресения», так и в иных траекториях: «нисхождения – уничтожения» и «нисхождения – почти уничтожения – воскресения». В результате, русское мировоззрение обогащается новым существенным и в дальнейшем постоянно присутствующим аспектом: рефлексией человека, озабоченного изменением самого себя.

По сюжету романа Нехлюдов представляется нам автором в двух образах. Первый – в момент его нравственного падения, а второй – спустя десять лет, когда он случайно встречается с Катюшей на судебном процессе. В первом Нехлюдов – «развращенный, утонченный эгоист, любящий только свое наслаждение», который «считал собою свое здоровое, бодрое, животное я»³¹⁰. В жизни для него все просто, нет загадок, нет общения с природой, с мыслящими и чувствовавшими людьми, для него важны только человеческие учреждения и общение с товарищами, преследующее эгоистические цели. Женщина представляется Нехлюдову «одним из лучших орудий испытанного уже наслаждения». (Согласимся, что в этих своих качествах он напоминает Алексея Вронского в период, предшествующий знакомству с Анной). Нехлюдов, согласно Толстому, живет так потому, что не «верит себе», решает любой вопрос не в пользу своего «духовного я», а, напротив, «верит другим» и все обращает в угоду своего «я животного»³¹¹.

Деградация молодого князя Нехлюдова, начавшаяся после переезда из деревни в Петербург, завершается поступлением на военную службу. Важно отметить, что и в «Воскресении», то есть, на закате жизни, как и в «Воине и мире», Л. Толстой вновь повторяет одну из своих излюбленных мыслей, безжалостно вскрывая нравственную порочность военной службы как одного из основополагающих человеческих установлений. «Военная служба вообще развращает людей, ставя поступающих в нее в условия совершенной праздности, то есть отсутствия разумного и полезного труда, и освобождая их от общих человеческих обязанностей, взамен которых выставляет только условную честь полка, мундира,

³¹⁰ Толстой Л. Н. Собр. Соч. в 22-х томах. Т. 13. С. 52 – 53.

³¹¹ Интересные, изложенные в духе православно-христианской традиции размышления по этому поводу можно найти в книге И.Б. Мардова «Лев Толстой. Драма и величие любви». М., 2005.

знамени и, с одной стороны, безграничную власть над другими людьми, а с другой – рабскую покорность высшим себя начальникам»³¹². В особенности разлагающе праздная жизнь действует на военных потому, что «если невоенный человек ведет такую жизнь, он в глубине души не может не стыдиться такой жизни. Военные же люди считают, что это так должно быть, хвалятся, гордятся такую жизнью, особенно в военное время...»³¹³. Нехлюдов, в полной мере живший именно такой жизнью, «не переставая находился в хроническом состоянии сумасшествия эгоизма».

Себялюбие, эгоизм, небрежение другими людьми своей низшей точки достигает в нравственном падении только что произведенного в офицеры Нехлюдова – соблазнении Кати. Полную негодность этих «ценностей» и соответствующего им поведения человека для создаваемой системы русского мировоззрения Толстой акцентирует изображением еще одной важной смысловой части русского мировоззрения – природы. Размышляя о своем грехе, Нехлюдов вспоминает и о том, в какую страшную ночь он был совершен: с ломавшимся на реке льдом, туманом и, главное, «тем ущербным, перевернутым месяцем, который перед утром взошел и освещал что-то черное и страшное»³¹⁴.

В романе не раскрыт процесс метанойи, при которой Нехлюдов начинает движение от «животного я» к «я духовному». С одной стороны, все происходит как бы само собой в тот момент, как он узнает в одной из обвиняемых Катюшу Маслову. Толстой просто констатирует новое состояние, при котором Дмитрий Иванович уже «чувствовал всю гадость того, что он наделал, чувствовал и могущественную руку хозяина, но он все еще не понимал значения того, что он сделал,

³¹² Толстой Л.Н. Собр. Соч. в 22-х томах. Т. 13. С. 54.

³¹³ Там же. С. 55.

³¹⁴ Там же. С. 73.

не признавал самого хозяина. Ему все хотелось не верить в то, что то, что было перед ним, было его дело. Но неумолимая невидимая рука держала его, и он предчувствовал уже, что он не отвертится. ...В глубине своей души он уже чувствовал всю жестокость, подлость, низость не только этого своего поступка, но всей своей праздной, развратной, жестокой и самодовольной жизни, и та страшная завеса, которая каким-то чудом все это время, все эти двенадцать лет скрывала от него и это преступление, и всю его последующую жизнь, уже колебалась, и он урывками уже заглядывал за нее»³¹⁵. Но, с другой стороны, причины, побудившие Нехлюдова к перерождению, вскрываются постепенно. Так, весь пройденный Дмитрием Ивановичем путь «сопровождения – попыток освобождения» Масловой, есть содержательное раскрытие отречения Нехлюдова от себя безобразного и возврата к себе в человеческом образе (подобном божьему).

По мере «воскресения» Нехлюдов с ужасом обнаруживает, что прежде жил в городе мертвых, общался с лишь ними, лишь с ними вел дела. В этой связи особенно символичен эпизод, в котором Нехлюдов оказывается в доме, в котором жила и умирала его мать – перед смертью ссохшаяся как мумия женщина, лежавшая в комнате рядом со своим портретом, на котором она была изображена в виде полуобнаженной красавицы. Этот величественный портрет напомнил Нехлюдову о «свете», в котором он до недавнего времени жил и, будучи мертвым, чувствовал себя живым. Этой ассоциацией Толстой вновь возвращает нас к поднятой еще в «Войне и мире» и продолженной в «Анне Карениной» теме «неживого – искусственного» и «живого – естественного», к вечной теме жизни и смерти.

Впрочем, в «Воскресении» эта тема обретает новую существенную грань. Как мы помним, Нехлюдов, желая испустить

³¹⁵ Там же. С. 83.

свою вину перед Катей, с самого начала решает, что он должен на ней жениться. «Поеду в тюрьму, скажу ей, буду просить простить меня. И если нужно, да, если нужно, женюсь на ней», – думал он. Эта мысль о том, чтобы ради нравственного удовлетворения пожертвовать всем и жениться на ней, нынче утром особенно умиляла его»³¹⁶, – замечает Толстой.

Чего больше в этой нелепой, но умиляющей мысли «если нужно»: гордости за себя «жертвователя» или привычки крепостника-барина, делающего то, что «желает» хотя бы и в нравственном ключе? В любом случае здесь нет отношения к Кате как к человеку свободному, на котором нельзя предполагать жениться без ее воли, а есть продолжение действия нехлюдовского своевольного «животного я», хотя и скрытого в «моральные» одежды.

«Очищение души», как Толстой называет то, что делает Нехлюдов, происходит по мере путешествия героя по миру «живому» и «мертвому». При этом «живой» – люди в тюрьме – внешне имеет атрибуты мира подземного и, напротив, мир «мертвый» обнаруживает внешние свойства живого. Примечательно, что о своем желании жениться на Кате Нехлюдов к месту и не к месту заявляет очень многим своим собеседникам из мира «неживого». Для чего? Бравировать? Шокировать? Или, напротив, желая показать, что он – такой же, как и они (то есть, поступает в соответствии со своей волей, не беря в расчет воли другого человека) и, тем самым, рассчитывая на позитивную реакцию?

Два мира, открывающиеся перед нами по мере странствий Нехлюдова, при всем внешнем различии поражают своей схожестью. «Высший свет» и тюрьма на самом деле устроены почти одинаково. И это от того, что их существование задается населяющими их людьми с теми смыслами и ценностями, которые они в себе несут и которые выражают. И

³¹⁶ Там же. С. 123.

там, и здесь – ложь довлеет над правдой, сила – над добром и справедливостью, низкое – над высоким. И лишь человек (не важно – в каком мире он находится), начавший верить, что он образ и подобие Божие и соответственно с этим поступать, вносит новое в эту одинаково неживую жизнь.

Задумываясь над тем, как сделалось так, что «человеческое отношение с человеком стало не обязательно», Толстой словами Нехлюдова дает ответ: все дело в том, что люди «признают законом то, что не есть закон, а не признают законом то, что есть вечный, неизменный, неотложный закон, самим богом написанный в сердцах людей. ...Если бы была задана психологическая задача: как сделать так, чтобы люди нашего времени, христиане, гуманные, просто добрые люди, совершали самые ужасные злодеяния, не чувствуя себя виноватыми, то возможно только одно решение: надо, чтобы было то самое, что есть, надо, чтобы эти люди были губернаторами, смотрителями, офицерами, полицейскими, то есть, чтобы, во-первых, были уверены, что есть такое дело, называемое государственной службой, при котором можно обращаться с людьми, как с вещами, без человеческого, братского отношения к ним, а во-вторых, чтобы люди этой самой государственной службой были связаны так, чтобы ответственность их поступков с людьми не падала ни на кого отдельно. ...Все дело в том, что люди думают, что есть положения, в которых можно обращаться с человеком без любви, а таких положений нет. ... Только позволь себе обращаться с людьми без любви, ...и нет пределов жестокости и зверства по отношению других людей, ...и нет пределов страдания для себя, как я узнал это из всей своей жизни. Да, да, это так, – думал Нехлюдов»³¹⁷.

Частный случай – личное соприкосновение Наташи Ростовской или Анны Карениной с миром «неживого» в заключительной части «Воскресения» приобретает характер обобщен-

³¹⁷ Там же. С. 362 – 363.

ния, приговора всему общественному устройству: «из всех живущих на воле людей посредством суда и администрации отбирались самые нервные, горячие, возбудимые, даровитые и сильные и менее, чем другие, хитрые и осторожные люди, и люди эти, никак не более виновные или опасные для общества, чем те, которые оставались на воле, запирались в тюрьмы, этапы, каторги...»³¹⁸ И далее: «Все это были как будто нарочно выдуманнные учреждения для произведения сгущенного до последней степени такого разврата и порока, которого нельзя было достигнуть ни при каких других условиях, с тем, чтобы потом распространить в самых широких размерах эти сгущенные пороки и разврат среди всего народа»³¹⁹.

Так, начав с преимущественного рассмотрения судеб отдельных персонажей, произведения к произведению, от романа к роману Л. Толстой возвышается до обобщений, касающихся природы современного ему российского общества в целом. При этом создаваемая им панорама русского мировоззрения делается все более содержательной и объемной, а ее перспектива – все более глубокой.

* * *

Хотя тема духовного возрождения России в контексте творчества Л.Н. Толстого почти не была специально исследована, все написанное им конечно же имело к ней непосредственное отношение. Вместо фантазий о первичности изменения внешних обстоятельств, которыми увлекались не только желавшие «прямого действия» художники, подобные Чернышевскому, но очень многие, Толстой понимал, что, в конечном счете, «все двери открываются вовнутрь». Или, как говорил его знакомец из крестьян народный философ Сютяев: «Все в тебе, и все сейчас». То есть, начинать (какое не точное слово, потому что человек должен делать это всегда)

³¹⁸ Там же. С. 423.

³¹⁹ Там же. С. 424.

что-либо делать, ставя цель духовного возрождения, человеку всегда следует с самого себя. Это позднее сформулировал Чехов, когда признался, что всю жизнь по капле «выдавливал из себя раба». Об этом же – все творчество великого Лескова и многих других. Вот с учетом такого понимания я и пытаюсь отнестись к финальной части толстовского творчества, выбрав из него некоторые наиболее яркие и глубокие, как мне представляется, вещи, но, безусловно, не свидетельствуя своим выбором о преуменьшении иных.

Исследователи философии и художественного творчества Толстого отмечают, что мировоззренческий кризис конца 70-х – начала 80-х годов, длившийся примерно шесть лет, многое кардинально изменил в его взглядах на человека и мир³²⁰. Задача эта в особенности трудна и, вместе с тем, интересна, поскольку мы имеем дело с мыслителем, стоящим на высшей ступени творчества и который, однако, не только не прельстился звучавшими еще при жизни в его адрес восхвалениями, но и не потерял способности критически относиться к себе и к своему занятию. До конца дней Толстой не перестал искать ответы на главные вопросы, не прекратил изучать жизнь духа, устройство общества и мироздания. При этом, как отмечал С.Н. Булгаков в написанном в 1912 году после смерти писателя тексте *по поводу последних его произведений «Дьявол» и «Отец Сергей», толстовское мышление и искание (не разумом, а художественной интуицией), было даже «сильнее и острее рассудочного мышления».*

³²⁰ Об этом см., например: *Гусейнов А.А.* Великие пророки и мыслители. Нравственные учения от Моисея до наших дней. М., 2009. С. 270 – 291; У П.В. Басинского читаем: «В биографии Толстого можно выделить три события, которые не просто оказали влияние на течение его жизни, но радикально изменили ее, развернули на 180 градусов. Это женитьба, духовный переворот конца 70-х – начала 80-х годов и уход из Ясной Поляны». *Басинский П.В.* «Лев Толстой: Бегство из рая». М., 2011. С. 187.

В названных Булгаковым произведениях, а так же в иных, близких по тематике, Толстой, наряду с прочим, проделывает с человеком ту же, что и Достоевский, операцию. Опускается на дно души, прежде всего, конечно, своей собственной. Этим способом он познает жизнь в себе и чрез себя, освещает подземелье светом. Однако в отличие от Федора Михайловича (о творчестве которого я буду говорить позднее), граф Толстой не только не ужасается увиденным, но одну за другой формулирует фундаментальные проблемы преобразования жизни духа. Рассуждая о природе человека, о силе добра, зла, духовного подвига и греха в человеческой душе, он не поворачивает в сторону тенденциозной дидактики и, тем более, подобно Достоевскому, не переходит на позиции агрессивного националистического консерватизма. Конечно, в области общественно-политической его нельзя отнести к прогрессистам (как Герцена) и либералам (как Тургенева). Однако он и не безоглядный охранитель. Его умеренный, основанный на здравом (крестьянском) уме и личном опыте, консерватизм не закрывает дорогу к диалогу на почве разума. Что же до его исканий и выводов в сфере нравственности, то, как мне представляется, для современного человека идеи творчества Толстого, по-прежнему остаются во многом все еще не достигнутым позитивным образцом.

Вечная борьба добра и зла в человеке, как думает Толстой, во-первых, не безнадежна, и, во-вторых, протекает не по тем правилам и законам, которые открываются верующему человеку институтом Церкви. Взгляды Толстого и православной церкви на пути спасения человека, как известно, существенно расходились³²¹. И если для Достоевского как конструктора

³²¹ Одна из ярких форм этих расхождений – рассказ Толстого «Разрушение ада и восстановление его», в которой, в частности, таинства православия в оскорбительной для его официальных служителей форме без обиняков названы средствами, изобретенными ни кем иным, как слугами дьявола для разрушения исходного учения Христа.

идеологии человек, за редкими и счастливыми, хотя и придуманными автором исключениями, сосуд, до краев наполненный злом, то для Толстого-реалиста исход борьбы зла с добром в человеке вовсе не предопределен³²². Пафос толстовской веры – на стороне сражающегося в человеке добра.

Не вступая в полемику с Толстым по вопросам православия напрямую, в упомянутой статье Булгаков заключает: «...Человек находит во внутреннем опыте своем, именно: мучительное сознание бессилия добра, косности духа, скованного грехом. Из этого самодиагноза христианство делает дальнейшие выводы в области морали в том смысле, что нравственная жизнь основана лишь на постоянной борьбе с собою, с низшими сторонами своего собственного существа, со стихией греха, и не на доверии к “естественному”, но на недоверии к нему, на постоянном и неусыпном самоконтроле и различении в себе добра и зла. В этом смысле христианская мораль, проистекающая из дуалистического понимания нравственной природы человека, видящая в ней смешение добра и зла, необходимо является аскетической в смысле неустрашимости дисгармонии и борьбы этих двух начал. «Самопротivление и самопринуждение» – в таких словах выражает сущность аскезы еп. Феофан (Затворник).

Но человек, предоставленный своим собственным силам, не может, по учению христианства, окончательно победить в себе грех, превзойти самого себя. Тот свет совести, при котором он видит свою душу, только открывает перед ним всю силу и глубину греха в нем, родит желание от греха осво-

³²² На эту особенность принципиально различных подходов к действительности у Достоевского и Толстого обращает внимание, в частности, Ю. Лотман: «У Достоевского идеологический замысел иллюстрируется реальностью, у Толстого – реальность вступает в конфликты с идеологической схемой и всегда представляет нечто более богатое». *Лотман Ю.М. О русской литературе. Санкт-Петербург, 2012. С. 599.*

бодиться, но не дает еще для этого возможности. Человек, предоставленный своим природным силам, должен был бы впасть в окончательное отчаяние, если бы ему не была протянута рука помощи. Но здесь и приходит на помощь искупительная жертва Христова и благодать, подаваемая Церковью Христовой в ее таинствах. Опираясь на эту руку, открывая сердце свое воздействию божественной благодати, усвояя верой искупительное действие Голгофской жертвы, освобождается человек от отчаяния, становится вновь рожденным сыном Божиим, спасается от самого себя, от своего ветхого человека, который хотя и живет, но непрестанно тлеет и уступает место новому человеку. Благодать не насилует, она обращается к человеческой свободе, которая одна лишь вольна взыскать ее; но, оставленный одним своим естественным силам, человек не может спастись. Вот почему основной догмат христианства, об искуплении человеческого рода Божественною кровью, представляет собою вместе с тем и нравственный постулат христианской антропологии, того учения о нравственной природе человека, в котором отрицаются возможность самоспасения и неповрежденность человеческой природы. Он есть необходимый ответ на этот вопль бессилия, идущий из глубины человеческого сердца, а Церковь с ее благодатными таинствами есть целительное установление любви Божией, в котором восстанавливаются силы и врачуются греховное и больное человечество»³²³.

Позиция православного христианина отца Сергия Булгакова, выраженная в приведенных словах, Толстым не принималась. И объяснением может служить то, что, по мнению Толстого, церковному ответу не доставало содержания. Ведь что говорит Булгаков? Человек слаб, изначально греховен и в

³²³ Булгаков С.Н. «Человекобог и человекозверь. (По поводу последних произведений Л. Н. Толстого: “Дьявол” и “Отец Сергий”). СПб, 2000. С. 9.

одиночку ему не совладать со злом в себе, хотя он и должен постоянно пробовать нравственно обуздать свою греховную природу. Спасение человека – в начатом Христом божеском деле, которое продолжается Церковью. И от человека требуется вера в это и ее поддержание с помощью религиозного института. Без веры нет живой человеческой жизни, а есть ее, как говорил после прочтения «Исповеди» И.С. Тургенев, отрицание. А это, по его мнению, «тоже своего рода нигилизм».³²⁴ Но какими средствами институт поддерживает веру? В отношении его чудодейственной силы Толстой выражает сомнение.

Но почему писатель не хочет признать изначальное человеческое зло и бессилие его побороть, почему не соглашается принять позицию, когда за человека страдает Христос, а от человека требуется лишь положиться на спасительную веру и ее поддержание в той форме, в какой это предлагается церковью? Ответ видится таким. Борьбаться со злом (грехом в себе) приходится каждому человеку. Даже законченному злодею, вся «борьба» которого состоит лишь в том, что он сразу отдается во власть зла. Понимая, что люди в основном слабы и исход такого рода борьбы почти всегда будет решаться в пользу зла, христианство спасает слабых, провозглашая приятие от Христа его искупительной за всех людей жертвы и с помощью таинств утверждая ее как способ спасения. Людям остается верить в это (проповедь и таинства) и приобщаться к церкви, защищающей их, сражающейся со злом за них всех и за каждого в отдельности. Этот способ борьбы со злом не вызывает возражения у слабых людей. Толстой же верит в свою силу и от себя, равно как и от имени людей сильных, такую помощь церкви не принимает. Об этом «Исповедь».

* * *

³²⁴ *Тургенев И.С.* Полное собрание сочинений и писем. Т. 13, кн. 2. Л., 1968. С. 89.

Написанный в 1882 году и сразу же запрещенный к печати цензурой текст впервые был опубликован в Женеве в 1883 – 1884 годах, а в России только в 1906 году, хотя до этого времени он уже «ходил» во множестве копий. Я не буду останавливаться на его содержании. Это многократно проделано исследователями. Постараюсь проанализировать лишь главную заявляемую интенцию мыслителя Толстого.

Он признает факт веры как единственный способ для народа продолжать жить, не думая о смерти и, тем более, не допуская мысли об уничтожении себя, хотя и знает, что всякая жизнь всегда заканчивается смертью и потому всякая жизнь лишена смысла. Но что делать, если веры нет? И Толстой по-прежнему продолжает возлагать надежды на рациональный ответ. «Мой старый твердый ум, это – одна надежда спасения. ... Я не буду искать объяснения всего. Я знаю, что объяснение всего должно скрываться, как начало всего, в бесконечности. Но я хочу понять так, чтобы быть приведенным к неизбежно необъяснимому; я хочу, чтобы все то, что необъяснимо, было таково не потому, что требования моего ума неправильны (они правильны и вне их я ничего понять не могу), но потому, что я вижу пределы своего ума. Я хочу понять так, чтобы всякое необъяснимое положение представлялось мне как необходимость разума же, а не как обязательство поверить»³²⁵.

Что стоит за этим обдумыванием? Неуничтожимое желание во что бы то ни стало остаться на позициях разума. Именно эти позиции – то единственное, что на самом деле есть у человека, что практически проверяемо. И если нельзя представить с разумных позиций то, что лежит за пределами рационального и что обозначается как вера, то Толстой придумывает новый логический ход. Он хочет узнать нечто о том, что непознаваемо посредством получения знания, уз-

³²⁵ Толстой Л.Н. Собрание сочинений в двадцати двух томах. Т. 16. М., 1983. С. 163.

.....
нать о границах разума. Ведь спрашивая и настаивая на возможности знания о пределах разума, он тем самым подходит к его границам, за которыми располагается необъяснимое и для взаимодействия с чем служит вера. Согласимся, что хотя бы таким способом и в очень ограниченных пределах, мыслитель надеется узнать нечто о том, что рационально непостижимо.

Но возможна ли эта мыслительная уловка? К тому же, она, несомненно, есть приближение к границам, за которыми господствует церковь и, значит, есть претензия на разрушение монополии церкви на сакральное. Тем более, что в завершение трактата его автор допускает и прямые обличения: «Что в учении есть истина, это мне несомненно; но несомненно и то, что в нем есть и ложь, и я должен найти истину и ложь и отделить одно от другого».³²⁶ Этим заявлением Толстой, несомненно, ставит себя над церковью. Он не только фиксирует ее наличную власть над человеком, но и ее претензию на влияние на человека в будущем. Более того, оспаривая эту претензию, он выдвигает требование: церковь должна измениться. В связи с чем? В связи с претензиями некоего литератора-графа? Конфликт и размежевание делались неизбежными.

Завершается текст пересказом сна, в котором Толстой видит себя лежащим спиной на веревочных помочах над пропастью, но, между тем, чувствует себя вполне уверенно. «...Если лежишь на этой петле серединой тела и смотришь вверх, то даже и вопроса не может быть о падении».³²⁷ Но что это объясняет с точки зрения разума? Ведь в этом тезисе говорится лишь о вере. Здесь разума нет, как нет и желаемой Толстым границы между верой и разумом. И это, может быть, вполне приемлемый ответ для слабых людей. Но люди

³²⁶ Там же.

³²⁷ Там же. С. 165.

сильные, знающие в себе грех и борющиеся с ним, не всегда способны спастись верой, что в трактовке Толстого означает переложить ответственность за изживание своего зла на Христа. И Толстой, не удовлетворяясь верой, исследует, как поселяется (или обнаруживается) в человеке зло и как человек ищет способов его уничтожить.

* * *

Читатель так называемых проблемных повестей – «Крейцеровой сонаты», «Дьявола», «Отца Сергия» и «Смерти Ивана Ильича», заглянувший в комментарии в конце двенадцатого тома (1982 год) двадцати двух томного собрания сочинений Толстого, должен быть человеком очень снисходительным. Ему предстоит познакомиться с так называемым марксистским подходом, ритуальное обращение к которому в Советском Союзе носило характер обязательный. Комментатор в данном случае приводит слова Ленина на счет творчества Толстого. Вот они: Толстой «с огромной силой и искренностью бичевал господствующие классы, с великой наглядностью разоблачал внутреннюю ложь всех тех учреждений, при помощи которых держится современное общество: церковь, суд, милитаризм, «законный» брак, буржуазную науку».³²⁸

Не полемизируя с мировоззрением большевизма, поскольку серьезная работа с этим феноменом требует специального исследования, отмечу следующее. Думаю, нам ясно, что поднимаемые Толстым проблемы никак не могут быть сведены к малозначимой с точки зрения толстовского анализа вещи – лживости некоторых современных ему общественных институтов. Проблемы, которые рассматривает Толстой, находятся внутри каждого человека, стоит ему лишь повнимательнее в себя всмотреться. Тем более бессмысленно предполагать, что автор «Анны Карениной» пытался бороться с ними «бичеванием» и «разоблачением».

³²⁸ Ленин В.И. Полное собрание сочинений. Т. 20. С. 70.

Я посчитал нужным упомянуть о типичном образчике «исследований» творчества Л. Толстого в советский период, хотя, безусловно, наряду с работами такого рода были и несомненно серьезные, о некоторых из которых я скажу далее. Что является действительным предметом интеллектуальных поисков автора «Анны Карениной» в проблемных повестях? Слово, объединяющее все четыре произведения – любовь. Не высокая, духовная, которой за ее падение и страдание наградил Господь Наташу Ростову. Не смешанная со страстью, но, тем не менее, высокая любовь Анны Карениной, явившаяся ей, может быть, только однажды и слишком поздно – во время родов, которые чуть не стали часом ее кончины. Нет, это плотская любовь – страсть: это сжигающая похоть помещика Евгения Иртенева («Дьявол») ³²⁹, необузданное половое влечение князя Степана Касатского («Отец Сергей»), неудовлетворенное влечение, вылившееся в ревность – у чиновника Позднышева («Крейцера соната»). С этой точки зрения несколько особняком стоит «Смерть Ивана Ильича». В ней супружеская любовь как общепринятая в «хорошем обществе» привычка и семейный ритуал присутствует лишь в самом начале, а потом бесследно исчезает, что случается довольно часто, но в ситуации медленного умирания обретает особое звучание и смысл. Чем была любовь в семье Ивана Ильича? Подобием, одним из проявлений быта, рядового порядка вещей, повседневности, при котором она стала незаметным атрибутом, то есть тихо умерла. И процесс умирания Ивана Ильича совпадает с процессом его осознания, что любви нет.

³²⁹ Как отмечает Павел Басинский: «После нескольких плотских свиданий молодой человек почувствовал с ней такую неразрывную связь, что называет ее в дневнике «женой», а в будущей повести – «дьяволом». ...Связь до такой степени напугала его, что Толстой был близок к убийству или самоубийству, что и отразилось в двух вариантах финала «Дьявола». *Басинский П. Святой против Льва*. М., 2013. С. 223.

А без нее, как оказалось, приближение смерти делается особенно страшным.

Вообще надо отметить, что в изображении Толстого жизнь и смерть часто наделяются противоположными свойствами. Так, жизнь в обществе – пустая и бессмысленная, у Толстого – смерть. А смерть, одухотворенная любовью – подлинная жизнь. Так же обращу внимание на легко фиксируемый факт: в трех из четырех описанных в повестях случаев герои погибают (включая и Позднышева, который существует теперь лишь как физическое тело, в виде оболочки духа, покинувшего тело). Итогом жизни и любви человека все равно оказывается смерть. «Как к этому относиться?», – таков главный, мучающий Толстого вопрос.

В проблемных повестях главное внимание автора сосредоточено на понимании того, что есть жизнь и смерть и – самое важное – какая роль в жизни и смерти отводится любви. Начнем с рассмотрения того, что роднит героев всех четырех произведений. С теми или иными особенностями, но все они начинают свой жизненный путь с того, что понимают любовь как плотское удовольствие или пользу для здоровья. Вот, например, Евгений Иртнев. «Он жил свою молодость, как живут все молодые, здоровые, неженатые люди, то есть имел сношения с женщинами. Он не был развратник, но и не был, как он сам себе говорил, монахом. А предавался этому только настолько, насколько это было необходимо для физического здоровья и умственной свободы, как он говорил».³³⁰ Иртнев существует по привычному алгоритму своего социального слоя, в котором отношения любви столь же регламентированы, как и прочие социальные связи. В дальнейшем, женившись, он, как оказалось, не может освободиться от господствующего над ним стереотипа любви как полового удовольствия «для здоровья». Его связь с распутной кре-

³³⁰ Толстой Л.Н. Цит. соч. Т. 16. С. 213.

стьянкой не дает ему покоя и в ситуации благополучной жизни в семействе. Стереотип превращается в навязчивую манию, любовь-страсть ни на день не покидает героя и Иртенев кончает с собой. (По другой авторской версии, он убивает крестьянку, а сам спивается).

Как утверждают исследователи, изложенная в «Дьяволе» история, глубоко личностна. У Басинского читаем: «Лето 1858 года стало одним из самых тяжелых в жизни Толстого. «Я страшно постарел, устал жить в это лето», – пишет он в дневнике. Его связь с Аксиньей (прообраз Степаниды в «Дьяволе» – С.Н.) продолжалась два года и разрушила его морально гораздо сильнее всех прежних связей. Эта связь стала «исключительной» и привела к тому, что в замужней крестьянке он впервые почувствовал то, чего не находил в провинциальных и столичных барышнях, – не просто женщину, но жену. И не чужую жену, а свою».³³¹ Почему же связь с яснополянской крестьянской породила «страшного, безысходного «Дьявола», – спрашивает исследователь и отвечает: «причиной был семейный «проект» Толстого». Что же это такое?

Басинский полагает, что как гениальный художник Толстой не просто выработал программу будущей семейной жизни, но увидел (построил в сознании) этот рай во всей его конкретности. И когда в центре рая на месте ее центральной фигуры – жены – возникла крестьянка Аксинья, автор «проекта» к этому оказался не готов. Толстой, как и герой «Дьявола» Евгений Иртенев – люди программы, проекта, пишет Басинский, и он прав. Но в какой мере и на какое время Толстой таким человеком остался? Ведь программы могут быть составлены не только в отношении частного дела, женитьбы и семейной жизни, например. Они могут писаться и для переустройства общества. А кто сказал, что сочинитель программ удовлетворится их местом на книжной полке? И сколько во-

³³¹ *Басинский П.В.* Указ. соч. С. 134.

круг бродит недалеких умом, но жаждущих революционного (радикального переустроительного) дела. Сколько Рахметовых (роман Чернышевского «Что делать?») «затачивают» себя под практическое изменение действительности. Сколько Неждановых (роман Тургенева «Новь») готовы идти бунтовать народ. Похоже, сильный человек Толстой преисполнился излишней гордыней, задумав пересоздать часть Божьего мира под себя самого. За что и поплатился. Тем более, когда поверил в пронизавшую его насквозь дьявольскую силу: «Господи! Да нет никакого Бога. Есть дьявол. И это она. Он овладел мной. А я не хочу, не хочу. Дьявол, да, дьявол».

На Иртенева похож князь Степан Касатский, имеющий, однако, ту особенность, что одержим привычкой всегда достигать поставленной цели, в чем бы он ее не видел. Но когда, задумав жениться на прекрасной девушке, он обнаруживает, что она до того была любовницей императора и по этой причине поставленная цель достигнута быть не может, он резко меняет свою жизнь: из блестящего офицера делается монахом. Но, как оказалось, сугубо волевое (головное) решение к желаемому результату не приводит. И аскеза не укрощает плоти. Князь (отец Сергей) на вершине своего монашеского подвига все же грешит. От логичного, подобно Иртеневу, самоубийства его спасает лишь встреча с подругой детских игр, подвижнический пример жизни которой удерживает его от рокового шага. Он уходит от мира в спокойную хозяйственную жизнь где-то в Сибири, о чем Толстой подробно не сообщает, но очевидно, что любовь-страсть в нем, слава Богу, гаснет.

«...Но есть же между людьми то чувство, которое называется любовью и которое дается не на месяцы и годы, а на всю жизнь?», – спрашивает Позднышева («Крейцерова соната») случайная собеседница – экзальтированная дама в вагоне поезда. «Нет, нету», – отвечает он. «...Не может быть, ...так же как не может быть, что в возу гороха две замечательные

горошины легли бы рядом»³³². Потом этот седой одинокий господин с блестящими глазами сообщает автору историю своей любви-страсти, кончающуюся убийством жены на почве ревности.

Предложенные Толстым четыре опыта анализа ситуации «жизни – любви – смерти» в контексте понимания любви как полового влечения, превращающие любовь в страсть, рассмотрены всесторонне и то, что проблемные повести – тщательно выполненный опыт работы в одном направлении мысли сомнений не вызывает. Но на этот счет есть и внешние, оставленные автором приметы. Так, «Крейцерову сонату» и «Дьявола» объединяет предваряющий их один и тот же эпиграф из «Евангелия от Матфея» – в более развернутом и в более сжатом виде, начинающийся словами: «А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем...» Герои повестей – люди из одного и того же социального слоя, их отношение к плотской любви сходно и они похожим образом оказываются в ее власти, в том числе – гибнут от нее. И в данном случае для нас не важно, с чем мы имеем дело: с реальными историями, изложенными художественным образом или с авторским вымыслом. Предложенный Толстым философско-литературный эксперимент на заданную тему обладает содержательным богатством в любом случае.

Впрочем, думаю, что для склонного к размышлениям читателя истоки истории (реальность или фантазия автора) все же имеют значение. Очевидно, что по своему неожиданному богатству живая жизнь столь же отличается от сколь угодно богатой фантазии в той же мере, в какой «живая» музыка от ее воспроизведения посредством технического аппарата.

В этой связи хотел бы обратиться к рассказу Н.С. Лескова «По поводу «Крейцеровой сонаты», предполагая, что это по-

³³² Там же. С. 130.

служит иллюстрацией сопоставления двух текстов: гениально придуманного (повесть Толстого) с тем, что взято из самой жизни и затем художественно обработано (рассказ Лескова). И хотя Лесков никаких специальных введений к своему рассказу «по поводу» повести Толстого не делал, мне представляется, что самым фактом произведения он поставил вопрос о способе познании действительности.

Лесковское повествование предваряет эпитафия – слова, взятые из текста Толстого о том, что всякая девушка и женщина «нравственно выше мужчины», которые хотя и не вошли в окончательную редакцию «Крейцеровой сонаты», но не противоречат ее содержанию. Я постараюсь рассмотреть лесковский рассказ в контексте увиденного мной «несогласия» его автора с Толстым по существу его позиции о супружестве и половой страсти. Если же мое видение покажется спорным, то должен предупредить, что возможности опереться на ту или иную точку зрения по этому вопросу в литературоведении я не нахожу.

Содержательно рассказ состоит из трех частей, что работает на его главную идею. Первая – короткая – о наблюдении со стороны за похоронами Достоевского, которые сопровождались давкой среди экзальтированной публики и почти истерическими криками (речами) ораторов, обращенных к толпе. Автор, не будучи расположен сквозь толпу «продавливаться» и – шире – вообще участвовать в такого рода действии – на этом повествование о похоронах прекращает. Тем более, что нужно оно ему только для того, чтобы перейти к центральному предмету изложения. Спустя несколько часов, выбравшись из толпы, к нему на дом приходит женщина с решением (возникшим не без влияния как прижизненных установок Федора Михайловича, так и действия похорон) о том, что она должна сегодня же, вернувшись домой, открыть своему мужу факт своей супружеской измены. Вторая часть –

разговор автора с дамой. И, наконец, финальная третья – спустя несколько лет встреча на водах, где у дамы скоропостижно умирает ребенок, а она кончает с собой.

Отголосок первой части в разговоре автора с дамой звучит в ее намерении, в соответствии с «отвлеченной философией», открыться мужу, чтобы «душа очистилась страданием». «Измену принес мне сам дьявол», – говорит дама, а случилось это в деревне, хотя «говорят – в городах грязь, в деревнях чистота»³³³. «Дьявол» – порок, а «деревня», «народ», «крестьянство» – чистота. Этими именами Достоевский и Толстой обозначали порок и верное средство спасения от него.

Дама трезво и даже беспощадно оценивает собственное падение. Давая знать, что настоящая любовь – нечто редкое, она утверждает: «Любить – это все равно что быть предназначенной к поэзии, к праведности. На это чувство способны очень немногие».³³⁴ Похоже, так думают и Толстой, и Лесков. Так, хотя поступок героя «Крейцеровой сонаты» Толстой не принимает, но самого Позднышева, без сомнения, понимает и, похоже, жалеет. Что же до Лескова, то он, признавая, что любовь – своего рода поэзия, высказывает даме здравое мнение: не доводить случившееся до края. Не спешить «открыть» мужу свой грех, чтобы «очиститься страданием», а молчать, имея в виду не вызывать у него боль и страдание, «чувствовать свой проступок» и надеяться получить возможность «загладить недостоинство своих увлечений».

В третьей части – трагедии на водах – происходит нечто, что задает действительный масштаб переживаниям по поводу измены, то есть показывает их незначительность по сравнению с действительным горем. Ребенок девяти лет, единственная, как мы узнаем, любовь матери, умирает от дифтерита.

³³³ Лесков Н.С. Собрание сочинений в одиннадцати томах. Т. 9. М., 1958. С. 37.

³³⁴ Там же. С. 38.

Расторопные французские власти, заботящиеся о доходности гостиницы и репутации курортного города, равно как и опасаясь распространения инфекции, силой отняли у женщины только что умершего ребенка и «чуть-чуть не в минуту смерти утопили в известке, может быть ранее, чем у него угасли последние искры жизни. ...Эгоизм человеческий в минуту опасности становится особенно отвратительным, и в публике совсем не находилось людей, которые обнаружили бы достаточно внимания к положению несчастной матери».³³⁵ Через несколько дней мать кончает с собой, утопившись в том же болоте, в которое был погружен ящик с телом ее несчастного мальчика. Поведение ее мужа ничего, кроме презрения у рассказчика не вызывало; он «казался далеко противнее своей жены, нанесшей ему супружеское оскорбление».

С какой целью Лесков пошел на создание произведения, в чем-то спорящего (если спорящего) с Толстым, но, несомненно, своей нацеленностью масштабирующее толстовскую историю? Мне кажется, что к тому, что может быть отнесено к точкам расхождения между двумя великими литераторами, следует отнести следующее. Знакомясь с каким-либо произведением, четким образом отражающим реальность или, напротив, составленным из авторского вымысла, прежде чем делать обобщающие заключения, следует остановиться и подумать. Подумать о масштабе – пределах и степени условности того, что утверждается. Подумать о том, что могут быть такие обстоятельства, которые заставят нас отнестись к придуманной для нас, читателей, мысли как к чему-то частному, незначительному. Ведь как соотносятся эти произведения?

Обиженный сложившимися семейными отношениями и разогретый подозрениями муж (Позднышев) отнимает у жены жизнь. Грех страшный. Гибнут оба, поскольку и раздавленный грехом Позднышев теперь тоже не жилец, лишен-

³³⁵ Там же. С. 47.

ная духа оболочка, вечный мученик. Нечто подобное могло бы быть и в рассказе Лескова. Но у Лескова хуже. Избежав открытых страданий за измену, женщина теряет саму жизнь – своего ребенка, что не идет ни в какое сравнение с возможными страданиями от открывшейся измены.

Лесков как бы говорит нам: не придавайте в мыслях своих наличному страданию высшей степени. Знайте, что может найтись еще более страшное (высокое) страдание, по сравнению с которым ваше теперешнее покажется пустяком. Не спешите давать вашему страданию волю, заставить вас стать его инструментом, реализоваться полностью, не бегите навстречу несчастью. Страданий в жизни и без того много, не торопитесь с ними встречаться. Не ровен час, они сами вас найдут. Недалеко от страданий ходит смерть. Она стала логическим завершением утраченной любви и все возрастающих страданий, которые герой «Крейцеровой сонаты» как из ящика Пандоры сам выпускает наружу.

Впрочем, на это вольное, устроенное Лесковым сопоставление «по поводу» можно посмотреть и еще более широко. Если принять, что в исходном у Толстого – сочиненное, пусть и гениально сочиненное и близкое к жизни «так может быть», то у Лескова – увиденное, чего не всякий увидеть может и чем он как бы заявляет: «так есть». Но, более того, за этим явленным стоит и другое – отношение обоих к жизни. Если Лесков – это все большее ее понимание, осознанное неприятие или, напротив, непротивление в приятии, то у Толстого – нечто родственное иногда впадающему в фантазии Достоевскому. Толстой, хоть и в малой степени, все же «конструктор» жизни или претендующий на эту роль человек.

Говорить так мне дает основание, в частности, глубокое и хорошо выполненное литературоведческое и историческое исследование уже упоминаемого исследователя Павла Басинского, посвященное жизни Льва Николаевича. Вот один

пример. Жена Толстого Софья Андреевна, помимо множества материнских, супружеских, литературно-секретарских и иных дел, еще и «держала» хозяйство большой семьи. Басинский приводит ее месячный, представленный Толстому, финансовый расклад на оплату необходимых для семьи вещей, включающий тридцать две финансовые позиции на общую сумму 910 рублей. Что же Лев Николаевич? У Басинского читаем: «Не могу я, душенька, не сердись, – приписывать этим денежным расчетам какую бы то ни было важность. Все это не событие, как, например, болезнь, брак, рождение, смерть, знание приобретенное, дурной или хороший поступок, дурные или хорошие привычки людей нам дорогих и близких; а это наше устройство, которое мы устроили так и можем переустроить иначе и на 100 разных манер».

Замечательна это убежденность Толстого, – отмечает исследователь, – что жизнь большой, сложной, разновозрастной и разнохарактерной семьи можно легко переустроить «на 100 разных манер». Словно это не живые люди с их привычками и недостатками, а детали кубика Рубика»³³⁶. Вот так. Но вернемся, однако, к содержательным мировоззренческим сюжетам.

В связи с темой смерти и любви не менее явственны повесть Толстого «Смерть Ивана Ильича» и рассказ «Хозяин и работник». Последний я также концептуально отнес бы к «проблемным повестям», то есть к тем, в которых формулируются и обсуждаются основополагающие вопросы бытия.

Оба произведения строятся по одной смысловой траектории. Герои обоих – член судебной палаты Иван Ильич и купец второй гильдии Василий Андреевич – живут, как принято в их социальных группах: в делах и без любви. Оба женились, тогда и так, как это было положено, оба не любят своих жен. Правда, купец, может быть больше расположен к своему сыну. Однако определить, насколько это опреде-

³³⁶ Басинский П.В. Указ. соч. С. 394.

ляется его отцовской любовью, а насколько – приписываемым ребенку статусом «наследника», сложно. Больше они не любят никого и, наверное, это чувство у них никогда бы не дало о себе знать, если бы не чрезвычайные обстоятельства. Как помним, Иван Ильич неловко падает с высоты боком на кресло и с тех пор нечто, произошедшее с ним, начинает его медленно убивать. Купец, одержимый делом, которое, как он полагает, не терпит отлагательства, так как торгуемый лес может быть перекуплен другим, в прямом смысле слова не замечает происходящей у него на глазах опасной перемены погоды. Мороз, снег и ветер кажутся ему незначительными препятствиями в сравнении с близостью (всего несколько верст и сговорчивый продавец) желанной цели.

К обоим медленно (к одному – в течение недель и дней, к другому – в течение ночи) подкрадывается смерть. И обоих в последний момент спасает любовь. Впрочем, слово «спасает» означает у Толстого то, что озаренный любовью человек перестает относиться к смерти как к чему-то ужасному, начинает воспринимать смерть как иную жизнь. Это, как оказывается, есть то состояние, которое хотя и уводит человека из привычного жизненного пространства, но включает в иное (почти что естественное и даже благостное) состояние смерти как «тоже-жизни». Таким образом, то, что любовь – самое важное, центральное понятие христианства – есть реальная сила, для мыслителя Толстого вопрос несомненный. Как же приходит эта любовь?

В повести об Иване Ильиче этому моменту предшествует погружение больного на самое дно страданий, происходящих от осознания того, что «все то, чем ты жил и живешь, – есть ложь, обман, скрывающий от тебя жизнь и смерть...»

С этой минуты начался тот три дня не перестававший крик, который так был ужасен, что нельзя было за двумя дверями без ужаса слышать его».³³⁷

³³⁷ Толстой Л.Н. Цит. соч. Т. 12. С. 105 – 106.

И вот счастливый финал – новая жизнь: «В это самое время Иван Ильич провалился, увидел свет, и ему открылось, что жизнь его была не то, что надо, но что это можно еще поправить. Он спросил себя: что же «то», и затих, прислушиваясь. Тут он почувствовал, что руку его целует кто-то. Он открыл глаза и взглянул на сына. Ему стало жалко его. Жена подошла к нему. Он взглянул на нее. Она с открытым ртом и с неотертыми слезами на носу и щеке, с отчаянным выражением смотрела на него. Ему жалко стало ее.

«Да, я мучаю их, – подумал он. – Им жалко, но им лучше будет, когда я умру». Он хотел сказать это, но не в силах был выговорить. «Впрочем, зачем же говорить, надо сделать», – подумал он. Он указал жене взглядом на сына и сказал:

– Уведи... жалко... и тебя... – Он хотел сказать еще «прости», но сказал «пропусти», и, не в силах уже будучи поправиться, махнул рукою, зная, что поймет тот, кому надо.

И вдруг ему стало ясно, что то, что томило его и не выходило, что вдруг все выходит сразу, и с двух сторон, с десяти сторон, со всех сторон. Жалко их, надо сделать, чтобы им не больно было. Избавить их и самому избавиться от этих страданий. «Как хорошо и как просто, – подумал он. – А боль? – спросил он себя, – Ее куда? Ну-ка, где ты, боль?»

Он стал прислушиваться.

«Да, вот она. Ну что ж, пускай боль».

«А смерть? Где она?»

Он искал своего прежнего привычного страха смерти и не находил его. Где она? Какая смерть? Страху никакого не было, потому что и смерти не было.

Вместо смерти был свет.

– Так вот что! – вдруг вслух проговорил он. – Какая радость!»³³⁸ Какая всеобъемлющая сила любви. Она являет себя даже у человека, пожалуй, забывшего, что такое любовь. Сколь же радостен приход смерти к тем, кто в любви живет.

³³⁸ Там же. С. 106 – 107.

А вот приход любви-смерти к замерзающему купцу. Его последний диалог с замерзающим работником, которого он не то, что полюбил, а неизвестно отчего вдруг решил согреть.

«– Поми-ми-мираю я, вот что, – с трудом, прерывистым голосом выговорил Никита. – Зажитое малому отдай али бабе, все равно.

– А что ж, аль зязяб? – спросил Василий Андреич.

– Чую, смерть моя... прости, Христа ради... – сказал Никита плачущим голосом, все продолжая, точно обмахивая мух, махать перед лицом руками.

Василий Андреич с полминуты постоял молча и неподвижно, потом вдруг с той же решительностью, с которой он ударял по рукам при выгодной покупке, он отступил шаг назад, засучил рукава шубы и обеими руками принялся выгребать снег с Никиты и из саней. Выгребши снег, Василий Андреич поспешно распоясался, расправил шубу и, толкнув Никиту, лег на него, покрывая его не только своей шубой, но и всем своим теплым, разгоряченным телом. Заправив руками полы шубы между лубком саней и Никитой и коленками ног прихватив ее подол, Василий Андреич лежал так ничком, упершись головой в лубок передка, и теперь уже не слышал ни движения лошади, ни свиста бури, а только прислушивался к дыханию Никиты. Никита сначала долго лежал неподвижно, потом громко вздохнул и пошевелился.

– А вот то-то, а ты говоришь – помираешь. Лежи, грейся, мы вот как... – начал было Василий Андреич.

Но дальше он, к своему великому удивлению, не мог говорить, потому что слезы ему выступили на глаза и нижняя челюсть быстро запрыгала. Он перестал говорить и только глотал то, что подступало ему к горлу. «Настращался я, видно, ослаб вовсе», – подумал он на себя. Но слабость эта его не только не была ему неприятна, но доставляла ему какую-то особенную, не испытанную еще никогда радость.

«Мы вот как», – говорил он себе, испытывая какое-то особенное торжественное умиление. Довольно долго он лежал так молча, вытирая глаза о мех шубы и подбирая под колена все заворачиваемую ветром правую полу шубы.

Но ему так страстно захотелось сказать кому-нибудь про свое радостное состояние.

– Микита! – сказал он.

– Хорошо, тепло, – откликнулось ему снизу.

– Так-то, брат, пропал было я. И ты бы замерз, и я бы...

Но тут опять у него задрожали скулы, и глаза его опять наполнились слезами, и он не мог дальше говорить.

«Ну, ничего, – подумал он. – Я сам про себя знаю, что знаю».

И он замолк. Так он лежал долго.

...Он хочет встать – и не может, хочет двинуть рукой – не может, ногой – тоже не может. Хочет повернуть головой – и того не может. И он удивляется; но нисколько не огорчается этим. Он понимает, что это смерть, и нисколько не огорчается и этим. И он вспоминает, что Никита лежит под ним и что он угрелся и жив, и ему кажется, что он – Никита, а Никита – он, и что жизнь его не в нем самом, а в Никите. Он напрягает слух и слышит дыханье, даже слабый храп Никиты. «Жив, Никита, значит, жив и я», – с торжеством говорит он себе.

И он вспоминает про деньги, про лавку, дом, покупки, продажи и миллионы Мироновых; ему трудно понять, зачем этот человек, которого звали Василием Брехуновым, занимался всем тем, чем он занимался. «Что ж, ведь он не знал, в чем дело, – думает он про Василья Брехунова. – Не знал, так теперь знаю. Теперь уж без ошибки. Теперь знаю». И опять слышит он зов того, кто уже окликал его. «Иду, иду!» – радостно, умиленно говорит все существо его. И он чувствует, что он свободен и ничто уж больше не держит его.

И больше уже ничего не видел, и не слышал, и не чувствовал в этом мире Василий Андреич»³³⁹.

В обоих случаях избавительница от страха и страданий, примиряющая со смертью любовь приходит, когда человек начинает думать, заботиться, любить другого. Непременное условие возможности любви – забота-сострадание к другому. Примечательно, что в обоих случаях рядом с героями Толстого оказывается тот человек, который символизирует собой добро, восстанавливает их прежде разорванную связь с миром природы, в конечном счете – с миром Бога. Это, естественно, крестьянин: у Ивана Ильича – слуга Герасим³⁴⁰, у купца – работник Никита. И с помощью этих персонажей неудобная, враждебная, жестокая природа превращается в природу, благодетельно расположенную к герою, и, насколько это возможно – даже добрую к нему.

Во взаимодействии героев с неверно ими устроенным и потому враждебным внешним миром Толстой старается рассматривать обе стороны. Но в «Войне и мире» он лишь вскользь касается природы общества, в котором живут князь Андрей, Пьер и Наташа, а в «Анне Карениной» делает это хотя и основательно, но по необходимости локально – в связи со специфическим чувством любви-страсти героини – дамы света. С новой точки обзора Толстой видит социум в романе «Воскресение». В нем общество, наряду с эволюцией героя романа, делается главным предметом анализа и получает всесторонние определения. При этом Нехлюдов начинает интересоваться Толстого не столько через его внешние связи (как это было, например, в случае с Константином Левиным

³³⁹ Там же. С. 337 – 339

³⁴⁰ На благодетельную роль крестьянина – природного человека в восстановлении порванной природной связи, что постоянно присутствует в творчестве Толстого, справедливо указывает в своем исследовании Владимир Набоков. См.: *Набоков В.* Лекции по русской литературе. М., 1996. С. 313.

в его хозяйственных занятиях), сколько через его собственное «изменение – преображение – воскресение». И если в «Анне Карениной» Толстой посредством образа героини открыл нам содержание одного из многих человеческих путей «нисхождения – гибели», то в «Воскресении» вектор движения, представленный Катей и князем, направлен ввысь: через покаяние – к нравственному возрождению.

* * *

1 ноября 1910 года на станции Астапово Рязанско-Уральской железной дороги за шесть дней до смерти Толстой продиктовал дочери Саше: «Бог есть то неограниченное Все, чего человек сознает себя ограниченной частью. Истинно существует только Бог. Человек есть проявление Его в веществе, времени и пространстве. Чем больше проявление Бога в человеке (жизнь) соединяется с проявлениями (жизнями) других существ, тем больше он существует. Соединение этой своей жизни с жизнями других существ совершается любовью. Бог не есть любовь, но чем больше любви, чем больше человек проявляет Бога, тем больше он истинно существует»³⁴¹.

Так, начав с преимущественного рассмотрения судеб отдельных персонажей, от романа к роману, от произведения к произведению Толстой возвышается до обобщений, открывающих истины о Боге, природе, обществе, человеке. Что же до исследуемой в этом огромном толстовском мире частности – панорамы собственно русского мировоззрения – то и она делается все более содержательной и объемной, а ее перспектива – все более глубокой.

* * *

³⁴¹ См.: *Басинский П.В.* Цит. соч. С. 609 – 610.

Достоевский: мир глазами человека из «подполья»

*Ж*изнь и творения Достоевского могут служить фрагментом объяснения той катастрофы, которая разразилась в России в начале XX столетия. Остро ощущая ее приближение, мыслитель откликнулся тем, что во многих художественных типах исследовал в человеке духовно ущербное. Ему, очевидно, казалось, что выведение его наружу позволит лучше понять его и преодолеть. Персонажи становились реальной частью действительности³⁴², нарушая законы материального бытия, сходили с книжных страниц и обретали жизнь в человеческих личностях. В случае Достоевского воистину «вначале было слово». Слово изощренное, проникновенное и пронизывающее, часто слово больное. Сам писатель называл это «предвидением» и этим особенно гордился³⁴³.

³⁴² Явление это усиливалось полифоническим характером романа. В произведениях Достоевского «появляется герой, голос которого построен так, как строится голос самого автора в романе обычного типа. Слово героя о себе самом и о мире так же полномерно, как обычное авторское слово; оно не подчинено объектному образу героя как одна из его характеристик, но и не служит рупором авторского голоса. Ему принадлежит исключительная самостоятельность в структуре произведения, оно звучит как бы рядом с авторским словом и особым образом сочетается с ним и с полноценными же голосами других героев». *Бахтин М.М.* Проблемы поэтики Достоевского. М., 2002. С. 4.

³⁴³ Публикация первых глав «Преступления и наказания» совпала с убийством, совершенным московским студентом А.М. Даниловым ростовщика Попова и его служанки. Спустя несколько месяцев студент Д.В. Каракозов стрелял в Александра II, а дело «нечаевцев» об убийстве студента И.И. Иванова совпало с выходом романа «Бесы».

Об одном из изобретенных им самим и, похоже, центральном своем герое – «подпольном человеке» Ф.М. сообщал едва ли не с гордостью: «Подпольный человек есть главный человек в русском мире. Всех более писателей говорил о нем я, хотя говорили и другие, ибо не могли не заметить»³⁴⁴.

Сущность и историческое место этой «подпольной» субстанции, как свидетельствует Ф.А. Степун, точно угадал А. Бердяев, говоря, что большевизм «есть не что иное, как смесь подсознательного извращенного апокалипсиса с нигилистическим бунтарством»³⁴⁵. Думаю, значительную часть работы по актуализации этого подсознательного выполнил высоко чтимый в российской образованной среде Ф.М.

Однако отчего Достоевский полагал «подпольного» человека главным человеком в русском мире? Ведь болезнь и прямое указание на вырождение, которое обозначается разными вариациями этого персонажа, никак не обещают радостного завтра. Ответ следует начинать искать в личности самого писателя. Подобно разночинным хожденцам в народ из тургеневской «Нови», карликам и мужеподобным барышням, в том числе, Ф.М. с самого рождения также был человеком «ущемленным». Унижен и уязвлен он был скандалами, постоянно сопровождавшими жизнь его родителей³⁴⁶, агрессивной обстановкой учебного класса, состоявшего на треть из поляков

³⁴⁴ Громова Н.А. Достоевский. Документы, дневники, письма, мемуары, отзывы литературных критиков и философов. М., 2000. С. 87.

³⁴⁵ Федор Степун. Бывшее и несбывшееся. Санкт-Петербург, 2000. С. 509.

³⁴⁶ Подросток Федя, по воспоминаниям родственников, не любил младшего брата и сестру, боялся отца. Родитель, врач больницы для бедных, страдавший эпилепсией, постоянно ревновал жену, а после ее смерти вышел в отставку и уехал в купленное имение, где бесчинствовал столь изрядно, что в конце концов за прелюбодеяния был убит собственными крестьянами. Будущему писателю в это время было 18, что означает, что пик папашиных «похождений» приходился на период подросткового взросления.

и на треть из немцев. Не добавили душевного спокойствия беспорядочная жизнь в период учебы в Инженерном училище³⁴⁷ и мечты о будущем величии. Обухом по голове стал арест всего лишь за произнесенные в кругу товарищей неосторожные слова³⁴⁸. Он, кажется, навсегда был оглушен объявленным и тут же (как в насмешку) отменным смертным приговором (было ему 27 лет), ссылкой, солдатской лямкой, неудачной первой женитьбой и последовавшей тягостной семейной жизнью³⁴⁹. Его снедала разрушающая человеческое достоинство и самую личность страсть к азартной игре, неизбывная зависть к литературным «барам» Тургеневу и Толстому, в то время как он был обречен еженощно за письменным столом отбывать литературную барщину, средств от которой хватало лишь на кусок хлеба. И так всю жизнь.

Говоря о Достоевском, Мережковский прямо писал: «Самый необычайный из всех типов русской интеллигенции – человек из подполья, с губами, искривленными как будто вечною судорогой злости, с глазами, полными любви новой, еще неведомой миру... с тяжелым взором эпилептика, бывший петрашевец и каторжник, будущая противоестественная помесь реакционера с террористом, полубесноватый, полусвятой, Федор Михайлович Достоевский».³⁵⁰ Эту точку зрения разделял и Лев Шестов, полагавший, что Европа признала

³⁴⁷ Азартные игры и кутежи случались весьма часто.

³⁴⁸ В 1847 году Достоевский вошел в кружок Петрашевского, но вскоре присоединился к его более радикальному ответвлению под водительством Дурова. Здесь обсуждались идеи освобождения крестьянства, «хотя бы путем восстания». Весной 1849 года последовал арест кружковцев, Достоевского в том числе.

³⁴⁹ Жившая в Сибири француженка по происхождению Мария Дмитриевна Исаева, вдова, от первого брака имела детей, была истерична и больна туберкулезом. Вскоре после женитьбы их жизнь с Достоевским сделалась мучением.

³⁵⁰ *Мережковский Д.С.* Полн. Собр. соч. Т. XI. СПб. – М., 1914. С. 24.

Достоевского не столько как художника, сколько как апостола «подпольных» идей.³⁵¹ Вряд ли апостол может выражать нечто чуждое, инородное ему. Именно так, через познание самого себя и на основе знания о себе самом художник создает свое представление (видение) мира, строит мировоззрение.

Писателя с подобными Достоевскому взглядами на жизнь и с такой судьбой до него в отечественной словесности не было. К тому же, свойственные русскому духу апокалиптические предчувствия и пророчества, причудливо уживающиеся с трезвым взглядом на действительность, в его лице нашли действительно глубокого выразителя.

Среди всех авторов, писавших о Достоевском, может быть одним из самых глубоких мыслителей, чьи воззрения в то же время были во многом созвучны автору «Бесов», справедливо считается Н.А. Бердяев. В его фундаментальном исследовании «Мирозерцание Достоевского» философ признает за Достоевским авторство той «внутренней катастрофы», которая последовала за «спокойной и счастливой» эпохой 40-х годов. Он прямо пишет: «наше мироощущение сделалось катастрофическим. Это Достоевский нам его привил»³⁵².

Вряд ли слова Бердяева можно считать абсолютно точными. При всей силе таланта, даже такого, каким обладал Достоевский, «привить» читателю нечто, если на то не будет его воли, писатель не может. А вот обнаружить, извлечь на свет нечто темное, в самом человеке спрятанное где-то глубоко, не извлеченное на свет, не названное и потому до времени не существующее, более того – представить его чуть не главным, увериться в этом самом, убедить в этом расположенного к нему читателя и, в итоге, материализовать его, это

³⁵¹ Шестов Л. Достоевский и Ницше. Философия трагедии. М., 2001. С. 51.

³⁵² Бердяев Н. Мирозерцание Достоевского. М., 2006. С. 179.

Достоевский мог и делал. Гениальный творец, он не просто «расширил» восприятие русского мира, но, по словам Бердяева, «сменил ткань души». «Души, пережившие Достоевского, ...пронизываются апокалиптическими токами, в них совершается переход от душевной середины к окраинам души, к полюсам»³⁵³. Но от «полюсов» нельзя ждать нормальности – условия здорового развития общества и человека. А Достоевский – открыватель и создатель «полюсов», в своем творчестве границ не признавал.

Безвестный домашний учитель Алексей Иванович, герой автобиографического романа «Игрок», не просто одна из многих фигур, составляющая тот обобщающий тип русского человека, который созидает своим творчеством каждый отечественный писатель. Этот тип – концентрированное выражение многих сторон природы русского человека, о которой, при доброжелательном столкновении с ней, другой герой романа – англичанин мистер Астлей говорит: «Да, вы погубили себя. Вы имели некоторые способности, живой характер и были человек недурной; вы даже могли быть полезны вашему отечеству, которое так нуждается в людях, но – вы останетесь здесь, и ваша жизнь кончена. Я вас не виню. На мой взгляд, все русские таковы или склонны быть таковыми. Если не рулетка, так другое, подобное ей. Исключения слишком редки. Не первый вы не понимаете, что такое труд (я не о народе вашем говорю). Рулетка – это игра по преимуществу русская. До сих пор вы были честны и скорее захотели пойти в лакеи, чем воровать... но мне страшно подумать, что может быть в будущем».³⁵⁴

Бездны иррациональных человеческих начал, выявленные и сотворенные Достоевским, «опрокидывают истины

³⁵³ Там же. С. 180.

³⁵⁴ *Достоевский Ф.М.* Полное собрание сочинений в тридцати томах. Л., 1973. Т. 5. С. 317.

гуманизма. В человеке открываются новые миры. И меняется вся перспектива. ...После Достоевского нельзя уже быть идеалистами в старом смысле слова, нельзя уже быть «Шиллерами», – мы роковым образом обречены на то, чтобы быть трагическими реалистами. Этот трагический реализм характерен для духовной эпохи, которая наступает после Достоевского. Это налагает тяжкую ответственность, которую люди последующего поколения с трудом могли нести. «Проклятые вопросы» сделались слишком жизненными, слишком реальными вопросами, вопросами о жизни и смерти, о судьбе личной и судьбе общественной. Все стало слишком серьезным»³⁵⁵.

Проза Достоевского с точки зрения исследования на ее материале проблематики русского мировоззрения трудна и имеет ряд особенностей. Во-первых, изображаемые писателем герои практически лишены тех связей с миром, на которых до него всегда акцентировала внимание русская классика. Персонажи автора «Униженных и оскорбленных», живущие, за редким исключением, только в городах, не подозревают (в отличие то героев Пушкина, Гоголя, Гончарова или Толстого) о возможных глубинных связях человека с природным миром. Они, кажется, никогда не поднимают голову и потому не знают, что есть небо. Даже деревья для них закрыты заборами и домами. У них (в противоположность героям Соллогуба, Григоровича и Аксакова) нет забот о согласовании своих взглядов, привычек и способов жить с заветами и традициями предков: часто они люди почти безродные. Тем более, вслед за героями Тургенева, они не мечтают о краях, куда «кулички летят», не боятся домовых (часто – напротив, с нечистью общаются), не размышляют о смерти как жизни в ином мире и не заботятся о том, как умереть спокойно и достойно.

³⁵⁵ Бердяев Н. Цит. соч. С. 181.

Герои Достоевского почти никогда не имеют отношения к тому, что я, в частности, в связи с разбором романной прозы И.С. Тургенева, назвал «позитивное дело». Труды персонажей Ф.М., даже когда они заняты «службой» или «уроками», вряд ли можно называть созидающими. Персонажи Достоевского внутренне глубоко противоречивы, «pro» и «contra» в них постоянно конфликтуют между собой. Но даже и внутренне цельные герои (как, например, alter ego писателя – герой «Униженных и оскорбленных» Иван Петрович) – и те все время пребывают в состоянии сомнения, исканий, терзаний если не по поводу себя, то в отношении близких им людей. При этом внутренние, на грани драмы, конфликты, – только часть собственного им общего состояния постоянного «внешнего» противоборства, доходящего иногда до войны всех против всех.

Наконец, значительное место в произведениях Достоевского занимают так называемые «идеальные» (от слова «идея») художественные типы, то есть сочиненные писателем для материализации любимой мысли. И это – «четвертое» измерение, добавляемое автором к действительности, которым он хочет наделить ее. Кстати, от этих типов исходит та духовная аура, то долженствующее морализаторство, которое, наряду с миазмами из подполья, формирует читательское мировоззрение, делает его, по определению Бердяева, «катастрофическим». При этом, если у Толстого (не менее активно практикующего морализатора) мы находим только отдельные попытки идейного «преобразования» действительности посредством насаждения в нее таких идеальных типов как Платон Каратаев или Константин Левин, то у Достоевского это действие возводится в один из основных принципов творчества, делается системой.

И, наконец, последнее предварительное замечание связано с той ролью, которая отводится творчеству Ф.М. Достоевского в культуре России. Сложилось так, что когда говорят

о ней, то сразу называют имена Достоевского и Толстого. К примеру, известный российский исследователь профессор Б.В. Соколов пишет: «Федор Михайлович Достоевский – не просто один из величайших русских писателей. Это тот человек, по произведениям которого весь мир судит о России, о таинственной русской душе».³⁵⁶

Но можно ли отождествлять русскую душу и то, что в ней обнаружил или что ей приписал Достоевский? Во многом это наблюдение, к счастью, не верно. Иначе Россия вряд ли бы была жива. Не только ради перемены мнения о нас других народов, но и для нашей собственной пользы нам еще предстоит преодолеть этот искажающий реальность центризм.

Этой бытующей традиции способствует и разработанность в отечественной мысли прежде всего религиозной составляющей творчества писателя. Органически включаются в нее и всесторонне исследованные гуманитариями религиозно-нравственные искания Л.Н. Толстого, хотя и сосредоточенные не в православии, а в «народопоклонстве».

Признавая идейно-теоретическую значимость для русского мировоззрения проблематики Толстого и Достоевского, я вместе с тем, полагаю, что в отечественной философствующей литературе есть множество иных, не менее значимых вопросов и магистральных тем. Мировоззренческие системы Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Тургенева, Гончарова, Салтыкова-Щедрина и Лескова с точки зрения философии важны не менее, а иногда и более, чем размышления Достоевского или Толстого. Наполняющие их произведения смыслы и ценности как сами по себе, так и в своем развитии от одного литератора к другому создают гигантское, все еще мало исследованное мыслительное пространство. В этом смысле, интерпретируя известную политическую формулу, выскажу предположение, что пришло время подумать о расширении

³⁵⁶ Соколов Б.В. Расшифрованный Достоевский. М., 2007. С. 5.

фактически сложившегося в нашей культуре «двуполярного» понимания российского литературно-философского мира до «многополярного».

Высказав предварительные замечания о творчестве писателя, равно как и о мировоззрении, которое созидает Достоевский своими героями, перейду к анализу главного предмета его творчества – феномена «подпольности».

* * *

Наряду с романом «Игрок», повесть «Записки из подполья» также можно считать автобиографической. Но если в романе Ф.М. говорит о своей «внешней» биографии, через нее раскрывая личные переживания и мысли, то в «Записках» на первый план выходят внутренние движения сознания. Конечно, признать повесть автобиографической допустимо с той поправкой, что поступки героя нельзя считать имеющими отношение к жизни автора. Но вот то, что переживает герой, до чего додумывается, как рассуждает – автобиографично в том смысле, что извлечено из глубин собственного сознания человека по имени Достоевский и несомненно, что до него такое содержание в своем сознании никто из известных писателей в таком объеме и глубине не обнаруживал, а если и обнаруживал, то «до конца» не извлекал.

Термином «подпольный» человек Ф.М. принимает и утверждает собственное самоназвание, фиксирует свое отношение к миру, положение в нем. Без этого он никогда не сумел бы в столь детальных подробностях представить читателю сознание своих «подпольных» героев. «Только я один вывел трагизм подполья, состоящий в страдании, в самоказни, в сознании лучшего и в невозможности достичь его и, главное, в ярком убеждении этих несчастных, что и все таковы, а стало быть, не стоит и исправляться!»³⁵⁷

³⁵⁷ *Достоевский Ф.М.* Полное собрание сочинений в тридцати томах. Л., 1973. Т. 16. С. 329.

Говоря о «подполье» как глубинах сознания, а, возможно, и подсознания, я тем самым вступаю в противоречие с той имеющейся в отечественном литературоведении традицией, согласно которой герой «подполья» – «это «книжник», «мечтатель», «лишний человек», утративший связь с народом и осужденный за это автором-шестидесятником, стоящим на «почвеннических» позициях. ...Создавая «подпольного» героя, Достоевский имел ввиду показать самосознание представителей одной из разновидностей «лишних людей» в новых исторических условиях».³⁵⁸ «...Герой подполья воплощает в себе конечные результаты «оторванности от почвы», как она рисовалась Достоевскому».³⁵⁹ Более того. В литературоведении встречаются и вовсе удивительные определения, к примеру, такое: «В литературу за Онегиным и Печоринным пришел Обломов и, наконец, *имеющие ту же природу* (! – С.Н.) «подпольные» люди Достоевского».³⁶⁰

«Записки из подполья», которые вначале симптоматично и точно именовались «Исповедь», имели в литературе конкретный предмет обращения. По общему признанию историков и критиков литературы им был вышедший годом ранее роман Н.Г. Чернышевского «Что делать?»³⁶¹.

³⁵⁸ Там же. Т. 5. Примечания. С. 376.

³⁵⁹ Там же. С. 378.

³⁶⁰ *Кашина В.А.* Человек в творчестве Ф.М. Достоевского. М., 1986. С. 198.

³⁶¹ Идеино-тематическое «пересечение» Чернышевского и Достоевского в их произведениях уже имело место ранее. Вспомним о «любовных треугольниках» героев «Что делать?» – реально обсуждавшегося треугольника «Вера – Лопухин – Кирсанов» и гипотетического треугольника героев «Униженных и оскорбленных» – «Наташа – Иван Петрович – Алеша». Однако в этих предметах более всего интересно не их художественное разрешение, а позиция их творцов. А поскольку на эту коллизию обратил внимание известный литературовед В.А. Туниманов, то ему слово. «С точки зрения Чернышевского и Рахметова, такой мирный союз >

Конечно, аналогии между утопией Чернышевского и некоторыми произведениями Достоевского просматриваются не только здесь. Так, в рассказе «Крокодил», как и в «Записках», главный герой тоже размещается автором вне божьего мира. Как помним, попав внутрь крокодила, чиновник Иван Матвеевич начинает общаться с окружающей действительностью из этого органического «подполья» так же, как общаются с миром и герои Чернышевского: посредством теорий, проектов «справедливо устроенных» мастерских, просто снов. Да и по содержанию излагаемые «теории» не слишком отличны. В реформаторской программе героя рассказа – поучение «образованнейших люди столицы, дам высшего общества, иноземных посланников, юристов и прочих». Право на это чиновник имеет: «весь проникнут великими идеями, только теперь могу на досуге мечтать об улучшении судьбы всего человечества. Из крокодила выйдет теперь правда и свет. Несомненно изобрету новую собственную теорию новых экономических отношений и буду гордиться ею – чего доселе не мог за недосугом по службе и в пошлых развлечениях света. Опровергну все и буду новый Фурье.

> (Жизнь втроем. – С.Н.) был бы наилучшим разрешением проблемы, но он является вызовом лицемерному (Так у автора. – С.Н.) обществу и ветхозаветной морали, которая еще имеет власть над разумными эгоистами, сравнительно недавно распростившимися с «подвалом» и духовно еще не до конца свободными. Идеальный союз, как явствует из одного интереснейшего замысла Чернышевского, возможен лишь на необитаемом острове, а не в современном обществе. По Достоевскому, такое гармоническое общество вообще немислимо, ибо противоречит вечным законам человеческой природы; оно возможно не для эгоистического современного человека, а для существа неземного, бесполого, чуждого ревности и сладострастия». *Туниманов В.А.* Творчество Достоевского. 1854 – 1862. Л., 1980. С. 266. Чья точка зрения и связанные с нею мировоззренческие пласты ближе к действительности – конструктора «светлого будущего» или певца «подполья» – судить читателю.

... Подобно тому, как надувают геморроидальную подушку, так и я надуваю теперь собой крокодила. Он растяжим до невероятности. Даже ты, в качестве домашнего друга, мог бы поместиться со мной рядом, если б обладал великодушием, и даже с тобой еще достало бы места. Я даже думаю в крайнем случае выписать сюда Елену Ивановну.

... Я изобрету теперь целую социальную систему, и – ты не поверишь – как это легко! Стоит только уединиться куда-нибудь подальше в угол или хоть попасть в крокодила, закрыть глаза, и тотчас же изобретешь целый рай для всего человечества. Давеча, как вы ушли, я тотчас же принялся изобретать и изобрел уже три системы, теперь изготавливаю четвертую. Правда, сначала надо все опровергнуть; но из крокодила так легко опровергать; мало того, из крокодила как будто это виднее становится...»³⁶².

Как мы помним, автор теории «разумного эгоизма» был всерьез убежден в том, что разнообразные беды человечества, равно как и далекие от благодати отношения людей имеют причиной непонимание ими своей выгоды от следования принципам справедливости и добра. И говорилось это на фоне обещанного в снах Веры Павловны хрустального дворца и счастливых людей-муравьев, спаянных в едином прагматичном и целесообразном движении-действии на благо общего дома-муравейника. Точно так же герой «Крокодила» жаждет просвещения для человечества, мечтает изобрести спасительную экономическую теорию и в своей похожести на героев Н.Г.Ч. доходит до прямой аналогии с ними, в частности – в предположении жизни втроем внутри крокодилового чрева, исходя при этом из целесообразности, равно как и Лопухин, делая предложение Вере Павловне был озабочен практической стороной жизни.

³⁶² Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений в тридцати томах. Л., 1973. Т. 5. С. 194 – 197.

Далее, продолжая полемику с Чернышевским, Достоевский предлагает послушать героя «подполья», которое, очевидно, и в эпоху хрустальных дворцов не исчезнет. «О, скажите, кто это первый объявил, кто первый провозгласил, что человек потому только делает пакости, что не знает настоящих своих интересов; а что если б его просветить, открыть ему глаза на его настоящие, нормальные интересы, то человек тотчас же перестал бы делать пакости, тотчас же стал бы добрым и благородным, потому что, будучи просвещенным и понимая настоящие свои выгоды, именно увидел бы в добре собственную свою выгоду, а известно, что ни один человек не может действовать зазнамо против собственных своих выгод, следственно, так сказать, по необходимости стал бы делать добро? ... Ведь ваши выгоды – это благоденствие, богатство, свобода, покой, ну и так далее, и так далее; так что человек, который бы, например, явно и зазнамо вошел против всего этого реестра, был бы, по-вашему, ну да и, конечно, по-моему, обскурант или совсем сумасшедший, так ли? Но ведь вот что удивительно: отчего это так происходит, что все эти статистики, мудрецы и любители рода человеческого, при исчислении человеческих выгод, постоянно одну выгоду пропускают? ... Свое собственное, вольное и свободное хотенье, свой собственный, хотя бы самый дикий каприз, своя фантазия, раздраженная иногда хоть бы даже до сумасшествия, – вот это-то все и есть та самая, пропущенная, самая выгодная выгода, которая ни под какую классификацию не подходит и от которой все системы и теории постоянно разлетаются к черту. ... Человеку надо – одного только самостоятельного хотенья, чего бы эта самостоятельность ни стоила и к чему бы ни привела»³⁶³.

Затейный с Чернышевским спор Достоевский сдвигает в художественную плоскость, рисуя образ человека из «подполья» не только через его размышления, но и поступки. Во-

³⁶³ Там же. С. 110 – 113.

первых, «подпольный» человек без обиняков отклоняет нечто позитивное, что можно было бы принять на Западе. «У нас, русских, вообще говоря, никогда не было глупых надзвездных немецких и особенно французских романтиков, на которых ничего не действует, хоть земля под ними трещи, хоть погибай вся Франция на баррикадах, – они все те же, даже для приличия не изменятся, и все будут петь свои надзвездные песни, так сказать, по гроб своей жизни, потому что они дураки. У нас же, в русской земле, нет дураков; ... Напротив, свойства нашего романтика совершенно и прямо противоположны надзвездно-европейскому, и ни одна европейская мерочка сюда не подходит». Наши широкие натуры «даже при самом последнем падении никогда не теряют своего идеала; и хоть и пальцем не пошевелят для идеала-то, хоть разбойники и воры отъявленные, а все-таки до слез свой первоначальный идеал уважают и необыкновенно в душе честны. Да-с, только между нами самый отъявленный подлец может быть совершенно и даже возвышенно честен в душе, в то же время несколько не переставая быть подлецом. Повторяю, ведь сплошь да рядом из наших романтиков выходят иногда такие деловые шельмы (слово «шельмы» я употребляю любя), такое чутье действительности и знание положительного вдруг оказывают, что изумленное начальство и публика только языком на них в остолбенении пощелкивают»³⁶⁴.

Обобщающая характеристика так называемых «русских романтиков», это, пожалуй, в то же время и одна из характеристик «человека из подполья». И пусть «человек из подполья» мелок. Дело не в масштабе. Ведь неважно, что он на поприще не преуспел и в нищете живет. Важно, что он так же подло думает и так же подло поступает, как только получает к тому возможность.

³⁶⁴ Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений в тридцати томах. Л., 1973. Т. 5. С. 126 – 127.

Вот история со школьными товарищами. Не любили они его, а он их. Так нет же! Однажды, не выдержав одиночества, «подпольный» герой отправляется к одному из них и застаёт разом всю компанию, которая договаривается об устройстве прощального обеда для приятеля, отбывающего на Кавказ. Неприязненно встретили они гостя, а он, тем не менее, на их обед напросился.

Что движет героем «подполья»? Не простой вопрос. Но подход к его разрешению уже намечен в «Игроке». Там домашний учитель надеялся с помощью игры решить все проблемы сразу, махом. (Напомню его рассуждения о том, что эти же самые «моралисты» «первые (я в этом уверен) придут с дружескими шутками поздравлять меня», поскольку дело в том, что всего лишь один оборот колеса – и все изменится. «Я завтра могу из мертвых воскреснуть и вновь начать жить! Человека могу обрести в себе...»³⁶⁵)

И в «Записках» звучит та же ключевая фраза: «Мне показалось, что вдруг и так неожиданно предложить себя будет даже очень красиво, и они все будут разом побеждены и посмотрят на меня с уважением». И далее – та же схема игры: «ни на чем не основанная уверенность – разочарование – новая уверенность». Вверх – вниз – снова вверх – кубарем вниз. «Американские горки». Разумеется, «школьные товарищи» и «подпольный человек» провели вечер в том же духе взаимной неприязни, в каком шли договоренности о его организации.

Следующий пример действия героя по принципу «от размышления – к поступку» еще более показателен. Как помним, вслед за «товарищами» герой устремляется в публичный дом (« – Туда! – вскрикнул я. – Или они все на коленях, обнимая ноги мои, будут вымаливать моей дружбы, или... или я дам Зверкову пощечину!»), но не застаёт их там, а вместо этого знакомится с проституткой Лизой.

³⁶⁵ Там же. С. 311.

Разговор начинается с выпытывания Лизиного прошлого. Но очень скоро в «подпольном» человеке проснулось то же, что и прежде, что было и у «игрока» – желание возвыситься над собеседником посредством его принижения.

« – Ты не смотри на меня, что я здесь, я тебе не пример. Я, может, еще тебя хуже. Я, впрочем, пьяный сюда зашел, – поспешил я все-таки оправдать себя. – К тому ж мужчина женщине совсем не пример. Дело розное; я хоть и гажу себя и мараю, да зато ничей я не раб; был да пошел, и нет меня. Стряхнул с себя и опять не тот. А взять то, что ты с первого начала – раба. Да, раба! Ты все отдаешь, всю волю. И порвать потом эти цепи захочешь, да уж нет: все крепче и крепче будут тебя опутывать. Это уж такая цепь проклятая. Я ее знаю. Уж о другом я и не говорю, ты и не поймешь, пожалуй, а вот скажи-ка: ведь ты, наверно, уж хозяйке должна? Ну, вот видишь! – прибавил я, хотя она мне не ответила, а только молча, всем существом своим слушала; вот тебе и цепь! Уж никогда не откупишься. Так сделают. Все равно что черту душу...

...И к тому ж я... может быть, тоже такой же несчастный, почем ты знаешь, и нарочно в грязь лезу, тоже с тоски. Ведь пьют же с горя: ну, а вот я здесь – с горя»³⁶⁶.

Разговаривая с Лизой, «подпольный» человек принижает не только ее, но для более полного доверия к себе понарошку принижает и себя. Расчет точен. В этом случае его собеседник–жертва перестает чувствовать естественную для малого знакомства границу и начинает доверять «подпольному» чуть не полностью. Прощаясь, Лиза показывает любовное письмо, которое написал ей студент – единственную ценность и свидетельство ее честности. «Подпольный» приглашает ее к себе и уходит.

Какую цель преследует герой повести? Для чего это «сближение»? Действительное ли это понимание и сострадание или

³⁶⁶ Там же. С. 155.

имитация соперничества с чувствами девушки с целью отвлечь от истинного намерения и тем больше ударить? (Лиза, как помним, все-таки пришла к «подпольному»), а он и в самом деле над ней насмеялся, надругался и попытался унижить – всучить пятерку, чтоб подчеркнуть ее положение проститутки).

Для лучшего понимания феномена «подпольного» человека и поиска ответов на задаваемые ему вопросы нужно вернуться к началу произведения, где от имени «подпольного» Достоевский рассуждает о «людях с крепкими нервами», «умеющих за себя постоять», «нормальных людях» и о «людях думающих, следственно, ничего не делающих», о людях «из реторты». В «Записках» читаем: «Ведь у людей, умеющих за себя отомстить и вообще за себя постоять, – как это, например, делается? Ведь их как обхватит, положим, чувство мести, так уж ничего больше во всем их существе на это время и не останется, кроме этого чувства. Такой господин так и прет прямо к цели, как взбесившийся бык, наклонив вниз рога, и только разве стена его останавливает. ...Ну-с, такого-то вот непосредственного человека я и считаю настоящим, нормальным человеком, каким хотела его видеть сама нежная мать – природа, любезно зарождающая его на земле. Я такому человеку до крайней желчи завидую. Он глуп, я в этом с вами не спорю, но, может быть, нормальный человек и должен быть глуп, почему вы знаете? Может быть, это даже очень красиво. И я тем более убежден в злом, так сказать, подозрении, что если, например, взять антитезу нормального человека, то есть человека усиленно сознающего, вышедшего, конечно, не из лона природы, а из реторты (это уже почти мистицизм, господа, но я подозреваю и это), то этот ретортный человек до того иногда пасует перед своим антитезом, что сам себя, со всем своим усиленным сознанием, добросовестно считает за мышь, а не за человека. Пусть это и усиленно сознающая мышь, но все-таки мышь, а тут человек, а следственно..., и

проч. И, главное, он сам, сам ведь считает себя за мышь; его об этом никто не просит; а это важный пункт»³⁶⁷.

Так как же могут жить «подпольные» люди? На что надеются? Как пробуют высвободиться из состояния «подполья» и пробуют ли вообще? Ф.М. подробно пишет о них. Ведь и «игрок» – «подпольный» человек – дает свой «рецепт» выхода из «подполья» – удачная игра. А вот герой «Записок» не играет и потому его «выход» – это унижение и закабаление, другими словами – принудительное помещение другого человека в еще более низкое «подземелье», на расположенный ниже «этаж подполья», чтобы при случае и нечистоты на него сливать. Природа «подпольного» человека, таким образом, в том, что будучи порождением зла, он может существовать только в непрерывном производстве зла нового, только умножая его и – непременно! – сознавая, предвидя или даже планируя все совершаемое. Лиза, однако, не поддается. «Подполье» преодолевается любовью, а ее у нее, очевидно, с избытком. И потому ускользает она от «подпольного».

В связи с рассматриваемой темой «подпольности», Н.А. Бердяев задается принципиальным вопросом. «Был ли сам Достоевский человеком из подполья, сочувствовал ли он идейной диалектике человека из подполья? ... Мирозерцание человека («подпольного». – С.Н.) не есть положительное мирозерцание Достоевского. В своем положительном религиозном мирозерцании Достоевский изображает пагубность путей своеволия и бунта подпольного человека. Это своеволие и бунт приведет к истреблению свободы человека и к разложению личности. Но подпольный человек со своей изумительной идейной диалектикой об иррациональной человеческой свободе есть момент трагического пути человека, пути изживания свободы и испытания свободы. ... То, что отрицает подпольный человек в своей диалектике, отрицает

³⁶⁷ Там же. С. 103 – 104.

сам Достоевский в своем положительном мирозерцании. Он будет до конца отрицать рационализацию человеческого общества, будет до конца отрицать всякую попытку поставить благополучие, благоразумие и благоденствие выше свободы, будет отрицать грядущий Хрустальный Дворец, грядущую гармонию, основанную на уничтожении человеческой личности. Но он поведет человека дальнейшими путями своеобразия и бунта, чтобы открыть, что в своеобразии истребляется свобода, в бунте отрицается человек».³⁶⁸

Так о «главной фигуре русского мира» думает Бердяев. Остается, однако, вопрос: почему Ф.М. все же считал «подпольного» «главным человеком русского мира»? Отчего таковым назначается тот, кому предназначено гибнуть на заведомо пагубном пути? Ради каких «настоящих» героев этот гибельный путь столь тщательно исследуется?

От самого Достоевского на вопрос о «подпольном» напрасно ожидать ответа. Прав В. Шкловский: «противоречия действительности автором познаются, но решения этих противоречий автором не достигается».³⁶⁹ И хотя сложилась в литературоведении устойчивая традиция, согласно которой «Записки» – написаны как антитеза «Что делать?», а герой «подполья» – контр-герой по отношению к рахметовым – лопухиным, все же такое объяснение представляется узким.

«Подполье» – не столько место, сколько тип жизнепонимания широкого слоя людей, состояние их сознания, возможно, его больная подоснова. А этими структурами Ф.М. интересовался всегда – как до, так и после того как отношение к Чернышевскому и его героям как к «подъемному крану», возвышающемуся над стройкой русской литературы (образ В. Шкловского), да и русской жизни в целом, прошло. В процессе «строительства» выяснилось, что обращать внимание

³⁶⁸ Бердяев Н. Мирозерцание Достоевского. Цит. соч. С. 43 – 44.

³⁶⁹ Шкловский В. За и против. Заметки о Достоевском. М., 1957. С. 140.

нужно не только на этажность, но и на фундамент, качество строительства и подвальные помещения. И «кран» при этих работах оказавшийся не востребованным, отъехал на «запасной путь» – ждать своего часа, откуда его в свое время извлекут строители нового социалистического мира.

В продолжение темы новаторства у Достоевского, сопоставляя его творчество и творчество Льва Толстого, Мережковский замечал: «Так же, как Л. Толстой в бездну плоти, заглянул Достоевский в бездну духа, и показал, что верхняя бездна равняется нижней, что одну ступень человеческого сознания от другой, одну мысль от другой отделяет иногда точно такая же «пучина», «непостижимость», как «человеческий зародыш – от небытия». И он боролся с неменьшим, чем ужас плоти, ужасом духа – слишком яркого и острого сознания («слишком сознавать – это болезнь»), с ужасом всего отвлеченного, призрачного, фантастического и, в то же время, беспощадно-реального, действительного. Люди боялись или надеялись, что когда-нибудь разум иссушит родники сердца, что сознание убьет чувство, в особенности, религиозное чувство, что свет сознания осветит до конца, до дна все тайны Непознаваемого и Бессознательного, так что уже не останется сумрака, нужного для веры. Достоевский показал, что это ошибка, что человеческое сознание – подобно лучу самого яркого света, направленному в ночное небо: пока земные туманы и облака все еще покрывали небо, луч света ими задерживался, и людям казалось, что у неба есть дно, что свету сознания идти дальше некуда; но когда облака рассеялись, и за ними открылось темное, ясное небо, то управлявшие светом увидели, что чем ярче и длиннее луч, тем глубже мрак неба, и что у этой глубины нет дна»³⁷⁰.

* * *

³⁷⁰ Мережковский Д.С. Толстой и Достоевский. Вечные спутники. М., 1995. С. 155.

Заявленная в «Записках из подполья» тема «подпольного» человека, органично продолжается в романах – «Преступление и наказание», «Идиот», «Бесы» и «Братья Карамазовы». В этой связи моя гипотеза состоит в том, что в названных произведениях, так же как и в шеститомной романной эпопее И.С. Тургенева, в которой обсуждается тема возможности в России «позитивного дела», читатель может наблюдать разные стадии развития и формы жизненного воплощения центрального героя Достоевского – «подпольного» человека. В «Записках из подполья» герой прямо заявляет о себе как о новом, возможно, центральном с точки зрения Ф.М., лице русской жизни, однако его переход от мыслей к поступкам, «материализация» его слов в действия пока были слишком незначительны. Герой «Записок» был своего рода традиционным героем-идеологом, подобным тургеневскому Рудину. Иное, несравненно более серьезное его воздействие на мир и других людей мы увидим позже. Уже в «Преступлении и наказании», «подпольный» человек Рскольников, что называется, «берет верхнее «до», решительно материализуя темные начала своего разума, превращая замысел и болтовню в реальность.

Делая еще одно наблюдение о природе «подпольного» человека отмечу, что в нем собрано все самое низкое, что, как полагает Достоевский, присуще человеку второй половины XIX столетия. И в этом смысле этот обнаруженный в России тип всечеловечен³⁷¹. Но, с другой стороны, «подпольный» человек – это и отражение существующего очень широкого петербургского социального слоя, собирательный образ «новых» людей города семинаристов и канцеляристов, самого

³⁷¹ Думаю, что наряду с писательским талантом, может быть не менее существенной причиной признания и известности Достоевского в мировой культуре было именно это – обнаружение им чего-то универсального, что свойственно людям вообще.

«отвлеченного и умышленного»³⁷². Таков, без сомнения, студент Раскольников. Таковы многие персонажи романов, вышедших позднее. Что же объединяет «подпольных» людей и позволяет говорить о них как об особом культурном и метафизическом типе? Обратимся к тексту романа «Преступление и наказание».

С самого его начала обнаруживается, что Раскольников – духовный «родственник» героя «Игрока» семейного учителя Ивана Алексеевича. Разрушить логику неудовлетворяющей его жизни, не «постепенством» дел, а одним рывком, «показав судьбе язык», вырваться из круга жизни – его цель.

«– Ну зачем я теперь иду?», – спрашивает себя Раскольников, направляясь к дому старухи-процентщицы «сделать пробу».

«– Разве я способен на *это*? Разве *это* серьезно? Совсем не серьезно. Так, ради фантазии сам себя тешу; игрушки! Да, пожалуй что и игрушки!»³⁷³ Снова – «игрушки», «игра», «игрок»... «Подпольные» люди не только центральные герои Ф.М., но, по его убеждению, часть практически любого человека, стоит лишь ему в себе самому или с чьей-нибудь помощью поглубже покопаться. При этом какая-то «степень давления нравственных атмосфер», полагает Достоевский, с неизбежностью позволит докопаться до самого низменного.

Метафизическую природу Раскольникова с его «идеей» в романе предваряет сжато выписанная, но от этого не менее сложная фигура титулярного советника Мармеладова. В конструировании образа центрального героя она выполняет

³⁷² По оценке Мережковского, «град Петра» и в XX веке являл собой «не только «самый фантастический», но и самый прозаический из всех городов земного шара. Рядом с ужасом бреда – не меньший ужас действительности». *Мережковский Д.С.* Цит. соч. С. 136.

³⁷³ *Достоевский Ф.М.* Полное собрание сочинений в тридцати томах. Л., 1973. Т. 6. С. 6.

двойную роль. Во-первых, своими откровениями и житейскими наблюдениями помогает нам создать более глубокое представление об образе бывшего студента. И, во-вторых, знакомит нас с тем, что намерен совершить Раскольников, поскольку сам Мармеладов в известном смысле нечто похожее со своими близкими совершает каждодневно. Не в этом ли кроется и одна из причин сочувствия, которое Раскольников к пьянице испытывает?

Мармеладов своей манерой вести беседу задает один логический ход, который играет важную роль и даже выступает концептуальным основанием, на котором в дальнейшем строит свое самооправдание Раскольников. На вопрос хозяина трактира, «почему Мармеладов не служит» или, иными словами, «почему живет так, как живет», отвечает: «А разве сердце у меня не болит о том, что я пресмыкаюсь втуне?» Замечу, что и Раскольников в «обоснование» убийства старухи ставит необходимость проверки самого себя: способен ли он быть «особым» человеком? Только если Мармеладов основанием избирает чувство, то Раскольников – «идею». Очевидно, что у обоих «подпольных» персонажей, равно как и у «подпольных» людей вообще, действие, произошедшее и произведенное на основе чего-то темного и внутреннего имеет только один источник и «оправдание» в их собственных глазах – его (этого темного) желанность и естественность для них самих. При этом, эти «особые» в своей эгоистичности натуры таковы, что любые другие люди вообще во внимание не принимаются. И сравнивая Раскольникова с Мармеладовым, можно было бы заключить, что Родион Романович, пожалуй, и меньший злодей, чем Семен Захарыч: он чужих людей убил и притом сразу, а Мармеладов убивает своих жену и детей и, к тому же, многократно.

«Подпольные» весьма неохотно соглашаются принять содеянное ими над другими людьми очевидное зло на свой

собственный счет. Весь роман Раскольников страдает от того, что... «принципа не выдержал», не «оказался Наполеоном». Ни разу мы не слышим от него раскаяния в том, что он отнял чужие жизни. Да и само повествование о его так называемом раскаянии ведется Достоевским в «Эпилоге», то есть в кратком конспективном пересказе завершающей части истории³⁷⁴.

Вот и Мармеладов тот факт, что его дочь «пошла по желтому билету», найдя в этом единственное средство вместо пьяницы-отца содержать семью, преподносит это Раскольникову не напрямую, а как-то косвенно: «со смирением к сему отношусь». И его последующий, казалось бы, прямой вопрос: «ну не свинья ли я?», звучит вполне оправдательно, поскольку он тут же перескакивает на новую тему, уводящую в сторону от того факта, что он и в самом деле мерзавец, торопясь сообщить, что его жена – «дама, образованная особа и штаб-офицерская дочь».

Избегают «подпольные» прямоты в отношении себя самих. И вряд ли ошибкой будет предположить, что эта их боязнь от того, что за такого рода прямотой для них неминуемо последовал бы вопрос: зачем же свое грязное и темное на свет тащите, сообразно с ним поступаете и других в «выжженный след» превращаете?

И еще одну черту «подпольных» раскрывает Мармеладов Раскольникову. Черта эта обнаруживается в истории о том, как после его краткого возвращения на службу он снова на-

³⁷⁴ «Очень часто идеологическая нерешенность темы, сомнения писателя заставляют автора в конце или отсылать читателя к следующим романам, к следующим частям, которые он не напишет (так не написал Толстой истории Нехлюдова, хотя и обещал это сделать), иногда же давать ироническую оценку конца.

...Про эпилоги писал Теккерей, что в них писатель наносит удары, от которых никому не больно, и выдает деньги, на которые ничего нельзя купить». Шкловский В. Цит. соч. С. 176, 185.

чал пить и как ходил к Соне за деньгами на похмелье. Говорит он об этом «с каким-то напускным лукавством и выделанным нахальством» и заключает вопросом: «Жаль вам теперь меня, сударь, али нет?» Раскольников не отвечает и Мармеладов сообщает ему свою мечту о втором пришествии Христа и о неизбежном прощении его и ему подобных потому, что они сами не считают себя достойными прощения. А когда прощение все же последует, то и они, грешные, и прочие «разумные», которые теперь их осуждают, все поймут».

Что же «поймут» те, кто творит зло по отношению к ближним, и те, кто это зло претерпевает? Где же в этой мармеладовской уравнилельной апокалиптике место для раскаяния и покаяния? Не от этого ли – сознавая шулерское сокрытие ключевых вопросов – Мармеладов и держится «с каким-то напускным лукавством и выделанным нахальством»?

Вопросы эти имеют прямое отношение к теме «подпольного» человека, тем более, что как оказывается «подпольность» – признак не только деспотов и злодеев, а и в самом деле универсальная человеческая черта, становящаяся характеристикой отдельной личности при определенном с ее стороны моральном попустительстве и при определенных обстоятельствах.

Приступы, а иногда и припадки «подпольности» случаются и у таких вполне достойных людей, как, например, Разумихин. Вот он сопровождает мать и сестру Раскольникова и, будучи сильно навеселе, откровенничает в отношении Лужина – жениха Авдотьи Романовны: «...А мы все давеча поняли, как он вошел, что этот человек не нашего общества. Не потому что он вошел завитой у парикмахера, не потому что он свой ум спешил выставлять, а потому что он соглядатай и спекулянт; потому что он жид и фигляр, и это видно. Вы думаете, он умен? Нет, он дурак, дурак! Ну,

пара ли он вам? ...Петр Петрович... не на благородной дороге стоит»³⁷⁵.

Как видим, внешнее проявление «подпольности» у собственно «подпольного» и нормального человека сходно. Однако в отличие от подлинно «подпольного», у нормального человека за приступом «подпольности» неизбежно следует осознание случившегося, раскаяние, а, возможно, и покаяние, которое с большой долей вероятности исключает подобное поведение в будущем. Вот и Разумихин на следующий день нравственно страдает. «Самым ужаснейшим воспоминанием его было то, как он оказался вчера “низок и гадок”, не по тому одному, что был пьян, а потому, что ругал перед девушкой, пользуясь ее положением, из глупо-поспешной ревности, ее жениха, не зная не только их взаимных между собой отношений и обязательств, но даже и человека-то не зная порядочно. Да и какое право имел он судить о нем так поспешно и опрометчиво? И кто звал его в судьи! И разве может такое существо, как Авдотья Романовна, отдаваться недостойному человеку за деньги? ...Со всего размаху ударил он кулаком по кухонной печке, повредил себе руку и вышиб один кирпич»³⁷⁶.

При анализе вопроса об отличии страдания «подпольных» и нормальных людей есть не только художественный, но и еще один путь – обращение читателя к самому себе: сострадает ли он страдающим героям? Испытывает ли он, например, чувство сострадания к Раскольникову, который – по собственным переживаниям – всего лишь ошибся в том, что не оказался принадлежащим к кагорте «право имеющих»? Сострадает ли он Мармеладову, оставляющему от своих родных только «выжженный след»? А вслед за этим неизбежно возникнут и вопросы о сострадании самому Федору Михайловичу. Во-первых, разделяем ли мы его сострадание

³⁷⁵ Там же. С. 156.

³⁷⁶ Там же. С. 160.

«подпольным» людям³⁷⁷, если оно в самом деле имеет место, и, во-вторых, сострадаем ли самому Достоевскому, доведившему, например, свою безропотную жену Аню до отчаяния своей «слабостью» – игрой в рулетку и именно в силу своей «подпольности» оказавшемуся способным живописать нам феномен «подпольных» людей?³⁷⁸

³⁷⁷ В том числе, верим ли мы им как, например, верил Раскольников любви покойного Мармеладова к своей жене: «Раскольников подошел к Катерине Ивановне.

– Катерина Ивановна, – начал он ей, – на прошлой неделе ваш покойный муж рассказал мне всю свою жизнь и все обстоятельства... Будьте уверены, что он говорил об вас с восторженным уважением. С этого вечера, когда я узнал, как он всем вам был предан и как особенно вас, Катерина Ивановна, уважал и любил, несмотря на свою несчастную слабость...» Достоевский Ф.М. Цит. соч. С. 145.

³⁷⁸ Ужас такой жизни Анна Григорьевна переносила стоически. Достоевский писал: «Аня, милая, друг мой, жена моя, прости меня, не называй меня подлецом. Я сделал преступление, я все проиграл, что ты мне прислала, все, все, до последнего крейцера, вчера же получил и вчера проиграл!»; «Аня, милая, я хуже, чем скот! Вчера к 10 часам вечера был в чистом выигрыше 1300 фр. Сегодня – ни копейки. Все! Все проиграл!»; «Аня, милая, бесценная моя, я все проиграл, все, все! О, ангел мой... теперь... не буду более тебя обкрадывать, как скверный, гнусный вор!..»; «Милый мой ангел Нютя, я все проиграл, как приехал, в полчаса все и проиграл... Прости, Аня, я тебе жизнь отравил!..» *Достоевский Ф.М., Достоевская А.Г.* Переписка. Л., 1976. С. 21, 25, 27, 29.

Анна Григорьевна по этому поводу замечала: «Я никогда не упрекала мужа за выигрыш, никогда не ссорилась с ним по этому поводу (муж очень ценил это свойство моего характера) и без ропота отдавала ему наши последние деньги». Достоевская А.Г. Воспоминания. М., 1987. С. 184. К слову сказать, этим качеством Достоевский при необходимости умело пользовался. Так, в «разумности» своей «слабости» – игре на рулетке – он не только убедил Анну Григорьевну, но и сделал ее своей сторонницей. Вот ее признание: «Все рассуждения Федора Михайловича по поводу возможности выиграть на рулетке при его методе игры были совершенно >

Очевидно, что в тяжкие минуты своей жизни писатель совершал поступки, родственные поступкам своих «подпольных» героев. Конечно, нельзя вообразить себя судьей Федору Михайловичу. Но то, что он, как утверждал Мережковский, прямой родственник «подпольных», и обуславливает постановку вопроса об отношении не только к его героям, но и к их создателю, тем более что их и его мировоззрение в существенной степени схожи³⁷⁹.

Достоевский – глубокий писатель и в своих исследованиях «подпольного» человека он следует не только по пути прямого анализа героев такого рода. Параллельно он избирает и окольный путь – рассматривает их через призму людей нормальных, а иногда и идеальных. Так, для того, чтобы оттенить «подпольного» человека Раскольникова в «Преступлении и наказании» в качестве его антипода писатель создает образ пристава следственных дел полицейской части Порфирия Петровича. Герой этот, как и другой «положительный» персонаж Разумихин, нормален настолько, что не только умело противостоит всяческого рода «подпольности», но и выражает, кажется, единственно приемлемую и трезвую в этой ситуации точку зрения. Порфирий Петрович открыто заявляет, что по его мнению, внешние обстоятельства лишь в малой степени руководят человеком, решившимся переступить за-

> правильны, и удача могла быть полная, но при условии, если бы этот метод применял какой-нибудь хладнокровный англичанин или немец, а не такой нервный, увлекающийся и доходящий во всем до самых последних пределов человек, каким был мой муж». *Анна Достоевская*. Воспоминания. Санкт-Петербург, 2011. С. 165–166.

³⁷⁹ В. Шкловский отмечает: «У Раскольникова, как и Достоевского, не только одинаковые враги, но и похожие мечты. Раскольников имеет социальный опыт Достоевского: в его биографии есть мысли, которые Достоевский знал, как свои собственные, но не развернул, скрыл, потому что иначе они привели бы студента к другим поступкам». *Шкловский В.* Цит. соч. С. 211.

кон. Главным образом решение проистекает из мировоззрения и нравственных качеств. Конечно, Порфирий Петрович хитер, иезуитски ловок и психологически изощрен, что может побудить иного читателя к его неприятию. Но не будем забывать, что он – профессиональный следователь, который имеет дело не с примитивным убийцей, совершившим свое деяние ради простой кражи. Читая роман, чувствуешь, что не любит Федор Михайлович следователя Порфирия Петровича. Однако при этом в справедливом к нему отношении со стороны автора сомневаться нельзя. По воле Достоевского сдержал слово Порфирий Петрович – оформил Раскольникову явку с повинной, снизив, а в чем-то и вовсе скрыв свою решающую роль расследователя, не соорудил из этого случая для себя очередную ступеньку в карьере. И потому на свадьбе Разумихина и Авдотьи Романовны, сестры Раскольникова, Порфирий Петрович – свидетель со стороны жениха, значит принят среди порядочных людей.

Завершая анализ романа «Преступление и наказание», посвященного развитию темы «подпольности» – главной в творчестве Достоевского, отмечу следующее. Образ «подпольного» человека Раскольникова знаменателен в галерее героев писателя прежде всего тем, что он попытался и успешно преодолел родовой порок более ранних «подпольных» людей. От мечтаний о мести героя «Записок из подполья», от психологических пыток, изобретаемых и производимых Мармеладовым, поступок Раскольникова отличается в корне. В его образе «подпольный» человек пробует себя на роль властелина мира. Да, у Раскольникова «сорвалось», «кишка оказалась тонка», но ведь попытку он все же совершил, слово и дело соединил. И отсюда, из сырого и почти не пригодного для жизни Петербурга XIX столетия, от него, от русского студента Родиона Романовича Раскольникова протянется незримая ниточка сперва к отечественным «бомбистам», а за-

тем к большевикам и нацистам. В лице бедного питерского студента «подпольный» человек явил миру свое собственное «подпольное» дело. Дело это оказалось не менее ужасным, чем стоящее за ним внутреннее слово. Однако и оно, как увидим в дальнейшем, не исчерпало собой бездну мутной грязи и смешанной с гноем темной крови, которой наполнен «подпольный» человек.

* * *

Роман «Идиот» начинается ночной сценой в вагоне поезда, среди пассажиров которого главный герой князь Лев Николаевич Мышкин. В детстве князь сильно болел, был признан «идиотом» и отправлен на лечение в Швейцарию. Там он выздоровел и теперь возвращается в Россию. По тому, какие персонажи окружают князя на родине с первых шагов и как они себя ведут, читатель понимает, что перед ним глубоко «подпольные» люди, которые, выйдя на поверхность земли уже настолько освоились, что и ее начали превращать в «подполье». Герои эти – главные спутники дальнейших приключений князя молодой купец Парфен Рогожин, только что получающий огромное наследство умершего отца и чиновник Лебедев. Ввязавшись в разговор князя с Рогожиным, Лебедев сразу обнаруживает свой к миллионщику денежный интерес, который незамедлительно ставит для себя превыше всякого другого: «Жену, детей малых брошу, а пред тобой буду плясать. Польсти, польсти!»³⁸⁰

Но если «подпольные» люди взяты Достоевским из реальности, то князь Мышкин – вымышленный образ, созданный писателем фантом, искусственная конструкция из философских и моральных идей, в том числе и некоторых черт образа жизни Запада, где и происходило становление личности Льва Николаевича Мышкина. То, что князь – пришелец, путешественник в чужой для него России дает прекрасные возможно-

³⁸⁰ Достоевский Ф.М. Цит. соч. Т. 8. С.10.

сти для объективного показа нравов страны: Мышкина с ней ничто не связывает и он в ней ни от чего не зависит. (В дальнейшем независимое положение князя еще более усилится получением неожиданного наследства).

Князь сразу ставится Достоевским в ситуацию тесного контакта, постоянного взаимодействия с вышедшим на свет «подпольем». В контексте романа она имеет несколько прочтений. Это и столкновение Западного мира с растекшимся по России «подпольем». И противодействие христианства традиционному российскому язычеству³⁸¹. Это, наконец, подобие нового пришествия в мир Христа и его последняя битва с сатаной в образе Парфена Рогожина – антихриста, названного братом Льва Николаевича.

Вагонный знакомец князя Рогожин – образ, отвечающий многим чертам русского человека. Он купец и потому фигура, тесно связанная с традициями нашей страны. В то же время, он уже и «новый» капиталистический человек, делающий деньги в современной экономической среде. Он, наконец, необразован, а по своему духовному миру и образу жизни язычник. Лебедев – тоже широко распространенный отечественный тип: чиновник из мелких, почти социальный маргинал. Оба они – плоть от плоти России и оба, завязывая отношения с князем, представляют «подполье», столкнувшееся с неизвестно как занесенным в Россию светлым началом. Завершает эту первоначальную личностную рекогносцировку диагноз – второе имя князя – «идиот».

Об одной из героинь романа Настасье Филипповне Барашковой известно, что она еще девочкой была взята в «опеку» богачом, «членом компаний и обществ», «сластолюбцем зако-

³⁸¹ Впрочем, у России и Европы были и общие проблемы, что, в частности, основательно анализируется В.К. Кантором в монографии «Судить тварь божью». Пророческий пафос Достоевского. М., 2010. С. 76 – 77 и др.

ренелым, который в себе не властен» Афанасием Ивановичем Тоцким, решившим вырастить красавицу для собственного удовольствия. Однако, несмотря на свое презираемое обществом положение, Настасья Филипповна сумела так поставить себя, что Тоцкий начал бояться этой выросшей из ребенка женщины.

Какова стала эта женщина-содержанка, что сделало с ней «подполье» и в какой мере она сама теперь «подпольный» человек? Увидев ее портрет, князь сразу влюбляется. Но во что? В образ, в пережитое страдание? Знаменательны первые, сказанные им слова:

«– Удивительное лицо! – ответил князь, – и я уверен, что судьба ее не из обыкновенных. Лицо веселое, а она ведь ужасно страдала, а? Об этом глаза говорят, вот эти две косточки, две точки под глазами в начале щек. Это гордое лицо, ужасно гордое, и вот не знаю, добра ли она? Ах, кабы добра! Всё было бы спасено!»³⁸² И, далее, на вопрос Ганечки о том, женился ли бы на ней Рогожин, князь дает провидческий ответ: «Женился бы, а чрез неделю, пожалуй, и зарезал бы ее»³⁸³.

В трактовке романа «подпольность» – это пребывание человека в первобытном язычестве, это глухота к христианству и неприятие Христа, это неумение или нежелание проявлять милость к ближним и дальним, прощать, неумение изживать в себе грязное и низменное. Это, наконец, кураж и любование собственным низменным началом, психологическая игра со всевозможными его проявлениями и даже любование своими пороками. Все это в полной мере демонстрируют «подпольные» люди, от всего этого терпеливо и сострадательно пытается излечить их князь – христианин и «идиот».

«Подпольность» многогранна. Дикарски «подполен» увлеченный страстью к Настасье Филипповне Парфен Рогожин. Низменно «подполен» сладострастник Афанасий Иванович

³⁸² Там же. С. 31 – 32.

³⁸³ Там же.

Тоцкий. Трусливо «подполен» водящий с ним дружбу отец семейства генерал Иван Федорович Епанчин, «человек умный и ловкий», который, однако на старости лет «соблазнилися сам Настасьей Филипповной». Проективно «подполен» молодой человек Гаврила Ардалионович Иволгин (Ганечка), мечущийся между Настасьей Филипповной и младшей дочерью генерала Епанчина красавицей Аглаей. По разному «подпольна» многочисленная рогожинская бесовская «свита», постепенно, по мере разворачивания роковой «сцепки» князя и Рогожина перетекающая в его окружение с тем, что бы ежечасно, как ржавчина, разъедать его самого.

Роман может служить своего рода хрестоматией, составленной из проявлений «подпольности» – нравственных мерзостей разного рода. Так, Тоцкий, дабы быть уверенным, что в канун затеянной им выгодной женитьбы от Настасьи Филипповны не последует какой-либо неприятности, предлагает ей плату в размере семидесяти пяти тысяч «за девичий позор, в котором она не виновата», равно как и «вознаграждение за исковерканную судьбу». Здесь же, в этом сюжете, рассчитывающий на согласие Настасьи Филипповны выйти за него замуж, Ганя, тем не менее, в качестве «страховочного» варианта, пытается заручиться положительным ответом от Аглаи³⁸⁴. Вот как он сам в связи с Настасьей Филипповной объясняет свой «расчетец»:

³⁸⁴ Редкий для Достоевского случай – прямого разоблачения «подпольности» демонстрирует в силу своего характера Аглая, когда объясняет князю уловку Ганечки: «... У него душа грязная; он знает и не решается, он знает и все-таки гарантии просит. Он на веру решиться не в состоянии. Он хочет, чтоб я ему, взамен ста тысяч, на себя надежду дала. Насчет же прежнего слова, про которое он говорит в записке и которое будто бы озарило его жизнь, то он нагло лжет. Я просто раз пожалела его. Но он дерзок и бесстыден: у него тотчас же мелькнула тогда мысль о возможности надежды; я это тотчас же поняла. С тех пор он стал меня улавливать; ловит и теперь». Там же. С. 72.

«— Я, князь, не по расчету в этот мрак иду, — продолжал он, проговариваясь, как уязвленный в своем самолюбии молодой человек, — по расчету я бы ошибся наверно, потому и головой и характером еще не крепок. Я по страсти, по влечению иду, потому что у меня цель капитальная есть. Вы вот думаете, что я семьдесят пять тысяч получу и сейчас же карету куплю. Нет-с, я тогда третьегодний старый сюртук донашивать стану и все мои клубные знакомства брошу. ...Вы мне говорите, что я человек не оригинальный. Заметьте себе, милый князь, что нет ничего обиднее человеку нашего времени и племени, как сказать ему, что он не оригинален, слаб характером, без особенных талантов и человек обыкновенный. Вы меня даже хорошим подлецом не удостоили счесть, и, знаете, я вас давеча съест за это хотел! ...Нажив деньги, знайте, — я буду человек в высшей степени оригинальный. Деньги тем всего подлее и ненавистнее, что они даже таланты дают. И будут давать до скончания мира».

В связи с четким формулированием Ганечкой своей цели, отмечу, что все сколько-нибудь масштабные «подпольные» люди, начиная с Родиона Раскольникова, выбираясь из мрака на свет, утверждают (или пытаются утвердиться) на поверхности посредством именно цели и, как они полагают, «капитальной». Для Ганечки эта цель, диктуемая «страстью и влечением», деньги. «На все» готов и Лебедев³⁸⁵. А Рогожин ради удовлетворения своей страсти даже способен на убийство.

В сцену первого столкновения «подпольности» и христианства купец включается со своим откровенным и примитивным желанием тут же, не сходя с места, «покорить щедростью» — купить любовь Настасьи Филипповны.

³⁸⁵ При этом «подпольный» Лебедев убежден, что «рожден Талейраном и неизвестно каким образом остался лишь Лебедевым». Там же. С. 487.

«— ...Ну!.. Настасья Филипповна! Они говорят, что вы помолвились с Ганькой! С ним-то? Да разве это можно? (Я им всем говорю!). Да я его всего за сто рублей куплю, дам ему тысячу, ну, три, чтоб отступился, так он накануне свадьбы бежит, а невесту всю мне оставит. Ведь так, Ганька, подлец! Ведь уж взял бы три тысячи! Вот они, вот! С тем и ехал, чтобы с тебя подписку такую взять; сказал: куплю – и куплю!

...Настасья Филипповна, взглядевшись в опрокинутое лицо Рогожина, вдруг засмеялась.

– Восемнадцать тысяч, мне? Вот сейчас мужик и скажется! – прибавила она вдруг с наглою фамильярностью и встала с дивана, как бы собираясь ехать. Ганя с замиранием сердца наблюдал всю сцену.

– Так сорок же тысяч, сорок, а не восемнадцать! – закричал Рогожин, – Ванька Птицын и Бискуп к семи часам обещались сорок тысяч представить. Сорок тысяч! Все на стол.

Сцена выходила чрезвычайно безобразная, но Настасья Филипповна продолжала смеяться и не уходила, точно и в самом деле с намерением протягивала ее...

– А коли так – сто! Сегодня же сто тысяч представлю! Птицын, выручай, руки нагреешь!»³⁸⁶

«Подпольные», как правило, откровенны и даже низость свою скрывают иногда всего лишь понарошку, потому как она – низость – и есть их главное отличие от прочих людей, их «оригинальность», без которой они просто были бы серой массой.

Впрочем, Лебедев и Ганечка – не самые крупные фигуры из «подпольных». Подлинный исполин и теоретик «подпольности» – медленно умирающий от чахотки молодой человек Ипполит Терентьев. Оценка его собственной общественной значимости и способностей такова:

« – ...хотел вас спросить, господин Терентьев, правду ли я слышал, что вы того мнения, что стоит вам только четверть

³⁸⁶ Там же. С. 97 – 98.

часа в окошко с народом поговорить, и он тотчас же с вами во всем согласится и тотчас же за вами пойдет?

– Очень может быть, что говорил... – ответил Ипполит, как бы что-то припоминая. – Непременно говорил!»³⁸⁷ И еще: «...Я хотел быть деятелем, я имел право... О, как я много хотел! Я ничего теперь не хочу, ничего не хочу хотеть, я дал себе такое слово, чтоб уже ничего не хотеть; пусть, пусть без меня ищут истины! Да, природа насмешлива! Зачем она, – подхватил он вдруг с жаром, – зачем она создает самые лучшие существа с тем, чтобы потом насмеяться над ними? Сделала же она так, что единственное существо, которое признали на земле совершенством... сделала же она так, что, показав его людям, ему же и предназначила сказать то, из-за чего пролилось столько крови, что если б пролилась она вся разом, то люди бы захлебнулись, наверно! О, хорошо, что я умираю! Я бы тоже, пожалуй, сказал какую-нибудь ужасную ложь, природа бы так подвела!...»³⁸⁸

«Подпольный» не может не сознавать спрятанные в действительности (реальности) великие силы, которым он не может противостоять со своими претензиями на истину и величие. Эта реальность беспощадно смеется над ним. И Ипполит не может ей этого простить.

Так же он не может престать ненавидеть своего злейшего врага князя. Происходит это потому, что князь не заблуждается относительно «подпольного» ни в чем – видит его мерзость, но, что наиболее нестерпимо для «подпольных», прощает. Именно прощение, невозможное без адекватного понимания и возвышения прощающего над прощаемым, а, значит, и лишение «подпольных» «оригинальности», которой они страстно вожделеют – самый тяжкий удар по их самолюбию и мечтам о господстве над людьми и миром. Этого

³⁸⁷ Там же. С. 244 – 245.

³⁸⁸ Там же. С. 247.

– их низведения до ранга обыкновенных ничтожеств «подпольные» перенести не в силах. Это, вслед за Ганечкой, формирует и Ипполит:

«...Вдруг Ипполит поднялся, ужасно бледный и с видом страшного, доходившего до отчаяния стыда на искаженном своем лице...

– Ну, вот этого я и боялся! – воскликнул князь. – Так и должно было быть!

Ипполит быстро обернулся к нему с самою бешеною злобой, и каждая черточка на лице его, казалось, трепетала и говорила.

– А, вы этого и боялись! “Так и должно было быть”, по-вашему? Так знайте же, что если я кого-нибудь здесь ненавижу, – завопил он с хрипом, с визгом, с брызгами изо рта (я вас всех, всех ненавижу!), – но вас, вас, иезуитская, паточная душонка, идиот, миллионер-благотетель, вас более всех и всего на свете! Я вас давно понял и ненавидел, когда еще слышал о вас, я вас ненавидел всю ненавистью души... Это вы теперь всё подвели! Это вы меня довели до припадка! Вы умирающего довели до стыда, вы, вы, вы виноваты в подлом моем малодушии! Я убил бы вас, если б остался жить! Не надо мне ваших благодеяний, ни от кого не приму, слышите, ни от кого, ничего! Я в бреде был, и вы не смеете торжествовать!.. Проклинаю всех вас раз навсегда!»³⁸⁹

Отчего «подпольные» ищут «оригинальности»? Они скупаемы жаждой отличиться «чем бог послал», хотя бы и низостью – лишь одна часть объяснения. Другая же – в их органическом стремлении не быть похожими, в том числе и на людей «практических», то есть имеющих положение и состояние. Чахоточный Ипполит, уже фактом своей болезни поставленный в исключительно удобное для откровенности положение (он знает, что скоро умрет, знает, что к нему испытывают сострадание и многое за его положение прощают),

³⁸⁹ Там же. С. 249.

в письменном пересказе одного из своих снов дает зримое представление, которое может служить образом «подпольности». Это сон о фантастической гадине. «...Я видел один хорошенький сон (впрочем, из тех, которые мне теперь снятся сотнями). Я заснул ...и видел, что я в одной комнате (но не в моей). Комната больше и выше моей, лучше меблирована, светлая; ...Но в этой комнате я заметил одно ужасное животное, какое-то чудовище. Оно было вроде скорпиона, но не скорпион, а гаже и гораздо ужаснее, и, кажется, именно тем, что таких животных в природе нет, и что оно *нарочно* у меня явилось, и что в этом самом заключается будто бы какая-то тайна. Я его очень хорошо разглядел: оно коричневое и скорлупчатое, пресмыкающийся гад длиной вершка в четыре, у головы толщиной в два пальца, к хвосту постепенно тоньше, так что самый кончик хвоста толщиной не больше десятой доли вершка. На вершок от головы из туловища выходят, под углом в сорок пять градусов, две лапы, по одной с каждой стороны, вершка по два длиной, так что всё животное представляется, если смотреть сверху, в виде трезубца. Головы я не рассмотрел, но видел два усика, не длинные, в виде двух крепких игл, тоже коричневые. Такие же два усика на конце хвоста и на конце каждой из лап, всего, стало быть, восемь усиков. Животное бегало по комнате очень быстро, упираясь лапами и хвостом, и когда бежало, то и туловище и лапы извивались как змейки, с необыкновенною быстротой, несмотря на скорлупу, и на это было очень гадко смотреть. ... Вдруг я услышал сзади меня, почти у головы моей, какой-то трескучий шелест; я обернулся и увидел, что гад вползает по стене и уже наравне с моею головой и касается даже моих волос хвостом, который вертелся и извивался с необыкновенною быстротой. Я вскочил, исчезло и животное. На кровать я боялся лечь, чтобы оно не заползло под подушку. В комнату пришли моя мать и какой-то ее знакомый. Они стали ловить

гадину, но были спокойнее, чем я, и даже не боялись. Но они ничего не понимали. Вдруг гад выполз опять; он полз в этот раз очень тихо и как будто с каким-то особым намерением, медленно извиваясь, что было еще отвратительнее, опять наискось комнаты, к дверям. Тут моя мать отворила дверь и кликнула Норму, нашу собаку, – огромный тернёф, черный и лохматый; умерла пять лет тому назад. Она бросилась в комнату и стала над гадиной как вкопанная. Остановился и гад, но всё еще извиваясь и пощелкивая по полу концами лап и хвоста. Животные не могут чувствовать мистического испуга, если не ошибаюсь; но в эту минуту мне показалось, что в испуге Нормы было что-то как будто очень необыкновенное, как будто тоже почти мистическое, и что она, стало быть, тоже предчувствует, как и я, что в звере заключается что-то роковое и какая-то тайна. Она медленно отодвигалась назад перед гадом, тихо и осторожно ползшим на нее; он, кажется, хотел вдруг на нее броситься и ужалить. Но, несмотря на весь испуг, Норма смотрела ужасно злобно, хоть и дрожала всеми членами. Вдруг она медленно оскалила свои страшные зубы, открыла всю свою огромную красную пасть, припоровилась, изловчилась, решила и вдруг схватила гада зубами. Должно быть, гад сильно рванулся, чтобы выскользнуть, так что Норма еще раз поймала его, уже на лету, и два раза всею пастью вобрала его в себя, всё на лету, точно глотая. Скорлупа затрещала на ее зубах; хвостик животного и лапы, выходявшие из пасти, шевелились с ужасною быстротой. Вдруг Норма жалобно взвизгнула: гадина успела-таки ужалить ей язык. С визгом и воем она раскрыла от боли рот, и я увидел, что разгрызенная гадина еще шевелилась у нее поперек рта, выпуская из своего полураздавленного туловища на ее язык множество белого сока, похожего на сок раздавленного черного таракана... Тут я проснулся...»³⁹⁰.

³⁹⁰ Там же. С. 323 – 324.

Сознавая, что в нем есть много грязного, но, тем не менее, не желая признавать это, Ипполит в своем представленном публике письменном рассказе исключает для себя возможность самоочищения. Забегая несколько вперед, отмечу, что по Достоевскому, поступая так, Ипполит, тем самым отвергает единственно верный христианский путь – всеобщее признание каждым собственной вины перед другими, взаимное покаяние и прощение всех всеми. В «Дневнике писателя» за 1877 год о сцене прощения Карениным Вронского у постели умирающей Анны Ф.М. писал: «Вместо тупых светских понятий явилось лишь человеколюбие. Все простили и оправдали друг друга. Сословность и исключительность вдруг исчезли и стали немыслимы, и эти люди из бумажки стали похожи на настоящих людей! Виноватых не оказалось: все обвинили себя безусловно и тем тотчас же себя оправдали»³⁹¹. В рассказе же у Ипполита – в насмешку над этим христианским идеалом написано: я «...мечтал, что все они вдруг растопырят руки, и примут меня в свои объятия, и попросят у меня в чем-то прощения, а я у них; одним словом, я кончил как бездарный дурак»³⁹².

Чтобы не выглядеть «дураком», Ипполит пытается публично застрелиться. Роман не дает однозначного ответа на вопрос, действительно ли Ипполит забыл положить капсулю или только имитировал попытку самоубийства. Это, однако, не важно, поскольку несостоявшимся поступком Ипполит еще раз подтверждает одну из характерных черт «подпольных» вообще – их способность в чем-то мелком соединять «слово» и «дело», но в крупном – неготовность идти до конца. Естественное подтверждение этого качества обнаружи-

³⁹¹ Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений в тридцати томах. Т. 25. С. 52.

³⁹² Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений в тридцати томах. Т. 8. С. 325.

вает, как помним, и Раскольников, не сумевший в убийстве «до конца» сделать все «как надо», то есть и дверь запереть, и деньги, а не безделушки из комода взять, и не раскаяться. Трагедия Раскольникова – та же, что и Ипполита, не сумевшего застрелиться взаправду. Это трагедия мелкого беса, страдающего, что не выдержал экзамена, не дорос до ранга беса крупного.

Боязнь ординарности, быть «серым», таким как все – это чувство, похоже, преследует всех «подпольных». Вот и Ипполит высказывает об этом Гане, совершенно сознавая, что и сам такой же «серый», и ненавидя Ганю за то, что он этим своим качеством ему, Ипполиту, постоянно напоминает. «Ненавижу я вас, Гаврила Ардалионович, единственно за то, – вам это, может быть, покажется удивительным, – *единственно за то*, что вы тип и воплощение, олицетворение и верх самой наглой, самой самодовольной, самой пошлой и гадкой ординарности! Вы ординарность напыщенная, ординарность несомневающаяся и олимпийски успокоенная; вы рутина из рутин!»³⁹³.

Пожалуй, одно из самых любимых дел «подпольных» – выискивание черт «подпольности» у других, нормальных людей, может быть только чуть-чуть имеющих в себе черты «подпольности», и способствование их развитию в полноценных «подпольных» людей. Иными словами – низведение сколько-нибудь оскользнувшегося человека на самое глубокое место в грязной луже, чтобы получше грязью замарать. В этом ключе – попытки Ипполита свести, «соединить» Аглаю с Настасьей Филипповной. В этом – «игра» Лебедева с генералом Иволгиным, укравшим у него бумажник, а затем, устыдившегося своего поступка и подбросившего его хозяи-

³⁹³ Там же. С. 399.

ну³⁹⁴. По этому поводу знаменателен ответ Лебедева князю: «... Впрочем, завтра намерен бумажник найти, а до завтра еще с ним вечерок погуляю.

– За что вы так его мучаете? – вскричал князь.

– Не мучаю, князь, не мучаю, – с жаром подхватил Лебедев, – я искренно его люблю-с и... уважаю-с; а теперь, вот верьте не верьте, он еще дороже мне стал-с; еще более стал ценить-с!

Лебедев проговорил всё это до того серьезно и искренно, что князь пришел даже в негодование.

– Любите, а так мучаете! Помилуйте, да уж тем одним, что он так на вид положил вам пропажу, под стул да в сюртук, уж этим одним он вам прямо показывает, что не хочет с вами хитрить, а простодушно у вас прощения просит. Слышите: прощения просит! Он на деликатность чувств ваших, стало быть, надеется; стало быть, верит в дружбу вашу к нему. А вы до такого унижения доводите такого... честнейшего человека!

– Честнейшего, князь, честнейшего! – подхватил Лебедев, сверкая глазами, – и именно только вы одни, благороднейший князь, в состоянии были такое справедливое слово сказать!»³⁹⁵

В этом разговоре явно слышатся голоса христианского бога, взывающего к милости, и сатаны, поймавшего согрешившую христианскую душу и не желающего ее отпускать. Покаянию и прощению сатана противопоставляет издевку и нравственную пытку, в его словах слышна радость по поводу низвержения еще одного человека в бездну «подпольности»:

³⁹⁴ Вспомним, что генерал сперва кладет бумажник под стул, на котором висел сюртук, будто бумажник просто выпал из кармана, а затем, когда Лебедев сделал вид, что бумажника «не видит», засовывает его под подкладку лебедевского сюртука, предварительно ножичком прорезав карман, чего Лебедев так же «не замечает» и даже выставляет «незамеченную» полу сюртука генералу на обозрение.

³⁹⁵ Там же. С. 408 – 409.

«вот верьте не верьте, он еще дороже мне стал-с; еще более стал ценить-с!»

* * *

Термин «подпольность», придуманный Достоевским для обозначения низменных структур сознания и подсознания человека, равно как и для обозначения особой духовной структуры некоторых людей точен и образен. Это характеристика тех людей, внутренний мир которых в существенной степени состоит из грязного и низменного. И живут они если и не собственно в «подполье», то в подвале или на таком, как Раскольников, чердаке, какому и иной житель подвала ужаснется.

«Подпольные» люди серые. У них серые от недостатка солнца лица и серые, хотя, порой, и изощренные, мысли в голове от недостатка «оригинальности». Их «подполье» – не сам ад, но его земное преддверие. Оно – грязная прихожая ремонтируемой квартиры, в которой прятался Раскольников после убийства. Оно – та ниша под лестницей, в которой притаился Рогожин, подстерегающий с ножом князя. Оно, наконец, – сам рогожинский дом с наглухо задернутыми тяжелыми шторами окнами и его спальня, в которой на кровати лежит труп Настасьи Филипповны.

Вторично явившийся на землю князь – Христос сходит с ума от вида бесконечных битв между собой его любимых чад, зараженных «подпольностью». На превращенной в «подполье» земле сатана одерживает легкую победу, даже не вводя в действие основных сил. Ему не нужны новые талейраны и наполеоны. Довольно и того, что начали действовать, сводить воедино «слово» и «дело» заурядные, вышедшие из «подполья» люди, вдыхающие и выдыхающие из себя зловонный воздух³⁹⁶.

³⁹⁶ В исследовании «Введение в философию права» В.В. Библихин, разбирая сюжеты, похожие на представленные Достоевским, замечает, что в России, кажется, сам воздух разносит болезни крепостничества, угнетения и бесправия.

Завершая разговор о мировоззрении Ф.М. Достоевского и его центральной фигуре «подпольном» человеке, приведу емкие слова В. Шкловского, написанные по поводу Ф.М. и в связи с его похоронами: «Все концы, которых при жизни не мог свести Достоевский, были спрятаны в могилу, засыпаны цветами и глиной и прикрыты гранитным памятником.

Так умер Достоевский, ничего не решив, избегая развязок и не примиряясь со стеной. Он видел угнетенного человека, извращенные страсти, предчувствовал приближение конца старого мира и мечтал о золотом веке и сбился в мечте»³⁹⁷.

* * *

³⁹⁷ Шкловский В. Цит. соч. С. 258.

Достоевский: «подпольность» и мессианский национализм

«Подпольный» человек, находясь среди меньшинства, создает свою философию, которая, как полагал писатель, берет начало в либерализме. Но «подпольный» человек живет и в народе. Гигантское народное «подполье» своей массой не шло в сравнение с «подпольем» интеллигентским. Конечно, оба были органически связаны, взаимно дополняли друг друга. Но то, что Достоевский в определении главного «подполья» ошибся, боролся с малым, а большое, напротив, защищал, сыграло с Россией дурную шутку.

* * *

Вся жизнь «подпольных» людей, представленная нам в художественных произведениях Ф.М. Достоевского, заключается в том, что они постоянно что-то со своим грязным нутром делают, все время в его грязи копошатся: то с интересом рассматривают, изучают и беседуют о нем с другими, то как мокрое белье навешивают грязь на нити своих отношений с другими, то пытаются рассуждать, как от грязи избавиться, очиститься. Последнее, конечно, понарошку, из любви к парадоксам. Но в любом варианте, копать в грязи – их главное занятие. По этой причине романы Достоевского лишены отношений человека с природой (что вызывает продуктивный интерес, например, Тургенева, Толстого или Гончарова) и писателю не интересен человек в его позитивном деле, в сколько-нибудь конструктивном устремлении к светлomu. Человек занимает Достоевского не в его измерении «от земли – к небу», свету, раю, но в противоположной направленности

– в координатах «от земли – в ее глубины», в устремлении к аду, во тьму.

Такая направленность исследований Достоевского не осталась незамеченной в истории русской философии. «Человеческое существо, как его рисует Достоевский, – отмечал С.Л. Франк, – есть прямая противоположность и “разумному человеку” просветительства, и “прекрасной душе” романтизма. По Достоевскому, зло, слепота, хаотичность, дисгармония не только вообще присущи человеку, но в каком-то смысле связаны с его последним, глубинным существом. (Выделено мной. – С.Н.). Именно там, где человек в своих слепых и разрушительных страстях восстает против требований разума, против всех правил приличия и общепризнанной морали – именно там прорывается наружу, сквозь тонкую оболочку общепризнанной эмпирической реальности, подлинная онтологическая реальность человеческого духа»³⁹⁸.

Пробиваясь внутрь человека через множество слоев грязи, и, кажется, добираясь до самого дна, Достоевский надеется там найти Христа. Но там его нет. Нет у Раскольникова, Свидригайлова, Рогожина, Гани Иволгина, Ипполита, Лебедева, нет почти у всех героев «Бесов», «Подростка», «Братьев Карамазовых»³⁹⁹. Более того: те избранные из «подпольных»,

кто вместе с лотом автора мысленно опускается до «последних
³⁹⁸ Франк С.Л. Достоевский и кризис гуманизма. К 50-летию дня смерти Достоевского. См.: О Достоевском. Творчество Достоевского в русской мысли 1881-1931 годов. М., 1990. С. 392

³⁹⁹ Конечно, это не означает, что Христа у Достоевского нет вовсе. Но он либо снаружи и воспринимается как лишний («идиот») или как тот, кого на земле уже не ждут (в «Легенде о Великом инквизиторе»), либо в детских душах (мальчики в беседах с Алешей Карамазовым). Однако чем завершается пришествие? Мышкин сходит с ума. Инквизитор отстраняет Христа от паствы. Да и в случае с мальчиками явление Христа нельзя признать вполне состоявшимся: мальчики вырастут и многие ли из выживших станут Алешами или Мышкиными? К тому же, Илюша умирает.

глубин» собственного нутра и не обнаруживает там ничего, кроме все той же грязи (Свидригайлов, Рогожин, Ипполит, Кириллов), результата этого опыта не выносят и из жизни уходят.

Правда, иногда сияние христовой истины доходит и до них. Но это случается либо косвенно (как до Раскольникова в каторге через Соню), либо через «исключительных» – сконструированных автором героев – больного князя Мышкина или юродивую Лебядкину. Но во всех случаях лучи скользят мимо, не меняя (не заменяя) грязной сути тех, кому они были адресованы. Диагноз Достоевского таков: «подпольный» человек до краев заполнен грязью. Об этом – в «Записках из подполья», в «Преступлении и наказании», в «Идиоте». Что добавляют к этому романы «Бесы», «Подросток», «Братья Карамазовы»? Более того: насколько сам Достоевский раб «подпольности»?

* * *

Анализ феномена «подпольности» на материале романной прозы писателя создал у меня четкое представление: феномен довольно широк. Что же включает в себя эта широта?

Термин «подпольность» в трактовке Достоевского противостоит одному из наиболее глубоких философских понятий – культуре. Этим термином обозначается человеческое совершенствование, усложнение, преодоление негативного, это все, что связано с истиной, добром, красотой, нравственностью, с созидающим прогрессом. Однако напрашивающиеся антитезы перечисленного – примитивизация, упрощение, подчинение негативному, ложь, зло, безобразие, аморализм еще не означают «подпольности». Не всякое нисхождение, регресс – соскальзывание в варварство есть «подпольность».

«Подпольность», как она представлена у Достоевского, это, прежде всего рациональное знание о возможности движения общества как в сторону культуры, так и в сторону дикости. Это, далее, сознательная игра «подпольного» индиви-

да в свое знание этих возможностей и даже демонстративные первые шажки то в одном, то в другом направлении. И, наконец, это реальное движение в сторону дикости, сопровождаемое постоянной по ходу дела рефлексией над каждым элементом движения, исполняемого в вызывающе-скандальном виде, демонстративный отказ от реализации возможности своего участия в культурном созидании. Более того – высмеивание и низведение этой возможности до ее полного уничтожения. Например, как у Лебедева в казусе с бумажником, похищенном и затем возвращенным генералом Иволгиным (роман «Идиот»). Лебедев знает, что нужно сделать и может сделать милосердный поступок, простить грех ближнего, но не делает. В этом действии – не только наслаждение видом чужого мучения. В нем и опыт над собой: насколько глубока во мне моя собственная грязь? Есть или нет на дне моей души Христово милосердие? Если есть оно, а я все равно ему не следую, то как я силен в своем противлении Христу или как я бесстрашен перед ним! А если нет его, так и не горевать же! «Подпольность», таким образом, это целенаправленное и последовательное разрушение возможности или реально состоявшейся культуры и культурности в человеке и мире, издевательство над ее (культуры) защитниками, смех над развалинами, над каждой жертвой этой сатанинской процедуры-игры.

Эту же «подпольность» демонстрирует нам Ламберт – молодой мучитель Долгорукого в пансионе («Подросток»); и Федор Павлович – в истории с Лизаветой Смердящей, в разговорах с Алешей и у старца Зосимы («Братья Карамазовы»); она же и в исповеди Мармеладова – Раскольникову («Преступление и наказание»); и у Ивана Карамазова, Родиона Раскольникова, Аркадия Ивановича Свидригайлова, Николая Ставрогина и Петра Верховенского. Во всех случаях «подпольность» является из разных источников, с разным целями, но ее содержание и механизм реализации схожи.

«Подпольность» может быть разделена на два вида. «Подпольность» фигуры титулярного советника Мармеладова, чья дочь Соня «пошла по желтому билету» или «подпольность» Ламберта, Мармеладова, Смердякова, Федора Павловича и Дмитрия Карамазовых – это «подпольность» обыденная, повседневная, бытовая. Она не требует идейной основы, рефлексии, обсуждения и планирования.

Но есть и «подпольность» философическая, идейная, сущностная, которую являют, например, Свидригайлов или Иван Карамазов. Она растет на идеях и даже концепциях, которые герои долго и тщательно изобретают и обсуждают. Своего предельного развития эта «подпольность» достигает, конечно, в рассуждениях и делах Николая Ставрогина и Петруши Верховенского. Это «подпольность» высшего разряда, так как «мечтаньям о будущности» сопутствует логический анализ, соответствующая «технология» и организация и остается, кажется, всего один шаг до того, чтобы идея стала материальной силой. Что же думает по поводу этих видов «подпольности» сам автор, как к их изучению подходит?

Отмечаемая всеми исследователями заслуга Достоевского – его философский психологизм⁴⁰⁰. Он исследует психологию (реализм) «подполья», в чем ему нет равных. Очевидно, опускаясь все глубже, он – к своему разочарованию (ужасу), кроме грязи, не встречает материи иного рода. И хотя все это справедливо в отношении именно «подпольных» людей, но

⁴⁰⁰ Сам Достоевский в записной книжке по этому поводу замечал: “Меня зовут психологом: неправда, я лишь реалист в высшем смысле, т.е. изображаю все глубины души человеческой”. *Достоевский Ф.М.* Полное собрание сочинений. Т. XXVII. Л., 1984. С. 65. Как понимаем, самоназвание – вещь важная. Но не менее значима и квалификация, даваемая людьми понимающими и близкими. О Достоевском первый его биограф Н.Н. Страхов, к примеру, сказал, что Ф.М. «был чем-то вроде соединения Федора Павловича Карамазова со Свидригайловым».

это все равно страшно: ведь среди русских их, по свидетельству самого Достоевского, «большинство»! И вот тут-то для автора и читателя возникают важные вопросы: «Кто эти русские?», «Откуда они берутся, кто за их происхождение ответственен?» и, наконец, «Что с ними делать?»

Тему «подпольности» как идеологии Достоевский приоткрывает, например, в письме к поэту А.Н. Майкову. Как и в свидетельстве евангелиста Луки о том, что по велению Иисуса бесы вышли из человека и вошли в стадо свиней, которое бросилось с обрыва и утонуло, «точь-в-точь случилось так и у нас. Бесы вышли из русского человека и вошли в стадо свиней, то есть в Нечаевых, в Серно-Соловьевичей и проч. Те потонули или потонут наверно, а исцелившийся человек, из которого вышли бесы, сидит у ног Иисусовых. Так и должно было быть. Россия выблевала вон эту пакость, которою ее окормили, и, уж конечно, в этих выблеванных мерзавцах не осталось ничего русского»⁴⁰¹.

Кто же кормил Россию «пакостью» и что она такое? Название «пакости» у Достоевского сомнений не вызывает. Это либерализм. Признавая, что и он сам в прежние времена этой болезнью был болен, главные гневные обвинения автор «Бесов» адресует своему литературному «крестному отцу»: «шелудивый русский либерализм» проповедовался в России «г(----)ками вроде букашки навозной Белинского и проч.». Впрочем, и теперь, в семидесятые годы, «в Петербурге, кажется, еще много умного народу, которые хоть и ужаснулись мерзавцев, вошедших в свиней, но все еще мечтают о том, как хорошо было в либерально-гуманные времена Белинского и что надо бы воротить тогдашнее просвещение». Либерализм же, как известно, проникает к нам из Европы, которая в лице Римской церкви «потеряла Христа», а потом церковь и европейцы и вовсе решили, «что и без Христа обойдутся»⁴⁰².

⁴⁰¹ Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений. Т. XXIX, кн. 1. Л., 1986. С. 145.

⁴⁰² Там же. С. 145 – 147.

Но хотя ответ Достоевского относительно феномена «подпольности» и ее корней относительно 1/10 населения России ясен (философическая «подпольность» приходит из Европы), он, согласимся, не проясняет дела в отношении 9/10⁴⁰³ жителей страны. А если допустить, что грязь «подпольности» вообще проникает в человека только извне (входит, как бесы в свиней), то каким же образом овладела «русским большинством» «подпольность» обыденная? Откуда эти Федоры Павловичи, Смердяковы, Мити Карамазовы, Рогожины и прочие? Ясно, что по отношению к не зараженному либерализмом русскому народу библейская схема, работающая в случае философической «подпольности», не годится. «Пакость» – либерализм затрагивает кое-кого из «нерусской России», каких-нибудь, «петербургских чиновников или студентов» и далее входит в «свиней» – революционеров.

Правильность тезиса относительно появления «подпольности» в 1/10 части русских разделялась С.Н. Булгаковым. В своем знаменитом исследовании «Бесов» он говорит о «подпольных» идеях (о «подпольности» философической) и о романе «Бесы» как о «символической трагедии». Это есть «русская трагедия, изображающая судьбы именно русской души. Говоря частнее, *это есть трагедия русской интеллигенции, определенного духовного уклада личности* (Выделено мной. – С.Н.)»⁴⁰⁴.

Гниль в Европе, грязное нутро в результате занесенных с Запада либеральных идей и, как следствие, совершаемые в России революционные преступления – такова протраиваемая Достоевским цепочка философической «подпольности». Но вот что до российской «подпольности» обыденной, то по-

⁴⁰³ Как известно, деление на 1/10 и 9/10 предлагал сам Достоевский.

⁴⁰⁴ Булгаков С. «Русская трагедия». http://az.lib.ru/b/bulgakow_s_n/text_0050.shtml

скольку в ней Европу никак обвинить невозможно, то для нее хорошо бы найти другое объяснение. А такового у Достоевского нет.

Впрочем, отсутствие, как известно, нельзя считать недостатком. Тем более, что ученые «подпольность» героев Достоевского на виды не делили и своего внимания на «подпольности» обыденной как наиболее массовой (если не сказать «народной») уже по этой причине не акцентировали.

Вообще? когда кто-либо из современных исследователей доходит до темы «подпольности» обыденной, то тут возникает своего рода «патриотический ступор»: разве можно предполагать болезнь у своего народа? И если в этой связи обратиться к некоторым исследованиям темы «подпольности» у Достоевского в последние два десятилетия, то вспомнить прежде всего следует фундаментальный труд Ю.Ф. Карякина. Будучи современником и участником так называемых перестроечных процессов в СССР и России и видя «волнение народного моря» в его высших и низших точках⁴⁰⁵, Юрий Федорович уже по этой причине не мог не задуматься о его философических причинах, в том числе и имеющим отношение к народной «подпольности».

Исследование Карякина, примечательное во многих отношениях, грежде всего интересно в позиции Достоевского в отношении западников – «русских европейцев». Сразу скажу, что в этой точке – обозначении либерализма в качестве одного из идейных истоков и опор революционаризма-бес-

⁴⁰⁵ Напомню, что комментируя общероссийскую победу ЛДПР и поражение партии сторонников Бориса Ельцина «Выбор России» на первых выборах в новую Государственную Думу в ночь подсчёта голосов с 12 на 13 декабря 1993 года, в прямом эфире российского телевидения Карякин воскликнул: «Россия! Одумайся, ты — одурела». Ну чем не косвенная констатация народной «подпольности» и чем не знакомая нам отечественная интеллигентская позиция – не поняв, обругать.

овства мне видится первая и главная ошибка Достоевского как историка «подпольности». Вторая же его ошибка – это упование на почвенничество как истинную и желанную силу, защищающую от иноземного зла. Думаю, что обнаруженная автором «Бесов» «подпольность» у 9/10 – «русского большинства» – это вирус, который не занесен извне, а вышел из глубин нашей почвы и потому идеализировать ее – значит вместо честного диагноза и неизбежного радикального лечения предлагать травяные настойки.

То, как Достоевский оценивает болезнь революционаризма, Карякин характеризует не иначе как в терминах гениальности: роман «Бесы» – «роман-предупреждение, роман-прозрение» – «гениальная, самая ранняя *диагностика* бесовщины»⁴⁰⁶ (Выделено мной. – С.Н.). Правда, уточняет он, Достоевский в «запале и неистовстве» в число бесовреволюционеров записывает не только бомбистов и нечаевцев, но и западников: «Тургеневы, Герцены, Утины⁴⁰⁷, Чернышевские – все они взяты за одну скобку, все поставлены на одну доску, в один ряд, а еще – Белинские и Краевские, Плещеевы и Анненковы, а еще – «Интернационалка» Маркса и «Альянс» Бакунина. И все это множилось на нулевую, вернее – отрицательную величину нечаевщины, и уж конечно в «ответе» получался нуль или уже поистине устрашающая отрицательная величина.

...Борьба с бесовщиной оборачивалась тоже бесовщиной, самоубийственной для человечества, самоистребительной для тех идеалов, что исповедовал сам Достоевский»⁴⁰⁸.

Думаю, то, как Достоевский бичевал либерализм, видя в нем исток бесовщины, не было нечаянным перехлестом, к

⁴⁰⁶ Карякин Ю.Ф. «Достоевский и канун XXI века». М., 1989. С. 216.

⁴⁰⁷ Н.И. Утин – русский революционер, глава Русской секции Международного товарищества трудящихся. – С.Н.

⁴⁰⁸ Там же. С. 217 – 218.

чему склоняется Карякин. Его собственная позиция такова: «На вещь, которую я пишу в «Русский Вестник», – сообщал Достоевский Страхову, – я сильно надеюсь, но уже не с художественной, а с тенденциозной стороны; хочется высказать несколько мыслей, хотя бы погибла при этом вся художественность. Но меня увлекает накопившееся в уме и сердце; пусть выйдет хоть памфлет, но я выскажусь. ...Для них надо писать с плетью в руке. ...*Нигилисты и западники требуют окончательной плети*»⁴⁰⁹. (Выделено мной. – С.Н.)

Правда, Карякин справедливо вступает за русских западников. «Герцен – Пушкин русской публицистики! – и вдруг бес?!» «Тургенев, который создав (открыв) образ Ситникова в «Отцах и детях», предвосхитил создание (открытие) образа Петра Верховенского. И этот Тургенев бес?!»⁴¹⁰. Но тут же приводит оправдательные и, как ему кажется, к месту подходящие слова Достоевского: «А хуже всего то, что натура моя подлая и слишком страстная: везде-то и во всем я до последнего предела дохожу, всю жизнь за черту переходил»⁴¹¹. Далее, чтобы объяснить это «помрачение» Достоевского, Карякин сочиняет целую гносеологическую конструкцию, смысл которой в том, что писатель стал жертвой «ослепления вследствие прозрения. Это и было прозрение-ослепление вместе, одновременно»⁴¹².

Думаю, что мои возражения Достоевскому о пагубности либерализма и о благодати почвенничества не снимаются этими страстными, переполненными метафорами строчками. «Ослеппением» никак не объясняется то, почему исток бесовщины Достоевский называет либерализм. И вовсе не ясно, при чем здесь «ослепление», если, кроме интелли-

⁴⁰⁹ Достоевский Ф.М. Цит. полн. собр. соч. Т. XXIX, кн. I. С. 111 – 112, 113.

⁴¹⁰ Карякин Ю.Ф. Цит. соч. С. 219, 218.

⁴¹¹ Достоевский Ф.М. Цит. полн. собр. соч. Т. XXVIII, к. II. С. 207.

⁴¹² Карякин Ю.Ф. Цит. соч. С. 220.

генции, по существу дела ставится вопрос об обыденной «подпольности», присущей «русскому большинству»? Ну, положим, «подпольность» Смердякова (а он из 9/10) можно попытаться объяснить тем, что представитель русского народа «заразился» – подхватил этот вирус от либерала Ивана Карамазова. И поражен им был столь сильно, что даже Илюше давал совет: в хлебный мякиш иголку закатать, а потом дать собаке проглотить. Но ведь Мармеладов, Федор Павлович или Митя Карамазов (например, в его «художестве», когда на глазах Илюши Снегирева его отца за бороденку по улице тащил), они-то в каких смрадных местах либеральные европейские бациллы подцепили?

Карякин все же видит, что смешав бесовщину с либерализмом, Достоевский «сам подрывает свое дело» и называет это «трагедией гения»⁴¹³. Однако это, на мой взгляд, констатация только первой ошибки. Вторая (и ее не замечает Карякин) в том, что настоящим фундаментом русского мировоззрения Достоевский считал почвенничество, которое к бесовству, естественно, не относил. Более того: видел в нем спасение и великую будущность России. А вот в этом, думаю, автор «Бесов» и делал главную свою ошибку. Именно из русской почвы и почвенничества пышным цветом растет обыденная «подпольность» «русского большинства». Больше неоткуда.

* * *

Чем более всего страшен революционаризм-бесовщина? Не своим практическим финалом – железными определениями-указаниями, что имеет право жить, а что должно погибнуть; не обладанием «технологиями», посредством которых можно вывести из равновесия народ, посеять «бунт и разрушения». Глубоким основанием бесовщины, которой «в ослеплении» предался и сам Достоевский, был усердно им развиваемый и на бытовом уровне присущий значительной

⁴¹³ Там же. С. 223, 221.

части русского народа мессианский национализм. Но почему он разросся именно к середине XIX столетия?

Идеи о национальной самобытности и исключительной роли в настоящем и будущем России, равно как и последовавшие за ними широкие общественные настроения, возникнув после победы над Наполеоном и прогулками казаков по Парижу, позднее были подхвачены, многократно усилены властью и вылились в официальную доктрину самодержавия, православия и народности. Развитие капитализма и революционные пожары в Европе конца 40-х годов, равно как и не оставляемые отечественными монархами мечтания о великой роли России на Европейском континенте и в мире, заставили власть и интеллигентов-государственников еще активнее работать на центральную почвенническую идею «самобытности-превосходства». Конечно, известный ущерб этим настроениям был нанесен бесславным течением и итогами Крымской войны 1853 – 1856 годов, глубинные истоки которых были гениально показаны Л.Н. Толстым в его «Севастопольских рассказах».

Однако, с другой стороны, это поражение сделало патристическое ослепление общей основой для единения (единства в слепоте) 1/10 и 9/10 населения страны. В идеологическом плане ура-патриотические настроения и представления об особой миссии России в истории человечества нашли свое выражение и в гуманитарной мысли – в славянофильстве и почвенничестве с их идеями примата национального над общечеловеческим. Постоянными колебаниями внутри парадигмы: «общечеловеческое–христианское» – «русское национальное» – «русское всечеловеческое» пронизано все творчество Достоевского. Добавив к этому еще один глубоко ненавистный писателю «полюс» буржуазности, нам станет понятна направленность того магнитного поля, которая доминировала в его мировоззрении. Свое силовое поле создава-

ла и идея об исконной «государственнической природе» русского народа. Достоевский всегда верил, что русский народ – «дитя царя», равно как и царь – «отец народа». Конечно, он не мог не видеть творящихся возле трона безобразий, не мог не сознавать, что его идеальные представления и реальность самодержавия одно и то же. Но и отрешиться от идеала не мог, потому как это было бы уступкой западничеству и либерализму, революционаризму в конце концов.

Почвенничество, покоящееся на самодержавии, православии и народности было для Достоевского не только идеологической основой, но и имело вид очевидности. У каждого «плода» есть своя особая почва и свой климат. Вот почему «иногда рекомендуемое общечеловечным как-то выходит никуда не годным в известной стране и только может замедлять развитие народа, к которому прилагается...», – пишет он в 1862 г. в известной статье «Два лагеря теоретиков»⁴¹⁴.

Достоевский прав, когда укоряет наши «служилые сословия» в небрежении развитием и делами «земских» сословий (народа). В такой трактовке почвенничества нет идеи исключительности. Однако далее у писателя появляется мысль о том, что, оказывается, русский народ отличается от прочих тем, что именно и только он «с беспощадной силой» способен к публичной критической рефлексии, «к осуждению, самобичеванию», не боится обнажать собственные язвы, и в этом «есть уже залог его выздоровления, его способности оправиться от болезни... В осуждении зла непременно кроется любовь к добру»⁴¹⁵. Жизнь, если она и замерла в «высших классах», «несомненно, есть в нетронутой еще народной почве... это святое наше убеждение»⁴¹⁶. И вот этого-то всего, оказывается, не видно у других народов. Англичанин, напри-

⁴¹⁴ *Достоевский Ф.М.* Цит. соч. Т. XX. С. 7.

⁴¹⁵ Там же. С. 22.

⁴¹⁶ Там же.

мер, «отстаивает свои университеты, хотя и сознает, что их устройство далеко расходится с современными понятиями», «потому, что это *свое*». «...Немец рассуждает о своей политике или о своих Rath⁴¹⁷, и о превосходстве немецкой нации перед другими. Вот француз, который постоянно толкует о славе нации, о своих национальных учреждениях, о военных своих подвигах, потому только, что заговори он иначе, он изменил бы своей славной нации»⁴¹⁸.

В дальнейшем Достоевский, как известно, еще более укрепился в воззрениях на национальные особенности русских как на очевидное превосходство над европейцами. В общине и артели он, например, видел те начала народной жизни, которые в развитой форме имелись в России и до которых, как до истинно прогрессивных явлений, еще предстояло дорасти Западу; в реформе 1861 г. – гармоничное встречное движение власти и народа; в православии, в отличие от католицизма, единственно верный способ спасения духовного начала в христианстве. И в целом, поскольку русские обладают «инстинктивной тягой к братству», они «безмерно выше, благороднее, честнее», чем европейцы, а их нравственные понятия и цели «выше европейского мира»⁴¹⁹ и целей других народов. Каких же?

Здесь, конечно же, Достоевский называет еврейство – народ, может быть самый противоположный русским из всех существующих своими привычками и обычаями. В первую очередь писатель имеет в виду его «эгоизм и материализм», что в корне отличает евреев от альтруистичных и духовных русских. В этом ключе, незадолго до смерти, в письме от 15 июня 1880 г. по поводу повести Ю.Ф. Абаза, Достоевский рассуждает: мысль, «что породы людей, получивших

⁴¹⁷ Советниках (нем.).

⁴¹⁸ Там же. С. 21, 22.

⁴¹⁹ *Достоевский Ф.М.* Цит. соч. Т. XXVIII. Кн. II. С. 243, 260.

первоначальную идею от своих основателей и *подчиняясь* ей исключительно в продолжение нескольких поколений, впоследствии должны необходимо выродиться в нечто особенное от человечества, как от целого, и даже, при лучших условиях, в нечто враждебное человечеству, *как целому* – мысль эта верна и глубока. Таковы, например, евреи, начиная с Авраама и до наших дней, когда они обратились в жидов. Христос (кроме его остального значения) был поправкою этой идеи, расширив ее в всечеловечность. Но евреи не захотели поправки, остались во всей своей прежней узости и прямолинейности, а потому вместо всечеловечности обратились во врагов человечества, отрицая всех, кроме себя, и действительно теперь остаются носителями антихриста, и, уж конечно, восторжествуют на некоторое время. Это так очевидно, что спорить нельзя: они ломаются, они идут, они же заполонили всю Европу; все эгоистическое, все враждебное человечеству, все дурные страсти человечества – за них, как им не восторжествовать на гибель миру!»⁴²⁰

Кроме родовой характеристики «братства», превосходство русских над другими народами, полагал Достоевский, определяется и их способностью быть «всечеловечными». Это, во-первых, качество, присущее всему народу в не зависимости от его просвещенности. «Общечеловек» есть в каждом русском, хоть и в бурлаке. И, во-вторых, это инстинкт, позволяющий народу (нации) претендовать на роль учителя и вождя других наций. «Наша способность языка, понимания всех идей европейских, сердечное и духовное их усвоение – все это, чтоб разрозненные личные народные единицы соединить в гармонию и согласие, и это назначение России. Вы скажете, это сон, бред: хорошо, оставьте мне этот бред и сон»⁴²¹.

⁴²⁰ Достоевский Ф.М. Цит. соч. Т. XXX. Кн. I. С. 191 – 192.

⁴²¹ Достоевский Ф.М. Цит. соч. Т. XXIV. С. 309.

В то же время, европейцам не понять русскую литературу или живопись. Взять хотя бы перевод Гоголя на французский язык, который делали Тургенев и г-н Виардо. «Этот перевод можно достать и теперь – посмотрите, что это такое. Гоголь исчез буквально. Весь юмор, все комическое, все отдельные детали и главные моменты развязок, от которых и теперь, вспоминая их иногда нечаянно, наедине (и часто в самые не-литературные моменты жизни), зальешься вдруг самым неудержимым смехом про себя, – всё это пропало, как не бывало вовсе. Я не понимаю, что могли заключать тогда французы о Гоголе, судя по этому переводу; впрочем, кажется, ничего не заключили. «Пиковая дама», «Капитанская дочка, которые тоже были переведены тогда по-французски, без сомнения тоже исчезли наполовину, хотя в них гораздо более можно было понять, чем в Гоголе. ...Между тем мы на русском языке понимаем Диккенса, я уверен, почти так же, как и англичане, даже, может быть, со всеми оттенками; даже, может быть, любим его не меньше его соотечественников. А, однако, как типичен, своеобразен и национален Диккенс! Что же из этого заключить? Есть ли такое понимание чужих национальностей особый дар русских пред европейцами? Дар особенный, может быть, и есть, и если есть этот дар (равно как и дар говорить на чужих языках, действительно сильнейший, чем у всех европейцев), то дар этот чрезвычайно значителен и сулит много в будущем, на многое русских предназначает, хотя и не знаю: вполне ли это хороший дар, или есть тут что-нибудь и дурное...»⁴²²

Впрочем, действие инстинкта «всечеловечности» русских должно следовать определенной логике, а не просто бессистемно адресоваться ко всему миру. По мысли писателя, этот дар сначала должен привести к единению славян, а уж затем и всего человечества. «И не тот же ли это чисто политиче-

⁴²² Достоевский Ф.М. Цит. соч. Т. XXI . С. 69.

ский союз, как и все прочие подобные ему, хотя бы на самых широких основаниях, вроде как Соединенные Американские Штаты или, пожалуй, даже еще шире? Вот вопрос, который может быть задан; ответу и на него. Нет, это будет не то, и это не игра в слова, а тут действительно будет нечто особое и неслыханное; это будет не одно лишь политическое единение и уж совсем не для политического захвата и насилия. ...Нет, это будет настоящее воздвижение Христовой истины, сохраняющейся на Востоке, настоящее новое воздвижение креста Христова и окончательное слово Православия во главе которого давно уже стоит Россия»⁴²³. Таков путь: от национального инстинкта – через национальные особенности – к мессианскому национализму.

Теперь, когда обозначены основные характеристики и сущность почвенничества как мессианского национализма, пора вернуться к исходной точке – указанию Достоевского на либерализм как источник бесовщины-революционаризма. Может, и вправду, источник?

* * *

Я уже отмечал, что если теоретически либерализм может рассматриваться как идейная основа революционаризма, поскольку мы рассуждаем о сознании «верхних слоев», связанных с Европой и некритически воспринимающих ее исторический опыт, то воздействие либерализма на народ в принципе невозможно. В то же время, если задаться вопросом об истоках обыденной «подпольности», то здесь вполне могут оказаться не чуждыми (если не родственными) идеи развиваемой Достоевским почвенности, которую он, конечно, не выдумал, а в народе увидал.

Почвенность как мессианский национализм, хотя и выступавшая под другими именами, издавна известна в отечественной истории. И если обратиться к ее проявлениям в ряду

⁴²³ *Достоевский Ф.М.* Цит. соч. Т. XXIII. С. 50.

событий XIX и XX столетий, то обнаружится, например, что от идеи добровольного принятия чего-либо до идеи насильственного его насаждения у нашего народа всегда был один небольшой шаг. Это многократно подтверждалось, например, в практике «расширения Российской империи» – поглощения ею новых территорий. В этом благом для государства и «священном» для православия деле у российской светской и церковной власти и солидарного с ними русского народа (в этом деле подлинно отцов и детей) было полное единство.

Официальные историки (М.Н. Погодин, современник Достоевского, например) провозглашали исключительно мирный характер этих присоединений, якобы следовавших за добровольными «братскими» соглашениями между великорусским и иными этносами. Отечественный философ Иван Ильин в своей оценке шел еще дальше, выделяя в качестве определяющей характеристики имперской колонизации России то, что проводилась она, якобы, имея целью дать всем присоединяемым новое «дыхание и великую Родину». Этой метафорой, однако, не снимался вопрос: в чем секрет не только не насильственной или прагматически-терпимой, а прямо-таки «альтруистичной» имперской политики русских царей, в корне отличной от политик иных колонизаторов? Определяется ли она (если продолжать фантазии) склонной к «всемирной отзывчивости» русской душой или и вовсе, как утверждают сегодняшние империалисты, особым народным генотипом?⁴²⁴

⁴²⁴ По поводу этой идеи автора «Преступления и наказания» Владимир Соловьев замечал: «Если мы согласны с Достоевским, что истинная сущность русского национального духа, его великое достоинство и преимущество состоит в том, что он может внутренне понимать все чужие элементы, любить их, перевоплощаться в них, если мы признаем русский народ вместе с Достоевским способным и призванным осуществить в братском союзе с прочими народами идеал всечеловечества – то мы уже никак не можем сочувствовать выходкам того же Достоевского против «жидов», поляков, >

Конечно, читаем у Георгия Федотова, параллельный немецкому русский Drang nach Osten оставил меньше кровавых следов. Но это определялось не имперским человеколюбием, а редкой населенностью и более низким культурным уровнем «восточных финнов» и сибирских инородцев в сравнении с западными славянами. «И однако – как упорно и жестоко боролись хотя бы вогулы в XV веке с русскими “колонизаторами”, а после них казанские инородцы и башкиры. Их восстания мы видим при каждом потрясении русской государственности – в Смутное время, при Петре, при Пугачеве. ... Мы любим Кавказ, но смотрим на его покорение сквозь романтические поэмы Пушкина и Лермонтова. Но даже Пушкин обронил жестокое слово о Цицианове, который “губил,ничтожил племена”. Мы заучили с детства о мирном присоединении Грузии, но мало кто знает, каким вероломством и каким унижением для Грузии Россия отплатила за ее добровольное присоединение. Мало кто знает и то, что после сдачи Шамиля до полумиллиона черкесов эмигрировало в Турцию. Это все дела недавних дней. Кавказ никогда не был замирен окончательно. То же следует помнить и о Туркестане. Покоренный с чрезвычайной жестокостью, он восставал в годы первой войны, восставал и при большевиках. До революции русское культурное влияние вообще было слабо в Средней Азии. После революции оно было такого рода, что могло сделать русское имя ненавистным»⁴²⁵.

> французов, немцев, против всей Европы, против всех чужих исповеданий». *Соловьев В.С.* Русский национальный идеал // *Соловьев В.С.* Соч.: В 2-х томах. М., 1989. Т. 2. С. 290. Что же до утверждения Ильина, то в его логике выходит, что Льва Толстого и Салтыкова-Щедрина, беспощадно живописавших варварскую колониационную политику империи, следует признать «клеветниками» России, а о двухсотлетней «черте оседлости» для еврейского народа или многовековом угнетении и естественной ответной ненависти пребывавших в оккупации поляков и вовсе забыть.

⁴²⁵ *Федотов Г.П.* Судьба империй // *Федотов Г.П.* Судьба и грехи России. Т.2. Санкт-Петербург, 1992. С. 318.

Новых высот идея «от добровольного принятия – к насильственному насаждению» достигла после прихода к власти большевиков. Это и «военный коммунизм» как скачок из царства необходимости в царство свободы; и попытка распространения пролетарской революции из России на Европу; и «творчески переработанная» идея Маркса и Энгельса о мирном и добровольном вытеснении из аграрной сферы мелких (фермерских) организационно-производственных форм формами крупными промышленными, поскольку технический прогресс сделает неэффективным использование паровых сельскохозяйственных машин на мелких земельных наделах – в идею тотальной, спешной и репрессивной колхозизации; это и переход от политики освобождения Восточной Европы от фашистских войск к последующему насаждению прокоммунистических режимов. Список можно продолжать, но во всем этом есть общая основа. Власть и подавляющее большинство народа были единодушны всегда, будь то война в поддержку славян на Балканах, движение «двадцатипяти-тысячников» в коллективизацию или выполнение приказа об оккупации после разгрома гитлеризма. Думаю, что именно в этом – органическом переходе от идеи добровольного принятия к насильственному насаждению – в полной мере дает себя знать мессианский национализм, являющийся по сути одной из разновидностей того, что Достоевский именует «подпольностью». Самодержавная – царская или советская – власть считала это в порядке вещей. И народ, принимая идею «царь – отец, мы – дети», по другому не мыслил.

Почвенность как мессианский национализм также находила свое выражение и в идее исключительной истинности русского православия в сравнении с иными христианскими конфессиями и, тем более, в сопоставлении с другими религиями. Формируемые православием у народа чувство единичного обладания истиной и на этой основе возвышения

над другими, право на наставление, а, если потребуется, то и на «насилие во благо» также вносили немалую лепту в народную «подпольность». Сам Достоевский к этой теме обращается неоднократно, всегда подчеркивая исключительность русского народа, проявляющуюся в его вере. «Сердечное знание Христа и истинное представление о нем существует вполне. Оно передается из поколения в поколение и слилось с сердцами людей. Может быть, единственная любовь народа русского есть Христос, и он любит образ его по-своему, то есть до страдания. Названием же *православного, то есть истиннее всех исповедующего Христа, он гордится более всего.* (Выделено мной. – С.Н.). Повторю: можно очень много знать бессознательно»⁴²⁶.

Наличие у народа исключительных качеств самим народом признается тем более легко, что никаких созидательных личных усилий от него на этот счет не требует. Довольно сознавать себя русским православным, как в тот час другие становятся чем-то вроде неполноценных народов, «меньших братьев». Пребывающему в той или иной форме рабства населению это приятно: есть кто-то, кто стоит на более низкой ступени. К тому же это по понятным причинам поощрялось начальством всех уровней. А если посмотреть на эту проблему в более общем ракурсе, то идея мирового господства православия выливалась у Достоевского во вполне конкретную внешнеполитическую задачу – учреждения в Москве «Третьего Рима» и в военную цель – завоевания Константинополя у неверных. «Константинополь должен быть наш, завоеван нами, русскими, у турок и остаться нашим навеки»⁴²⁷.

⁴²⁶ Достоевский Ф.М. Цит. соч. Т. XXI . С. 38.

⁴²⁷ Достоевский Ф.М. Цит. соч. Т. XXVI . С. 83. В подтверждение существенного значения для русского имперского мировоззрения этих идей сошлюсь на продолжение идеи «Третьего Рима» большевиками в форме «Третьего Интернационала» – коммунистического царства на всей земле со столицей в Москве.

Хотя названные черты народной «подпольности» («от добровольного принятия – к насильственному насаждению» и «исключительной истинности русского православия» как единственно подлинного христианства) с трудом можно выявить и показать в художественных образах (впрямую они у Достоевского не прописаны), тем не менее, они являются центральными в его мировоззрении и составляют важную часть почвенности как мессианского национализма. Более того, следует отметить, что именно эти идеи – суть глубинные основания не только мировоззрения 1/10, но и мирознания 9/10, т.е. «настоящего человека *русского большинства*». И именно мессианский национализм был настоящей «подпольной» основой для народного революционаризма-бесовства.

Отдавая должное теоретикам и народному сознанию, органично принимающему эту идеологию, не следует забывать и о роли организаторов-практиков. Она особенно значима в периоды великих потрясений. Так, во время корниловского мятежа в августе 1917 г., Г.Г. Шпет в одном из своих писем жене замечает: «Половина наших либералов и социалистов живут и действуют по книжкам, а другая – слишком под влиянием классовых симпатий». До добра, предупреждает философ, это не доведет. Что же взамен? Насущным для страны, как это не странно звучит для апологетов русского мессианства, должен стать ее отказ от претензий на ведущую роль в глобальной мировой политике. Стране нужно научиться быть адекватной самой себе – осознанно перейти «на роль второстепенного и даже третьестепенного государства, заняться внутренним устройением и культурой, культурой, культурой, тогда она не погибнет вовсе, даст новых людей и новый “патриотизм”»⁴²⁸.

⁴²⁸ *Густав Шпет* : жизнь в письмах. Эпистолярное наследие. М., 2005. С. 280 – 281.

Естественно, что гигантское народное бесовство не шло в сравнение с ничтожно малым по масштабам бесовством идейным, а «подпольность» бытовая – с «подпольностью» философической. Но очевидно, что одно не могло существовать без другого. Достоевский в определении источника главного бесовства ошибся, борясь с бесовством малым (к тому же, приписывая ему неверный либеральный источник), фактически защищал бесовство большое.

* * *

Придя к столь пессимистическому выводу, я, тем не менее, должен сообщить о позициях некоторых почтенных представителей нашей философии, у которых была иная трактовка природы «подпольности». Прежде всего, назову имя недавно ушедшего из жизни отечественного философа Г.С. Померанца. У него читаем: для Достоевского «подполье» – это только дорога, это «квадрильон», и смысл дороги не в том, чтобы остановиться на ней (лучше уж не ходить, и Чехов разумнее Шестова), а в том, чтобы пройти до конца и хоть краешком глаза заглянуть в рай. Или (переводя термины легенды⁴²⁹ на другой язык) дойти до эстетического к а т а р с и с а, до духовного п р о с в е т л е н и я⁴³⁰.

Путем к раю Померанц называет путь к преображению, который, например, проходит Раскольников. «Я не знаю, почему большинство критиков не доверяет этому. Оно вполне подготовлено, а если Достоевский подробно не показывает, как выглядит просветленный человек, то, во-первых, такова вообще его эстетика, эстетика намек на положительно-прекрасное, порыва к нему, а не подробного описания. Во-вторых, преображенный (или в данном случае мне хочется сказать – просветленный) человек и его отношение к миру – это

⁴²⁹ Речь о легенде «Великий инквизитор».

⁴³⁰ *Померанц Г.* Заглянуть в бездну. Встречи с Достоевским. М., 1990. С. 77 – 78.

совершенно особый сюжет, требующий особого романа, и такой роман – “Идиот”»⁴³¹.

Не думаю, что Раскольников «порывается» к раю. Да и сложно определить, сколько в этом гипотетическом конвульсивном движении – от собственной воли Родиона Романовича, а сколько от Сони. И то, что ее заключенные любят, а к Раскольникову настороженны – серьезный симптом. Тем более, не могу согласиться с тем, что «просветленный» Мышкин подходит под мерку «просветления», предложенную Померанцем. «Преображенный» князь – искусственная идеальная конструкция, которая была нужна Достоевскому как глоток свежего воздуха в его путешествии по русскому «подполью»⁴³². Но если князь и в самом деле идет к раю, то не из «подполья», в котором он никогда не бывал, а напрямиком из головы Достоевского. Из «подполья» никакая дорога к раю не ведет. (И более того: как спрашивала героиня фильма Т. Абуладзе «Покаяние»: «Зачем же эта дорога, если она не ведет к храму?»). Есть ли Христос на дне человеческой души? Или сколько по дороге не иди, все равно даже «краешком глаза» рай не увидишь?

Впрочем, мое возражение повисает в воздухе, поскольку Г.С. Померанц, вслед за Достоевским, а также следуя традиции русской религиозной философии, переводит разговор из плоскости знания в плоскость веры, приводя слова Достоевского о том, что если бы возможно было представить Христа вне истины и истину вне Христа, то он остался бы с Христом вне истины, а не с истиной вне Христа. Вера отвергает знание, если знание не удовлетворяет веру.

Но как управлять человеком, если он не только не верит, но и своей жизнью возможность веры исключает? А вот это –

⁴³¹ Там же. С. 80.

⁴³² Подробнее об этом : *Никольский С.А.* Русское мировоззрение. Т. III: «Новые люди» как идея и явление: опыт осмысления в отечественной философии и классической литературе 40–60-х годов XIX столетия. М., 2012.

вопрос для инквизитора. Поэтому легенда разрывает наше сознание. Мы не в силах разрешить противоречие: с одной стороны, нет Христа на дне человеческой души. Но и без Христа не может жить человек, ибо «все позволено». Где же выход?. И у Достоевского нет художественного образа, в котором восторжествовала бы идея доминирования свободы над хлебом. Напротив, есть примеры краха этой идеи. Есть констатация порочности свободы, привносимой либерализмом или растущей из «подпольного» нутра. Но Алеша как позитивный персонаж, знаменующий торжество «хлеба небесного» над «хлебом земным» так и остался не реализованным проектом.

Не замечает или не желает замечать принципиальной нереализуемости в действительности идеи согласования свободы и хлеба русская религиозная философия. Даже у С.Л. Франка, может быть наиболее тонкого и трезвого ее защитника, в этом пункте аргументация не слишком убедительна. Философ полагает, что зло, слепота, хаотичность, дисгармония не только вообще присущи человеку, но связаны с его последним, глубинным существом. «Именно там, где человек в своих слепых и разрушительных страстях восстает против требований разума, против всех правил приличия и общепризнанной морали – именно там прорывается наружу, сквозь тонкую оболочку общепризнанной эмпирической реальности, подлинная онтологическая реальность человеческого духа.

Но именно в этом пункте беспощадное обличение человека как-то само собой переходит в своеобразное оправдание человека (Здесь и далее выделено мной. – С.Н.). ...Перед лицом морализирующего общественного мнения Достоевский – призванный адвокат своих падших, злых, слепых, буйствующих и бунтующих героев. Так как он ощущает именно онтологическую глубину темных, иррациональных сторон человеческого духа, то он непосредственно ощущает какую-то их значительность, видит в них искаженные и замутненные признаки чего-


то истинно-великого – как велика всякая подлинная, последняя реальность. Замечательно уже то, что *всяческое зло в человеке – ненависть, самолюбие, тщеславие, злорадство, и по большей части даже плотская похоть – для Достоевского не есть свидетельство бездушия, а, напротив, имеет духовное происхождение, есть признак какой-то особой напряженности духовной жизни. ... Та иррациональная, неисповедимая, ни в какие нормы добра и разума не вмещающаяся глубина человеческого духа, которая есть источник всего злого, хаотического, слепого и бунтарского в человеке, есть по Достоевскому вместе с тем область, в которой одной только может произойти встреча человека с Богом и через которую человек приобщается к благоразумным силам добра, любви и духовного просветления ...* Через это начало ведет единственный путь человека к Богу – другого пути, более рационального и безопасного, менее проблематического здесь быть не может... *Человек богоподобен не разумом и добротой, а тем, что загадочные последние корни его существа, наподобие самого Бога, обладают таинственностью, неисследимостью, сверхрациональной творческой силой, бесконечностью и бездонностью»*⁴³³.

Думаю, что позиции Померанца и Франка в существенной степени – результат их великого отчаяния от созерцания реального мира: столько зла видит человек вокруг и нигде не находит тропинки к добру, что невольно рождается мысль – а не есть ли само зло особый путь к добру? Но по этой логике, самые великие злодеи должны иметь самые большие шансы обрести дары благодати. Имена злодеев будем вспоминать? Впрочем, эти позиции лежат в сфере так называемого христианского гуманизма. А это тема другой работы.

* * *

⁴³³ Франк С.Л. Достоевский и кризис гуманизма. (К 50-летию дня смерти Достоевского) // О Достоевском. Творчество Достоевского в русской мысли 1881-1931 годов. М., 1990. С. 395 – 396.

Нигилисты и гилисты автора «Левши»

 общеизвестно, что в знаменитом романе «Некуда» (1864) Николай Семенович Лесков вслед за Тургеневым продолжил тему отечественного нигилизма. А шесть лет спустя романом «На ножах» (1870) сделал еще один шаг в развитии изложенных ранее идей. Подтолкнуло его к этому положение, при котором, говоря словами одного из героев произведения, «на ножах друг с другом... стали у нас ...все в России». Но в каком направлении этот шаг был сделан?

Отыскивая ответ на этот вопрос, современники писателя опрометчиво посчитали роман неудачной творческой попыткой и потому замалчивали вплоть до Октября. Однако и после большевистского переворота понимания не прибавилось. Напротив, стало меньше. Меньше до того, что в России произведение было напечатано только в 1989 г. В забвении роман пребывал почти сто двадцать лет! Но только ли в непонимании было дело?

«Что роман в запрете после революции – понятно, – пишет во вступительной статье ко второму тому издания начала 90-х годов Л.А. Аннинский. ... «На ножах» – «отмщевательная», как сказал бы Лесков, антинигилистическая книга, по открытой авторской заявке направленная как раз против тех сил и идей, на которых, по убеждению революционной власти, она, власть, замесилась»⁴³⁴.

Итак, власть чуяла, что писатель проник в мир ее сокровенных смыслов, что опасно. К тому же, идейное содержа-

⁴³⁴ Аннинский Л.А. «На ножах» с нигилизмом. См.: Лесков Н.С. Собрание сочинений в шести томах. Т. 2, книга первая. М., 1993. С. 5.

ние этого романа было продолжением нигилизма. Впрочем, продолжение это было таково, что уничтожало все содержательное, что нес с собой нигилизм. Если из нигилизма не вытекало мошенничества, то нечто, пришедшее ему на смену, было не просто мошенничеством – было мнимостью. Безнатурностью.

Лучше всего «постнигилизм» видится в контрасте, в кардинальном расхождении Лескова с Достоевским. «При всем внешнем сходстве мотивов и приемов (приезд столичной «штучки», переполох в губернском «бомонде», вплоть до таких переключек, как «рвание носов»; вообще – атмосфера висящего в воздухе скандала и ожидаемого преступления) у Достоевского, однако, нигилизм – действительно духовное преступление, порча, беснование, антивера, которую надо пройти до конца. У Лескова же нигилизм и в «Некуда» и отчасти в «Соборях», а особенно в «Ножах» лишь – «глупость и ошибка», это игра, пркрывающая преступление, это шутовство и шарлатанство, это почти словесный фокус, каламбур, пустословие, «хлам полуречей и недомолвок», «словесное неряшество» – гиль, одним словом. Не нигилизм – гилизм»⁴³⁵.

Что же за цепочка намечается между нигилизмом и гилизмом? Чтобы ее прояснить, вернусь к Лескову. Его стремление к изображению действительности «как она есть» не означало отсутствия собственной политической позиции. Напротив, в 1863 г. в «Письмах из Парижа» он признается: «В литературе последовал великий раскол: из одного лагеря, с одним общим направлением к добру, образовались две партии: «постепеновцев» и «нетерпеливцев»... Я тогда остался с «постепеновцами», умеренность которых мне казалась более надежной»⁴³⁶. В целом, отвергая любое действие, ведущее к

⁴³⁵ Там же. С. 27 – 28.

⁴³⁶ Лесков Н. «Воспоминания о П. Якушкине». В кн.: «Сочинения Павла Якушкина». СПб, 1884. С. I.

насильственному переустройству русского мира, Лесков четко числил себя поборником деятельного позитивного начала, в частности – активной торгово-промышленной деятельности, всего, что открывало дорогу буржуазному развитию страны.

Что же касается популярной тогда в обществе темы «новых людей», то и в этом Лесков не разделял упований и восторгов революционаристов: «Хотел бы я воскресить Чернышевского и Елисеева: что бы они теперь писали о “новых людях”?.. Если исправничий писец мог один перепороть толпу беглых у меня с барок крестьян, при их же собственном содействии, то куда идти с таким народом? “Некуда”!.. Рахметов Чернышевского это должен был бы знать!.. Ведь с этим зверьем разве можно что-нибудь создать в данный момент?

– Однако у вас, Николай Семенович, никакого просвета не видно.

...Я же чем виноват, если действительность такова!.. Удивительно, как это Чернышевский не догадывался, что после торжества идей Рахметова русский народ, на другой же день, выберет себе самого свирепого квартального... Идеи, которые некому и негде осуществлять, скверные идеи!.. А романом “Некуда” я горжусь...»⁴³⁷

* * *

То, с какою ненавистью и изощренной подлостью отреагировала на появление романа так называемая «прогрессивная социал-демократическая литературная общественность», само по себе достаточно яркое свидетельство для ее исторической оценки. По поводу травли Лескова приведу замечание М. Горького: «Это было почти убийство»⁴³⁸. За написанный роман автор «Некуда» платил многим. Но, может быть, самой дорогой была плата отлучением от печатания: «...Я ряды лет

⁴³⁷ Цит. по ст. Л.А. Аннинского. С. 690.

⁴³⁸ Горький М. Несобранные литературно-критические статьи. М., 1941. С. 87.

лишен был возможности работать...», – приводит его признание сын⁴³⁹.

Что же так возмутило и стало причиной столь сильной ненависти? Разгадка дается самим автором, когда он говорит о том, что просто срисовал картину «развития борьбы социалистических идей с идеями старого порядка. Там не было ни лжи, ни тенденциозных выдумок, а просто *фотографический отпечаток того, что происходило*»⁴⁴⁰. Вглядимся и мы в этот старый, но уцелевший вопреки разрушительному действию времени дагерротип.

Роман начинается приездом в родные места двух девушек – Лизы Бахаревой и Женни Гловацкой, окончивших учебу в московском институте и проникнутых «прогрессивными» идеями. Не буду подробно пересказывать содержание романа, остановлюсь на его главных линиях и структуре.

Девушки – два основных сюжетных русла, посредством которых нам показывают разные истории «течения болезни», которой заразились и которую обе вынесли из «просвещенного» заведения. Лиза, не нашедшая сердечности и понимания в семье, с родным домом рвет, пускается в полубродяжническую жизнь «новых людей», делается причиной преждевременной смерти своих родителей и, в конце концов, умирает. Женни, сосредоточившаяся поначалу на заботе любви к своему старику-отцу, этой любовью и последовавшей затем обычной «мещанской» жизнью – замужеством и семьей – спасается сама и впоследствии неоднократно, хотя и безуспешно, пытается спасти Лизу. При этом в заботе Женни о своей семье не было ничего сверхъестественного, но с ее приездом все в доме «пошло жить. Ожил и помолодел сам старик, сильнее зацвел старый жасмин, обрезанный и подвязанный молодыми ручками; повеселела кухарка Пелагея,

⁴³⁹ *Андрей Лесков. Жизнь Николая Лескова. М., 1984. Т. 1. С. 252.*

⁴⁴⁰ Там же. С. 253.

имевшая теперь возможность совещаться о соленьях и вареньях, и повеселели самые стены комнаты...

Вообще она стала хозяйкой не для блезиру, а взялась за дело плотно, без шума, без треска, тихо, но так солидно, что и люди и старик отец тотчас почувствовали, что в доме есть настоящая хозяйка, которая все видит и обо всех помнит.

И стало всем очень хорошо в этом доме»⁴⁴¹.

Собственно основное действие романа начинается с появления в нем «новых людей». При этом, несмотря на все их индивидуальное различие, у них, между тем, есть и общие черты. Одна из них – их неустройство, неадекватность жизни, причем происходит это, как правило, не из-за стечения каких-то неблагоприятных обстоятельств или вообще внешних трудностей, а по их собственному нерасположению к гармонии с самими собой и с внешним миром. Очень редко дисгармоничность идет от какой-то высокой цели, как, например, у швейцарца Райнера, приехавшего в Россию по идейным соображениям социалистического толка⁴⁴². Райнер, кстати, и оказывается наиболее привлекательной, выделяющейся своей искренностью, беззаветностью в служении делу, работоспособностью и честностью фигурой среди «кодла», по определению Лескова, «новых людей». Он, кстати, тот единственный финансовый источник, за счет которого безбедно месяц из месяца бездельничают «коммунары» и которого они беззастенчиво обворовывают, в том числе и тогда, когда он серьезно заболевает.

У «ассоцианеров», поскольку каждого из них Лесков изображает не только в сообществе, но и индивидуально, вооб-

⁴⁴¹ Лесков Н.С. Цит. собр. соч. Т. 2. С. 130 – 131.

⁴⁴² В скобках надо отметить, что сама по себе дисгармоничность человека с миром, то, что мы называем неудовлетворенностью, не может заранее считаться его пороком. Напротив, часто это является основанием для позитивного преобразования мира. То есть, вопрос всегда – в чем проявляет себя и выдерживается дисгармония.

ше все «через пень-колоду» и «лишь бы как». Так, дом одного из них – какое-то нагромождение помещений, не приспособленных для жизни, стол таков, что одинаково может быть отнесен и к обеденному, и к письменному, и к игорному, и даже к швальному. А кресло, на которое присаживаются, тут же подламывается. Все коммунары – люди праздные, во всяком случае ежедневное ничегонеделание не вызывает у них отторжения, а житье за чужой счет – внутреннего протеста. Верховодит ими некто Белоярцев – ловкий тип, явный авантюрист, живущий одним днем, который находит удовольствие в командовании, позерстве и самолюбовании.

«Коммуна» как практическая реализация социалистического замысла соотносима в романе с неким «теоретическим центром» – кружком-салонем известной «либеральными настроениями» маркизы и сворой болтающих по «революционной тематике» старых дев – «углекислых фей Чистых Прудов», живущих в доме под именем «вдовьего загона». Все идеи маркизы, вводит нас в существо дела автор, происходили вследствие того, что она, как говорят поляки, «имела зайца в голове». И вот этот-то заяц «до такой степени беспутно шнырял под ее черепом, что догнать его не было никакой возможности. Даже никогда нельзя было видеть ни его задних лапок, ни его куцога, поджатого хвостика. Беспкойное шнырянье этого торопливого зверька чувствовалось только потому, что из-под его ножек вылетали: “чела общественной лестницы” и прочие умные слова, спутанные в самые беспутные фразы.

...К тому же маркиза была поэт: ее любила погребальная муза»⁴⁴³.

Обо всех этих персонажах мы узнаем посредством одного из героев романа – доктора Розанова, волею судеб оказывающегося в контактах со всеми персонажами и выступающего

⁴⁴³ *Лесков Н.С.* Там же. С. 321 – 322.

от лица автора. Его личная история, равно как и профессия, позволяют нам видеть и сопоставлять реальный (нормальный) мир обычных людей и ирреальный (отчасти придуманный и фальшивый) мир людей «новых». И точно так же как в ирреальном мире есть свои центры силы, вроде маркизы «с зайцем в голове», в мире реальном есть нормальные люди, занятые трудом или серьезными делами (как доктор-исследователь Лобачевский), которым до мира юродствующего нет никакого дела.

В размышлениях об этом мире Розанову припоминается «труженик Нечай с его нескончаемой работой и спокойным презрением к либеральному шутовству, а потом этот спокойно следящий за ним глазами Лобачевский, весь сколоченный из трудолюбия, любознательности и настойчивости; Лобачевский, не удостоивающий эту суету даже и нечаевского презрительного отзыва, а просто игнорирующий ее, не дающий Араповым, Баралам, Бычковым и tutti frutti даже никакого места и значения в общей экономии общественной жизни»⁴⁴⁴.

Только два персонажа среди «новых» людей могут вызвать симпатии читателя. Это Райнер – подлинный поборник социалистической идеи, и несостоявшийся ученый, выросший в России поляк Юстин Помада. Оба, в конце концов, уходят от болтовни в реальное политическое дело и заканчивают свой путь гибелью в составе разбитого русскими войсками польского отряда повстанцев. Впрочем, обе эти фигуры случайны не только для занимающего их некоторое время конкретного дела – «ассоциации», но и для жизни вообще. Так, Райнер – случайно выживший в своей стране, добровольный пришелец в чужую ему Россию. Еще более случайный в этой жизни незадачливый и, по сути, бездельный (в помещицкой семье он «преподавал» детям чистописание) кандидат юридиче-

⁴⁴⁴ Там же. С. 406 – 407. Tutti frutti (итал.) – всякая всячина.

ских наук учитель Помада.

К магистральным критическим размышлениям Лескова о природе и путях становления в России «позитивного дела» и возможности появления действительно «новых (добрых) людей», непосредственно примыкает рассказанная в романе история о «бунте» и последовавшей за ним массовой смерти сидящих в клетках соловьев. Вот она.

«Комната, в которой я спал с соловьями, выходила окнами в старый плодovitый сад, заросший густым вишенником, крыжовником и смородиною.

В хорошие ночи я спал в этой комнате с открытыми окнами, и в одну такую ночь в этой комнате произошел бунт, имевший весьма печальные последствия.

Один соловей проснулся, ударился о зеленый коленкорый подбой клетки и затем начал неистово метаться. За одним поднялись все, и начался бунт. Дед был в ужасе.

– Ему приснилось, что он на воле, и он умрет от этого, – говорил дед, указывая на клетку начавшего бунт соловья.

Птицы нещадно металась, и к утру три из них были мертвы. Я смотрел, как околевал соловей, которому приснилось, что он может лететь, куда ему хочется. Он не мог держаться на жердочке, и его круглые черные глазки беспрестанно закрывались, но он будил сам себя и до последнего зевка дергал ослабевшими крыльями»⁴⁴⁵.

История эта, приведенная в романе в связи с иным сюжетом – медленным угасанием отца Лизы – Егора Николаевича Бахарева, на самом деле многозначна. В лесковских размышлениях о свободе в России и «новых людях» она обозначает еще одну, к сожалению, так же тупиковую, линию анализа возможностей развития страны. Мечтания о действительной свободе и действительно позитивном деле в России, в которой только что сама власть приказала отменить рабство для

⁴⁴⁵ Там же. С. 512.

своих подданных, вдвойне утопичны, потому что, в отличие от соловьев, когда-то до поимки живших на свободе, жителям этой страны ничего подобного не снится. Точнее – давно нет тех поколений, которые бы помнили, что такое жизнь на свободе и своей тоской могли бы добавить воли к свободной жизни другим.

Это не значит, что вовсе не нужно делать попыток к изменению жизненных условий. Это значит лишь то, что задача эта не так проста, как представляется изображенным в романе «новым людям». Что же до «новых людей», то ничего, кроме недоумения, а зачастую и презрения, ни у автора, ни у читателя они не вызывают. По оценке старой крестьянки – няни Лизы Бахаревой, сопровождающей девушку в ее странствиях в мире «новых людей», одни из них были «простяки и подаруи», и другие «дармоеды и объедалы». Однако и ее, неграмотной старухи, трезвый взгляд, расходится с затуманенными социалистическими фантазиями оценкой честного Райнера: «“Это и есть те полудикие, но не вывихнутые цивилизацией люди, с которыми должно начинать дело”, – подумал Райнер и с тех пор всю нравственную нечисть этих людей стал рассматривать как остатки дикости свобододолюбивых, широких натур»⁴⁴⁶.

Впрочем, в конце концов? Райнер прозревает. В своем заключительном разговоре с Лизой он произносит приговор «делу» «новых людей»: «...От всей души желаю, чтобы так или иначе скорее уничтожилась жалкая смешная попытка, профанирующая учение, в которое я верю. Я, социалист Райнер, буду рад, когда в Петербурге не будет Дома Согласия. Я благословлю тот час, когда эта безобразная, эгоистичная и безнравственная куча самозванцев разойдется и не станет мотаться на людских глазах»⁴⁴⁷. И в этом же разговоре зву-

⁴⁴⁶ Там же. С. 545.

⁴⁴⁷ Там же. С. 630.

чит и естественное продолжение «социалистической затеи» – надежда на то, что если Россия не годна для этого эксперимента, то не одна же она страна на свете: «Так клином земля русская и сошлась для нас!», – с пафосом провозглашает неугомонно-фанатичная Лиза.

И в самом деле – мировой революционер Райнер отправляется воевать в Польшу. Лиза же, так и не сломленная в своем желании включиться в истинную борьбу за «новое время», умирает. Последние слова ее, сказанные Женни, таковы: «... С ними у меня общего... хоть ненависть... хоть неумение мириться с тем обществом, с которым вы все миритесь... а с вами... ничего, – добавила она и захлебнулась»⁴⁴⁸.

Но ни этой печальной нотой завершается роман. Многократно и постоянно звучащее в разных негативных контекстах его ключевое слово «некуда» в финале обретает неожиданно позитивный смысл. Рассуждая о продолжающейся в печати болтовне литературных «новых людей», один из подлинных людей дела, не чуждый зарождающегося в России земства, говорит: «Я, брат, точно, сердит. Сердит я раз потому, что мне дохнуть некогда, а людям все пустяки на уме; а то тоже я терпеть не могу, как кто не дело говорит. Мутоврят народ тот туда, тот сюда, а сами, ей-право, великое слово тебе говорю, дороги никуда не знают, без нашего брата не найдут ее никогда. Все будут кружиться, и все сесть будет некуда»⁴⁴⁹.

* * *

«Была, – пишет Лесков о романе Чернышевского «Что делать?», – (и это очень недавно) на Руси ужасная эпоха фразерства, страшного, разъедающего и все импонирующего фразерства. Тургеневский Рудин – сын этой эпохи и ее памятник. Началась другая эпоха. Пошел запрос на Инсаровых. Инсаровых оказалось очень мало. Потому как инсаровское

⁴⁴⁸ Там же. С. 691.

⁴⁴⁹ Там же. С. 708.

дело нам непривычное. Явились Базаровы. Тургенев переживал эти метаморфозы и, стоя с мастерской кистью в руке, срисовал их в свой прелестный альбом. Все они стоят перед нашими глазами, от слабовольного, нравственного импотента Рудина до сильного и честного Базарова. Тип Базарова многим нравится, многим не нравится. Мне лично он нравится, но я бы позволил себе пожелать ему быть несколько мягче, не мусолить собою без нужды непривычного глаза, не раздражать без дела чужой барабанной перепонки и даже, пожалуй, не замыкать сердца для чувств самых нежных, ибо они не мешают героизму.

Уроды Рудины, после предания этого типа посмеянию, шатались без дела. Неспособность к самостоятельному труду, неспособность «слепую бабку кормить» была в них очень уж ярка.

...Талантливым пером Тургенева обрисован Базаров, произнесено слово «нигилизм», и завелись, или стали разводиться, думаете, нигилисты? Нет, стали разводиться, или, лучше сказать, никто не стал разводиться, а рудинствующие импотенты стали импотентами базарствующими.

...*Нигилисты*, которых мы видим и которые нам успели надоесть своими гадостями, достались нам по наследству, а сгруппировал их и дал им пароль и лозунг... Иван Сергеевич Тургенев. После его «Отцов и детей» стали надюжаться эти уродцы российской цивилизации. Начитавшись Базарова, они сошлись и сказали: «Мы сила». Что ж нам делать теперь? Так как они никогда не думали о том, *что* им *делать*, то, разумеется, сделали то, что делают обезьяны, то есть стали копировать Базарова. Как же его копировать? Ну, обыкновенный прием карикатуристов в ход. Взял самую резкую черту оригинала, увеличил ее так, чтобы она в глаз била, вот и карикатурное сходство. То и сделано. Базаровских знаний, базаровской воли, характера и силы негде взять, ну копируй

его в резкости ответов, и чтоб это было позаметнее – доведи это до крайности. Гадкий нигилизм весь выразился в пошлом отрицании всего, в дерзости и в невежестве. Отрицание это будто бы и есть самый нигилизм, а дерзость и невежество его последствия. Дерзость и невежество нигилиствующих Рудинных не имеют пределов и доходят до злобы.

...У людей этого разбора сострадание не в нравах. Посадите такого господина на какое хотите место, он сейчас и пойдет умудряться, как бы ему побольнее съехать *не своего*. ...Велите ему двух сотрудников рассчитать: нигилисту даст деньги, а не нигилиста десять дней проводит. ...Что ему до того, что у этого сотрудника жена без башмаков, дети чаю не пили, хозяин с квартиры гонит? Квартира *отрицается*, потому фаланстерия будет; жена *отрицается*, потому что в «естественной» жизни (у животных, например) нет жен; дети и подавно *отрицаются*, их община будет воспитывать; родители им не нужны.

...Жалеть никого не следует, потому что
Век жертв очистительных просит.

Помогать – нечего ваться, потому что “чему уцелеть, то останется”. Чувства – вздор, любовь – вздор, совесть – вздор, идеи – вздор, все вздор, не вздор только *мы*, ибо *мы* есмь *мы*. Это еще старые типы, обернувшиеся только другой стороной. Это Ноздревы, изменившие одно ругательное слово на другое.

...Такова в большинстве грубая, ошалелая и грязная в душе толпа пустых ничтожных людишек, исказивших здоровый тип Базарова и опрофанировавших идеи нигилизма»⁴⁵⁰. Такова, по мнению Лескова, история развития нигилизма.

Как же на нигилизм отреагировал также работавший в

⁴⁵⁰ Лесков Н.С. Николай Гаврилович Чернышевский в его романе «Что делать?». В кн.: Библиотека русской критики. Критика 60-х годов XIX века. М., 2003. С. 214 – 217.

русле демократизма Чернышевский? Переносом акцента внимания на будущее. В романе «Что делать?», в отличие от прежде высказываемых «отрицаний» и «антипатий», автор сообщает исключительно о своих симпатиях. Он «вывел людей, которые трудятся до пота, но не из одного желания личного прибытка. Они вовсе свободны от всеобщего эписиерства (торгашества, узости. – С.Н.). Напротив, начав дело, так сказать, ни с чего, они тотчас вводят во все его выгоды всех мизераблей-работников и сами остаются хозяевами-распорядителями. Отсюда, по выводу автора, вытекает все хорошее для работающих; дело идет честно, в рабочей семье поселается взаимное доверие, совет да любовь. Удовольствия и все блага жизни каждому члену рабочей артели достаются очень дешево, никто не изнурен, не «лишний на пиру жизни». Никто ни к чему не принуждается. Напротив, коноводы дела люди очень мягкие, с которыми каждому легко, которые никого не обрывают, а терпеливо идут к своей предложенной цели, заботясь, прежде всего, о водворении в общине самой широкой честности, свободы отношений и взаимного доверия»⁴⁵¹. Через представление об этих людях и их деле читателю и доносится ответ на вопрос, «что делать желает г. Чернышевский».

Но это была реакция на нигилизм революционного демократа, составившая одну линию его (нигилизма) дальнейшего продолжения. Разбору этой линии и был посвящен роман «Некуда», позволивший судить, что по «левой» дороге Лескову с потомками нигилистов, вставших на дорогу революционного демократизма, не по пути.

Но ведь были и потомки нигилистов, которые шли по другой дороге. Эти отбрасывали базаровскую страсть к делу, базаровский профессионализм, базаровскую мораль и идейную честность. По этой дороге они шли, а Лесков взялся за ними

⁴⁵¹ Там же. С. 219.

понаблюдать. И появился «На ножах» против так называемых «гилистов». Кто же это?

Сами герои затрудняются дать себе наименование. Вот, к примеру, выдержка из разговора героев романа Иосафа Висленева с Глафирой Бодростиной: «Да что же такое мы сами? ...Я вас спрашиваю: что же мы? Всякая сволочь имеет себе название, а мы... мы какие-то темные силы, из которых неведомо что выйдет.

-...Все этак друг с другом... на ножах, и во всем без удержанья... разойдемся, и в конце друг друга перережем, что ли?

– На ножах и без удержанья, – повторила за ним Глафира, – и друг друга перережем. А что же далее?»⁴⁵²

В ответе на разбор романа Сувориным Лесков по поводу гилистов пишет: «Я не думаю, что мошенничество «непосредственно вытекало из нигилизма», и этого нет и не будет в моем романе. Я думаю и убежден, что *мошенничество примкнуло* к нигилизму, и именно в той самой мере, как оно примыкало и примыкает “к идеализму, к богословию” и к патриотизму»⁴⁵³. Однако почему же все-таки мошенничество примкнуло именно к нигилизму? И какой стала эта новая дорога?

Для ответа на эти вопросы начну с того общего, что было у нигилизма и гилизма. Общим был враг – прежний строй жизни. Самодержавие, небрежение законом, небрежение правами человека, безделье, крепостничество и его последствия, сословная мораль. Как реагировал на это нигилизм? Не только критикой, сарказмом и негодованием, но страстью к разрушению и обещанной созидательной работой – позитивным делом. Можем ли мы сказать, что Базаров не только бравировал, но и в самом деле ограничивает себя тезисом “мы место расчистим, а строить другие будут”? Нет. Сам он

⁴⁵² Лесков Н.С. Цит. собр. соч. Т. 2, книга вторая. М., 1993. С. 51.

⁴⁵³ Аннинский Л.А. Цит. соч. С. 12.

– трудоголик и профессионал – не может сидеть без дела и потому, разрушая (да и то, только в идейных дискуссиях), на самом деле занят строительством. (Очевидно, именно за это тургеневскому герою симпатизирует Лесков, а это дорогого стоит). Базаров, правда, не исключает, что в будущем нигилистам понадобятся беспринципные, но богатые фразеры и прилипалы, которых нигилисты будут использовать в своих целях. Но случилось ли это на самом деле и в каких формах, мы, по крайней мере, от Тургенева, не знаем.

На этом общее у нигилистов и гилистов заканчивается. Нигилисты – люди с обостренным чувством собственного достоинства и пониманием личной чести. Они готовы к самопожертвованию и не способны на подлость. Майор Форов, например, в лесковском романе «На ножах» тоже называется нигилистом, и по его фигуре мы можем судить о правильности только что сказанного. От базаровского нигилизма у него осталась всего лишь излишняя прямолинейности и резкость. Но все это – малость в сравнении с его человеческими качествами. Что же до профессионализма, то одно то, как в отставку из полка его провожали солдаты, говорит о нем как о человеке не только хорошо знающем свое дело, но человеке благородном и человечном. Более того: Форов – в ближайшем круге друзей Александры Синтяниной и Андрея Подозерова – главных позитивных персонажей произведения. Где-то надо сказать, что гилисты не положительное сокращение от нигилиста, а русское слово «гиль»

Гилисты – совершенно иное. Это, словами Лескова, – «ошалелая и грязная в душе толпа пустых ничтожных людишек, исказивших здоровый тип Базарова и опрофанировавших идеи нигилизма». Рассуждая перед «своими», гилист Павел Николаевич Горданов неудачи нигилизма в прошлом объясняет «грубостью базаровской системы», на место которой нужно поставить «негилизм» – борьбу с миром посред-

ством «хитрости и лукавства»⁴⁵⁴. Согласно гордановскому гилистическому плану, прежде, чем общество должно быть уничтожено, его следовало обобрать. На возражение правоверных нигилистов, что это будет «подлость», гилисты объявили, что их теория есть «дарвинизм». Желания одной из правоверных нигилисток Анны Александровны Скоковой («Ванскок») по-прежнему оказывать посильную помощь нигилистам – гражданским мученикам и страдальцам старого порядка, «новыми» людьми – гилистами высмеивались, а расходы такого рода признавались «непроизводительными». Гилисты утверждали, что верить ни во что нельзя и теперь всякому предоставляется возможность «вредить обществу по-своему»⁴⁵⁵.

Для этого, конечно, требовались железные нервы. Когда гилисты предложили Ванскок своими руками задушить кошку, то она этого не сумела. В то же время другая девушка подобное испытание выдержала блестяще: прервав игру на фортепиано, она встала, свернула шею попугаю, выбросила его в окошко, после чего спокойно села и продолжала доигрывать пьесу.

Гилистов в романе, кроме названного Горданова, олицетворяют Глафира Бодростина, Тихон Кишенский, Алина Фигурина, Иосаф Висленев. Каждая из этих фигур в силу своей беспринципности, готовности творить зло и неразборчивости в средствах заслуживает отдельного анализа. Однако при

⁴⁵⁴ Лесков Н.С. Цит. собр. соч. Т. 2 , книга первая. М., 1993. С. 162 – 163.

⁴⁵⁵ В одном месте романа Лесков употребляет слово «гиль» в значении «ничто». Так, новые люди говорят Ванскок: «не верьте ни во что, все, во что вы верили, – гиль». (Там же. С. 165). То есть гилизм и гилисты – это одновременно и обозначение того, что ничего нет, и наименование людей, которые ни во что не верят, делают все, что заблагорассудится, достигая своих целей любыми средствами и любой ценой.

всей их разности, они могут быть поделены на две неравные группы. Активные и инициативные – Горданов, Бодростина, Кишенский и Фигурина. Пассивные – Висленев и отчасти его сестра Лариса. О Висленеве мы имеем четкую характеристику Синтяниной: «Он тянулся за веяниями (Речь, естественно, о веяниях нигилистического толка. – С.Н.), его сфера был разлад, его натура была безнатурность, его характер был бесхарактерность»⁴⁵⁶.

Ко времени начала происходящих в романе событий более всех на пути гилизма преуспел (то есть нажил капитал) «жид» Кишенский, бледный прототип которого в образе Белоярцева – руководителя «ассоцианеров» и «коммунаров» встречался в романе «Некуда». Мелкий газетный сотрудник Кишенский начал гилистскую карьеру с того, что пошел в полицейскую службу и одновременно открыл «кассу ссуд». При этом он продолжал строчить в трех газетах разных идейных направлений, что позволяло ему делать «добро» одной рукой с тем, чтобы тут же другой рукой учинять зло. Деятельность его гилистами оправдывалась как эффективная борьба за существование.

Гилистический способ жизни легитимируется не только законами природы, но и тем, что практикующим его людям досталось поздно придти на общественную сцену – все богатства уже были в руках других. И им, как формулировал Горданов, не оставалось иного, как начать передел уже поделенного – «Кто идет в лес по малину спустя время, тому одно средство: встретил кого с кузовом и отсыпь себе в кузовок».

– Ты хочешь быть добр и честен? ...так будь же прежде богат, чтобы было из чего добрить и щедрить, а для этого.... Пересыпай, любезный, в свой кузов из кузова тех, от кого, как от козла, ни шерсти, ни молока. ...И теперь, приехав сюда из Петербурга, надо устремлять силы не на то, чтобы кого-

⁴⁵⁶ Там же. С. 400.

нибудь развивать, а на то, чтобы кого-нибудь... обирать. Это одно еще пока ново и не заезжено»⁴⁵⁷, – поучает Горданов Висленева.

В пользу мысли о том, что нигилизм эволюционировал в гилизм и стал очередной формой мировоззрения «новых людей», что я и надеюсь показать, говорит и сюжетное сходство некоторых линий романа «На ножах» с романом Тургенева «Отцы и дети». Как и у Ивана Сергеевича, к родственникам в провинцию из столицы приезжают два друга. У Лескова это Висленев, едуший к своей сестре Ларисе вместе с Гордановым, а у Тургенева – Аркадий Кирсанов и Евгений Базаров. Есть также два идейных антагониста: у Лескова – Горданов и Подозеров дерутся на дуэли, как Базаров и Павел Петрович. Однако в отличие от благородного нигилиста Базарова, оказывающего помощь раненому Павлу Петровичу, гилист Горданов жульничает – стреляет раньше поданного сигнала и чуть не убивает Подозерова. Кстати, и в этой лесковской сцене, рассмотренной по аналогии с тургеньевской, ярко видна эволюция нигилизма – мошенничество стало одной из линий, по которой он продолжил свое развитие. А вот отзыв о гилизме как продолжении нигилизма от майора Форова, которого в романе числят нигилистом старого закала: «...Это даже страшно, во что нынче обернулись эти господа; предусмотрительны, расчетливы, холодны... Неуязвимы ничем! В спириты идут; в попы пойдут... в монахи пойдут. Отчего же не пойдут? пойдут. Это уж начинается иезуитство. В шпионы пойдут... В шпионы!.. Да кто же взаправду Горданов? О, о-о! нет, видно прав поп Евангел, если Бог Саваоф за нас сверху не вступится, так мы мир удивим своею подлостью!».⁴⁵⁸ И ведь прав оказался Лесков. Мир подлостью мы-таки удивили. Линия «нигилизма – гилизма» в XX в., в конце концов,

⁴⁵⁷ Там же. С. 76 – 77.

⁴⁵⁸ Там же. С. 421.

привела к большевизму. Идея «цель оправдывает средства» материализовалась в масштабах страны.

Роман «На ножах» – о растлении. Ради чего? Ради обладания богатством для сытой жизни в собственное удовольствие, что подогревается охватившей людей в последние годы «всеобщей страстью к быстрой наживе»; ради власти над человеком с целью превращения его в раба, который будет удовлетворять желания и прихоти гилиста; ради такой трансформации общественной морали, при которой возникнет общество людей, в котором гилистические ценности превратятся из патологии в норму.

Эта тематика последовательно разворачивается в нескольких сюжетных линиях. Так, Тихон Кишенский и Алина Фигурина с помощью Павла Горданова делают своим рабом Иосафа Висленева. Однако здесь не обходится без того, чтобы «одна гадина не съела другую» – и Кишенский с Фигуриной обворовывают своего «подельника» Горданова.

Желающие поправить свои дела Горданов и Висленев едут в провинцию, где живет сестра Висленева и где они надеются заработать свои миллионы. Горданов – посредством убийства богатого мужа-старика Глафиры Бодростиной, которая после этого обещает выйти за него замуж. Висленев – имея на Глафиру собственные виды, для чего соглашается стать орудием убийства ее мужа.

И еще роман о том, что без морали не бывает общества. Нигилисты говорили об особой, «полезной для жизни» морали. «Новые люди» Чернышевского старались изобрести будущее общество и «будущую» мораль, сопутствующую ему. Но те и другие преуспели лишь в демонстративном отрицании. А жизнь, слава Богу, шла своим чередом.

Но вот явились гилисты со своим «ничто», которое, прежде всего, относилось к тому, что всегда почиталось святым. И в отличие от своих предшественников, они оказались людь-

ми практичными. И не мудрено: ведь им надо было отнимать кузовки у тех, кто раньше них сходил по ягоды. «Мужчины из числа этих перевертней, выбираясь из нового хаоса, ударились по пути иезуитского предательства. Коварство они возвели в добродетель, которую кичились и кичатся до сего дня, не краснея и не совестясь. Религия, школа, самое чувство любви к родине – все это вдруг сделалось предметом самой бессовестной эксплуатации. Женщины пошли по их стопам и даже обогнали их: вчерашние отрицательницы брака не пренебрегали никакими средствами обеспечить себя работником в лице мужа и влекли с собою неосторожных юношей к алтарю отрицаемой ими церкви. Этому изыскивались оправдания. Браки заключались для более удобного вступления в бесконечные новые браки. Затем посыпались, как из рога изобилия, просьбы о разводах и самые алчные иски на мужей... Все это шло быстро, с наглостью почти изумительною, и последняя вещь становилась горше первой»⁴⁵⁹. И еще: если нигилисты были прямолинейны и наивны, то гилисты додумались до того, что разрушение общественных традиций и морали посредством «ласкового спиритизма гораздо удобнее в наш век, чем путем грубого материализма».

Гилисты оказались несравненно сильнее нигилистов не только в самом замысле быстрого обогащения, но и в технологии его осуществления. Горданов, например, имел план, который должно было предложить всем желающим. По всей стране следовало завести конторы, в которых бы продавались бумаги на билеты правительственной лотереи. Секрет был в том, что все бумаги должны были продаваться на одни и те же билеты правительственной лотереи. Собрав средства, Горданов предполагал скрыться в Швейцарии.

Однако, возможно, самая талантливая из гилистов – Глафира, думала дальше: «Я буду богата. Ну, а далее?» В этом

⁴⁵⁹ Там же. С. 472.

же контексте в финале звучат слова Подозерова: «Да, да, не легко разобрать, куда мыдвигаемся, идучи этак на ножах, которыми кому-то все путное в ключья хочется порезать; но одно только покуда во всем этом ясно: все это пролог чего-то большого, что неотразимо должно наступить»⁴⁶⁰.

* * *

Мое внимание к творчеству Лескова не в последнюю очередь определяется содержательной реакцией его произведений на моральную и социально-политическую «злобу дня». И хотя эта «злоба» связана с современными Лескову событиями, она не конкретно-ситуативна, а философична и, стало быть, вечна. Всегда были люди, живущие по совести, и всегда были проходимцы, всегда были постепеновцы и нетерпеливцы, ниспровергатели. По этой причине, «злободневный» Лесков – писатель, философствующий сквозь время. И для этого в жанре «баснословия», как в «Левше», избираются темы вечные, такие, как, например, патриотизм. Слово, кажодневно произносимое в современной политической реальности.

Патриотизм (от греч. πατριότης – соотечественник, πατρίς – отечество) – нравственный и политический принцип, социальное чувство, содержание которого – любовь к отечеству и готовность человека подчинить ему свои частные интересы. Важность рассмотрения этого чувства диктуется, прежде всего, его социальной значимостью. Любовь к отечеству предопределяет приоритет интересов целого (страны, общества, государства) над интересами индивида, личности, равно как и готовность идти на жертвы ради этого приоритета.

Вместе с тем, в наименовании «патриот» (ко многому обзывающему и, как правило, лестному), заключены сложные вопросы. Во-первых, наше отечество, как для других людей их собственное, в своей истории и в настоящем бытии обна-

⁴⁶⁰ Лесков Н.С. Цит. собр. соч. Т. 2 , книга вторая. М., 1993. С. 339.

руживает не только совокупность дел прекрасных, достойных и благих, но и дел безобразных, недостойных, несущих зло и, стало быть, заслуживающих осуждения. Прославляя, гордясь и указывая, как на образец для подражания на первые, мы, если хотим оставаться справедливыми, не можем не указывать на вторые. Если же оправдывать и дела недостойные только потому, что они совершены нами (а своих, как кто-то считает, осуждать нельзя), то это, очевидно, патриотизм племенной, хотя, к сожалению, довольно распространенный.

Впрочем, в том, что считать достойным и благим, а что – постыдным и вредным, от нас, населения и граждан, требуется согласие. Если таковое достигнуто, то мы можем величать друг друга патриотами, а при несогласии – либо критиковать свое отечество, либо закрывать на безобразия глаза и упрекать явно осуждающих в отсутствии патриотизма. Интересно, остаемся ли при этом мы патриотами?

Еще более сложно, на мой взгляд, обстоит дело со второй половиной определения патриотизма – готовностью подчинить свои частные интересы интересам отечества, т.е. государства и/или общества. Примеры, когда при наличии противостояния личного и общественного индивид принимает решение жертвовать личным ради общественного, не часты. Напротив, мы повсеместно видим, что приоритет отдается личному. Но обычно тот, кто так поступает, склонен доказывать, что его личное совпадает с общественным и он патриот.

Думаю, что оба случая – жертвования личным ради общественного и подчинения личного общественному – следует считать отклонениями от нормы. Норма же – это не состояние, при котором личное и общественное совпадают, что было бы результатом «правильного» развития и «гармоничного» согласования интересов как личности (индивида, человека), так и общества (страны, государства). Такой гармонии

история не знает. Норма – это свободное бескорыстное волеизъявление личности без расчета на одобрение или избегания осуждения.

При каких же условиях свободное бескорыстное волеизъявление делается возможным, хотя для превращения этой возможности в действительность все равно требуется личностное решение? В этом случае не обойтись без включенности человека в культуру и приобщения к гражданственности как формы социального бытия. В этом случае становится возможным «сознательный патриотизм».

Но понимание включенности в культуру не равнозначно только знанию, участию в просветительском проекте. Для этого требуется понимание того, что М.М. Бахтин именовал «гуманитарностью мышления». Оно меняло представление о естественнонаучной парадигме мышления как единственной, в которой одна мысль отторгалась от другой. Гуманитарность мышления означает утверждение смыслового общения в поле культуры, например, между автором и читателем, в форме субъект–субъектных отношений. А эти отношения, в свою очередь, возникали только в ситуации диалога, когда на слово автора являлось ответное, равное авторскому, читательское слово.

Бахтин показал, что читатель воспринимает вовсе не слово как нечто вещное. Авторское слово для него есть выражение «ценностной активности, проникающей в содержание и претворяющей его. Так, при чтении или слушании поэтического произведения я не оставляю его вне себя, как высказывание другого, которое нужно просто услышать и значение которого ...нужно просто понять; но я в известной степени делаю его своим собственным высказыванием о другом, усваивая себе ритм, интонацию, артикуляционное напряжение, внутреннюю жестикуляцию...»⁴⁶¹

⁴⁶¹ Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. М. 1975. С. 58 – 59.

В авторской речи, конкретизируют бахтинскую позицию С.С. Неретина и А.П. Огурцов, «только и оказывается возможным диалог разных речевых жанров; где любое высказывание (единица речи), по сути, направлено на провокацию ответа или вопроса со стороны лица, внимающего этому высказыванию. Оно является границей другого высказывания». Для возникновения такого рода речи «необходимо погрузиться одновременно в текст и в глубину самого себя, в самосознание, то есть мыслить не о культуре, а мыслить и жить культурой»⁴⁶².

Говоря о патриотизме, надо подробнее сказать о разных его видах. Я уже назвал патриотизм неразвитый, «племенной», часто прибегающий к употреблению слова «отечество». Согласно этому виду патриотизма, индивид может совершать что угодно, лишь бы это не противоречило интересам его сообщества. Явление двойственной морали – «для своих» и «для чужих» – хорошо известно. Таков же и этот патриотизм.

Можно выделить и родственный «племенному» – патриотизм «бессознательный», не основанный на знании и собственном ответственном решении человека. Так действуют солдаты в строю, слепо выполняя приказ, почти автоматически. Редко – в результате осознанного решения, почти всегда – в состоянии аффекта, они могут совершить подвиг самопожертвования, который затем может быть будет назван патриотическим поступком. Но можно ли говорить об аффекте как проявлении патриотизма?

В период гражданской войны в России в начале XX в. крестьяне активно боролись против вторжений иностранных интервентов, но, как правило, до тех пор, пока интервенты находились на близком расстоянии от их деревень. Они защищали свои дома и не желали идти дальше. Поступали ли они патриотично? Не имея ясной связи с государством, буду-

⁴⁶² *Неретина С.С., Огурцов А.П.* Время культуры. СПб. 2000. С. 253.

чи не гражданами, а подданными с минимальным набором прав, они и патриотизм имели соответствующий – местный, локальный. Но и он был разумен: вряд ли имело смысл без обеспечения продовольствием и отказа от неизбежных мужских забот по хозяйству удаляться от дома далеко.

Впрочем, не стоит думать, что локальный патриотизм это нечто второсортное. В человеческой душе у него есть своя ниша и в отличие от патриотизма других видов он самый массовидный. Лев Толстой так писал о свое родовом гнезде накануне ухода 28 октября 1910 года: «Без своей Ясной Поляны я трудно могу представить Россию и мое отношение к ней. Без Ясной Поляны я, может быть, яснее увижу общие законы, необходимые для моего отечества, но я не буду до пристрастия любить его»⁴⁶³.

Есть, наконец, патриотизм разумный, нацеленный на лучшее желаемое будущее, «жертвенный». Он был явлен «декабристами» – офицерами-организаторами восстания 14 декабря 1825 года. Известна оценка А.И. Герцена, данная им, вышедшим «...сознательно на явную гибель, чтобы разбудить к новой жизни молодое поколение и очистить детей, рожденных в среде палачества и раболепия»⁴⁶⁴. Несомненно, что все офицеры-декабристы имели лучшее по тем временам образование – как домашнее, так и полученное в образовательных учреждениях. Они были знакомы с европейским строем жизни и европейской культурой, хорошо знали культуру отечественную. Собственно, именно в этом контексте они и породили в своей интеллектуальной среде идеи ограничения самодержавия, выработки Конституции, отмены крепостного права, народного просвещения и пр. Их интеллектуальный и нравственный импульс, равно как и поступок, можно считать

⁴⁶³ См.: *Басинский П.В.* «Лев Толстой: Бегство из рая». М., 2011. С. 53.

⁴⁶⁴ *Искандер.* Великому кн. Константину Николаевичу // Колокол. 1862. 22 ноября. С. 1289.

ярким образцом высшего вида патриотизма – патриотизма просвещенного, гражданского.

Не менее ярким примером проявления патриотизма, рожденного из знания, просвещения и гражданственности, был также поступок «декабристов без декабря» (М.Я. Гефтер) семи наших соотечественников 25 августа 1968 года. «Демонстрация семерых» была проведена на Красной площади и выражала протест против введения в Чехословакию войск СССР и других стран Варшавского договора для уничтожения «Пражской весны» – общественно-политических реформ в Чехословакии.

Конечно, в обоих случаях патриотические поступки были направлены против существующего государства, знаменовали необходимость его коренного совершенствования или смены. Они, конечно же, не поддерживались и даже осуждались большинством населения, снижали авторитет власти в глазах мирового сообщества. Однако вряд ли правомерно не считать их патриотами.

Вместе с тем, очевидно, что наше признание декабризма и «демонстрации семерых» патриотичными обуславливается исключительно тем, что оба явления принадлежат истории. И если, к примеру, подобное «демонстрации семерых» повторится сегодня, то она точно так же будет государством подавлена и общественным мнением большинства осуждена именно в силу их (государства и общественного мнения) «патриотизма».

Тема патриотизма обширна. Поэтому завершить я хотел бы с тем, что считаю главным – патриотизмом просвещенным, гражданственным. Под термином «просвещение» понимаются два явления. Идейное течение, особый тип мировоззрения в Европе и Америке XVIII в., основанный на убеждении в решающей роли разума и науки в познании «естественного порядка», который соответствует «подлинной» природе че-

ловека и общества. Очевидно, что это определение нельзя признать рабочим в связи с темой патриотизма. В рассматриваемом контексте уместно второе толкование, предложенное И. Кантом: «*Просвещение – это выход человека из состояния своего несовершеннолетия, в котором он находится по собственной вине. Несовершеннолетие есть неспособность пользоваться своим рассудком без руководства со стороны кого-то другого. Несовершеннолетие по собственной вине – это такое, причина которого заключается не в недостатке рассудка, а в недостатке решимости и мужества пользоваться им без руководства со стороны кого-то другого. Sapere aude! – имей мужество пользоваться собственным умом! – таков, следовательно, девиз Просвещения*»⁴⁶⁵.

Кантовское определение характеризуется рядом принципиально важных особенностей, которые стоит отметить. Во-первых, просвещение по Канту невозможно без такого качества личности, без такой ее решимости, при котором она отказывается от какого-либо внешнего патронажа или патернализма – «руководства со стороны кого-то другого». Просвещенность, во-вторых, есть решимость личности не просто признать возможность быть самостоятельной, но и реально «пользоваться своим рассудком» на свой страх и риск, т.е. осуществлять это практически.

Очевидно, что эти качества просвещенной личности напрямую никак не детерминированы уровнем социально-экономического или политического развития общества, состоянием государства, наличием или отсутствием гражданского общества и его институтов. И, с другой стороны, высокий уровень общественного развития не гарантирует просвещенности. Просвещенные люди появляются вне этих социальных детерминант, просвещение возникает как бы само по себе. Но так ли просвещение спонтанно или на чем-то все же основывается?

⁴⁶⁵ Кант И. Собр. Соч. в 6-ти томах. Т.6. М., 1966. С. 25.

Уже в самом кантовском определении содержится указание на такую основу. Основа мужества – знание. Без него не развит ум, которым человек может воспользоваться. Речь, однако, не идет о какой-либо обширной образованности. Для решимости пользоваться своим умом достаточно обладать знанием в какой-либо одной сфере. И именно в этой сфере от человека естественно ожидать мужественного использования своего ума.

Чтобы иметь возможность пояснить сказанное и полнее раскрыть тему патриотизма, я обращусь к одному из наиболее ярких и глубоких литературных произведений на эту тему – к философскому сказу Н.С.Лескова «Левша», а затем к отечественному пониманию патриотизма и «социабельности», раскрытому в его рассказе «Отборное зерно».

Как точно подметил Л.А. Аннинский, «баснословие» Лескова звучало «вызовом тому истовому, страшно серьезному, почти молитвенному народолюбию, которым было тогда охвачено общество»⁴⁶⁶. Народолюбие же, как известно, было и одним из синонимов русского патриотизма. Итак, что же по поводу патриотизма говорит Лесков?

Как помним, завязка сказа в том, что во время посещения Англии император Александр Павлович составил себе мнение, будто тамошняя оружейная кунсткамера содержит такие совершенства, «что как посмотришь, то уже больше не будешь спорить, что мы, русские, со своим значением никуда не годимся»⁴⁶⁷. Ему оппонирует сопровождающий атаман Платов. Однако его возражение – «мои донцы-молодцы без всего этого воевали и дванадесять язык прогнали» нельзя признать превосходящим замечание Александра I.

⁴⁶⁶ *Аннинский Л.А.* Сотворение легенд. См.: Лесков Н.С. Собрание сочинений в шести томах. Т. 5.

⁴⁶⁷ *Лесков Н.С.* Собрание сочинений в шести томах. Т. 5. С. 475.

Впрочем, в одном месте повести, рисуя образ Платова, Лесков выбивается из вроде бы определенной ему роли – олицетворения грубой силы, слепо любящей Родину. «Мысль Платова» была: «что и наши – на что взглянут, все могут сделать, но только им полезного ученья нет». (Здесь и далее выделено мной. – С.Н.). И совсем неожиданное, имеющее отношение к загадочному тезису о «полезном учении»: Платов мысленно «представлял государю, что у аглицких мастеров совсем на все другие правила жизни, науки и продовольствия, *и каждый человек у них себе все абсолютные обстоятельства перед собою имеет, и через то в нем совсем другой смысл*»⁴⁶⁸.

Что значит зашифрованный автором тезис «абсолютные обстоятельства» перед каждым человеком? Думаю, одна из разгадок – указание на такое устройство общества, при котором, во-первых, между человеком и неким Абсолютом нет всевластного промежуточного звена-посредника, как, например, в России самодержавного монарха. И, во-вторых, что каждый член общества равен всем остальным как в общественном сознании, так и в реальности, перед лицом закона.

Концентрированный тезис об «абсолютных обстоятельствах» далее раскрывается на примере увиденного левшой английского общества, жизни, личности и производственной деятельности работников, упоминаний о человеческих правах и «человечкиной душе». Именно на этой содержательной основе читатель составит себе представление об английском патриотизме и ему четче будет видна та скудная почва, на которой произрастает патриотизм российский, чья малая искра мелькнула в левше.

Итак, напоследок англичане дарят императору стальную блоху, умеющую танцевать, а император дает задание Платову изыскать способ, «чтобы англичане над русскими не превозвышались». Получив от атамана наказ, тульские мастера

⁴⁶⁸ Там же. С. 480.

не просто оказались вынуждены посредством своих знаний «жить своим умом», но были к этому обязаны. Они начинают действовать. Определив, что соперничество с англичанами вероятнее всего возможно в военной сфере, они выбирают именно того святого, который олицетворяет собой «военное одоление» и отправляются не в Москву или в Киев, а к избранному ими «профильному» святому – «мценскому Николе». После возвращения и приняв решение, как именно следует действовать, они изменяют весь порядок своей жизни – отделяются от мира и своего сообщества, наглухо закрывшись в отдаленной избе. Решение о том, как ответить англичанам, они оставляют исключительно за собой, не посвящая в это даже Платова. Думаю, что образом мастеров Лесков как бы иллюстрирует кантовский тезис о просвещении, добавляя к идее философа о мужественной решимости жить своим умом необходимую для этого основу: такая решимость возможна только у обладающего знаниями свободно действующего человека.

Соревнование русских мастеров с англичанами, как известно, завершилось вничью. С одной стороны, туляки превзошли англичан своим природным мастерством, в том числе и тем, что обходились без «мелкоскопа» («а у нас так глаз пристрелявши», – поясняет левша), но, с другой, «нимфозория» перестала делать дансе. Разбирая эту ситуацию после пояснений левши об образованности русских исключительно церковными книгами, англичане делают крамольное для русских заявление: «...Лучше бы, если б вы из арифметики по крайности хоть четыре правила сложения знали, то бы вам было гораздо пользительнее, чем весь Полусонник. Тогда бы вы могли сообразить, что в каждой машине расчет силы есть, а то вот хоша вы очень в руках искусны, а не сообразили, что такая малая машинка, как в нимфозории, на самую аккуратную точность рассчитана и ее подковок несть не может»⁴⁶⁹.

⁴⁶⁹ Там же. С. 496.

Далее в лесковской повести обнаруживается еще одна важная составляющая патриотизма – гражданственность. Как военный оружейник, обладающий недюжинными знаниями в своей области, левша обнаруживает, что посещавшие до него английский завод русские генералы знакомились с изготавливаемыми там ружьями в прямом смысле слова, не снимая перчаток. Левша же, когда засунул палец в ствол, обнаружил гладкую поверхность, что дало ему возможность заключить: англичане ружья, как мы, кирпичом не чистят и потому у них пули в стволах «не болтаются». Его последние слова перед смертью: «Скажите государю, ... чтобы и у нас не чистили, а то, храни Бог войны, они стрелять не годятся».⁴⁷⁰ Ощущая себя причастным к общему делу защиты Отечества и имеющий мужество на основе знаний пользоваться своим умом, левша заслуживает имени патриота.

То, что происходит с левшой, как только он сходит с трапа английского корабля на русскую землю, горько, но не удивительно и даже обыденно, как мы понимаем, не только для начала XIX столетия. Его сваливает на землю, обкрадывает и морозит в возках полиция, его не принимают в больницы как не имеющего «тугамента», ему, наконец, раскалывают затылок, когда волокут по ступенькам. От этого левша и умирает, открывая перед смертью выведенную у англичан «тайну».

Не умаляется ли патриотизм левши тем, что произошло с ним на родине? А если да, то многие ли способны на столь самоотверженную и далекую от взаимности любовь? Доводы левши, что он не хочет остаться в Англии и сделаться «превосходнейшим мастером», если и имели смысл при жизни знаменитого тульского мастерового, похоже, утратили его в наши дни. Очевидно, содержание понятия патриотизм со временем меняется. Сегодня оно все более сливается с понятием гражданственности, невозможной без личной свободы,

⁴⁷⁰ Там же. С. 503.

знаний и просвещения для того, чтобы пользоваться собственным умом. И ум этот подчас подсказывает решения, отличные от того, которое принял левша.

Народный патриотизм, общественность («социабельность» словами одного лесковского героя) автор «Левши» исследует также в рассказе «Отборное зерно». В нем нам является тот вид патриотизма, который был назван «племенным» и который один из героев именует нашим отечественным патриотизмом. Лесковский сюжет – классический пример отечественной «социабельности», смысл которой в том, «как вор у вора дубинку украл и какое от этого вышло для всех благополучие жизни».⁴⁷¹

Коротко сюжет таков. На большой выставке демонстрируется сноп пшеницы с зернами небывалого размера и качества, выращенной якобы в одной из центральных губерний России. К хозяину снопа с предложением о покупке идут разные иностранцы, но он из «чувства патриотизма» принимает решение продать всю собранную в его имении пшеницу русскому купцу. За продавцом, к тому же, идет слава щедрого жертвователя «на славян», воевавших на Балканах против турок. То есть перед нами – патриот из патриотов. При покупке составляется подробнейший договор, из которого следует, что купцу назад дороги нет и он, рискуя потерять крупный задаток, обязуется купить все зерно.

Каково же его удивление, когда приехав на место, он выясняет, что купил зерно вполне посредственное (сор), а знаменитый сноп был составлен из отдельных специально собранных по всему полю колосьев. Купец, однако, не теряется, а предлагает помещику купить даже больше и по более высокой цене, чем уже куплено, с тем, чтобы нагрузить баржу полностью (зерно предполагалось везти по реке) и чтобы на ней не было ничего чужого зерна. Так и сделали.

⁴⁷¹ *Лесков Н.С.* Собрание сочинений в шести томах. Т. 7. С. 282.

Далее купец страхует баржу⁴⁷² и отправляется к известному на реке лоцману, который проводит суда через Толмачевы пороги на Курином переходе и о котором говорится, что он «с вида сер, но ум у него не черт съел». Лоцман Иван Петров все понял, но отвечал так: «... У нас, на Куриной переправе, в прошлом году страховое судно затонуло и наши сельские на том разгрузе вволю и заработали, а если нынче опять у нас этому статья, то на Поросячем броде люди осерчают и в донос пойдут. Там ноне пожар был, почитай все село сгорело, и им строиться надо и храм поправить. Нельзя все одним нашим предоставить благодатьню, а надо и тем. А поезжай-ко ты нынче ночью туда, на Поросячий брод, да вызови из третьего двора в селе человека, Петра Иванова, – вот той раб тебе все яже ко спасению твоему учредит. Да денег не пожалей – им строиться нужно»⁴⁷³.

Естественно, баржа с «отборным» зерном пошла ко дну. «Зато на берегу точно гулянье стало – погорелые слезы высохли, все поют песни да приплясывают, а на горе у наемных плотников весело топоры стучат и домики, как грибки, растут на погорелом месте. И так, сударь мой, все село отстроилось, и вся беднота и голытьба поприкрылась и понаелась, и божий храм поправили. Всем хорошо стало, и все зажили, хвалящее и благодарящее господу, и никто, ни один человек не остался в убытке – и никто не в огорчении. Никто не пострадал!»⁴⁷⁴.

Но как же страховое общество, которое заплатило? Так это, – возразили рассказчику, – разве «социабельность, а не гадость?» «Да разумеется же социабельность!», – отвечал

⁴⁷² О страховых компаниях говорится: «Заводили у нас страховые компании господу иностранцы и думали, что их Рейн или Дунай – это все равно, что наши Свирь или Волга, и что их лоцман и наш – это опять одно и то же. Ну нет, брат, – извини!». Там же. С. 298 – 299.

⁴⁷³ Там же. С. 302.

⁴⁷⁴ Там же. С. 303.

рассказчик. «А страховое общество – не русская, а немецкая затея. А коли среди его акционеров есть и русские, то это такие, «которые с немцами знаются да всему заграничному удивляются и Бмисмарка хвалят». А Бимарк до того дошел, что «уже стал проповедовать, что мы, русские, будто «через меру своюю глупостью злоупотреблять начали», – так пусть его и знает, как мы глупы-то». И рассуждают так вовсе не «плуты и дураки», а «благополучные россияне»⁴⁷⁵.

Вот и рассуждайте после гилизма о пользе для России нигилизма как позитивного начала, а после крестьянского патриотизма о пользе капитализма и страховых обществ.

* * *

⁴⁷⁵ Там же. С. 304.

Мирознание земледельца в изображении А.П. Чехова

Е.Н. Булгаков, один из знатоков и ценителей творчества А.П. Чехова, полагал, что именно горестно-обнадеживающий настрой доминантен для чеховского взгляда на мир, для идейной тональности его произведений⁴⁷⁶. Так, в лекции, прочитанной сразу после смерти писателя в 1904 г. в Ялте и Петербурге, философ замечает, что отсутствие под каждым из чеховских произведений точной даты написания как бы указывает на их общий мировоззренческий контекст. По этой причине они и представляются нам «единым целым, проникнутым одним общим мировоззрением»⁴⁷⁷. В качестве метода анализа этого мировоззрения Булгаков предлагал суммирование возникающих при чтении мыслей и впечатлений. Конечно, в том, что это за впечатления, огромную роль играют художественные средства. Однако для понимания духовного мира художника и изображаемых им персонажей, подчеркивает Булгаков, важно остановить наше внимание не на художественной стороне, а на том, «что составляет святая святых в каждом человеке, будь он великий мастер или заурядный чернорабочий, *на его мирозерцании*»⁴⁷⁸ (Выделено мной. – С.Н.)

⁴⁷⁶Правда, сам Булгаков для данной характеристики употреблял термин «оптимопессимистичный», имея в виду, что хотя писатель и видел реальное торжество зла, тем не менее призывал к борьбе с ним и верил в грядущую победу добра // Путешествие к Чехову. М., 1996. С. 609–610.

⁴⁷⁷ Там же. С. 591.

⁴⁷⁸ Там же. С. 592.

Данные наблюдения философа вплотную подводят нас к большому и до настоящего времени не реализованному проекту – через художественные произведения Антона Павловича попытаться дать представление о мирознании народа в том виде, в каком оно виделось писателю. Приходится, однако, ограничить проект, сосредоточившись на двух важных, хотя и не самых многочисленных группах чеховских персонажей – крестьянах и помещиках.

С этой целью в настоящей работе я обратился ко всему массиву прозы А.П. Чехова, собранном в его полном академическом собрании сочинений и писем в тридцати томах, – от коротких рассказов начального периода творчества до финальных драматических произведений, выделив в нем около семидесяти, в которых представлены персонажи земледельцев. При этом, естественно, основное внимание было уделено наиболее важным чертам и характеристикам, отмечаемым Чеховым в его героях, а также определены наиболее значимые сферы, в которых оно проявляется. Таковыми мне представляются: отношения земледельцев с природой; их собственная природа, страсти, которыми они обуреваемы; отношения крестьян и помещиков между собой; отношения с городом и властью, религией и культурой. Это также их представления о собственности, праве и нравственности, где особое внимание уделено фигурам новой капиталистической эры, людям, выделившимся как из общины, так и из помещичьей среды.

В этой связи отмечу, что главным вопросом, поставленным перед земледельцами фактом отмены крепостного права, было – «что делать, как жить дальше», т.е. – о жизни в условиях объявленной сверху свободы, об основах и способах ее утверждения в обществе. Вопрос этот был равно важен и для крестьянина, и для помещика, поскольку логика их собственного исторического развития не подводила к новому

способу общественного бытия, основанного на личной свободе, самостоятельности и ответственности⁴⁷⁹. Поэтому отмена крепостного права оказалась не только одним из самых значительных, но и наиболее трудно переживаемым русским народом историческим явлением.

В самом деле, если вести отсчет от рубежа крещения Руси – конца первого тысячелетия, то из этого исторического времени около трехсот лет приходится на жизнь в условиях иноземного завоевания, а с середины XVII в. до второй половины XIX в. – на существование в условиях новой неволи – крепостного права. За ничтожным исключением, нормой жизни крестьянства, да и немалой части мелких помещиков, всегда была разной степени несвобода и нужда, а нередко и нищета. Вот почему жизнь в экономических условиях, требовавшая активной деятельности личности, выделения из общественного целого, становится главной проблемой пореформенного периода.

Время это описывается многими литераторами. Однако, в отличие от скептически или религиозно-идеалистически настроенных авторов, Чехов считал, что изменения общественной жизни, ведущие к еще большей свободе, должны произойти довольно скоро. Так, по наблюдению Горького, сделанном в ноябре 1901 г., он (Чехов. – С.Н.) полагал, «что в России ежегодно, потом ежемесячно, потом еженедельно будут драться на улицах и лет через десять – пятнадцать додерутся до конституции»⁴⁸⁰.

⁴⁷⁹ Это отличие России от Европы точно подметил Герцен: «Народы Европы вложили столько души в прошлые революции, пролили столько своей крови, что революции эти всегда у них в памяти и человек не может сделать шагу, не задев своих воспоминаний, своих *фуэросов*» (традиций. – С.Н.). Напротив, «...русская история была историей развития самодержавия и власти». *Герцен А.И. Собрание сочинений в тридцати томах. Т. 7. М., 1956. СС. 146, 150.*
⁴⁸⁰ *Горький М. Собрание сочинений в 30-ти т. М., 1954. Т. 28. С. 199.*

Итак, что же фиксирует Чехов в отведенное ему историей время наблюдения – от восьмидесятых годов XIX столетия до начала XX в.?

* * *

Что касается первооснов мирознания земледельца, то тут Чехов наследует традицию, основанную еще Пушкиным и И.С. Тургеневым. Как и его великие предшественники, он развивает мысли о глубинной связи (подчас – неразрывности, даже слитности) крестьянина, а часто и помещика с природной средой и их зависимость от собственной природы – власти страстей. Чехов фиксирует, что в этой сфере русский земледелец меньше всего подвергся окультуриванию и очеловечиванию, что он, как и его далекие предки, по-прежнему неотрывен от природного бытия, со-природен лесу, реке, полю, подчинен обитающим внутри него непреодолимым силам.

Органично въезжает в бесконечную степь обоз с шерстью, везущий в гимназию Егорушку (рассказ «Степь»). Природа, люди и обоз соединяются в сознании маленького героя в одно целое, неуничтожимое и как бы перетекающее друг в друга. Вот мальчик с двадцатилетним кучером Дениской, попрыгав для развлечения на одной ноге, ловят кузнечика, гладят его пальцами, а затем скормливают ему жирную муху, насосавшуюся крови. Кузнечик отъел мухе живот и снова, выпущенный на волю, затаил свою песню. Не погибла и муха – она расправила крылья и без живота полетела к лошадям.

Степь, как живое существо, воздействует на путешественников, держит их в своей благодатной власти. «Едва зайдет солнце и землю окутает мгла, как дневная тоска забыта, все прощено, и степь легко вздыхает широкой грудью. Как будто от того, что траве не видно в потемках своей старости, в ней поднимается веселая, молодая трескотня, какой не бывает днем; треск, подсвистывание, царапанье, степные

басы, тенора и дисканты – все мешается в непрерывный, монотонный гул, под который хорошо вспоминать и грустить... О необъятной глубине и безграничности неба можно судить только на море да в степи ночью, когда светит луна. Оно страшно, красиво и ласково, глядит томно и манит к себе, а от ласки его кружится голова»⁴⁸¹. Более того: природа кажется единой с защищающими человека божественными силами. Егорушка видит как зажглась, а потом угасла вечерняя заря, как «ангелы-хранители, застилая горизонт своими золотыми крыльями, располагались на ночлег»⁴⁸².

Небо и земля столь тесно соединены друг с другом, что два пастуха, стерегущие в ночной степи овец (рассказ «Счастье»), как бы втиснуты между ними: старик лежит, положив локти на пыльные листья подорожника, а «над самым лицом» лежащего рядом молодого парня «тянулся Млечный путь и дремали звезды»⁴⁸³.

Впрочем, не только природа в представлениях человека довлеет над ним, но и человек словно распространяет свою жизнь на природу. В рассказе «Свирель» охотник ведет разговор со старым пастухом. Иносказательно сообщая собеседнику о заботящем его приближении смерти, старик говорит о также умирающей, как ему кажется, окружающей природе – исчезающей птице, звере, пчелах, рыбе. И солнцу, и небу, и рекам, и тварям – всему этому пропадать время пришло, – говорит старик. «Да, брат, куда ни взглянь, везде худо. Везде!»⁴⁸⁴.

Ощущение единства с природным целым не покидает крестьянина и тогда, когда он волею судеб оказывается в другом социальном статусе, как, например, отправленный умирать

⁴⁸¹ Чехов А.П. Полное собрание сочинений в 30-ти т. М., 1985. Т. 7. С. 45–46.

⁴⁸² Там же. С. 65.

⁴⁸³ Там же. Т. 6. С. 210.

⁴⁸⁴ Там же. С. 324.

домой бывший крестьянин, а теперь бессрочноотпускной солдат из рассказа «Гусев». Гусев плывет на пароходе и возникающие у него новые ощущения требуют осознания. Пароход сильно качает и Гусев воображает себе, что судно наскочило на рыбину, а бьющие в его бока ветры – как злые собаки, которые были прикованы где-то цепями, но теперь с цепей сорвались. Когда солдат засыпает, эти образы постепенно сменяются деревенскими, наполненными не только родными лицами, но деревьями, травами, животными. В полузабытьи Гусеву кажется, что за бортом парохода стоят быки и лошади. Они живые и тянутся к человеку. А вот море и пароход – бессмысленные и жестокие создания. Железное чудовище беспощадно режет миллионы волн, а море, будь у него силы, сожрало бы пароход. Чехов замечает, что когда солдат умирает, его зашивают в мешок и он «становится похожим на морковь или редьку: у головы широко, к ногам узко...»⁴⁸⁵. Брошенное в воду тело принимается обитателями морских глубин совершенно спокойно, как естественная часть их мира, и даже наткнувшись на тело акула, лениво играет с ним, прежде чем начать рвать зубами. Создается впечатление, что этот мало что понимавший при жизни человек, к тому же выдернутый, подобно овощу, из родной почвы, как при жизни, так и в финале своего бытия, употребляется для какой-то неизвестной, чуждой ему, но неизмеримо более масштабной и значимой цели. Да и о человеке как таковом здесь вряд ли можно говорить. Гусев – скорее, частица, на время изъятая из природного целого и по прошествии времени в это целое возвращаемая.

Господство природы над человеком Чехов особенно отчетливо видит в проявлениях человеческих страстей, таких как, например, страсть к охоте. В рассказе «Рано!» старик Филимон Слюнка и Игнат Рябов сидят в трактире и просят

⁴⁸⁵ Там же. Т. 7. С. 338.

у хозяина дать им на время ружье Слюнки, которое тот заложил за давно пропитый рубль. Когда уговорить трактирщика не удастся, охотники без ружья все же идут к лесу и там, на опушке, «стоят как вкопанные, молчат, не шевелятся, и руки их постепенно принимают такое положение, как будто они держат ружья с взведенными курками...»⁴⁸⁶.

Егор из рассказа «Егерь» точно так же находится во власти своей страсти к охоте. Даже своевольный поступок барина, женившего Егора, дабы отвести его от охоты, ничего не меняет. Весь рассказ – краткий разговор Егора со случайно встреченной женой. Дома он не только не живет, но и заходит до крайности редко и объясняет это так: «...что я вашим деревенским занятием брезгаю, так это не из баловства, не из гордости. С самого младенчества, знаешь, я окромя ружья и собак никакого занятия не знал. Ружье отнимают, я за удочку, удочку отнимают, я руками промышляю. Ну, и по лошадиной части барышничал, по ярмаркам рыскал, когда деньги водились, а сама знаешь, что ежели который мужик записался в охотники или в лошадниги, то прощай соха. Раз сядет в человека вольный дух, то ничем его не выковыришь. Тоже вот ежели который барин пойдет в ахтеры или по другим каким художествам, то не быть ему ни в чиновниках, ни в помещиках. Ты баба, не понимаешь, а это понимать надо»⁴⁸⁷.

Рассказ «Он понял!» – также повествование о всеобъемлющей охотничьей страсти, владеющей крестьянином Павлом Хромым, которая по силе своего воздействия на человека оказывается подобна иной сильной страсти – страсти к спиртному. Сюжет незатейлив. Мы застаем Хромого крадущимся по лесной тропинке с целью убить мелкую и вовсе не охотничью птицу – скворца. Следом движется дворняга, которая также, похоже, одолевается той же страстью, что и

⁴⁸⁶ Там же. Т. 6. С. 116. .

⁴⁸⁷ Там же. Т. 4. С. 80 – 81.

охотник. Эхо первобытного, звериного, инстинктивного зова, который слышит охотник, отдается в сказочной древности его оружия. Его ружье – «заржавленная трубка в аршин длиною, с прицелом, напоминающим добрый сапожный гвоздь, вделана в белый самодельковый приклад, выточенный очень искусно из ели, с вырезками, полосками и цветами. За незаконным занятием – охотой ранее разрешенного числа – Хромого застает господский приказчик.

Из дальнейшего монолога – исповеди крестьянина перед его судьей помещиком Волчковым, становится понятно, какие мучения он претерпел, борясь с искушением поохотиться: не пил, не ел, как дурной ходил. Водку пил – не помогает – тоска пуще прежнего. И все тянет в лес, да к болоту. С тоски разбил ружье, а потом починил. Пробовал и на духу каяться. Батюшка сказал: баловство. Но Хромой определяет это иначе: «болесть... Все одно как запой»⁴⁸⁸.

* * *

Отношения крестьян и помещиков между собой вскрывают не менее значимый мировоззренческий пласт, чем отношения с природой, – именно здесь обнаруживаются наиболее важные, связанные с практической деятельностью, проявления человека. Конечно, описываемое Чеховым время внесло существенные корректировки в дореформенные отношения, однако того, что называлось пережитками крепостных порядков, и в это время было с избытком. По наблюдениям Чехова, не только помещики, но и сами крестьяне часто не были готовы к тому, чтобы эти отношения менять. Рассказ «Новая дача» с этой точки зрения представляет самый большой интерес.

Действие начинается с того, что возле деревни Обручановой строят большой мост. Строитель моста инженер Кучеров, которому приглянулись здешние места, перевозит сюда семью и строит дом, прозванный «новая дача». Приезжего

⁴⁸⁸ Там же. Т. 2. С. 175.

инженера с семьей крестьяне по привычке числят новыми господами. Основная масса крестьян – народ смиренный и бессловесный.

Рассказ этот вполне может считаться своеобразным социологическим очерком. В обычной «среднестатистической» пореформенной деревне периода безвременья еще не состоялась социальная дифференциация, способствовавшая выделению из числа крестьян новых активных элементов и община продолжала определять индивидуальную жизнь своих членов. В то же время «негативно ориентированное», темное, подпитываемое в основном памятью о прошлых обидах, крестьянское самосознание уже дает о себе знать. Поэтому уяснив, что «новые господа» на господ не совсем похожи: и жена инженера из бедной семьи, и инженер не штрафует крестьян за их проступки, не мстит им, а взывает к их совести и идеалам добрососедства («Разве это по-соседски? ...Разве так поступают порядочные люди? ...За что же вы вредите мне на каждом шагу?») – крестьяне не находят в себе сил принять таких «господ».

Со своей стороны, и семье инженера недостает терпения выстроить новые отношения с крестьянами. Инженер, кажется, не понимает, что в крестьянстве еще не сформирован адресат его проповеди – нравственная, выделившаяся из «роевого» общинного целого, самостоятельная и ответственная личность. Реальное же крестьянство продолжает жить в общинной «человеческой стае», в которой зачастую правят наиболее активные, хитрые, наглые и бессовестные, поскольку «община-стая», в известном смысле, живет по закону выживания сильнейших.

Давая свое видение подобных коллизий, Чехов невольно оказывается вовлеченным в начавшийся в сороковых годах XIX столетия в русской философской мысли спор-конфликт между западничеством и славянофильством. Представлен-

ные в своих ранних вариантах Чаадаевым, с одной стороны, и Хомяковым, Киреевским и Аксаковым, с другой, эти воззрения, тем не менее, сразу же обозначили свою несовместимость. Ориентацией на создание условий для все большего высвобождения человека из общины, его переходом из «общества в общество» и построением механизмов для осуществления этого процесса, а в дальнейшем и всей общественной жизни, как известно, были озабочены «западники». И, напротив, провозглашение общины и продолжения жизни на условиях единства «крови, места и духа» (Ф. Теннис) как высшей точки истинно «русского способа бытия», отрицание идей правопорядка и индивидуальной нравственности как противных «русскому пути», отстаивали славянофилы. Именно эти позиции, их несовместимость и нередко доходящая до комизма противоречивость, просматривается в поступках, речах и мыслях чеховских героев. Вернусь, однако, к рассказу «Новая дача».

После отъезда инженера в Москву мужики идут мимо дачи и думают, почему же они не ужились вместе и расстались, как враги? «Что это был за туман, который застилал от глаз самое важное, и видны были только потравы, уздечки, клещи и все мелочи, которые теперь при воспоминании кажутся таким вздором?»⁴⁸⁹. Чехов перечисляет «мелочи», которые застилали глаза инженеру, но ничего не говорит о том, почему крестьяне не замечали добра, которое намеревались делать инженер и его жена. Или, может, действительно, крестьянам нужно было время, чтобы привыкнуть, а у новых господ терпения не достало?

Рассказ «Новая дача» – о столкновении двух миров, которые прежде всегда существовали параллельно и никогда не пытались пересечься, взаимосогласоваться. При этом, особая значимость рассказа с точки зрения интересующей

⁴⁸⁹ Чехов А.П. Ук. Изд. Т. 10. С. 127.

меня темы не столько в том, что в нем описывается крушение конкретной попытки их (этих миров) взаимосогласования, сколько в том, что впервые обозначается единственно верный путь успеха: терпение и последовательное действие более сильной стороны, что повлияет и позволит измениться стороне более слабой. В полной мере эта идея развивается Чеховым в рассказе «Моя жизнь».

Тема самостоятельного выстраивания жизни человека на основании его собственного взгляда на мир и самого себя в редком для Чехова позитивном ключе раскрывается на примере жизнеописания Мисаила Полознева. Герой – молодой человек, уже сменил девять должностей, так как на каждой должен был «сидеть, писать, выслушивать глупые, или грубые замечания и ждать, когда ... уволят»⁴⁹⁰. У Мисаила застарелый конфликт с отцом, для которого физический труд, которым хочет заняться Мисаил, «есть отличительное свойство раба и варвара». По мнению отца, для дворян, каковыми и являются Полозневые, труд должен быть исключительно умственным. В своих доводах отец упоминает, в том числе и о благородных предках и традициях, презрев которые сын «стремится в грязь». Мисаил же полагает, что «общественное положение», о котором так печется его отец, «составляет привилегию капитала и образования»⁴⁹¹, каковыми он не обладает. В результате, Мисаил начинает работать по малярному и кровельному делу. За эту «работу не по чину» его третируют жители города, знакомые при встречах конфузятся, а влюбленная в него девушка просит не кланяться ей при встречах на улице.

Решение Мисаила нравственно продуманно. В спорах со знакомыми интеллигентами Мисаил в ответ на рассуждения о мировом прогрессе отвечает: «Вопрос – делать добро или

⁴⁹⁰ Там же. Т. 9. С. 192.

⁴⁹¹ Там же. С. 193.

зло – каждый решает сам за себя, не дожидаясь, когда человечество подойдет к решению этого вопроса путем постепенного развития»⁴⁹². Очевидно, что в этом противостоянии, часто подаваемом Чеховым от первого лица, отчетливо слышится его собственный голос, отстаивается и исповедуемая писателем теория малых дел.

Новый поворот в судьбе Мисаила происходит с женитьбой на Маше, дочери крупного железнодорожного чиновника. Одержимая идеей, будто образованные и богатые должны работать как все, Маша уговаривает Мисаила переехать в деревенское имение и заняться сельским хозяйством. В этом, однако, их постигает та же участь, что и многих иных добропорядочных интеллигентов, задумавших личными делами помочь народу. Так, они строят школу для крестьянских детей, а крестьяне не только отлынивают от работы, но еще и воруют, обманывают, вообще платят за добро злом.

Чехов, как видно по многим его произведениям, не разделяет славянофильских идеализаций, в которых повествуется о благонравных крестьянах, живущих заветами старины. Крестьяне разные. Вот как говорит о них автор, используя голос одного из своих персонажей – крепкого хозяина мельника Степана: «Оно точно, нужда, да ведь нужда нужде рознь, сударыня. Вот ежели человек в остроге сидит, или, скажем, слепой, или без ног, то это, действительно, не дай бог никому, а ежели он на воле, при своем уме, глаза и руки у него есть, сила есть, бог есть, то чего ему еще? Баловство, сударыня, невежество, а не бедность. ...А разве богатый мужик живет лучше? Тоже, извините, как свинья. Грубиян, горлан, дубина, идет поперек себя толще, морда пухлая, красная – так бы, кажется, размахнулся и ляпнул его, подлеца. ...Все они, сударыня, не стоящие. Поживешь с ними в деревне, так словно в аду»⁴⁹³.

⁴⁹² Там же. С. 222.

⁴⁹³ Там же. С. 254.

Но работая, Мисаил постепенно привыкает к мужикам. И опять устами героя говорит автор: «В большинстве это были нервные, раздраженные, оскорбленные люди; это были люди с подавленным воображением, невежественные, с бедным, тусклым кругозором, все с одними и теми же мыслями о серой земле, о серых днях, о черном хлебе, люди, которые хитрили, но, как птицы, прятали за дерево одну только голову, – которые не умели считать. Они не шли к вам на сенокос за двадцать рублей, но шли за полведра водки, хотя за двадцать рублей могли бы купить четыре ведра. В самом деле, были и грязь, и пьянство, и глупость, и обманы, но при всем том, однако, чувствовалось, что жизнь мужицкая, в общем, держится на каком-то крепком, здоровом стержне. Каким бы неуклюжим зверем ни казался мужик, идя за своею сохой, и как бы он ни дурманил себя водкой, все же, приглядываясь к нему поближе, чувствуешь, что в нем есть то нужное и очень важное, чего нет, например, в Маше и в докторе, а именно, он верит, что главное на земле – правда, и что спасение его и всего народа в одной лишь правде, и потому больше всего на свете он любит справедливость»⁴⁹⁴.

В конце концов, Мисаил возвращается в город и постепенно люди начинают признавать его право на самостоятельное определение способа жить, от корпоративного «дворянского крепостного права». Ему удалось показать, что основанные на свободе личностные выбор и усилия, помноженные на терпение и сопротивление внешнему насилию традиций, лени и предрассудков, способны вывести человека из состояния общественного рабства.

Столкновению стереотипов новых и старых отношений в среде земледельцев – помещиков и крестьян – посвящен и рассказ «В родном углу». После нескольких лет учебы в институте в родовое имение в донецкой степи возвращается

⁴⁹⁴ Там же. С. 256.

молодая девушка Вера. В имении хозяйничает тетя, сорока двух лет (которая, если считать от даты написания рассказа, выросла уже после отмены крепостного права. – *С.Н.*). Жив и дедушка, о котором сообщается, что до воли он был очень вспыльчив и чуть что, сразу кричал: «Двадцать пять горячих! Розог!»⁴⁹⁵.

В имении Вере нечем заняться. Она молода, знает три языка, кончила институт, путешествовала и для чего? Казалось бы, девушка, просвещенная и не чуждая идеалов, имеет все возможности найти применение своим силам, внести лепту в преодоление не до конца изжитого рабства. «О, как это должно быть благородно, свято, картинно – служить народу, облегчать его муки, просвещать его. Но она, Вера, не знает народа. И как подойти к нему? Он чужд ей, неинтересен; она не выносит тяжелого запаха изб, кабацкой брани, немых детей, которых не любишь»⁴⁹⁶. Вот, к примеру, тетя сперва грубо обрывает заговорившего с Верой работника – отставного солдата, а потом и вовсе выгоняет его на том основании, что у него нет родни, а ей безродные не нужны. Вера, однако не вмешивается. «Какая польза? Положим, бороться с ней (тетей. – *С.Н.*), устранить ее, сделать безвредной, сделать так, чтобы дедушка не замахивался палкой, но – какая польза? Это все равно, что в степи, которой конца не видно, убить одну мышь или одну змею»⁴⁹⁷. Успокоившись и обдумав свою жизнь, Вера решает выйти замуж за неинтересного ей человека и быть как все. «Надо не жить, надо слиться в одно с этой роскошной степью, безграничной и равнодушной, как вечность, с ее цветами, курганами и далью, и тогда будет хорошо...»⁴⁹⁸. И Вера «сливается» с пейзажем.

⁴⁹⁵ Там же. Т. 9. С. 315.

⁴⁹⁶ Там же. С. 319 – 320.

⁴⁹⁷ Там же.

⁴⁹⁸ Там же. С. 324.

Несостоявшееся столкновение «старого» и «нового», тем не менее, вносит дополнительные краски в понимание природы привычной патриархальной жизни. Действительно, в этой жизни крестьяне и баре иногда обращались друг к другу со словами «братец» и «батюшка», но в этой же жизни крестьяне жили подобно скотам, часто отличаясь от них только способностью к взаимному озлоблению.

И тем не менее, будто не замечая происходящего, как о «золотом» времени вспоминает о временах «святой Руси» славянофилы, в том числе в «Семирамиде» Хомяков: «Наша древность представляет нам пример и начала всего доброго в жизни частной, в судопроизводстве, в отношении людей между собою»⁴⁹⁹. И отношения эти, основанные на добрых понятиях, устанавливались, согласно славянофилам, достаточно просто: просветительские и правовые функции с древности брали на себя православные монастыри, церкви, отшельники, которые как сетью накрывали всю Россию, и посредством которых «распространялись повсюду *одинаковые понятия* об отношениях общественных и частных. Понятия эти мало помалу должны были переходить в общее убеждение, убеждение *в обычай, который заменял закон*, устраивая, по всему пространству земель, подвластных нашей Церкви, *одну мысль, один взгляд, одно стремление, один порядок жизни*. Это повсеместное однообразие обычая было, вероятно, одною из причин его невероятной крепости, сохранившей его живые остатки даже до нашего времени, сквозь все противодействие разрушительных влияний...

Вследствие этих крепких, однообразных и повсеместных обычаев, всякое изменение в общественном устройстве, не согласное со строем целого, было невозможно. Семейные отношения каждого были определены прежде его рождения; в таком же предопределенном порядке подчинялась семья миру,

⁴⁹⁹ Хомяков А.С. Сочинения в 2-х т. М., 994. Т. 1. С. 463.

мир более обширный – сходке, сходка – вече и т.д., покуда все частные круги смыкались в одном центре, в одной Православной Церкви. Никакое частное разумение, никакое искусственное соглашение не могло основать нового порядка, выдумать новые права и преимущества. Даже *само слово: право было у нас неизвестно в Западном его смысле, но означало только справедливость, правду.* (Выделено мной. – С.Н.)»⁵⁰⁰.

И вот как рисует Чехов «подчинение устоям» в рассказе «Староста». Историю бывшего крестьянина Евдокима поведал в трактире подвыпивший «деревенский политик» по имени Шельма. Евдоким, местный мужик, стал работать на колокольном заводе и приехал к землякам в отпуск. Хвастает: я трудами, видите, чего достиг. Трудитесь и вы. Земляки решили погулять за его счет: «Давай, Евдоким, сотню миру на водку!» А Евдоким мужик степенный, божественный. Ни водки не пьет, ни табаку не курит. Не дам! «Как так! По какому полному праву? Нешто ты не наш?» И придумал Шельма, чтобы Евдокима выбрали старостой: тогда по закону он не сможет в течение трех лет своего места покидать. Приговор мирского суда, если форма не нарушена, не подлежит кассации. Евдоким к начальству: освободите от должности. Те – не имеем права, три года служи миру. А Евдокиму на завод надо. Он – к Шельме. Что делать? Тот нашел выход: посоветовал украсть. Евдоким сначала ни в какую: доброе имя и прочее. Шельма ему: «На чертей тебе, говорю, твое доброе имя?» Делать нечего. Евдоким украл, получил полтора месяца тюрьмы, отсидел и вернулся на завод. «Так вот, братец ты мой, какая умственность! Во всем вселенном шаре другой такой политики не найдешь, как в крестьянских делах»⁵⁰¹.

Рассказ «Мужики» правомерно отнести к одному из последних, если не к последнему из кругов чеховского «дере-

⁵⁰⁰ *Киреевский И.В.* Полное собрание сочинений в 2-х т. М., 1911. Т. 2. С. 115.

⁵⁰¹ *Чехов А.П.* Указ. изд. Т. 4. С. 120.

венского ада». Ад этот похлеще жизни при крепостном праве, о котором крестьяне у Чехова не только вспоминают с ностальгией, но и резонно отмечают, что на место исчезнувших порядков не пришли новые, и это стало причиной сегодняшнего нестроения. «При господах было лучше, – говорил старик. ... И работаешь, и ешь, и спишь, все своим чередом. В обед щи тебе и каша, в ужин тоже щи и каша. ... И строгости было больше. Всякий себя помнил». Господа «злых наказывали розгами», а «добрых награждали»⁵⁰².

Как бы дойдя до самой последней точки своих бытописаний и не выдерживая долее их ужасов, Чехов выносит свое заключительное суждение о деревне и мужиках. «В течение зимы и лета бывают такие часы и дни, когда казалось, что эти люди живут хуже скотов, жить с ними было страшно; они грубы, нечестны, грязны, нетрезвы, живут не согласно, постоянно ссорятся, потому что не уважают, боятся и подозревают друг друга. Кто держит кабак и спаивает народ? Мужик. Кто растрчивает и пропивает мирские, школьные, церковные деньги? Мужик. Кто украл у соседа, поджег, ложно показал на суде за бутылку водки? Кто в земских и других собраниях первый ратует против мужиков? Мужик. Да, жить с ними было страшно, но все же они люди, они страдают и плачут, как люди, и в жизни их нет ничего такого, чему нельзя было бы найти оправдания. Тяжкий труд, от которого по ночам болит все тело, жестокие зимы, скудные урожаи, теснота, а помощи нет и неоткуда ждать ее. Те, которые богаче и сильнее их, помочь не могут, так как сами грубы, нечестны, нетрезвы и сами бранятся так же отвратительно; самый мелкий чиновник или приказчик обходится с мужиками как с бродягами, и даже старшинам и церковным старостам говорит «ты» и думает, что имеет на это право. Да и может ли быть какая-нибудь помощь или добрый пример от людей корыстолюбивых,

⁵⁰² Там же. Т. 9. С. 299.

жадных, развратных, ленивых, которые наезжают в деревню только затем, чтобы оскорбить, обобрать, напугать?»⁵⁰³.

При чтении чеховских рассказов не покидает ощущение, будто есть что-то, что руководит жизнями всех этих людей и заставляет их жить не по правде, не так, как следовало бы. Оно никак не уловимо, не называемо, но есть во всём и являет себя постоянно. Пожалуй, одно из немногих понятий, подходящих для определения этого почти что щедринского «оно», это «жизненный уклад», «строй жизни», составляющийся веками и каждодневно проявляющий себя как через бытие всего социального целого, так и каждого отдельного человека. В основе жизненного уклада – законы вековой несвободной человеческой жизни. В политике они проявляются в деспотическом строе, небрежении законом, неправом суде, бесконтрольности и всеисилии бюрократии. В повседневной жизни эти законы формируют сознание людей, постепенно становясь их «второй природой». Подобное мнение высказывалось многими русскими мыслителями. Так, много споривший со славянофилами и их выдуманной благодатью «русской стариной» Герцен допускал совсем печальный поворот: «Долгое рабство – факт не случайный, оно, конечно, отвечает какой-то особенности национального характера. Эта особенность может быть поглощена, побеждена другими, но *может победить и она. Если Россия способна примириться с существующим порядком вещей, то нет у нее впереди будущего...*»⁵⁰⁴ (Выделено мной. – С.Н.). К слову сказать, хотя с тех пор в нашей истории так и не было серьезного примера опровержения этого опасения. По-прежнему в России из века в век в каждом поколении наряду с «крепостными» продолжают появляться неведомо откуда берущиеся «европейцы».

* * *

⁵⁰³ Там же. С. 311–312.

⁵⁰⁴ *Герцен А.И.* Указ. изд. С. 148.

Главным следствием отмены крепостного права для крестьян и помещиков стали не только исчезновение узаконенного принуждения в рамках отношений «крепостной – господин», но и устанавливаемая в обществе в качестве фундаментальной основы человеческого бытия необходимость свободного определения способов и средств жизни и деятельности. В этой связи для человека, продолжавшего оставаться несвободным внутренне, возникли страшные императивы: «делай, что хошь» и «иди, куда хошь». Эти новые условия жизни, без сомнения, изменили отношения земледельцев не только между собой, но по-новому организовали их связи с городом и властью, повлияли на строй религиозных умонастроений, сказались на состоянии нравственности.

В городе, расширившемся до того, что он поглотил село, человек вырывается из привычного, веками сложившегося круга бытия, здесь рушатся вековые традиции и стереотипы поведения, появляются неведомые ранее соблазны, чаще возникает необходимость делать личностный выбор между добром и злом. В одном случае человек останавливается и задумывается, в другом он, оказывается, уже давно все для себя решил и готов на любой грех или дерзание. Так, в «Рассказе неизвестного человека» возникает образ деревенской девушки, служащей горничной и промышляющей тем, что она все время что-то крадет у хозяина и его гостей. На вопрос героя, верует ли она в бога, девушка отвечает положительно, а на вопрос о страшном суде и ответственности за все совершенное зло, молчит: «Она ничего не ответила и только сделала презрительную гримасу, и, глядя в этот раз на ее сытые, холодные глаза, я понял, что у этой цельной, вполне законченной натуры не было ни бога, ни совести, ни законов, и что если бы мне понадобилось убить, поджечь или украсть, то за деньги я не мог бы найти лучшего сообщника»⁵⁰⁵.

⁵⁰⁵ Чехов А.П. Указ. изд. Т. 8. С. 144.

Для пореформенного крестьянина, начавшего высвобождаться из общинной однородности, город не только место отдаленное, подчас недостижимое, но и чуждое, враждебное, безжалостное. Ничего не знает старуха Василиса о своей дочери (рассказ «На святках»), отданной замуж за швейцара городской водолечебницы. И когда дочь, наконец, получает от старухи письмо, оказывается, что ее собственные письма до матери ни разу не доходили – занятый другими заботами ее муж все как-то не отсылал их, и они терялись.

Ни с кем не может поделиться своим горем – смертью сына, бывший крестьянин, а ныне городской извозчик Иона (рассказ «Тоска»): все седоки, с которыми он пытается заговорить, разговаривать с ним не расположены, и он, наконец, изливает свои беды лошади.

В бесконечное пространство, на деревню к бабушке взывает в хрестоматийном рассказе «Ванька» его маленький герой. Рассказ можно трактовать в узком плане, чуть ли не как бытописание: в деревне – собаки, воздух тих, прозрачен и свеж, небо со звездами, заяц, леденцы и орех в зеленой бумажке у барыни на елке. А в городе – неуютная комната, по обе стороны которой тянутся полки с колодками, хозяин, который нещадно бьет и даже образ – и тот темный. На самом же деле, если взглянуть на эту историю с точки зрения становления свободных личностей, какими сделались, например, Мисаил Полознев (рассказ «Моя жизнь») или Варламов – предприниматель из рассказа «Степь», о ком речь впереди, то место Ваньки может оказаться в этом, позитивном ряду. И на то, что Ванька все-таки выживет, Чехов надеется, как бы невзначай рассказывая о живучести кобелька Вьюна, которого сколько ни били, сколько не вешали, но он всегда оживал.

Огромное большинство крестьян, будучи выброшено из гарантированного крепостным состоянием нищенского, стадного, хотя и привычного бытия, в котором веками отра-

батывалась наука выживания, ведет себя чаще всего не по-человечески, пренебрегая основами религии и морали. И это понятно: в общине место личных религиозных и нравственных чувств занимают обычаи и традиции. Взяться же этим качествам у человека, только что выделившегося из общинного целого, неоткуда. Выпав из одной – общинной – структуры общественного бытия и не создав своей, построенной на личностном начале, человек на какое-то время оказывается как бы во «внеструктурном пространстве».

О людях, выпавших из привычного хода бытия, у Чехова написано много. Страшна своей откровенностью история, сообщаемая автором в рассказе «Барыня». Это произведение, наряду с «Мужиками», словно оказывается одним из чеховских разоблачений кочующего по страницам славянофильских текстов мифа о якобы изначально заложенной в русском народе христианской сущности, его особой избранности и высоте по сравнению с другими народами⁵⁰⁶. В чеховском рассказе по-

⁵⁰⁶ «Англичане, французы, немцы, – пишет, например, Хомяков, – не имеют ничего хорошего за собою. Чем дальше они оглядываются, тем хуже и безнравственнее представляется им общество. Наша древность представляет нам пример и начала всего доброго в жизни частной, в судопроизводстве, в отношении людей между собою». *Хомяков А.С.* Сочинения в 2-х т. М., 1994. Т. 1. С. 463. Как бы переключаясь с этой, частой для славянофилов темой, Чехов пишет рассказ «На чужбине», в котором приводится беседа русского помещика Камышева с французом гувернером Шампунем. Камышев всячески принижает Францию и французов, не смотря на обиду Шампуня, а в довершение, в подтверждение своей мысли об особой изобретательности и скромности русских, приводит следующее: «Русский ум – изобретательный ум! Только, конечно, ходу ему не дают, да и хвастать не умеет... Изобретет что-нибудь и поломает или же детишкам отдаст поиграть... Намедни кучер Иона сделал из дерева человечка: дернешь этого человечка за ниточку, а он и сделает непристойность. Однако же Иона не хвастает». *Чехов А.П.* Указ. изд. Т. 4. С. 164.

казано, как последовательно, методично и безжалостно попирается одна из основополагающих заповедей христианства «не прелюбодействуй», как ради того, чтобы выбиться в люди отец жертвует собственным сыном, не обращая внимания на его страдания. Развратная барыня Стрелкова назначила деревенского парня Степана Журкина быть ее любовником, для чего определила в кучера. Женатый Степан от «милостей» барыни отказывается. Однако отец Степана, Максим Журкин, считает, что сын должен исполнять роль «кучера»: «...Бедному человеку ничего не грех... И тебе было бы хорошо, и ... нам хорошо. Дурак!!»⁵⁰⁷. Утром Степан идет к барыне и между ними происходит объяснение: «...Барыня! – забормотал он. – Буду тебя любить... Буду все, что хочешь! Согласен! Только не давай ты им, окаянным, ничего! Ни копейки, ни щепки! На все согласен! Продам душу нечистому, не давай им только ничего! ...Пусть подохнут, окаянные, от злости!

...Барыня улыбнулась, вытерла глаза и громко засмеялась.
– Хорошо, – сказала она. – Ну, ступай! Я тебе сейчас твою одежду пришлю.

Степан вышел.

«Как хорошо, что он глуп! – подумала барыня»⁵⁰⁸.

В коллизии рассказа проявляется одна из конкретных ситуаций провала человека в «промежуточное пространство». Степан принимает личное решение, противоречащее ценностям и традициям общины – нарушает не только принцип безусловной покорности воле отца – старшины рода, но и отказывается принять норму, обязывающую делать все, что угодно, вплоть до самопожертвования, лишь бы это шло на общую пользу, способствовало выживанию.

Новое время приносит с собой и отношения, прежде совершенно неведомые крестьянству, да и многим помещикам.

⁵⁰⁷ Чехов А.П. Указ. изд. Т. 1. С. 258.

⁵⁰⁸ Там же. С. 263.

Так, в «Новой даче» отец и сын Лычковы приходят к «барину» инженеру Кучерову с просьбой нравственно-правового характера, на самом деле относящейся к компетенции мирового судьи. Со школы нам известен чеховский «Злоумышленник», в котором обнаруживается бездна между традиционными представлениями крестьянства и правовыми нормами нового времени. Также не может втолковать доктор пришедшему в больницу крестьянину (рассказ «Темнота»), что он не тот человек, от которого зависит освободить осужденного за кражу мужика. Для крестьянина врач – все равно господин, одно из проявлений власти и потому он непоколебим в своей уверенности: «Доктор-то говорит, а сам все время на кулак мне глядит: не дам ли синенькую? Ну, брат, я и до губернатора дойду»⁵⁰⁹.

Впрочем, не может осознать своей вины в виде «оскорбления действием» крестьянина и помещик Помоев (рассказ «Интеллигентное бревно»). Возникший конфликт – в том, что в ответ на побои, крестьянин подал жалобу мировому судье, приятелю Помоева, и тому нужно наказать помещика хотя бы штрафом.

«– Ну, хорошо, – начал Помоев... – ты Гришке 10 рублей присудил, а на сколько же ты его в арестантскую уpek?»

– Я его не упекал. За что же его?

– Как за что? – вытаращил глаза Помоев. – А за то, чтоб жалобы не подавал! Нешто он смеет на меня жалобы подавать?»⁵¹⁰

Никак не может признать своей вины за избиение крестьян и унтер Пришибеев, герой одноименного рассказа. Правовые отношения в его понятии, штука довольно однозначная и должна быть раз и навсегда усвоена крестьянами, точно так же как и он, честный и уважающий власть солдат, крепко усвоил их и всегда будет стоять на их страже.

⁵⁰⁹ Там же. Т. 6. С. 50.

⁵¹⁰ Там же. Т. 4. С. 36.

Вместе с тем, не только новые представления с трудом находят место в мирознании земледельца пореформенного периода, но и старые изживаются медленно и трудно. Так, помещик Трифон Семенович (рассказ «За яблочки»), как и в крепостные времена, наказывает пойманных в своем саду крестьян проверенными временем способами: «Вора он или запирает на сутки в погреб, или сечет крапивой, или же отпускает на свою волю, предварительно только раздев его донага...»⁵¹¹

Кроме привычки к жизни по-старому, в своих героях Чехов часто отмечает полное отсутствие соответствующих новому времени понятий, а также неумение как следует взяться за дело, которого не было в прежней крепостной жизни. Героиня рассказа «Бабые царство» помещица и одновременно хозяйка завода Анна Акимовна управляет промышленным предприятием как своими дворовыми в имении⁵¹². Ежемесячно она рассматривает массу просьб и распоряжается по каждой дать сколько-нибудь денег. И за деньгами в контору выстраивается очередь из «людей со звериными лицами, в лохмотьях, озябших, голодных и уже пьяных... А свои рабочие, не получившие к празднику ничего, кроме своего жалованья, и уже истратившие все до копейки, будут стоять среди двора, смотреть и посмеиваться – одни завистливо, другие иронически»⁵¹³. Размышляя о порядке управления, она неожиданно принимает решение вместо раздачи мелких денег многим, осчастливить крупной суммой – 1500 рублей – одного, выбранного наугад. «Ехать к какому-то Чаликову, когда дома постепенно разрушается и падает миллионное дело, и рабочие в бараках живут хуже арестантов, – это значит делать глупости и обманывать свою совесть»⁵¹⁴, – резюмирует отношение к этой новации Чехов.

⁵¹¹ Там же. Т. 1. С. 43.

⁵¹² Там же. Т. 8. С.

⁵¹³ Там же. С. 259.

⁵¹⁴ Там же. С. 261.

Рассказ, сопровождающийся подобными авторскими заключениями, для Чехова не исключение, а скорее правило. Исключение же составляют повествования о том, как и кем успешно делаются какие-либо позитивные дела. Эти «деловые люди» – либо редкие исключения из дворянской среды, подобно Мисаилу Полозневу или Егору Семеновичу, взрастившему великолепный фруктовый сад, который он не знает, кому передать (рассказ «Черный монах»), либо вовсе люди новые, поднимающиеся «с низа». Таков, к примеру, почти легендарный Семен Александрович Варламов, торговец шерстью из рассказа «Степь»⁵¹⁵. В описании Чехова, это небольшой человек с бородкой и простым, загорелым русским лицом, которое выражает «деловой фанатизм». «Этот человек сам создавал цены, никого не искал и ни от кого не зависел; как ни заурядна была его наружность, но во всем, даже в манере держать нагайку, чувствовалось сознание силы и привычной власти над степью»⁵¹⁶. Автор рисует лишь одно проявление Варламова – его недовольство бестолковым и нерасторопным помощником, но и этой зарисовки достаточно, чтобы почувствовать хватку настоящего предпринимателя. «Крутой старик..., – бормотал Пантелей. – Беда, какой крутой! А ничего, хороший человек... Не обидит задаром... Ничего...»⁵¹⁷.

Что же позитивного видит в Варламове старый погонщик? Ответ подсказывает тот же Егор Семенович из рассказа «Черный монах»: «Весь секрет успеха не в том, что сад велик и рабочих много, а в том, что я люблю дело – понимаешь? –

⁵¹⁵ В нашей критике с советских времен сложилось стереотипное отрицательное отношение к персонажам подобного рода как к эксплуататорам трудового народа. См., например: *Турков А.М.* Чехов и его время. М., 2003. С. 427. Образы эти у Чехова многомерны и потому отношение к ним автора нельзя назвать однозначно-отрицательным.

⁵¹⁶ *Чехов А.П.* Указ. изд. Т. 7. С. 80.

⁵¹⁷ Там же. С. 81.

люблю, быть может, больше, чем самого себя. ...Весь секрет в любви, т.е. в зорком хозяйском глазе, да и в хозяйских руках, да в том чувстве, когда поедешь куда-нибудь в гости на часок, сидишь, а у самого сердце не на месте, сам не свой: боишься, как бы в саду чего-нибудь не случилось»⁵¹⁸.

Любовь к делу и необходимость учиться честно делать его – вот то новое, что принесла с собой свобода от крепостного права, давшая некоторым земледельцам – крестьянину и помещику возможность стать хозяином – собственником. В рассказе «Жена» о новом качестве отношений народа и господ Чехова заключает: «Пока наши отношения к народу будут носить характер обычной благотворительности, как в детских приютах или инвалидных домах, до тех пор мы будем только хитрить, вилять, обманывать себя и больше ничего. Отношения наши должны быть деловые, основанные на расчете, знании и справедливости. ...Ах, если бы мы поменьше толковали о гуманности, а побольше бы считали, рассуждали да совестливо относились к своим обязательствам!»⁵¹⁹.

В этой связи перед исследователем возникает интересный и очень важный для проблемы мирознания земледельца вопрос о традиции русской литературы в изображении положительного героя, делового человека. Думаю, что положительные персонажи Чехова достойно продолжают гоголевских героев второго тома «Мертвых душ» – помещика Скудронжогло и предпринимателя Муразова, равно как и гончаровского Штольца, тургеневского Хоря, толстовского Левина.

По-своему «положителен» в своем жизненном деле и преодолении традиционных порядков жизни священнослужителей приходской священник отец Яков (рассказ «Кошмар»). Рисуя этот образ, Чехов еще раз подчеркивает одну важную особенность любого положительного героя: он невозможен

⁵¹⁸ Там же. Т. 8. С. 238.

⁵¹⁹ Там же. Т. 7. С. 498.

вне глубоко развитого нравственного сознания. В рассказе Кунин, помещик тридцати лет, чье имение заложено и который живет на жалованье неперемного члена по крестьянским делам присутствия, встречается с отцом Яковом по поводу открытия в селе Синьково церковно-приходской школы. Священник производит на него неприятное впечатление своей «неопрятностью». Кунин даже решает, что священник «недостаточно развит, кажется, ведет нетрезвую жизнь»⁵²⁰, о чем и пишет архиерею. Ситуация проясняется, когда священник приходит просить у Кунина места писаря, причем согласен вместо предлагаемых 20 рублей работать за десять. Выясняется, что на свое жалованье – 150 рублей в год – он платит за учебу брата, выплачивает долг за себя, дает деньги своему предшественнику – священнику, которого «лишили места за ...слабость». Поэтому дома у него нет даже чая, а просить помощи у нищих мужиков он не может из гордости⁵²¹.

Тема положительного героя, человека труда, делающего реальное полезное дело, становится одной из ведущих и сквозных для пьес «Чайка», «Дядя Ваня», «Три сестры» и «Вишневый сад» – своеобразной вершины чеховского творчества в котором, как выразился писатель в одном из писем, он пытался понять как «социальные условия весну отбирают»⁵²².

Общее для всех пьес настроение – ожидание ухода, отъезда, оставления прежнего привычного мира с его делением на господ, как правило – бездельников, и обслуживающего их и, за редким исключением, почти не представленного в пьесах, крестьянского мира. Действие разворачивается на фоне именно этих предотъездных ожиданий, ориентаций героев на то, что на новом месте им предстоит начинать но-

⁵²⁰ Там же. Т. 5. С. 67.

⁵²¹ Там же. С. 72.

⁵²² Цит. по: Турков А.М. Ук. соч. С. 56.

вую жизнь. Переживаемые героями ожидания смены места жизни обуславливают предметность их разговоров о том, как они жили и собираются жить в дальнейшем. При этом часто, в зависимости от того, есть ли в их теперешней жизни настоящий труд, они либо проявляют склонность рассуждать о тех проблемах, с которыми он реально связан, либо больше акцентируют внимание на фантазиях («философствованиях», как они это называют) о том, какой будет будущая жизнь, например, через двести – триста лет. Какие же содержательные моменты обнаруживает Чехов в своих исследованиях реалий и ожиданий героями «позитивного» труда?

Как известно, в «Чайке» сын Аркадиной, начинающий литератор своими писаниями невольно оказывается в конкурентных отношениях с ее любовником Тригориним. Но отношения эти разворачиваются не в плане авторского мастерства, а в том, какова реакция тех, кому они адресуются. Главные адресаты для Треплева – Нина Заречная и мать, для Тригорина – признающая его талант читающая публика. Труд Тригорина, за исключением Нины, такого отклика почти не имеет: во всяком случае, он сам говорит о себе как о посредственном писателе, которого не станут читать после Тургенева и Толстого. Маловероятно, чтобы и труд Треплева вызывал высокий отклик. По крайней мере, он не становится «мостиком» для налаживания отношений с матерью – сочинения сына она вовсе не читает. Не помогает он и в том, чтобы добиться ответного чувства у Нины. Треплев оказывается не востребован, как не востребована его любовь ни матерью, ни любимой женщиной и кончает с собой. В логике Чехова, истолкованной таким образом, оказывается, что одно из несомненных качеств «позитивного» труда – его нужность, в том числе – отклик на него у другого человека.

Два типа труда предлагает к рассмотрению Чехов в «Дяде Ване». Один – упорный и самоотверженный труд на благо

людей доктора Астрова. Другой – не менее упорный и самоотверженный, но для благополучия недостойного этих усилий человека – труд Ивана Петровича Войницкого, дяди Вани. Астров – реалист. Он прекрасно знает цену и народу, и интеллигенции. Он не надеется дожить до благополучных времен, когда труд будет неременным условием жизни каждого, а его результаты принесут осязаемое благо. И, тем не менее, Астров упорно трудится, потому что любит свое дело, сознает, что его усилия нужны людям и кроме того, может быть, помогут хоть немного изменить жизнь к лучшему (кроме врачевания, он, как помним, озабочен и спасением лесов).

Вместе со своей племянницей Соней трудится и дядя Ваня. Но его труд обеспечивает безбедную жизнь пустому человеку, это фактическое сознательное рабство, от которого герой не отказывается даже тогда, когда адресат его помощи – профессор Серебряков в полной мере обнаруживает личную непорядочность – профессор, как помним, предлагает продать имение, в котором живет дядя Ваня и остальные герои, и на вырученные деньги купить для него дачу в Финляндии.

Почему же «добровольные крепостные» живут именно так, на что надеются? Знаменателен финальный монолог Сони, который, как рефрен, сопровождают слова: «Я верую, дядя, я верую горячо, страстно... Наши страдания потонут в милосердии, которое наполнит собою весь мир, и наша жизнь станет тихой, нежною, сладкою, как ласка. Я верую, верую...»⁵²³. Что перед нами: ничем не объяснимая покорность, граничащая с «органическим» рабством; неверно понятое христианское смирение; личностная неспособность что-либо менять или слепая вера в судьбу? Ответа нет. Несомненно, однако, что и дядя Ваня, и Соня – люди, сильно уставшие и не имеющие сил и желаний что-либо менять в своей жизни. Очевидно, Чехов хотел сказать, что для «позитивного» труда

⁵²³ Чехов А.П. Указ. изд. Т. 12. С. 115 – 116.

непрерывно требуется либо страстное желание, какое есть, например, у Егора Семеновича, выращивающего любимый сад («Черный монах»), либо воля, как у доктора Астрова.

В «Трех сестрах» тема «позитивного» труда поворачивается двумя сторонами. Как скучный, неинтересный, изматывающий своей бессодержательностью сегодняшний труд. Так трудятся Ольга – в училище, Ирина – на телеграфе, а затем в городской управе, Андрей – в земской управе. Их надежда в том, что их сегодняшний труд, страдания когда-нибудь в будущем «перейдут в радость для тех, кто будет жить после...»⁵²⁴. И как труд «позитивный», который существует как прекраснотушные мечтания о тех, кто сегодня к труду отношения не имеет. Это «философствования», по-видимому, не слишком обремененных военной службой Вершинина и Тузенбаха о том, как будут жить и трудиться люди через двести – триста лет после них. На самом деле, это мечтания о том времени, когда, как верно замечает Андрей Прозоров, люди будут свободны «от праздности». Соединяясь, эти две стороны как бы доносят до нас одно целое: «позитивный» труд должен быть содержателен для настоящего и значим для будущего. Такова еще одна, фиксируемая Чеховым грань темы «позитивного» труда.

Возможно, наиболее полное развитие эта тема «полезного» труда получила в пьесе «Вишневый сад». В ней в концентрированном виде Чехов представил все множество составляющих ее аспектов. «Старый мир», в котором одни беспечно жили «в долг», за счет других, представлен разоряющейся помещицей Раневской, ее ни к чему не способным братом Гаевым, недалеким и бездельным помещиком Симеоновым-Пищиком, студентом-недоучкой Трофимовым, слугой Фирсом. За исключением студента и слуги, эти персонажи постоянно озабочены тем, что сегодня получило название «халявы» – дохода без труда. Так, Раневская ожидает денег от богатой родственницы и использует

⁵²⁴ Там же. С. 187–188.

их не по оговоренному условию для дочери, а для очередной поездки к любовнику в Париж. Гаев, мечтавший договориться об отсрочке платежей, неожиданно получает предложение служить в банке, к чему он совершенно не приспособлен, но стабильному доходу рад. Симеонов-Пищик, только что промотавший деньги, полученные за то, что по его землям прошла железная дорога, вновь попрошайничает у Раневской, а в финале появляется радостный – на его земле англичане нашли белую глину и теперь платят ему за аренду.

В отличие от этих людей «старого времени» предприниматель Ермолай Лопахин – человек дела. Происходящий из крепостных, он всего добился своим трудом и, в отличие от так называемых господ, демонстрирует им не только сохраненную с детства симпатию, но подлинное бескорыстие и даже готовность поступиться ради них своими интересами. Так, будучи экономически заинтересован в извлечении дохода от покупки имения с целью переустройства его впоследствии под дачи и получения высокого дохода, он, тем не менее, настойчиво и неоднократно советует поступить таким образом самой Раневской. Очевидно, что «капиталистический хищник», каким часто трактовался этот персонаж в отечественном литературоведении, личную выгоду бы не упустил, а, напротив, сохранив план до поры в тайне, потом воспользовался бы им самолично.

Почему же Лопахин ведет себя именно так? Отвлекаясь от многих объяснений, имеющих отношение к данной коллизии в самой пьесе, остановлюсь на одном, может быть в меньшей степени вероятном. Оно имеет отношение к тому, как Чехов видел будущее развитие страны. Мне представляется, что образом Лопахина писатель исследовал возможность установления так и не возникшей в действительности связи между Россией феодальной и буржуазной. Наверное, если бы такая связь возникла и такой переход состоялся, то дело до

большевистского переворота не дошло, для него не нашлось бы почвы, как не нашлось в европейских странах.

Впрочем, и Чехов понимал это, дворянство как элемент самодержавия в России было столь развращено крепостническими порядками, что сама идея трудиться, уподобляясь вчерашнему «чумазому», казалась ему абсурдной. По этой причине протянутая дворянству лопахинская рука повисает в воздухе. «Сейчас уедем, и вы опять приметесь за свой полезный труд», – иронизирует в финале в разговоре с Лопахиным Петя Трофимов. То, что Лопахин примется трудиться, несомненно, а вот займутся ли, наконец, чем-нибудь дельным остальные, включая мечтателя-болтуна Петю Трофимова, даже вопроса не вызывает.

В «Вишневом саде» тема «позитивного» труда получила у Чехова завершение. Писатель как бы подвел итог своим многолетним исследованиям о том, какой новый человек вместо ушедшего крепостного крестьянина и других персонажей старого общества может стать новым созидателем. В отношении помещиков-крепостников и иных облеченных властью «героев прошлого времени» вывод неутешителен: среди них нет почти никого, кто бы чего-нибудь стоил в деловом плане. Развращенные крепостным временем «господа» в новых условиях примеров самозабвенной деятельности не обнаруживают.

В то же время «позитивные» чеховские герои – рабочий Мисаил Полознев, торговец Семен Александрович Варламов, адвокат Михаил Подгорин, садовод Егор Семенович, священник Яков, земский врач Астров, предприниматель Ермолай Лопахин – строители нового мира, о котором так страстно мечтали три сестры.

* * *

Завершая попытку философской интерпретации чеховских произведений с особым акцентом на персонажах земледельцев, приведу одно важное наблюдение писателя из редкого для

чеховского творчества публицистического документа «Наше нищенство». Как отмечает Чехов, в самодержавной России, в которой на протяжении всей истории не было полноценной частной собственности, естественно, отсутствует и уважение к ней. Следствием этого стала «привычка не уважать чужой труд». Научиться «уважать чужой труд и чужую копейку»⁵²⁵, – в этом писатель видит одну из важнейших общественных задач. И поскольку эти качества не могут быть отнесены к обществу с отношениями крепостной зависимости, главное внимание Чехов сосредоточивает на прекращении состояния несвободы, на «позитивном» труде как главном инструменте и средстве освобождения человека.

Должен ли заниматься этими вопросами писатель? Безусловно, да. «Великий обвинительный акт, составляемый русской литературой против русской жизни, – писал А.И. Герцен, – это полное и пылкое отречение от наших ошибок, эта полная ужаса перед прошлым, эта горькая ирония, заставляющая краснеть за настоящее, и есть наша надежда, наше спасение...»⁵²⁶

Спасемся ли? Нет ответа. Знаем лишь, что Чехов «как все замечательные писатели... слишком много увидел, слишком много понял, слишком много создал. У него не было тех титанических сил, которые объясняют удивительное долголетие некоторых гениев – Тициана, Микеланджело, Гете или Толстого. Тот груз, который он поднял, – вся эта бесконечная русская печаль, вся безвыходность этой бедной жизни, вся эта безнадежность, это сознание, что ничего нельзя изменить, – этот груз был слишком тяжел для него, и он не выдержал, надорвался и ушел, не оставив в том, что он написал, ни надежд, ни обещаний лучшего будущего»⁵²⁷.

* * *

⁵²⁵ Там же. Т. 16. С. 241.

⁵²⁶ Герцен А.И. Ук. изд. Т. 2. С. 152.

⁵²⁷ Гайто Газданов. «О Чехове». В кн. «Русское зарубежье о Чехове. Критика. Литературоведение. Воспоминания». М., 2010. С. 173.

Чехов о «человеке несчастном»

Мристрастие А.П. Чехова к малым формам и редкие обращения к сравнительно большим, как, например, к пьесам или путевым очеркам («Остров Сахалин»), равно как и никогда не осуществленное намерение написать роман только невнимательному читателю может показаться чем-то, что исключает развернутый философский взгляд на действительность. В качестве отправной позиции, с которой писатель судил о человеке и мире, могло бы стать его утверждение «Все люди несчастны».

В последовательном проведении через все творчество этого инварианта человеческой жизни Чехову уступает даже Достоевский – одна из хрестоматийных «вершин» отечественной литературы. О своем центральном герое – «подпольном человеке», сконструированном на основе анализа той действительности, которую он видел и знал всего лучше, Ф.М. сообщал едва ли не с гордостью: «Подпольный человек есть главный человек в русском мире. Всех более писателей говорил о нем я, хотя говорили и другие, ибо не могли не заметить»⁵²⁸. Однако кроме «главного» человека в центр русского мира Достоевский помещал и иных, не менее значимых идеальных и светлых героев – таких, как князь Лев Николаевич Мышкин или Алеша Карамазов, чем универсальность «подпольности» как характеристики человеческого рода ставилась под вопрос.

⁵²⁸ Громова Н.А. Достоевский. Документы, дневники, письма, мемуары, отзывы литературных критиков и философов. М., Аграф, 2000. С. 87.

Тонкий философизм, присущий чеховскому взгляду на человека, был подмечен многими. С.Н.Булгаков, например, в своих лекциях 1904 г. отмечал: «Из всех философских проблем, которые могут представиться духовному взору мыслителя-художника, Чехова в наибольшей степени занимает одна, чрезвычайно характерная для всего его творчества, сделавшая его певцом хмурых людей, слабых и побежденных, тусклой и печальной стороны жизни. Наиболее часто и настойчиво ставится Чеховым ...вопрос не о силе человека, а об его бессилии, не о подвигах героизма, а о могуществе пошлости, не о напряжениях и подъемах человеческого духа, а об его загнивающих низинах и болотинах»⁵²⁹. В булгаковских, равно как и в иных характеристиках чеховского человека, инвариантом угадывается соединенная с несомненной авторской жалостью квалификация – люди несчастны. И в этом Булгаков не одинок.

Еще более жесткое обозначение присущего Чехову взгляда на мир дает Лев Шестов: «*настоящий, единственный герой Чехова – это безнадежный человек*», однажды описанный следующим образом. Это когда «с совершившимся фактом мириться нельзя, не мириться тоже нельзя, а середины нет». «Действовать» при таких условиях невозможно, стало быть, остается «упасть на пол, кричать и биться головой об пол». Шестов полагал, что так Чехов мог бы сказать обо всех без исключения своих героях.

Спора нет. Многим чеховским персонажам приходится жить именно в такой ситуации. Однако вовсе не всем. Не таков доктор Астров («Дядя Ваня»), Лопахин («Вишневый сад»), Мисаил Полознев («Моя жизнь»). Вместе с тем, даже занятых делом и живущих с надеждой героев Чехова не назовешь счастливыми. «Несчастье» у чеховского человека столь же родовое качество, как, например, прямохожде-

⁵²⁹ А.П. Чехов: pro et contra. СПб., 2002. С. 603.

ние или способность говорить. И этот взгляд роднит автора «Вишневого сада» со всеми великими писателями, в творчестве которых присутствует герой, увиденный на протяжении всего его земного бытия – с детских лет до последних дней. Вспомним хотя бы знаменитую трилогию Л.Н. Толстого «Детство», «Отрочество», «Юность», начинающуюся со сцены «встречи» Николеньки со смертью у гроба матери. Дальнейшая жизнь мальчика – собственная жизнь Толстого, вряд ли позволяет назвать его человеком счастливым. Что же нового увидел Антон Павлович в обыденном и универсальном человеческом свойстве? Что позволяет говорить о нем как о философе человеческого несчастья?

* * *

Для ответа на столь широкий вопрос нужно адресоваться ко всему творчеству Чехова. Я, однако, предметом рассмотрения сделаю широко известные рассказы «маленькой трилогии», опубликованные в 1898 г. рассказы «Человек в футляре», «Крыжовник» и «О любви». Что обнаруживается при их анализе?

Рассказ об учителе Беликове – «человеке в футляре», также как и «Крыжовник», сам помещен в «футляре»: он сообщается автором не прямо, а опосредовано. Учитель гимназии Буркин излагает историю Беликова своему товарищу по охоте ветеринарному врачу Ивану Ивановичу. При этом оба охотника также обретаются в «футляре» – сарае старосты Прокофия на самом краю села Мироносицкого. У Ивана Ивановича странная двойная фамилия «Чимша-Гималайский» – тоже своего рода оболочка, которая, однако, за естественную для столь русского имени не считается, и потому по фамилии врача не зовут и этой оболочки, необходимой каждому человеку, указывающей на его погруженность в родовое семейное целое, не замечают. Живет врач «около города на конском заводе» и на охоту приехал «подышать чистым воздухом»,

из чего можно заключить, что в предназначенном ему обиталище-футляре Ивану Ивановичу дышится не легко. Отдыхая, охотники говорят и о том, что жена старосты Мавра, «женщина здоровая и не глупая, во всю жизнь нигде не была дальше своего родного села, никогда не видела ни города, ни железной дороги, а в последние десять лет все сидела за печью и только по ночам выходила на улицу»⁵³⁰. (Еще одно футлярное бытие).

В заключение преамбулы на тему «футляр всеобъемлющ» Буркин предполагает, что одиночество, жизнь улитки или рака-отшельника, есть «явление атавизма», возникшее в те времена, когда предок человека еще не был общественным человеком и жил одиноко в своей берлоге. Нам, таким образом предлагаются примеры множества футляров, в которых живет, как оказывается, всякий обычный человек. И мы, сами того не замечая, в итоге вынуждены признать, что «футлярность» есть одно из основополагающих условий человеческой жизни.

Впрочем, что же из того? Разве может это обстоятельство само по себе делать людей счастливыми или несчастными? И в этой связи автор переходит к центральному герою рассказа – учителю греческого языка.

Беликов, в отличие от других, не просто живет в футлярах, он обожает их. Даже в хорошую погоду он ходит в калошах и в пальто на вате, содержит в чехле зонтик, часы и перочинный нож. Он носит темные очки, фуфайку, уши закладывает ватой, а когда садится на извозчика, то приказывает поднять верх. Свой дом Беликов также уподобил футляру: ставни, задвижки, крохотная спальня, кровать с пологом, ложась в которую он укрывался с головой. И даже во сне боялся – видел тревожные сны.

Свою любовь к «футлярности» он распространяет не толь-

⁵³⁰ Там же. Т. 10. С. 42.

ко в пространстве, но и во времени. Действительность раздражает его, держит в тревоге и поэтому он всегда «хвалил прошлое и то, чего никогда не было; и древние языки, которые он преподавал, были для него, в сущности, те же калоши и зонтик, куда он прятался от действительности жизни»⁵³¹.

Ясны для Беликова только циркуляры и газетные статьи, в которых что-то запрещалось. В запрещении было все определенно, в то время как в разрешении скрывалось что-то сомнительное и недосказанное. «И мысль свою Беликов также старался запрятать в футляр», – итожит автор.

Но Беликов, оказывается, не только тихий почитатель «футлярности». В нем есть нечто такое, что заставляет его коллег бояться его. «...Наши учителя народ все мыслящий, глубоко порядочный, воспитанный на Тургеневе и Щедрина, однако же этот человек, ходивший всегда в калошах и с зонтиком, держал в руках всю гимназия целых пятнадцать лет! Да что гимназию? Весь город! ...Под влиянием таких людей, как Беликов, за последние десять – пятнадцать лет в нашем городе стали бояться всего. Бояться громко говорить, посылать письма, знакомиться, читать книги, бояться помогать бедным, учить грамоте...»⁵³²

Остановимся на минуту. Сколь правдиво сказанное? Где у Чехова (да и у иных русских писателей) эти «мыслящие», «глубоко порядочные», «воспитанные на Тургеневе и Щедрина» учителя как сколько-нибудь массовое явление? В самом ли деле люди «боятся громко говорить, посылать письма, знакомиться, читать книги, боятся помогать бедным, учить грамоте»? Разве жизнь прекратилась? И разве так уж запуган «хохол Коваленко», не только дающий отповедь угрожающему донести начальству Беликову, но и орущий на него, а затем спускающий его с лестницы? Что же из этого? Не стоит

⁵³¹ Там же. С. 43.

⁵³² Там же. С. 44.

видеть в каждой фразе окончательную истину... Не все различается однозначным «плюсом» или «минусом»...

По мере изложения мы узнаем, что в город приезжает новый учитель-хохол со своей сестрой – певуньей и хохотушкой. И – вот урок доверчивым: «мыслящих, глубоко порядочных, воспитанных на Тургеневе и Щедрине» учителей вдруг разом «осеняет» одна и та же мысль: женить Беликова на приезжей⁵³³. В этой связи рассказчик пускается в новое, прямо противоположное прежнему откровение о «мыслящих» учителях: «Чего только не делается у нас в провинции от скуки, сколько ненужного, вздорного! И это потому, что совсем не делается то, что нужно»⁵³⁴. (Согласимся, что утверждение – «совсем не делается то, что нужно» – нельзя не отметить как существенное). Вдохновившись этой идеей учителя даже похорошели, вдруг как будто «увидели цель жизни!» «И то сказать, для большинства наших барышень за кого ни выйти, лишь бы выйти»⁵³⁵. А как же воспитанность на Тургеневе и Щедрине?

Смерти Беликова, чем заканчивается повествование, предшествуют два события. Нарисованная и распространенная среди жителей городка карикатура, высмеивающая ухаживания и размышления учителя древних языков о возможности жениться на симпатичной хохлушке и разговор-ультиматум «влюбленного антропоса» с Коваленко. Первый эпизод итожит поистине трагическая реплика Беликова: «Какие есть

⁵³³ Согласимся, что то, что многим приходит в голову именно одна и та же мысль – еще одно явление «футлярности» – стереотипность мышления.

⁵³⁴ Там же. С. 46.

⁵³⁵ Там же. С. 47. Отметим и это: «выйти замуж» – в известном смысле также переместиться в «футляр» – начиная от общественных представлений о том, что жена должна быть за мужем – т.е. находиться как бы за его спиной, что и обозначается словом «замужем», и заканчивая представлениями об обязанностях блюсти «семейный очаг», который тоже располагается не в чистом поле.

нехорошие, злые люди! – проговорил он, и губы у него задрожали». Эта фраза, подводящая итог раздумьям и, кто знает, – возможно, глубоким переживаниям учителя, звучит как разумное оправдание его постоянного жизненного стремления скрыться в футляре. И мы невольно соглашаемся: по-другому жить с людьми, кажется, нельзя.

Но есть и второй эпизод – увиденная Беликовым велосипедная прогулка брата с сестрой. Женщина-учитель на велосипеде! Это, кажется, почти конец света. И конец света для Беликова, хотя и по-другому, и в самом деле наступает. Спущенный с лестницы на глазах возлюбленной, он не в силах пережить унижения и краха надежд. «Вернувшись к себе домой, он прежде всего убрал со стола портрет, а потом лег и уже больше не вставал»⁵³⁶. Месяц он лежал под пологом, укрытый одеялом и молчал. А потом тихо умер. Так умирает человек, не нашедший своего места в мире, от мира прятавшийся, миром отвергнутый. Так завершается трагедия. И кто скажет, что при виде такого конца он помнит лишь о том, что Беликов – вовсе не заслуживающий уважения человек. Трагедии случаются только с героями.

В этом эпизоде Беликов вдруг предстает совершенно в ином качестве. «Футлярное» поведение, свидетельствующее о стереотипности и поверхностности чувств должно было бы привести к чему угодно, но только не к глубине переживания. Беликов умирает от невозможности любви, от перенесенного унижения, от разрушенной великой веры в незыблемость и истинность «футлярного устройства мира», от разочарования в любимой, наконец? Любое из предположений не исключает уважения, так как за веру в идеал, который составил себе учитель, он платит жизнью. Как мало мы знаем друг о друге, – как бы говорит нам Чехов. Сколь велика и трагична сила устроенного нами для самих себя футлярного бытия.

⁵³⁶ Там же. С. 52.

Позволю себе развить изложенную трактовку Беликова. Ту, что учитель – истинный боец за идею, что вызывает уважение автора. Вспомним: Беликова хоронили все, «то есть обе гимназии и семинария». Так не хоронят того, кого только ненавидят или боятся. Так прощаются с человеком понятным, похожим, за что-то уважаемым, может быть даже близким. Стало быть, все, возможно, чувствовали, что также живут и умирают в футлярах, сопереживали Беликову и друг другу, не смеялись (или не осуждали) его за то, что он доводил свое чувство «футлярности» до крайних пределов, до внешних вещей. А Беликов лежал в гробу и «точно был рад» тому, что жизнь кончилась и можно, наконец, от нее надежно спрятаться. Несчастья жизни прекращает лишь смерть. И какова же жизнь, если смерть вызывает радость.

После смерти Беликова жизнь учителей потекла, как прежде – сурово, утомительно, бестолково, «не запрещенная циркулярно, но и не разрешенная вполне; не стало лучше». Так разве от Беликова исходил «футлярный» регламент жизни?

Итог рассказа подводит Иван Иванович: «А разве то, что мы живем в городе, в духоте, в тесноте, пишем ненужные бумаги, играем в винт – разве это не футляр? А то, что проводим всю жизнь среди бездельников, сутяг, глупых, праздных женщин, говорим и слушаем разный вздор – разве это не футляр?

... – Видеть и слышать, как лгут, ...и тебя же называют дураком за то, что ты терпишь эту ложь; сносить обиды, унижения, не сметь открыто заявить, что ты на стороне честных, свободных людей, и самому лгать, улыбаться, и все это из-за куска хлеба, из-за теплого угла, из-за какого-нибудь чинишка, которому грош цена, – нет, больше жить так невозможно!»⁵³⁷

Вот какое понимание пробудил в нас учитель древних языков (на которых говорили люди, заслужившие уважение по-

⁵³⁷ Там же. СС. 53 – 54.

томков) всего лишь тем, что не просто старался притерпеться и не замечать жизни, требующей для человека футляра, а активно пытаюсь от жизни спрятаться – обрести собственный футляр. И кто скажет, что это желание цель менее достойная, чем ее пошлостям поддаться?

В написанном по случаю 60-летия со дня смерти Чехова тексте Гайто Газданов сказал об авторе «футлярности»: Чехов видел вокруг себя беспросветную жизнь, в которой люди живут лишь по «логике» определенной каждому собственной судьбы. «Герои Чехова – или воры, мерзавцы, подхалимы, звери, глупцы и трусливые животные – или люди порядочные, но сознающие свое бессилие что-либо изменить в этом порядке вещей. ...Лев Шестов, кажется, сказал, что все, к чему прикасается Чехов, увядает, и в этих словах есть что-то чрезвычайно глубокое и правильное».⁵³⁸ Справедливо ли в таком случае из общей однородной массы «выдергивать» одного-единственного, смеяться над ним и делать ответственным за всеобщую «футлярность»? Можно ли такой критикой самонадеянно подразумевать, что возможно какое-то иное, «гармоническое построение» и, более того, как поступают наиболее наглые и самонадеянные, объявлять себя творцами нового мира, а себя «новыми людьми»? К сожалению, возможно, и последствия такого рода «проектов» мы переживаем до сих пор.

* * *

«Крыжовник» – продолжение «Человека в футляре» – нерассказанная в его финале история о том, как футляром делается поставленная человеком самому себе жизненная цель. Даже такая на первый взгляд невинная как желание иметь свой домик в деревне, есть на зеленой травке «свои собственные щи, спать на солнышке, сидеть по целым часам за

⁵³⁸ Гайто Газданов. «О Чехове». В кн. «Русское зарубежье о Чехове. Критика. Литературоведение. Воспоминания». М., 2010. С. 171.

воротами на лавочке»⁵³⁹. И цель эта, на первый взгляд вполне здоровая и, кажется, сулящая счастье. Тем более, что берет она начало из детских впечатлений, когда герои вместе с крестьянскими детьми дни и ночи проводили в поле, в лесу, стерегли лошадей, драли лыко, ловили рыбу. «А вы знаете, кто хоть раз в жизни поймал ерша или видел осенью перелетных дроздов, как они в ясные, прохладные дни носятся стаями над деревней, тот уже не городской житель, и его до самой смерти будет потягивать на волю»⁵⁴⁰.

Так и «потягивало на волю» Николая Ивановича, брата рассказчика. Он, однако, эту тягу сделал целью освобождения от своего обыденного существования: не доедал, экономил на всем, женился на деньгах, морил голодом жену. Он, кажется, следовал верной истине, что человеку нужно не три аршина земли (столько нужно трупу), а весь земной шар. И земной шар в его сознании вполне конкретно воплотился в идею покупки имения, в котором он посадит крыжовник.

Цель стала манией. Намек на это рассказчик дает тем, что попутно сообщает о барышнике, которому поездом отрезало ногу. Его несут, а он все об отрезанной ноге спрашивает: в сапоге двадцать рублей остались.

Иван Иванович посещает брата в имении, когда он уже «достиг счастья»: «кушал много, в бане мылся, полнел, уже судился с обществом и обоими заводами и очень обижался, когда мужики не называли его «ваше высокоблагородие»⁵⁴¹. Перед нами «счастливый человек», который достиг цели, доволен своей судьбой и самим собой.

И здесь в ткань рассказа врывается голос, кажется, самого Чехова: «...Как, в сущности, много довольных, счастливых людей! Какая это подавляющая сила! Вы взгляните на эту

⁵³⁹ Там же. С. 58.

⁵⁴⁰ Там же.

⁵⁴¹ Там же. С. 60.

жизнь: наглость и праздность сильных, невежество и скотоподобие слабых, кругом бедность невозможная, теснота, вырождение, пьянство, лицемерие, вранье... Между тем во всех домах и на улицах тишина, спокойствие; из пятидесяти тысяч живущих в городе ни одного, который бы вскрикнул, громко возмутился... И такой порядок, очевидно, нужен; очевидно, счастливый чувствует себя хорошо только потому, что несчастные несут свое бремя молча, и без этого молчания счастье было бы невозможно. Это общий гипноз. Надо, чтобы за дверью каждого довольного, счастливого человека стоял кто-нибудь с молоточком и постоянно напоминал бы стуком, что есть несчастные, что как бы он ни был счастлив, жизнь рано или поздно покажет ему свои когти, стрясется беда – болезнь, бедность, потери, и никто не увидит и не услышит, как теперь он не видит и не слышит других. Но человека с молоточком нет, счастливый живет себе, и мелкие житейские заботы волнуют его слегка, как ветер осину, – и все обстоит благополучно»⁵⁴². Иван Иванович понимает, что он тоже своего рода «счастливый человек». Но что «счастье», которым он обладает, – это бездеятельность, это стояние «надо рвом», который можно и нужно перескочить, чем-нибудь засыпать или построить через него мост. Нужно не искать «счастья», которого в жизни нет и не должно быть, а «делать добро».

* * *

Тема последнего рассказа «трилогии» – любовь, одна из тех, в которой легче всего соскользнуть до скучного повторения много раз сказанного. Кто из наших классиков не писал о любви! Поэтому мне кажется, что чеховский малый жанр в данном случае сослужил Антону Павловичу большую службу.

Любовь иррациональна, непостижима и непроницаема для «рецептов», поскольку «индивидуализирована», – говорит нам изложенная буквально двадцатью строками двух

⁵⁴² Там же. С. 62.

абзацев история любви служанки Алехина красавицы Пелагеи к повару Никанору, которого все зовут не иначе как «мурлом». Очевидно, она может быть только творением искусства, общим произведением двух любящих друг друга людей. Именно об этом повествует хозяин имения, приютивший у себя на время непогоды известных нам охотников.

Рассказ хорошо известен и пересказывать его нет нужды. Остановлюсь поэтому на его связи с первыми двумя. В рассказе «О любви», который в чем-то итожит размышления о «футлярности», «счастье» и «добре», есть с ними явные переклички. Так, Луганович, муж Анны Алексеевны, в которую влюблен Алехин, из тех «добряков», для которых «раз человек попал под суд, то, значит, он виноват, и ...выражать сомнение в правильности приговора можно не иначе, как в законном порядке, на бумаге, но никак не за обедом и не в частном разговоре.

... – Мы с вами не поджигали, – говорил он мягко, – и вот нас же не судят, не сажают в тюрьму»⁵⁴³.

Что перед нами? Разве вокруг Лугановича не «футляр», разве его жизнь не «счастье», при котором за дверью нет «человека с молоточком»? И разве в деятельности Алехина, решившего «отработать» в отцовском имении полученные в молодости на учебу деньги, не видится нам хотя и несравненно более благородная, но все же «цель», также своего рода крыжовник, заставляющий человека всю жизнь делать не то, к чему он призван? Из «высших» соображений Алехин изменяет себе и платит за это напрасно прожитым временем.

То же самое он делает, полюбив жену Лугановича. Он бережет чужое семейное счастье? Но вот жизнь прошла, а сохраненного «счастья» ни для Анны Алексеевны, ни для него как не было, так и нет. Чехов устами своего героя подводит итог: «...со жгучей болью в сердце я понял, как ненужно,

⁵⁴³ Там же. С. 69.

мелко и как обманчиво было все то, что нам мешало любить. Я понял, что когда любишь, то в своих рассуждениях об этой любви нужно исходить от высшего, от более важного, чем счастье или несчастье, грех или добродетель в их ходячем смысле, или не нужно рассуждать вовсе»⁵⁴⁴.

Как же жить и любить? Может так, как любит Пелагея своего повара-«мурло»? Не исключено. Впрочем, знание о «футлярах», «счастье» и «любви» для людей, способных рассуждать на эти темы, вряд ли оставляет возможность пытаться «не рассуждать вовсе». Стало быть, им следует «исходить от высшего, от более важного»? Но что это?

Счастливые люди редки, если вообще встречаются. Скорее, все несчастны.

* * *

⁵⁴⁴ Там же. С. 74.

Государство и общество в зеркале отечественной словесности

В мире, где в совершенствовании государства и общества сознается главенство культуры, национальная и мировая литература не остается за пределами внимания политиков и общественных деятелей. Кажется, смотришь в нее, как в зеркало и совершенствуй себя и свое общественное бытие. В полной мере это имеет отношение и к великой русской литературе. В России, правда, всегда крепко держались мнения, согласно которому в собственном отечестве пророка не бывает. Тем не менее, пока у нас не иссяк интерес к социальным проблемам, не может пропасть и интерес к прозрениям, накопленным отечественной классикой. На протяжении более чем двухвековой истории русские литераторы были не только наблюдателями, но и активными участниками процессов, происходивших в пространстве взаимоотношений отдельного человека (или отдельного коллектива), с одной стороны, и государственной власти в самых разных ее проявлениях, с другой⁵⁴⁵. Что же видели русские писатели, каким образом они надеялись изменить несовершенное общество, несовершенного человека и несовершенное российское государство?

* * *

Исследователь, разумеется, прежде всего, обратит внимание на те произведения, в которых звучат прямые призы-

⁵⁴⁵ В краткой статье нет возможности детально рассмотреть всю проблему, поэтому внимание будет уделено лишь некоторым, ключевым, на мой взгляд, фигурам литературы XIX в., обратившимся к заявленной проблематике.

вы к улучшению государства посредством включения в его управление подданных или даже предпринимаются дерзкие попытки создания его идеальной модели. Вышедшие в свет с разницей всего в девять лет пьеса Дениса Ивановича Фонвизина «Недоросль» (1781) и путевые очерки Александра Николаевича Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву» (1790) из таковых. Именно они положили начало не только всей проблематике отношений российского общества и государства, но и наметили две магистральные линии ее развития в отечественной литературе. Первая: адресованное власти предупреждение, что чинимые ею беззакония и безобразия, грубое попрание прав подданных могут в конце концов породить бунт. И второе: изложение тех или иных проектов разрешения общественно-государственных конфликтов – от реформаторских до фантастических.

Знаменитая комедия Фонвизина, кроме ее разоблачительно-сатирического пафоса, интересна еще в одном отношении. Как помним, одним из центральных ее героев является присланный из столицы государственный чиновник Правдин. Именно он, наделенный монаршей властью, вершит суд над зловредными провинциальными помещиками Простаковыми и поддерживает в делах и помыслах возвратившегося из Сибири предпринимателя Стародума. В содержании комедии явно виден идеал просвещенного монарха, через своих чиновников вершащего праведный (отсюда и говорящая фамилия Правдин) суд, равно как и не чуждого либеральным идеям. Отмечу, что только в форме проекта такого рода за все время существования русской литературы зло оказывается разоблаченным и посрамленным, а на сцене (коль скоро мы имеем дело с пьесой) после его изгнания остается торжествующее добро.

Однако довольно быстро на смену первому опыту – проекту гармонизации отношений между государством и обще-

ством в рамках просвещенной монархии – приходит ставший типичным для отечественной словесности жанр критико-реалистического повествования, к тому же в крайнем его варианте. Знаменитое «Путешествие из Петербурга в Москву» – не только беспощадное обнажение язв и болезней русского общества, но и грозное предупреждение власть имущим: не облегчите жизнь крепостных – бойтесь их топора. Реакция царицы не заставила себя ждать: многолетняя ссылка и преследования свели Радищева в могилу в пятьдесят с небольшим лет.

Несколько позже, вслед за Фонвизиним и Радищевым к теме общества и власти обратился Александр Сергеевич Пушкин. В романе «Капитанская дочка», а еще более в драме «Борис Годунов», вопросы о легитимности власти, механизме ее становления и роли в этом процессе общества (народа), главные. Описываемые в произведениях исторические события совпадают в сюжетном замысле. В центре – фигура самозванца, озабоченного легитимацией своей власти. Оказывается, в самодержавной России начала XVII в. для успешности такого предприятия требуются всего три условия. Определенные личные качества претендента, его способность «преступить», сделать то, что для всех остальных невозможно: богобоязненным тут делать нечего, а склонным к разбою самое место. Способность самозванца «играть» на распрях, раздирающих правящую элиту и на внешнеполитической ситуации – претензиях соседей, ищущих предлога для борьбы за русский престол. И, наконец, главное: появление и торжество самозванца обеспечивается безмолвием народа – его страхом, неразвитостью и, как следствие, безразличием к происходящему. Для народа царь одинаково страшен в любом образе: будь он помазанник Божий или лихой человек.

Безмолвие народа не означает у Пушкина, как это иногда трактуется, его нравственного оправдания⁵⁴⁶. Не случайны произносимые в адрес народа уничижительные суждения бояр и самого Бориса: он темен и нищ, а нищета, как известно, лишает человеческого достоинства, в том числе и совести. Так, демонстрируя холопское безразличие в приятии самозванца, толпа бросается к дворцу с криками: «Вязать Борисова щенка!», «Да гибнет род Бориса Годунова!» и замолкает лишь когда дело чужими руками сделано.

В предложенную трактовку вписывается и портрет народа в заключительной, не вошедшей в основной текст «Капитанской дочки», сцене осады амбара, в которой хозяин имения с женой, сыном и Марьей Ивановной забаррикадировался от взбунтовавшихся крестьян, казаков и башкир. Очевидно, что симпатии Пушкина – на стороне осажденных, а народ и в самом деле «толпа злодеев», как говорит о нем один из обороняющихся.

В ответ на возможную критику отвечаю: разумеется, все не так однозначно. Но это также означает и то, что противоположное утверждение о благостности народа столь же не верно, как и его оценка в качестве злодея. Пушкин не дает однозначной характеристики. Общим знаменателем у него звучит мысль: «Не приведи Бог видеть русский бунт – бессмысленный и беспощадный! Те, которые замышляют у нас невозможные перевороты, или молоды и не знают нашего народа, или уж люди жестокосердные, коим чужая головушка полушка, да и своя шейка копейка»⁵⁴⁷.

⁵⁴⁶ В отечественных исследованиях есть точка зрения, согласно которой народ осуждает зверства царских приспешников. См., например: *Волков Г.* Мир Пушкина. Личность, мировоззрение, окружение. М., 1989. С. 119. Мне она, однако, не кажется основательной.

⁵⁴⁷ *Пушкин А.С.* Полн. собр. соч. в 10-ти томах. Т. 3. М., 1981. С. 328.

Пушкинская оценка народа подтверждается и пришедшим в русскую литературу вслед за ним Герценом. О том, что являло собой российское общество в пушкинскую эпоху, читаем его замечательное свидетельство: «Невозможны уже были никакие иллюзии: народ остался безучастным зрителем 14 декабря. Каждый сознательный человек видел страшные последствия полного разрыва между Россией национальной и Россией европеизированной. Всякая живая связь между обоими лагерями была оборвана, ее надлежало восстановить, но каким образом? В этом и состоял великий вопрос»⁵⁴⁸.

Наблюдение Герцена симптоматично: спустя полстолетия, считая от Радищева, не было никаких признаков изменений в самосознании народа. А главной национальной задачей литераторам по-прежнему виделась гармонизация отношений между обществом и государством. Кто и как должен был идти навстречу друг другу? Оправдались ли надежды?

* * *

В «спокойной» России, и в самом деле, десятилетиями почти ничего не менялось. Описанная в гоголевском «Ревизоре» (1836) провинциальная жизнь, равно как и связанные с приездом петербургского чиновника события, мало чем отличались от сюжетов, которые мы находим, например, в «Семейной хронике» Аксакова (1856) или в «Истории одного города» Салтыкова-Щедрина (1869). Но если Гоголь и Аксаков исследуют порок системы правления, то Щедрин обращается к двум взаимодействующим сторонам: к управляющим и управляемым. При этом в его повествованиях содержится весь спектр методов – от совершенно варварского, сопряженного с насилием и даже убийством, до вполне цивилизованного, вовлекающего подданных в преобразовательные замыслы либерального толка. Впрочем, в рамках либерального начинания никому из щедринских градоначальников,

⁵⁴⁸ Герцен А.И. Собр. соч. в 30-ти томах. Т.7. М., 1956. С. 214.

как помним, удержаться не доводится, и едва начавшее расти в душах обывателей «древо гражданственности» грубо и нетерпеливо рубится под корень с привычным приказом «Влепить!»

Что же до качеств управляемого общества, то Щедрин отмечает, наряду с прочими, характерную особенность русских людей – способность и готовность по приказу быть всем, чем угодно⁵⁴⁹. Однажды, пишет Михаил Евграфович, покойный литератор Кукольник «необыкновенно ясно и дельно», без каких-либо приготовлений изложил перед композитором Глинкой историю Литвы, и когда последний выразил свое удивление по этому поводу, отвечал: «Прикажут – завтра же буду акушером». Ответ этот, отмечает Щедрин, драгоценен, ибо, давая представление о «мере талантливости и игры ума» русского человека, раскрывает и некую тайну, свидетельствующую, что упомянутая талантливость находится в теснейшей зависимости от «приказания». «Ежели мы не изобрели пороха, – объясняет автор “Истории одного города”, – то это значит, что нам не было это приказано; ежели мы не опередили Европу на поприще общественного и политического устройства, то это означает, что и по сему предмету никаких распоряжений не последовало. Мы не виноваты. Прикажут – и Россия завтра же покроется школами и университетами; прикажут – и просвещение, вместо школ, сосредоточится в полицейских управлениях. Куда угодно, когда угодно и все, что угодно. Литераторы ждут приказания, чтоб сделаться акушерами; повивальные бабки стоят во всеоружии, чтоб по первому знаку положить начало родовспомогательной литературе. Все начеку, все готово устремиться, куда глаза глядят <...> Уверенность в нашей талантливости так велика, что для нас не полагается даже никакой профессиональной подготовки. Всякая профессия доступна нам, ибо ко всякой

⁵⁴⁹ Это же с безнадёжностью отметит и Н.С. Лесков.

профессии мы от рождения вкус получили. Свобода от наук не только не мешает, но служит рекомендацией, потому что сообщает человеку букет «свежести»⁵⁵⁰.

Замечу, что щедринская характеристика затрагивает ми-моходом и главную идейную контрверзу того времени – спор славянофилов и западников: тезис «для русского человека нет ничего недостижимого» охотно разделялся многими идеологами-почвенниками, которые всерьез полагали, что для какого-либо свершения нам не требуется ничего, кроме, говоря словами Щедрина, «чистоты сердца и не вполне поврежденного ума».

Вместе с тем, отмечу, что нелестное суждение Щедрина относится все же не столько к русскому народу и его свойствам, сколько к «технологии» самой власти – уровню задач, ею выдвигаемых: «Требовались только простые сапоги, простое платье, простая музыка, то есть такие именно вещи, для выполнения которых совершенно достаточно двух элементов: приказа и готовности. Кукольник знал, что говорил, когда вызывался хоть сейчас быть акушером»⁵⁵¹. Однако как только дело касается чего-то сложного, требующего знаний, опыта, свободного состояния и систематического труда, от пресловутой талантливости и готовности выполнить все что угодно остается «пустое место»⁵⁵².

Привычный способ решения проблем весьма хорош и так близок русскому сердцу! Все должны быть «обузданы» и «приведены к общему знаменателю». «Нам все еще чудится, что надо нечто разорить, чему-то положить предел, что-то стереть с лица земли. Не полезное что-нибудь сделать, а именно только разорить. Ежели признаться по совести, то это

⁵⁵⁰ *Салтыков-Щедрин М.Е.* Собр. соч. в 10-ти томах. Т.3. М., 1988. С. 68 – 69.

⁵⁵¹ Там же. С. 71.

⁵⁵² То, как русская власть иногда умела эту «талантливость» преодолеть, хорошо известно из реформ Петра I и Александра II.

собственно мы и разумеем, говоря о процессе созидания»⁵⁵³, – подводит черту Щедрин. Из всего, что принесла нам просвещенная Европа, «митрофанушки» усвоили одну только Табель о рангах. Во всем остальном Запад, по их суждению, весьма и весьма плох. «Мнения, что Запад разлагается, что та или другая раса обветшала и сделалась неспособною для пользования свободой, что западная наука поражена бесплодием, что общественные и политические формы Запада представляют бесконечную цепь лжей, в которой одна ложь исчезает, чтоб дать место другой, – вот мнения, наиболее любезные Митрофану»⁵⁵⁴.

Однако жить в таком мире даже для «митрофанов» делается чем дальше, тем труднее. Все настоятельнее требуется «новое слово». И время от времени «митрофаны» вынуждаемы перенимать с Запада какую-нибудь «новую штуку». Но поскольку она – «штука» – перенимается ими «независимо от общих форм жизни, то весьма естественно, что она их же бьет в лоб. Мир открытий и изобретений в глазах Митрофанов есть мир подробностей, существующий *an sich und fur sich*⁵⁵⁵ и не имеющий внутренней связи с общим строем жизни»⁵⁵⁶. Вот почему русские «митрофаны» постоянно попадают впросак, какой бы ни была полюбившаяся им «новация».

И Щедрин, в том числе и в назидание «митрофанушкам» XXI века, формулирует свой вывод-приговор: «Если каждое новое открытие или усовершенствование приводит лишь к тому, что бьет в лоб, и ежели при этом нет даже поползновения определить причину такого странного действия открытий и усовершенствований, то остается одно из двух: или закутаться в саван, или обратиться в дикое состояние»⁵⁵⁷. И

⁵⁵³ Там же. С. 76.

⁵⁵⁴ Там же. С. 78.

⁵⁵⁵ В себе и для себя (нем.).

⁵⁵⁶ Там же. С. 82.

⁵⁵⁷ Там же. С. 83.

хотя Бог милостив и перед Россией постоянно возникает возможность лучшей жизни, но на все у нас неизменно следует один ответ: «Погодите! еще время не пришло!» Нужно сословие адвокатов? Нужен гласный и уставный суд? Нужны земские деятели и им нужно передавать власть на местах? Нужны опыты крестьянского самоуправления? – На все один ответ.

А машина истории не имеет ни механизма заднего хода, ни тормозов. Вот уж приходит новый, капиталистический строй. И что же он застает? «Подготовки нет, а ремесленность уже проникает всюду. Ремесленность самого низшего сорта, ремесленность, ничего иного не вожделеющая, кроме гроша. Надул, сосводничал, получил грош, из одного копейку пропил, другую спрятал – в этом весь интерес настоящего. Когда грошей накопится достаточно, можно будет задрать ноги на стол и начать пить без просыпу: в этом весь идеал будущего <...> Молчание – вот единственный ясный результат, который покуда выработала наша так называемая талантливость»⁵⁵⁸ Знакомая картина, не правда ли?

* * *

Новую систему взаимоотношений общества и государства в романе «Что делать?» (1863) проектирует Николай Гаврилович Чернышевский. Автор создает один из первых в отечественной литературе вариант «коммунистической утопии». Причем от свойственной до него русской классике христианской традиции не остается и следа. «Новые люди» объявляются единственными творцами социальных и нравственных ценностей государства и общества. Богом человека становятся здравый смысл, целесообразность и польза. Для «старых» людей в новом обществе места нет, и ответ на вопрос об их будущности предельно ясен. Очевидно, что права человека, верховенство закона и прочие универсальные ценности ставятся в зависимость от того, что в XX столетии в лексике

⁵⁵⁸ Там же. С. 84.

большевиков, наследников Чернышевского, получило наименование «революционной целесообразности». Парадоксально, но именно поэтому конструкции писателя не хватало «технологичности»: не было понятно, на каких основаниях – смыслах и ценностях, присущих русскому взгляду на мир, – она может быть возведена.

Образовавшийся пробел попытался восполнить Федор Михайлович Достоевский. Своим «подпольным человеком», он пророчески указал на будущего героя отечественной политической сцены, равно как и на характер грядущих взаимоотношений общества и государства. Теперь конструкция Чернышевского обретала законченность, оставалось лишь дожидаться появления реальных деятелей, в которых произошел бы сплав низменных качеств «подпольного человека» и идеологии «новых» людей с их общим тезисом «цель оправдывает средства». Впоследствии об этом дьявольском «коктейле» писал Ф.А. Степун⁵⁵⁹ и его же имел в виду Н.А. Бердяев, говоря, что большевизм есть не что иное, как смесь подсознательного извращенного апокалипсиса с нигилистическим бунтарством.

Герой Достоевского в «Записках из подполья» только мучается своей низменной мыслью, не имея духовных и физических сил ее реализовать. Но уже следующий герой писателя студент Родион Раскольников ставит над собой эксперимент, пытаясь перешагнуть через «ничтожество» – старушку-процентщицу. Перешагнуть смог, но идти дальше сил не было, очевидно, потому, что «подпольный человек» только вышел на поверхность. В «Бесах» же «подпольный» делает следующий шаг и производит открытие: для борьбы с государством и властью, которые есть организованная сила, требуется такая же организованная сила – революционная ячейка. Однако тот же «подпольный человек» обнаруживает, что подобного

⁵⁵⁹ Федор Степун. Бывшее и несбывшееся. СПб., 2000. С. 509.

ему «человеческого материала», кроме Петруши Верховенского да еще одного-двух, нет никого: остальные проверку на кровь не проходят. Получалось, что «новый человек» должен быть воспитан, а еще лучше – выведен как порода. Эту породу Достоевский чувствовал отлично. Многие герои «Братьев Карамазовых», выведенные из самых темных основ русской жизни, именно таковы. Они не только не страдают по поводу своих «подпольных качеств», но вовсе не замечают ни их, ни порождаемых ими злодейств.

Таким образом, самое начало ледовой дорожки революции и насилия во взаимоотношениях государства и общества, по которой Россия, словно с горки, покатила в XX столетии, помечено в отечественной литературе знаком шабаша. И хотя Достоевский пытался предостеречь общество об опасности экспериментов (вроде проекта Чернышевского) русским человеком, обретающемся в «подпольи», его голос не был услышан.

Надо отдать должное отечественной словесности: революционаристская линия разрешения кризисных взаимоотношений общества и государства никогда не была для нее главной. Ей всегда противостоял гуманизм великой русской литературы. Много и глубоко размышляли об этом Лев Толстой, Лесков, Чехов. Но ценности, о которых они говорили, требовали большой работы самой личности: усилий, ответственности, мужества, – в то время как «рецепты» революционного переустройства к совершенствованию индивида отношения не имели и предлагали иные, простые и в своей простоте привлекательные для вождей и масс решения. Впрочем, и государство тоже не спешило разнообразить свои политические методы, продолжая по большей части руководствоваться все тем же щедринским «тащить и не пущать».

* * *

Творчество Александра Васильевича Сухово-Кобылина в отечественной гуманитарной мысли, к сожалению, сущест-

венно недооценено. Между тем ставшие достоянием читающей публики все три его пьесы – «Свадьба Кречинского» (1854), «Дело» (1861) и «Смерть Тарелкина» (1869) – не только каждая по отдельности, но как единая трилогия делали свое важное дело, открывая никем прежде не замечаемое. О Сухово-Кобылине следует, прежде всего, сказать как о первооткрывателе столь важной для XX столетия философско-политологической темы тоталитарного государства, которая много позднее стала центральной для Франца Кафки с его романом «Процесс», равно как и для романной прозы Андрея Платонова.

Время пьес Кобылина – это время поиска образа «нового человека», который шел на смену уже изученным философствующей литературой феноменам. В литературном пространстве «новый человек» теснил так называемых «лишних людей», «героев-идеологов» и даже сравнительно новую фигуру – «человека дела» (Штольца у Гончарова, Соломина у Тургенева и др.). У Чернышевского «новые люди» получали откровенно фантастические черты, у Льва Толстого они облекались в идеальные одежды, в которых было удобно бить поклоны народу, у Достоевского «новые люди» предстали либо в лике человека из «подполья», либо в образе почти святых. Но то все были индивиды или их небольшие группы. У автора «Дела» «новый человек» недвусмысленно предстает как часть единого организованного страшного целого – преступной госкорпорации и действующей от его имени.

«Новый человек» Кобылина перешагивает сразу несколько ступеней злодейской иерархии и оказывается не только человеком XIX в., но и хорошо узнаваемым персонажем, типичным для российского государства в начале XXI столетия. В качестве квартального надзирателя или следователя этот «новый человек» олицетворяет устремления полиции и органов дознания. В качестве прокурорского или судейского чиновника – карательные органы. Драматург впервые столь

масштабно ставит не просто проблему отношения государства и отдельного человека, но отношения организованного внутри власти преступного сообщества, с одной стороны, и разрозненных индивидов так и не сложившегося в России гражданского общества, с другой. Более того, все три пьесы подводят к формулировке простой и ужасной идеи: государство в России может сделать с человеком все, и жизнь под пятой власти опасна, трагична, а то и вовсе невозможна. Итог: честному человеку придется или умереть в этой стране, или из нее бежать. В одиночку борьба со злом бессмысленна.

Такие выводы не случайны. Хорошо известно, что Сухово-Кобылин всю жизнь питал пристрастие к занятиям философией, перевел феноменологию Гегеля и, хотя его философские сочинения, к сожалению, до нас не дошли, сам он признавался: «Если пьесы мои носят специальный характер богатства содержания и особенно концентрации формы, я думаю, я не только этим, но и самим созданием этих пьес обязан философии»⁵⁶⁰.

Что ожидает читателя, когда он берет в руки трилогию Сухово-Кобылина? Комедия «Свадьба Кречинского» – об обмане в самом святом для начинающей жизнь девушки – любви. Драма «Дело» – о возможности уничтожения любого человека, с которым столкнется не признающая законов и легко сминаящая все на своем пути государственная машина. Так называемая «комедия-шутка» «Смерть Тарелкина» – о безграничной власти чиновников и людоедских аппетитах «государственных» людей, простирающихся даже на потусторонний мир. Безысходность повествования Кобылина идет, таким образом, по нарастающей и это сказывается на самой его форме: от комедии с элементами драмы – к драме – и далее к фантазмагории.

Каковы бы ни были сюжеты его пьес, как бы они ни развивались и в чем бы ни состояли их кульминация и развязка,

⁵⁶⁰ Цит. по: *Бессараб М.* Сухово-Кобылин. М., 1981. С. 210.

за всем этим, подобно глыбе, стоит образ преступной корпорации, организованной в государство. Все ее члены связаны круговой порукой. Однажды принятый в корпорацию человек может покинуть ее, только сойдя в могилу. Это, кстати, прекрасно известно главному герою «Смерти Тарелкина», который, пытаясь вырваться на свободу, имитирует собственную кончину, а для правдоподобия подкладывает в гроб с муляжом трупа тухлую рыбу.

Изобразив на сцене «фирменный» чиновничий прием – поправление личности как средство укрепления самодержавного государства, Кобылин, разумеется, никакого открытия не совершил. В России об этом было отлично известно на протяжении веков, да и пальма первенства в изображении власти, безусловно, принадлежит Гоголю и его бессмертному «Ревизору». Однако, в отличие от Николая Васильевича, Александр Васильевич писал свои пьесы в то время, когда происходили судьбоносные перемены: состоялась отмена крепостного права, проводились либеральные реформы царя-освободителя. И что же обнаруживает драматург? В устройстве государственного механизма, в его работе ничего не изменилось. Это, кстати, подтверждал и цензурный отказ на постановку «Дела». «Настоящая пьеса, – писал цензор, – изображает, как по придирчивости полицейских и судебных властей из самого ничтожного обстоятельства, по ложному перетолкованию слов, возникают дела, доводящие до совершенной гибели целые семейства. Недальновидность и непонимание обязанностей своих в лицах высшего управления, подкупность чиновников, от которых зависит направление и даже решение дел, несовершенство законов наших (сравниваемых в пьесе с капканами), безответственность судей за их мнение и решение – все это представляет крайне грустную картину и должно произвести на зрителя самое безотрадное впечатление, которое еще усиливается возмутительным

окончанием пьесы»»⁵⁶¹. Что же за «дело», так испугавшее власть, осмелился раскрыть Кобылин?

Начав в «Свадьбе» с истории незначительного по своим масштабам мошенничества Кречинского, во второй пьесе – «Деле» – автор обращает взор к российскому государственному зданию. С этого – предупреждения о готовящемся властями уничтожении семейства героя Отечественной войны 1812 г. помещика Муромцева и начинается вторая часть трилогии Кобылина. Вот выдержка из письма-предупреждения помещику: «С вас хотят взять взятку – дайте; последствия вашего отказа могут быть жестоки. Вы хорошо не знаете ни той взятки, ни как ее берут; так позвольте, я это вам поясню. Взятка взятке рознь: есть *сельская*, так сказать, пастушеская, аркадская взятка; берется она преимущественно произведениями природы и по стольку-то с рыла; – это еще не взятка. Бывает *промышленная* взятка; берется она с барыша, подряда, наследства, словом приобретения, основана она на аксиоме – возлюби ближнего твоего, как самого себя; приобрел – так поделись. – Ну, и это еще не взятка. Но бывает *уголовная*, или *капканная* взятка; – она берется до истощения, догола! Производится она по началам и теории Стеньки Разина и Соловья Разбойника; совершается она под сению и тению дремучего леса законов, помощью и средством капканов, волчьих ям и удилиц правосудия, расставляемых по полю деятельности человеческой, и в эти-то ямы попадают без различия пола, возраста и звания, ума и неразумия, старый и малый, богатый и сирый <...> Таковую капканную взятку хотят теперь взять с вас; в такую волчью яму судопроизводства загоняют теперь вашу дочь. Откупитесь! Ради бога откупитесь! <...> С вас хотят взять деньги – дайте! С вас их будут драть – давайте!»⁵⁶²

Поставленная на службу профессиональных стяжателей-чиновников государственная власть изображается как неот-

⁵⁶¹ Там же. С. 220.

⁵⁶² *Сухово-Кобылин А.В.* Трилогия. М., 1955. С. 93 – 94.

вратимая и непобедимая, почти природная сила. Государство, не имеющее противовеса в лице общества, не подчиненное законам (каковые либо отсутствуют, либо игнорируются), не контролируемое судом и независимой печатью, – такое государство с уголовной преступностью превращается в монстра.

Муромцев решается собрать требуемую разорительную для него сумму и передать высокому начальнику. Время, однако, упущено, дело уже вышло из-под контроля Варравина (сиречь разбойника), и даже за взятку повернуть его в пользу Муромцева нельзя. Тем не менее «капканная» взятка берется, а взяточник, оставив себе львиную ее долю, публично и со скандалом разыгрывает сцену собственной неподкупности и обличения помещика. Капкан захлопывается, Муромцев уничтожен.

Завершает трилогию пьеса «Смерть Тарелкина» – о корпоративной чиновной «семье» – союзе, скрепленном общими преступлениями. Чиновничество – послушный инструмент в руках начальства, ненасытные корыстолюбцы. Но более всего горе несчастному, на которого обрушились и гнев начальства, и жажда наживы его подчиненных. Выхода из ситуации снова нет.

* * *

Творчество Николая Лескова, по уровню вполне сопоставимое с творчеством Льва Толстого и Достоевского, сделавших вопросы изменения природы человека главным предметом своего художественного исследования, долгое время не находило адекватной оценки. В начале 1860-х гг., в то время, когда Лесков только начинал свою писательскую карьеру, русская культурная жизнь была чрезвычайно политизирована. Лесков ни к одному из полюсов не примыкал.

Главной приметой времени, в которое Лесков начал писательскую деятельность, была отмена крепостного права. В какой мере были уместны революционистские упования на

русский народ? Имелись ли для этого объективные предпосылки? Какова была природа человека – реального и воображаемого творца общественных перемен?

Только что состоявшееся освобождение от крепостничества миллионов крестьян и утрата многими из них привычных источников дохода создали своего рода социальный вакуум. Естественного вызревания перемен в рамках предыдущего социально-экономического уклада не состоялось. Освобождение пришло «сверху» и, значит, социально-экономическая система не была адаптирована к новым правилам. При этом, «нетерпеливцы» всячески подталкивали общество вперед, в то время как самодержавное государство жало на тормоз. Такова была современная Лескову реальность. Как жил в ней человек, желающий перемен?

Поискам ответа на этот вопрос, строго говоря, посвящено все творчество Лескова, но я остановлюсь лишь на одном из его рассказов под названием «Овцебык» (1862). В центре повествования судьба странного человека, своим характером, поведением и устремлениями напоминающего не только «лишних людей» русской классической литературы, но и начавших появляться в романной прозе Тургенева героев, ставящих перед собой цели, намного превосходящие их силы и возможности, то есть недостижимые.

Василия Петровича Богословского, получившего прозвище «Овцебык», в советском литературоведении нарекли «разночинцем-революционером». На самом деле он не имеет никакой «прописки» в социальной иерархии и уже самим прозвищем подтверждает свою особость, несовместимость с русской средой обитания. Он никак не может свыкнуться с тем, что в мире невозможно найти ни истину, ни справедливость, и все куда-то стремится, бежит, ищет собеседников и товарищей, отправляясь то к староверам, то к мужикам-крестьянам, то в монастырь, а то к работникам.

Одна из причин его неудач состоит в том, что он, как его определил местный, взявшийся ему покровительствовать деловой человек, – «ни барин, ни крестьянин, да и ни на что никуда не годящийся». Это со временем начинает понимать и сам Овцебык. В одном из писем он сообщает: «Делать мне здесь нечего, и я одним себя утешаю, что нигде, видно, нечего делать опричь того, что все делают: родители поминают, да свои брюхи набивают <...> Некуда идти»⁵⁶³.

Итак, уже в этом рассказе Лескова появляется столь важное для всего его творчества слово – «некуда». Не может перемахнуть через это слово Овцебык и с помощью ременного пояса сводит счеты с жизнью. Непреодолимой преградой это слово стоит на пути развития российского общества и государства.

* * *

Художественное освоение действительности, тем более такое, какое было в отечественной истории, когда литература в силу разных обстоятельств брала на себя функции философского освоения мира, значит для понимания поставленных проблем ничуть не меньше, чем их научное познание. Взгляд на творчество классиков русской литературы XIX в. под философским углом зрения, предложенном в книге, позволяет, как я думаю, заключить, что многие из вопросов, которые мы сегодня квалифицируем как актуальные, на самом деле, хотя в иных одеждах и образах, формулировались и решались задолго до наших дней. И один из главных ответов заключался в том, что только личными усилиями, «внутренней» работой каждого, удастся сдвинуть с «мертвой точки» застрявшую в самодержавной колее машину под названием «российское государство».

* * *

⁵⁶³ Там же. С. 85.

Мачво 3

Осип Мандельштам о «времени большевиков»

Любая власть стремится устроить жизнь людей по подобию сочиненного ею проекта. Иногда в сравнении с прошлым это небольшие изменения, иногда – радикальные и тем более сильные, чем радикальнее они вторгаются в реальную жизнь. Но даже в тоталитарном обществе люди вольны строить свою жизнь, ускользая от давления власти или даже вопреки ему. За что они власти платят. Иногда жизнью. Но чаще, конечно, приспособливаются и не всегда это замечают.

Случай Мандельштама – особый. Он не мог жить, потворствуя власти. Вернее – не мог жить по-иному, чем определил ему жить Творец. И тело человека Мандельштама в этом житии по воле Его не имело никакого значения. Поэт и – редкий случай – та, которая всю жизнь была рядом и служила ему, это знали.

* * *

Нам мало что известно о причинах и обстоятельствах смерти поэта Осипа Эмильевича Мандельштама. Мы не знаем места его захоронения. Даже дата – 27 декабря 1938 г. – сомнительна. Несомненно одно: его убила Власть. И как много говорит об этой кончине название того пространства суши, на котором завершилось его земное бытие. Окрестности Владивостока. Лагерный пункт «Вторая речка». Переименованное название одного из миллионов водных потоков. Теперь, в этом обозначенном номером месте, по воле большевиков пребывает смерть. Да и как иначе? Ведь нельзя вме-

сто номера дать реке смерти имя. Имена связаны с жизнью. У смерти имен нет. Поэтому еще у живых приговоренных отнимается имя и дается номер. Они предуготовляются к смерти. С номером же – биркой на ноге – лишённого жизни сваливают в общую яму с названием «братская могила». Название лживо, у братьев есть имена. Пронумерованные не могут быть братьями. Номера означают лишь их очередь на конвейере смерти. И в тридцать восьмом, на последнем участке ленты, в качестве малого физического фрагмента мировой материи Мандельштам участвовал в решении одной из задач большевистской власти – «комплексном освоении ранее необжитых территорий». Эту прижизненную задачу ему определила Власть, отняв предназначение божественное «глаголом жечь сердца людей».

* * *

О Поэте и его творениях исследователями написаны горы. Извлеку немного, вызывающее, на мой взгляд, несомненный с реальностью диссонанс. Многие исследователи, и Н.А. Струве в их числе, привычно для логики обычного человека о Поэте и большевистской власти говорят о некоей постепенной его эволюции в осмыслении событий Октября. Например, так: «По отношению к революции он колебался вначале между да и нет, прельщался порой “социальной архитектурой”, подобно тому, как в молодости обольщался внешним единством католического Рима. Но “никогда он Рима не любил”, точно так же он быстро почувствовал, что то, “куда мы должны вступить”, не тень родного города, а “крыло надвигающейся ночи”»⁵⁶⁴. И только в конце 1933 г. «решение становится действием». Стихами о Сталине он «бросает вызов миру», вступает в «беспримерный поединок со своим временем», «сам себе подписывая смертный приговор»⁵⁶⁵.

⁵⁶⁴ Струве Н. «Судьба Мандельштама». В кн.: «Православие и культура». М., 2000. С. 415.

⁵⁶⁵ Там же. С. 416.

Но если стихи – материализация духовного и само духовное, открытость, всего того, что изначально представляет собой Поэт, то Струве ошибается. Не было «колебаний», постепенного вызревания и состоявшегося лишь через шестнадцать лет после Октября «вызова миру». Все эти приписываемые Мандельштаму модуляции сугубо рациональны, предполагают ту или иную форму разумной отсрочки, «взвешивание» «за» и «против», в определенной мере «головное» решение. Не исключено – взнузданную волю. Нарратив Мандельштама, как можно уловить из смысловой вибрации его стихов, иной. Поэт как «арестованный медведь», «природы вечный меньшевик» в переменах своих не властен. Да и в позднее предложенном Надеждой Мандельштам делении его творчества на «этапы», связанные с индивидуальными жизненными циклами, сущностных изменений личности не отмечается.

* * *

Если начинать с 1917 г. и говорить об отношении к революции, то следует идти от первичного, принадлежащего самому Поэту, – его стихов. Датированные 16 августа 1917 г. строки – предчувствие под названием «Меганом». В переводе с греческого – «Большое поселение, жилье». Им назван высокий мыс в юго-восточном Крыму. Что формируют в сознании читателя образы поэтического текста? Стихи – о судьбе обитателей «Большого дома» от сегодняшнего дня – до загробной беспамятной жизни. Масштаб задается изначально словами:

Еще далеко асфodelей
Прозрачно-серая весна...

Спрашивать у живущих о завтрашнем дне бессмысленно. Тени умерших, блуждающие среди цветов забвения, тем более ничего не могут знать о назревающих событиях. До боль-

шевистского переворота остается шесть недель. Но характер будущего неминуемо трагичен. Это следует из свержающего национального ощущения-предвидения автора, помещающегося в «пространстве» бытия – небытия между живущими и умершими. Поэт – медиум. Он видит, как под «ветряной луной» летают «хлопья черных роз» и траурной каймой влачится «птица смерти и рыдания». Он ощущает близость смерти. О ней дает знать и «черный парус», возникающий на горизонте после «похорон». Надвигающееся ужасно. Избежать его нельзя. И единственный доступный человеку способ отрешиться от него хотя бы в будущем – забвение.

И вот Октябрь. Первую, легко прочитываемую его оценку Поэт высказывает уже в ноябре. Ленин в стихах назван «октябрьским временщиком», который готовит стране «ярмо насилия и злобы». Из «красной подковы зданий» вылезает на свет низколобый пулеметчик в ошетилившемся «убийце-броневике», а злая чернь рукоплещет, когда на штыки накалывается сердце...

Если бы все это и в самом деле было временно.

Продолжение темы – декабрьское 1917 г. стихотворение «Кассандре». Прорицательница не ошибается в предсказаниях будущего. Она предупреждала троянцев о спрятавшихся в деревянной статуе греках, но те все равно ввезли коня в город. При гибели Трои была захвачена в плен и та, которая остерегала. Ее история отражается Мандельштамом в стихах о недавней русской трагедии. Нас, только что все потерявших, «мучит воспоминанье» о предостережениях прорицательницы. Что осталось?

На площади с броневиками
Я вижу человека: он
Волков горящими пугает головнями –
Свобода, равенство, закон!

Не безумен ли человек, осыпающий волков искрами чужой цивилизации? Могут ли звери внимать ему? Их сдерживает только страх и ровно до той поры, пока перед ними пляшет еще не погасший огонь. Но он не долговечен, а содеянное «низколобыми» непоправимо и теперь

...На площадях и в тишине келейной
Мы сходим медленно с ума...

Тотальному ощущению Смерти посвящено и широко известное стихотворение с рефреном «Твой брат, Петрополь, умирает». Но если северная столица утратила бессмертие и близка к смерти, то Москва – «...в торговле хитрая лисица/...пред князем жалкая раба» – приспособилась к новой жизни и все увереннее правит волчьим миром. В ней, «столице непотребной», в «разбойном Кремле» гнездится большевистская Власть.

* * *

К счастью Поэт не все время пребывал в большевистской столице. Была Украина, был Крым. В этот период, когда Власть еще не успела взять его за горло⁵⁶⁶, в стихах Мандельштама обозначается весь грандиозный масштаб его личного восприятия мира, в котором где-то еще теплится свобода.

Поит дубы холодная криница,
Простоволосая шумит трава,
На радость осам пахнет медуница.
О, где же вы, святые острова,
Где не едят надломленного хлеба,
Где только мед, вино и молоко,
Скрипучий труд не омрачает неба
И колесо вращается легко.

⁵⁶⁶ Именно это ощущение – взятого за горло человека – передает нам выполненная Лазарем Гадаевым и установленная в Воронеже скульптура Осипа Мандельштама,.

Но случившееся случилось, и забыть его невозможно. К «хлопьям черных роз» и «черному парусу» добавляются «Сухие листья октября,/Глухие вскормленники мрака». Стихи датированы «Осень 1920 (1917?)». Впрочем, не важно. А вот «октябрь» вполне читается как имя события. Какова же судьба ожидает его детей, подобных сухим листьям?

И на пороге тишины,
Среди беспамятства природы.
Не вам, не вам обречены,
А звездам вечные народы.

При всем катастрофизме совершившегося, «сухие листья» лишь локальное в пределах мироздания трагическое событие в жизни всего одного из народов. Иные народы – их множество – по-прежнему вечны. Но можно ли этим утешиться? Мы-то в России. А здесь:

Нельзя дышать, и твердь кишит червями,
И ни одна звезда не говорит...

Это «не раньше 25 августа» 1921 г. И уже пришло сознание того, что в стране «распалась связь времен».

Век мой, зверь мой, кто сумеет
Заглянуть в твои зрачки
И своею кровью склеит
Двух столетий позвонки?
Кровь-спасительница хлещет
Горлом из земных вещей,
Захребетник лишь трепещет
На пороге новых дней.

...

Чтобы вырвать век из плена,
Чтобы новый мир начать,
Узловатых дней колена
Нужно флейтою связать.

Случившееся – распад – очевидно. Исполнение возложенной на Поэта миссии – флейтой «связать» позвонки веков – сомнительно. Культура – подобие горящих головней, которыми до времени можно пугать волков. Но и без нее – миссии культуры – в жизни не остается никакой надежды и, кроме того, в силах ли Поэт избавиться от своего предназначения быть флейтой? И хотя он и ощущает себя ничтожно малым, это не мешает ему выполнять ему назначенное.

Я – трамвайная вишенка страшной поры
И не знаю, зачем я живу.

...

Лишив меня разбега и разлета
И дав стопе упор насильственной земли,
Чего добились вы? Блестящего расчета:
Губ шевелящихся отнять вы не могли.

Еще одна часть важная часть мироощущения Поэта – «слитность – принадлежность» к людскому сообществу. Он неизменно определяет себя как часть (но не однородную часть) целого, ужасного, но все же крепко удерживающего поэта родственными узами:

Пора вам знать: я тоже современник,
Я человек эпохи Москвошвея,
Смотрите, как на мне топорщится пиджак,
Как я ступать и говорить умею!
Попробуйте меня от века оторвать,
Ручаюсь вам – себе свернете шею!

Но в отличие от «ужасного – родственного – целого», он обречен на собственную особую миссию-работу. Поэт, как несущий трагическую весть гонец, гибельно назначен артикулировать виденное – свершающийся ужас:

Я больше не ребенок!
Ты, могила,
Не смей учить горбатого – молчи!
Я говорю за всех с такою силой,
Чтоб небо стало небом, чтобы губы
Потрескались, как розовая глина.

К тому же, ужас состоявшегося мира многообразен. И нужно (назначено) успеть сказать обо всем виденном. Вот Крым эпохи коллективизации:

Природа своего не узнает лица,
И тени страшные Украины и Кубани...
На войлочной земле голодные крестьяне
Калитку стерегут, не трогая кольца.

Но это – взгляд снаружи. А вот то, что он несет в себе, что чувствует сам. Из личных уральских впечатлений:

Там я плыл по реке с занавеской в окне,
С занавеской в окне, с головою в огне.

А со мною жена пять ночей не спала,
Пять ночей не спала, трех конвойных везла.

И, параллельно, не покидающая Поэта пытка-наваждение – предчувствие будущего:

Твоим узким плечам под бичами краснеть,
Под бичами краснеть, на морозе гореть.

Твоим детским рукам утюги поднимать,
Утюги поднимать да веревки вязать.

Твоим нежным ногам по стеклу босиком,
По стеклу босиком, да кровавым песком.

Ну, а мне за тебя черной свечкой гореть,
Черной свечкой гореть да молиться не сметь.

Отдельно стоит послушать, как звучит у Мандельштама тема русского народа, традиционно любимого и превозносимого отечественной интеллигенцией. Все близко знавшие Поэта отмечали его живейший интерес к тому, что народом именовалось, а для Поэта – ко всем людям без исключения. Не верно было бы считать, что он, подобно Льву Толстому, тяготел к «народопоклонству» или и впадал в мифотворчество, как Достоевский со своим «мужиком Мареем» или идеей «всечеловечности». Напротив, в его прозаическом произведении «Преступление и наказание в “Борисе Годунове”» по поводу неоднозначно трактуемой сцены толпы у царских палат с последующим заключением «Народ безмолвствует» встречаем следующую оценку: «Крик отвратительной, слепой ненависти, который вырывается у мужика на амвоне: «Вязать Борисова щенка!» – заставляет нас окончательно разувериться в какой бы то ни было нравственной миссии народа»⁵⁶⁷.

Народ для Поэта – все те, с кем он живет рядом. С кем рядом он в одиночку работает. Не более того. Для понимания именно такого толкования – еще несколько образов:

⁵⁶⁷ Осип Мандельштам. Полное собрание сочинений поэзии и прозы в одном томе. М., 2010. С. 276.

... Но как в колхоз идет единоличник,
Я в мир вхожу – и люди хороши.

...

...Я должен жить, дыша и большевея,
Работать речь, не слушаясь – сам-друг...

...

И не ограблен я, и не надломлен,
Но только что всего переогромлен...
Как Слово о Полку, струна моя туга,
И в голосе моем после удушья
Звучит земля – последнее оружие –
Сухая влажность черноземных га!

...

Лишь бы только любили меня эти мерзлые плахи –
Как прицелься насмерть, городки зашибают в саду, –
Я за это всю жизнь прохожу хоть в железной рубахе
И для казни петровской в лесах топорнице найду.

* * *

Но если отношения Поэта с народом – это жизнь и разговор с родственниками, с родными, какими они бы ни были – хорошими или дурными, то с Властью у Мандельштама, как и у многих, подходящих ему «по рангу», все сложнее. Из хрестоматийного на ум сразу же приходит разговор Пастернака с позвонившим ему Сталиным. В этом разговоре Борис Леонидович напрямую Мандельштама не защитил⁵⁶⁸. Хотя

⁵⁶⁸ «Сталин сообщил Пастернаку, что дело Мандельштама пересматривается и что с ним все будет хорошо. Затем последовал неожиданный упрек: почему Пастернак не обратился в писательские организации или «ко мне» и не хлопотал о Мандельштаме. «Если бы я был поэтом и мой друг поэт попал в беду, я бы на стены лез, чтобы ему помочь...»

Ответ Пастернака: «Писательские организации этим не занимаются с 27-го года, а если б я не хлопотал, вы бы, вероятно, >



Надежда Яковлевна и не склонна его за это осуждать.

Что определяло отношения Мандельштама и власти? Поэт не принял главное детище Власти – Октябрь и в значительной мере спровоцированную после него большевиками гражданскую войну⁵⁶⁹. И эта линия в его творчестве шла постоянно, включая знаменитое:

Мы живем, под собою не чуя страны...

Но было и иное. Наверное, сочиненное в ужасе от каждодневного ожидания расправы. Ужас длился годами. (Однажды Мандельштам даже пытался покончить с собой, выбросившись из окна). Вот – из тридцать пятого:

Пусти меня, отдай меня, Воронеж:
Уронишь ты меня иль проворонишь,
Ты выронешь меня или вернешь, –
Воронеж – блажь, Воронеж – ворон, нож...

> ничего бы не узнали...» Затем Пастернак прибавил что-то по поводу слова «друг», желая уточнить характер отношений с О.М., которые в понятие дружбы, разумеется, не укладывались. Эта ремарка была очень в стиле Пастернака и никакого отношения к делу не имела. Сталин прервал его вопросом: «Но ведь он же мастер, мастер?» Пастернак ответил: «Да дело не в этом...» – «А в чем же?» – спросил Сталин. Пастернак сказал, что хотел бы с ним встретиться и поговорить. «О чем?» – «О жизни и смерти», – ответил Пастернак. Сталин повесил трубку». Цит. по: *Надежда Мандельштам. Воспоминания*. Т. 1. М., 2006. С. 171.

⁵⁶⁹ Роспуск большевиками Учредительного собрания, а к лету 1918 года и советов, которые в сельской местности заменили Комитетами бедноты, по признанию Ленина была необходимая мера для перехода от буржуазно-демократической революции к социалистической посредством переноса классовой борьбы в деревню, т.е. из нескольких городов с организованных в них большевистскими мятежами – на пространство всей страны.

А в начале тридцать седьмого неожиданно и впоследствии тягостно для самого себя прорвало:

Я рассказал о том, кто сдвинул мира ось,
Ста сорока народов чтя обычай...

Он «мужество улыбкою связал». «И в дружбе мудрых глаз... /...вдруг узнаешь отца». «...Ему народ родной...», «Могучие глаза решительно добры/Густая бровь кому-то светит близко». «Весь – откровенность...». «Он улыбается улыбкою жнеца». «Есть имя славное для сильных губ чтеца./Его мы слышали, и мы его застали». «Хочу его назвать – не Сталин, – Джугашвили». Следом – еще более сильное:

Если б меня наши враги взяли
И перестали со мной говорить люди,
Если б лишили меня всего в мире:
Права дышать и открывать двери,
И утверждать, что бытие будет
И что народ как судия судит...
Я упаду тяжестью всей жатвы,
Сжатостью всей рвущейся вдаль клятвы, –
И налетит пламенных лет стая,
Прошелестит спелой грозой Ленин,
И на земле, что избежит тленья,
Будет будить разум и жить Сталин.

Как относиться к неприкрытому, хотя и довольно сдержанному славословию? Многие, – пишет Н.Я. Мандельштам, – советовали уничтожить стихи, будто ничего подобного никогда не было. «Но я этого не делаю, потому что правда была бы неполной: двойное бытие – абсолютный факт нашей эпохи, и никто его не избежал. Только другие сочиняли эти

оды в своих квартирах и дачах и получали за них награды. Только О.М. сделал это с веревкой на шее... Ахматова – когда веревку стягивали на шее у ее сына. Кто осудит их за эти стихи?»⁵⁷⁰. И вправду, не нам судить. Потому, что в то время не жили и не способны, хотя бы в малой степени вообразить кошмар тогдашнего бытия. И потому что это – поступок великого человека. И потому, что наряду с этими стихами есть противоположные, всеобъемлющие⁵⁷¹, заведомо гибельные.

Очевидно, относиться следует как к одной из красок на огромной словесной картине, оставленной художником-поэтом. Впрочем, сам Поэт как завещание потомкам (март 1937) произносит:

Не кладите же мне, не кладите
Остроласковый лавр на виски,
Лучше сердце мое расколите
Вы на синего звона куски...

И когда я умру, отслуживши,
Всех живущих прижизненный друг,
Чтоб раздался и шире, и выше
Отзвук неба во всю мою грудь!

Сердце Поэта методично раскалывали на куски все двадцать лет, при советской власти прожитые. Об этом – Надежда Мандельштам.

* * *

Восприятие мира Мандельштамом, передаваемое его стихами, органично дополняется мемуарной прозой жены. С вы-

⁵⁷⁰ Там же. С. 240.

⁵⁷¹ «Думаю, что он не хотел уйти из жизни, не оставив недвусмысленного высказывания о том, что происходило на наших глазах». Там же. С. 186.

ходом ее трехтомника мы получили редкую возможность не только увидеть изнутри то событийное, что случилось с Поэтом. Может быть еще более ценны «сторонние», сделанные с близкого расстояния наблюдения, поданные через точные, беспощадные в своей прямоте оценки «большевистского времени».

Что обеспечивало их точность? Почему я думаю, что их не хотелось бы потерять среди иных наблюдений подобного рода? Конечно, они не «вписаны» в какую-либо теорию, не подтверждают/опровергают предлагаемую автором какую-либо «концепцию». Но все же они ценны тем, что не позволяют после их прочтения поддаваться на принятие какой-либо легковесной конструкции. Они задают тональность, уровень и критерий, дающий возможность в дальнейшем, если пове-зет, смотреть на историю глубже. Что же позволило Надежде Яковлевне дать нам такое видение? Наверное, ее и Поэта близость, почти слитность, которую он называл «мое “ты”»⁵⁷².

Конечно, «время большевиков» – колоссальная по масштабу тема и, кажется, не серьезно затрагивать ее в жанре малой статьи. Однако если абстрагироваться от горизонтов и выделить в ней только два аспекта, все же нечто по этому поводу сказать я попытаюсь⁵⁷³. Итак, как в восприятии Н.Я.Мандельштам изменялось (меняло свою природу) общество и как эволюционировала послеоктябрьская (до конца тридцатых годов) власть.

* * *

Из более глубоких причин, оказавших влияние на мировоззрение послеоктябрьского российского общества, нужно сказать о некоторых чертах общего литературно-фило-

⁵⁷² Мандельштам Надежда. Вторая книга. М., 2006. С. 137 – 138.

⁵⁷³ Возможно, сколько-нибудь успешной попытка говорить о большом может быть только после этапа разговора о большом посредством малого.

софского контекста второй половины XIX столетия. На мой взгляд, уже с Тургенева в русском мировидении, создаваемом классической литературой, четко обозначилась тема необычной для России общественной фигуры – нового «человека дела». В отличие от первых схематических попыток Гоголя с его позитивными персонажами второго тома «Мертвых душ», автор «Отцов и детей» впервые поставил своего героя на реальную почву. Еще более четко эта позиция была укреплена образом фабричного управленца Соломина – одного из героев заключительной части шеститомной романной прозы – романа «Новь». Далее этот ряд пополнился фигурами из революционных фантазий автора «Что делать?» и трезвыми мыслями-образами романов Лескова. Много невнятицы в эту тему внес своей публицистикой Достоевский⁵⁷⁴. А потом, как отмечают Анна Ахматова и Надежда Мандельштам, в философствующую русскую литературу устремился мощный поток всякого рода интеллектуальных махинаторов от поэзии. Умели они только одно – рушить фундаментальные смыслы и ценности европейской культуры, с большим трудом прививаемые в России XIX-ым в. Это, кстати, было одной из фундаментальных причин ослабления общества против низового большевистского бунта: обществу, у которого были разрушены объединяющие его ценности, стало не для чего жить и нечего защищать.

Последовавшая за ленинским переворотом и длившаяся более трех лет гражданская война как материализация идеи «войны всех против всех» стала мощным фактором формирования объединения людей особого типа – «переживших и выживших в гражданской войне». Одной из главных характе-

⁵⁷⁴ Жена Поэта свидетельствует, что Мандельштам «чурался Достоевского». «...Он ощущал Достоевского как вместилище всех бесов и в своих поисках более светлых отношений с людьми закрывал глаза на пророческие прозрения великого каторжанина». Там же. С. 280.

ристик этого состояния стала новая, еще более жесткая, чем прежде, ориентация общества на власть. Ее (власти) последовательный фанатизм и жесткая исполнительская четкость, с одной стороны, и, одновременно, варварство и алогизм мышления и поступков с другой, в совокупности делали ее, может быть, самой страшной из бывших в истории. В силу своей природы она была абсолютно рационально непостижимой и потому непредсказуемой. Может быть, единственным обозначаемым ею критерием был всего лишь один, начисто лишенный какого-либо смысла, но зато неукоснительно применявшийся: «наш» – «не наш». Критерий этот базировался на еще более шатких основаниях: так называемом «классовом чутье» и «революционной целесообразности». В сравнении с ними представления об устройстве мира (земля стоит на трех слонах, а слоны – на спине у кита) кажутся верхом содержательности. Как свидетельствует Н.Я.Мандельштам, под критерий «не наш» в отношении очередного арестованного человека общество (а говорит она не о полуграмотных рабочих – вчерашних крестьянах, а о «своем круге») подводило все мыслимое. О нем, например, отзывались: «он такое себе позволял»; «он сказал...»; «у него такой ужасный характер»; «что-то с ним не в порядке»; «чужой человек» и т.д. А если все-таки задавался рациональный вопрос «За что взяли?», то в ответ Ахматова, например, взрывалась: «Как за что? Пора понять, что людей берут ни за что...» Ярлык «не наш» был страшен, а его получение было первым шагом к определяющей эпоху «диалектической» мысли «кто не с нами, тот против нас».

Новое послеоктябрьское общество не имело и ни в коем случае не претендовало на то, чтобы иметь какое бы то ни было собственное (общественное) мнение. Удивительная черта нашей жизни, отмечает Надежда Яковлевна, состоит в том, что мои современники подавали петиции и просьбы, вы-

ражали свое мнение и действовали только после того, как выяснялось, что скажут по этому поводу «наверху». Более того. Довольно широк был слой тех, кто был уверен, что ни с кем не может случиться ничего дурного, если человек не совершал никакого преступления и его совесть была чиста. Но эта вера-чувство не существовало само по себе, в отдельности. С ним граничило другое – стремление во что бы то ни стало и при любой возможности власти услужить и, тем самым, как бы приобрести для будущего некий кредит-капитал.

Общество двадцатых годов безоглядно разрушило прежние ценности и нашло новые, как ему казалось, нужные универсальные формулы: «молодое государство, невиданный опыт, лес рубят – щепки летят... Каждую казнь оправдывали тем, что строят мир, где больше не будет насилия, и все жертвы хороши ради неслыханного «нового». Случилось то, что и должно было случиться: цель стала оправдывать средства, а потом и вовсе исчезла. И это нельзя считать только делом большевиков. Сами люди двадцатых годов начали аккуратно отделять своих от чужих, сторонников «нового» от тех, кто еще не забыл самых примитивных правил общежития.

Взаимная слежка стала основным принципом, посредством которого общество самоуправлялось, а власть управляла обществом. «Служащие несли свой мед директору, секретарю парторганизации и в отдел кадров. Учителя при помощи классного самоуправления – старосты, профорга и комсорга – могли выжать масло из любого школьника. Студентам поручалось следить за лектором. Взаимопроникновение тюрьмы и внешнего мира было поставлено на широкую ногу»⁵⁷⁵. Постепенно люди «перестали встречаться друг с другом», чем достигались далеко идущие цели органов. Кроме постоянного сбора информации власть добилась ослабления связей между людьми, в конечном счете – разъединения общества,

⁵⁷⁵ Мандельштам Надежда. Воспоминания. Т. 1. М., 2006. С. 49 – 50.

.....
.....
дополняя слежку теми, с кого брали подписки о «неразглашении». Естественно, что когда «время большевиков» начало иссякать, все эти толпы «подписантов» оказались обречены жить под вечным страхом разоблачения и, как и кадровые служащие органов, стали заинтересованы в незыблемости порядка и неприкосновенности архивов, в которых были их имена.

Общество не только перестало хотя бы минимально самоуправляться. Оно утратило свой родовый признак – быть связью между людьми. «...Все промежуточные звенья – семья, свой круг, сословие, общество – внезапно исчезли, и человек очутился перед таинственной силой, которая именуется власть и служит распределителем жизни и смерти. В просторечье у нас это назвалось Лубянка».⁵⁷⁶

Но на этом процесс не остановился. Вслед за исчезновением связей исчезла личность отдельного человека. Даже закоренелый индивидуалист для того, чтобы утвердиться в индивидуализме, должен иметь точку для отрицания. Еще более это необходимо для нормального становления личности.

Постоянное пребывание в уверенности о неизбежности происходящего и ужаса от совершавшегося изменило психику общества. Тотальная необходимость подчинения разрушила личную ответственность и понятие греха. Более того. Происходящее воспринималось (и это последовательно насаждалось властью) как установленное отныне и на века. «Всех охватило сознание, что возврата нет. Это чувство было обусловлено опытом прошлого, предчувствием будущего и гипнозом настоящего. Я действительно утверждаю, что все мы, город в большей степени, чем деревня, находились в состоянии, близком к гипнотическому сну. Нам действительно внушили, что мы вошли в новую эру и нам остается только подчиниться исторической необходимости, которая, кстати,

⁵⁷⁶ *Мандельштам Надежда*. Вторая книга. М., 2006. С. 8.

совпадает с мечтами лучших людей и борцов за человеческое счастье. Проповедь исторического детерминизма лишила нас воли и свободного суждения»⁵⁷⁷.

Происходящее в реальности настолько напоминало бред, что люди со здоровой психикой предпочитали закрывать глаза. Но «психическая слепота» не проходила даром: слепота разлагала всю душевную структуру. В любом случае, ослепление было столь сильно, что когда случилась «хрущевская оттепель», эта перемена приспособившимися, в частности доносившими и сажавшими, была воспринята крайне болезненно: раз людям обещали, что ничего больше меняться не будет, то нельзя допускать никаких перемен. Пусть остановленное время продолжает стоять.

* * *

Как и новое «прибольшевицкое» общество, новая большевицкая Власть имеет свои корни в гражданской войне. Что же до того круга властей, с которым были связаны Мандельштамы, то он ограничивался сперва некоторыми образованными персонами властной элиты, а впоследствии – исключительно персонажами из карательных отрядов большевиков – ЧК.

Из отличительных признаков большевицкой элиты Надежда Яковлевна, прежде всего, отмечает то же, что и в обществе качество – постоянную универсальную ориентацию на вышестоящую власть. Ни о какой публичной или хотя бы внутренней свободе даже у ее почти что высших представителей речи нет. Максим Горький, якобы плакальщик и защитник перед властями представителей русской словесности, по отношению к Мандельштаму выходит строго ориентированным на начальство мелочным чинушей и гонителем. Так, будучи «ответственным» за наделение новых российских писателей «имущественными благами» в виде одежды,

⁵⁷⁷ Мандельштам Надежда. Воспоминания. Т. 1. М., 2006. С. 60.

.....
.....
против фамилии Мандельштама на просьбе о «выделении» таковой, он собственноручно о потребных штанах написал «Обойдется...».

Н.И. Бухарин, «любимец партии «Бухарчик», до поры до времени делавший попытки «продвигать» стихи Мандельштама и не умевший, по оценке Надежды Яковлевны, делать практических выводов из собственной общественной теории, после сочинения антисталинских стихов так испугался, что не только перестал помогать, но и принимать жену Поэта.

Что же до природы репрессивной власти, то с момента ее укоренения в государственном и общественном теле и до конца тридцатых – гибели Поэта, она, хотя и претерпела существенную эволюцию, но не изменила своих изначальных целей. А их у нее было много. По оценке Надежды Яковлевны, это было установление единомыслия, подготовка прихода тысячелетнего царства, искоренение свидетелей, способных что-то запомнить о творимом зле и прочее. При этом, людей снимали пластами по категориям: церковники, мистики, ученые-идеалисты, остроумцы, послушники, мыслители, болтуны, молчалники, спорщики, люди, обладавшие правовыми, государственными или экономическими идеями, да еще инженеры, техники и агрономы, потому что появилось понятие «вредитель», которым объяснялись все неудачи и просчеты. В ЧК даже придумали поговорку: «Был бы человек – дело найдется».

Чекисты действительно были передовым отрядом «новых людей» – они подвергали все обычные взгляды коренной сверхчеловеческой ломке. До середины двадцатых годов в тайной полиции Мандельштамы сталкивались в основном с бывшими подпольщиками, окруженными молодежью. Уверенные в своей правоте, они охотно спорили, грубили, агитировали. Постепенно им на смену пришли «круглоголовые блондины» с вымученной манерой «рубах-парней». Затем на

их место заступили «молчаливые дипломаты», пытавшиеся произвести впечатление людей с весом и влиянием. И если у первой генерации были свои взгляды, то у последующих никаких взглядов, перевернутых или правильных, не было. Но как первую, так и последующие генерации объединяло одно: они признавали только собственное кастовое право на мысль и суждение, отрицая таковое за другими. Они были уверены, что право на суждение определяется и будет определяться положением, чином и рангом.

Из того, что люди власти пришли с войны, следовало еще одно важное их свойство. Несомненно, что многие были хорошими солдатами, вероятно, проявлявшими воинскую доблесть. Однако то, что требовалось на фронте – выполнять приказы, даже жертвуя собой, происходило в строю. Это, как говорит Надежда Яковлевна, была «служба, а не «битва». Для службы требуется не смелость, а стойкость, подчинение дисциплине, а не нравственному долгу. Человек, потерявший личность, нередко обретает достоинство именно в строю, на войне. В мирное же время он у нас тоже оказывался строевым и подчинялся приказам даже в тех случаях, когда они шли вразрез с его понятиями о долге и чести (у многих ли сохранились эти понятия?)»⁵⁷⁸. Быть строевым человеком, ориентироваться только на приказы, а не на понятия долга и чести, а теперь, как показало последнее десятилетие, для исполнения приказа игнорировать и закон – еще одна черта тех, кто идет во власть и становится человеком власти.

Власть большевиков все же пришла за Надеждой Яковлевной. Ее арестовали, хотя и ненадолго, поскольку пред этим она успела умереть. «Накануне нового 1981 г., – сообщает подготовивший третью книгу ее воспоминаний Ю.Л.Фрейдин, – в однокомнатную квартирку в Черемушках, где друзья в скорби собрались у ее гроба, явились милици-

⁵⁷⁸ Надежда Мандельштам. Вторая книга. М., 2006. С. 63.

онеры и гэбэшники и насильно увезли в морг. Хорошо еще, что потом дали достойно отпеть и похоронить, а не бросили в безымянную могилу, как за сорок два года до того в лагере на “Второй речке” под Владивостоком тело ее мужа, поэта Осипа Мандельштама»⁵⁷⁹.

* * *

Явление Поэта в мир прошло почти не замеченным. Может быть, наиболее внимательно его жизнь и творчество отслеживала именно Власть, справедливо видевшая в нем одну из наибольших для себя угроз. Сам Мандельштам об этом не без гордости говорил: стихи в России имеют особое значение – за них убивают.

Что же до его кончины, то она была воспринята как закономерное явление: «не произвела ни малейшего впечатления ни на людей искусства и литературы, ни на читателей. Разве такой анахронизм имел право существовать в “дни великого совета”?»⁵⁸⁰ Горькие слова человека, которому довелось жить и понимать «время большевиков». Но разве они утратили свой экзистенциальный смысл спустя десятилетия? Почему мы по-прежнему лишены слуха?

Одна из причин этого прискорбного явления, как мне представляется, связана с тем, о чем говорит Надежда Яковлевна: «Дела прошлые, но как отражаются на потомках преступления отцов и дедов?» Думаю, отражаются, и приводят к столь же печальным результатам, как и прежде. По недомыслию, из-за лени или от страха, мы пренебрегли работой глубокого проясняющего анализа «прошлых дел». Более того: мы не выработали защитных мер против того, чтобы эти дела не возникали вновь. На это можно возразить, что со времен перестройки, в нашу историю и культуру вернулась правда о «времени большевиков». Соглашусь. Но это произошло лишь


⁵⁷⁹ Надежда Яковлевна Мандельштам. Третья книга. М., 2006. С. 5.

⁵⁸⁰ Мандельштам Надежда. Вторая книга. М., 2006. С. 302.

отчасти, затронув только тех, кто и без того эту правду знал или о ней догадывался и, более того, умел никогда не поддаваться соблазну жить по ее логике. Каждый, кто был готов никогда не принимать «ценностей» большевизма, перестроечным знанием укрепились. Но значительная часть общества и, еще менее, власть не озаботились лечением себя и тех, кто большевизмом был инфицирован или к нему предрасположен. И тоталитарное варварство, небрежение культурой не замедлили дать новые ростки. Похоже, «время большевиков» не ушло и при всех переменах мы, по-прежнему, «...живем, под собою не чуя страны...»

* * *

Голос и молчание Анны Ахматовой

одно из измерений отечественной поэзии XX столетия – иное, чем было в русской классической литературе соотношение между голосом и молчанием. Прежде, в XIX столетии, народ хотя и безмолвствовал, но сохранял, как полагали отечественные писатели, слово внутри себя. В XX веке народ в полной мере онемел. Стало ли это следствием «долгого исторического рабства», о котором предупреждал А.И. Герцен, или это было результатом устроенного большевиками переустройства русского мира на тоталитарных основаниях?

Феномен поэзии Анны Ахматовой, наряду с прочим, являет себя и как особый результат коллективного молчания и коллективного говорения Поэта и Народа. Сравнение под этим углом зрения ее стихов с поэзией Осипа Мандельштама и прозой Андрея Платонова позволяет увидеть в их творчестве общее и отличное.

* * *

Творцы, а только по отношению к ним и стоит обсуждать эту тему, к собственному вынужденному молчанию относились по-разному. Мандельштам, преодолевая удушающую горловую хватку власти, судорожно хрипел. Андрей Платонов долго не находил выхода и страдал. (Однажды ночью, как свидетельствует исследователь его творчества А.Варламов, проснувшись, он даже увидел себя самого сидящим за столом и что-то пишущим)⁵⁸¹. В конце концов, он научился го-

⁵⁸¹ *Варламов А.* Андрей Платонов. М., ЖЗЛ, 2011.

ворить сам с собой. Но и от этого разговора-бормотанья те, кому было положено подслушивать, покрывались холодным потом.

Ахматова, как вспоминают друзья, почти неслышно «бурчала». Но кроме превращения в голос личного молчания, она слушала молчание народа. Что об этом думала? В ее рабочей тетради находим слова из надгробной речи епископа Сенецкого Де Бове Людовика XV: «Народ не имеет права говорить, но, без сомнения, имеет право молчать!.. И тогда его молчание является уроком для королей!»⁵⁸² У народа Франции не было права говорить, так думал епископ. Но на деле это право было и он им часто пользовался. А вот умел ли говорить народ на родине великого поэта?

* * *

Не думаю, что в России, славящейся своей «стабильностью» во многих отношениях, народ во времена Анны Андреевны сильно отличался от нынешнего. Большевизм, в пору расцвета которого довелось жить Ахматовой, по свидетельству философа Федора Степуна, создал в стране невиданную в истории «фабрику единообразных человеков». Послушаем: «Очевидно, государственный деспотизм не так страшен своими политическими запретами, как своими культурно-педагогическими заданиями, своими замыслами о новом человеке и новом человечестве»⁵⁸³. В переделке народа замысел, надо признать, удался. Но остается вопрос: что под народом понимать?

Неоднократно замечалось то, что позднее сформулировал Николай Бердяев: «Если творец хочет выразить судьбу своего народа и разделить ее, то потому, что он внутренне с ней связан, и даже, может быть, более с ней связан, более есть

⁵⁸² Цит. по: Светлана Коваленко. «Анна Ахматова». ЖЗЛ. М., 2009. С. 271.

⁵⁸³ Федор Степун. «Бывшее и несбывшееся». С-Пб., 2000. С. 214.

настоящий народ, чем бескачественная народная масса. О народе мы судим, прежде всего, по его гениям, по его вершинам, а не по обыденной жизни человеческих масс, по качеству, а не по количеству».⁵⁸⁴ В этом замечании, как видим, маятник отношения к народу от точки необъятной любви качнулся к другой точке – уничижения: «бескачественная масса», «количество»... При том, что понимание слов «творец... связан с народной судьбой более, чем сам народ» отдано на волю читателя.

Бердяевское суждение приведено для того, чтобы оттенить принципиально иную позицию Ахматовой, выраженную односторонне. Например, в «Решке» – второй части «Поэмы без героя» – чеканно-четко:

«Ты спроси у моих современниц,
Каторжанок, «стоятниц»⁵⁸⁵, пленниц,
И тебе порасскажем мы,
Как в беспамятном жили страхе,
Как растили детей для плахи,
Для застенка и для тюрьмы».⁵⁸⁶

В том положении, в котором жила Ахматова, и в котором жили сотни тысяч и миллионы, невозможно помыслить бердяевскую диспозицию «творец» – «народ». Мысль – творец более, чем народ, связан с народной судьбой – не работает. Они вровень.

⁵⁸⁴ *Н. Бердяев*. «О творческой свободе и о фабрикации человеческих душ». В кн. «Анна Ахматова: PRO ET CONTRA». Антология. Т. 2. С-Пб., 2005. С. 102.

⁵⁸⁵ Стоятницами» именовали репрессированных женщин, которым позволялось проживать только за чертой больших городов – «за сто пятой верстой». Позднее, в послевоенном СССР была введена норма и понятие «сто первый километр».

⁵⁸⁶ *Анна Ахматова*. Полное собрание поэзии и прозы в одном томе. М., 2010. С. 527.

Но равняли Поэта и народ не только безмерные страдания и горе. Сама же Ахматова констатирует иное – всеобщее поравнение людей смертью, ее тотальное и постоянное, вневременное доминирование над жизнью.

Это же – господство смерти – десятилетием до нее осознал и о нем написал Андрей Платонов. Царством смерти он видел весь СССР. Что же все-таки хотел сказать Андрей Платонович, избирая себе в качестве символа бытия в СССР старуху с косою? Напомню, что сам писатель в статье «Коммунизм в сердце человека», опубликованной в 1922 г., рассматривал смерть (физическое уничтожение буржуев) как единственно необходимый и неизбежный способ уничтожения все еще живущего прошлого, условие строительства нового общества – т.е. будущего. Читаем: «Пролетарий не должен бояться стать убийцей и преступником и должен обрести в себе силу к этому. Без зла и преступления ни к чему в мире не дойдешь и умножишь зло, если сам не решишься сделать зло разом за всех и этим кончить его».⁵⁸⁷

Молчание как лишение жизни, как смерть – одна из центральных тем русской классической литературы. Первым к проблематике границы жизни и смерти (молчания) обратился А.С. Пушкин в «Гробовщике». Здесь смерть вплетена в более широкий мировоззренческий контекст размышлений о судьбе. Здесь она не прекращение жизни, а ее продолжение и часть назначенного человеку за пределами земного мира пути. У Пушкина, как и вообще в отечественной прозе XIX столетия, этот смертный путь не вторгается в пространство жизни так, как это происходит в XX в., например, у Платонова, когда непонятно – в жизни или в смерти пребывают герои. У реалистов Пушкина, а вслед за ним и у Льва Толстого смерть входит в жизнь и в этот же момент ее прекращает. А если все же (как это делает Пушкин), смерть «живет» в

⁵⁸⁷ В кн.: «Страна философов» Андрея Платонова». С. 481.

жизни, то случается это только во сне, когда человек как бы переходит в царство смерти.

Может быть, нечто подобное о смерти понял отец Саши Дванова, любопытный рыбак с озера Мутево? Ведь там, на дне, между жизнью и смертью, обитали рыбы, которые молчали и не думали, потому что уже знали. И так же осознанно, как и отец, поиск иного бытия, отличного от существования в земном царстве смерти, продолжил ушедший в озеро – вечную молчащую стихию – Саша.

Смерть – одна-единственная общая скрепа разнообразно-платоновского мира. И обретается она не только там, где была в литературе XIX в., – за порогом жизни. Большевизм втащил ее через порог в человеческий дом и теперь она то ли сосуществует с жизнью, то ли уже вовсе заменила ее. По этой причине в точности сказать, кто из героев Платонова жив (пока жив), а кто уже мертв, нельзя. Все существуют в стадии перехода от жизни к смерти и разница между героями лишь в том, что одни находятся в начале этого процесса, другие приближаются к финалу, а третьи уже мертвецы. Смерть царит и в своем царстве говорить ей нет нужды. Все молчат – потому, что знают. Молчат – потому что ничего нельзя сделать. Молчат – потому что в этом единственный признак человеческого достоинства, чего-то, что ты значишь сам по себе.

Платонов не говорит, когда именно и с чего началось это царство. Но он ясно дает понять: его конца, как второго пришествия и воскресения мертвых, ждать не следует.

С этой же констатации начинает свой «Реквием» Ахматова:
« – А это вы можете описать?

И я сказала:

– Могу.

Тогда что-то вроде улыбки скользнуло по тому, что некогда было ее лицом». ⁵⁸⁸ Молчание.

⁵⁸⁸ Анна Ахматова. Цит. соч. С. 288.

* * *

Со встречи голоса и молчания – молчания как смерти – начинается главное произведение Поэта. И далее смерть в разных своих ипостасях присутствует в каждой строфе поэмы. А поскольку ее части писались в разное время, то, стало быть, это ощущение не покидало Ахматову никогда. Вспомним о некоторых упоминаниях «молчания – смерти»: стоящие в тюремной очереди женщины *«мертвых бездыханней»* и охвачены *«смертельной тоской»*; у каждой *«словно с болью жизнь из сердца вынут»*. Это время – когда *«только мертвый спокойствию рад»*, а над еще живыми *«звезды смерти стояли»*, а летящие недели *«о смерти говорят»*. Специальная часть поэмы напрямую обращена к смерти:

«Ты все равно придешь. Зачем же не теперь?
Я жду тебя. Мне очень трудно.
Я потушила свет и отворила дверь
Тебе, такой простой и чудной.
Прими для этого какой угодно вид,
Ворвись отравленным снарядом
Иль с гирькой подкрадись, как опытный бандит,
Иль отрави тифозным чадом,
Иль сказочкой, придуманной тобой
И все до тошноты знакомой, –
Чтоб я увидела верх шапки голубой
И бледного от страха управдома.
Мне все равно теперь. Струится Енисей,
Звезда полярная сияет.
И синий блеск возлюбленных очей
Последний ужас затмевает»⁵⁸⁹.

⁵⁸⁹ Там же. С. 292.

В отличие от классиков XIX в. и от Андрея Платонова, классика века XX, Ахматова трактует отношение «молчание – голос» по-иному. Посредством соединения голоса Поэта и молчания Народа смерть как молчание преодолевается. Народ начинает жить посредством Поэта, а Поэт обретает бессмертную жизнь, соединяясь с телом Народа. Это интуитивно почувствовала большевистская власть, когда в своей беспощадной борьбе с народом вдруг обнаружила, что ее прежде всегда безмолвный предмет усилий обрел голос.

Почему этого не было у Платонова? Возможно, потому что он первым в XX в. открыл свою страшную истину об СССР, продолженную позднее многими, но с особой отчетливостью подтвержденной Юрием Трифоновым в его «Доме на набережной». В описанном им мире «живут» мертвецы, которые хотя и двигаются, подобно живым, но все немые, подобно мертвым. Отсюда – нечеловеческая речь платоновских героев. Речь людей, которые постоянно немые и только иногда получают возможность что-то сказать.

За народ говорит поэт. Но даже у большого поэта голос есть не всегда. Будем снисходительны. Иногда и он отступает, не выдерживая страшного противостояния со смертью в лице могущественного государства или тирана. В этот момент он на время становится немым, потому что восхваление смерти – конец жизни, отсутствие голоса. Так, Осипа Мандельштама, автора «Мы живем, под собою не чуя страны...» в начале тридцать седьмого неожиданно захватило молчание, и он обратился к Сталину. «Я рассказал о том, кто сдвинул мира ось, / Ста сорока народов чтя обычай...» Он «мужество улыбкою связал» и так далее.

Под влиянием жизненных обстоятельств тема молчания и голоса неожиданно расширяется и дробится. Приведу относящееся к Ахматовой, но оно же – копиркой – повторяется у Мандельштама и Платонова. Светлана Коваленко констатирует: «Бездомность была характерной приметой быта и

бытия Анны Ахматовой. С тех пор как она в 1916 г. ушла из дома Гумилева, у нее не было своего дома, даже когда Союз писателей дал ей квартиру, а затем и знаменитую «будку», как она называла свою дачу в Комарове». ⁵⁹⁰ Мандельштам и Платонов – тоже вечные скитальцы.

«Меня не знают», – раздраженно и горестно говорила Анна Ахматова в последние годы жизни, когда «Реквием» и «Поэма без героя» уже были опубликованы за рубежом, по-прежнему оставаясь под запретом на родине» ⁵⁹¹. Запрет на стихи Мандельштама был всегда. Так же под запретом печататься творил Платонов.

«Тропинкой над пропастью», – называла Ахматова свою жизнь с 1925 г. по 1939 г.: «...мое имя вычеркнуто из списка живых». ⁵⁹² А то, что все же писалось, было откликом на нестерпимую боль безвыходного горя. В полной мере это и про двух других тоже.

Задушенный голос – инобытие молчания? Конечно.

* * *

Недавно Александр Сокуров поделился наблюдением: «Вижу миллионы безграмотных людей не только с точки зрения родного языка, но и с точки зрения всеобщей грамотности – социальной и культурной. Абсолютно дремучее состояние людей, которых можно повести за собой под любыми знаменами: нацистскими, тоталитаристскими, националистическими» ⁵⁹³. Все это – немые и, что еще страшнее, не озабоченные обретением своего и или чужого, говорящего о тебе голоса.

Итожу. У Ахматовой полное единство с народом: «... Там, где мой народ, к несчастью, был». Иное у Осипа Мандель-

⁵⁹⁰ Светлана Коваленко. Цит. соч. С. 224.

⁵⁹¹ Там же. С. 226.

⁵⁹² Там же. С. 235.

⁵⁹³ Александр Сокуров. «Кино и жизнь». <http://www.businesspuls.ru/archives/2426>

штама. Иное – у Андрея Платонова. В отличие от поэтов, автор «Котлована» к народу, пожалуй, наиболее открыт и честен. А потому беспощаден. В одном из рассекреченных недавно доносов на него слышим его собственный голос: «... Люди живут сейчас не по внутреннему закону свободы, а по внешнему предначертанию и все они сукины дети».⁵⁹⁴ Вот так: жестко, без разбора. О народе.

Не он первый. Хорошо известна писательская позиция Варлама Шаламова: беспощадно мстить всем сукам, уничтожавшим людей в советских лагерях. Голосом мстить тем, у кого его не только нет, но кто никогда не хотел, чтобы он был. Немым, которые хотели заставить замолчать и говоривших.

« – А это вы можете описать?

И я сказала:

– Могу».

* * *

⁵⁹⁴ <https://www.facebook.com/alex.bomza/posts/680716728641509>

Смерть в жизни и прозе Андрея Платонова

Зарабатывая себе и семье на жизнь (точнее – на существование), Андрей Платонов в конце 20-х годов работал мелиоратором в Воронежской и Тамбовской губерниях, в аппаратах Наркомзема в Москве и на местах. Поэтому он хорошо представлял себе коммунистическое мировоззрение и преобразованную в соответствии с ним реальность. Развернутое осмысление времени большевиков, их дел и порождаемого ими сознания – в его большой прозе.

* * *

С писателем Андреем Платоновым советской власти не повезло. За все тридцать с небольшим лет их сосуществования (Платонов умер в первые дни января 1951 г.) в стране не было более глубокого ее критика, чем он. В художественных образах, наполненных философским смыслом, писатель сумел передать не только присутствующее в части образованных слоев общества антибольшевистское настроение, но и сформулировать исторический приговор коммунистической идее. Большевизм, начавшийся с уничтожения прежнего мира и части живших в нем людей, остановиться на этом не мог. Разрушение было формой его существования. На место уничтоженной прежней сущности человека он пытался поместить новую, дать людям иное сознание. Безрезультатно: созданное было не жизнеспособно. Царство смерти росло в размерах.

Как всякий большой писатель, Платонов видел в человеке его внешнюю и внутреннюю жизнь. Однако в отличие от сво-

их великих предшественников XIX столетия, у него не было надежды на лучшее. Наследуя идею свободы у Пушкина, он наблюдал созданную большевизмом тюрьму. Подобно Гоголю, мечтая о живом человеке, был не в силах вырваться из нового царства мертвых душ. Вместе с Гончаровым он ощущал животворящее вращение колеса природы, но не находил для человека возможности вырваться за пределы природного бытия. Так же как и Толстой, Платонов искал формулу сопряжения жизни и смерти, и так же ее не находил. Платоновские герои, как и герои Чехова, пронизаны неизбывной тоской. Но если у Чехова тоска – преддверие смерти, то для Платонова она начало смертной агонии⁵⁹⁵.

У огромного и разнообразного платоновского мира есть общая для всего скрепа – смерть. И обретается она не только там, где была в литературе прежде, за порогом жизни. Большевизм втащил ее через порог в человеческий дом и теперь она то ли сосуществует с жизнью, то ли уже заменила ее.

* * *

Из великих платоновских современников не принимали власть многие. Органически и бесстрашно – Анна Ахматова и Осип Мандельштам. С оглядкой на власть, покорно, а иногда и льстиво – Михаил Шолохов. В отличие от них, начиная со второй половины 20-х гг., Платонов не признавал жизненности строя большевиков философски, концептуально, даже онтологически, на уровне категорий «жизнь – смерть». Его слово для власти было тем более убийственно, что изначально он сам был отравлен ее фантазиями: уверенностью в возможности сотворения нового мира посредством уничтожения мира старого; надеждой, что старый мир не окажет сильного сопротивления, поскольку наполнен допотопными ручными орудиями и неприспособленными к жизни людьми;

⁵⁹⁵ О тоске у Платонова и Чехова рекомендую статью В.Н. Поруса, опубликованную в журнале «Вопросы философии». 2014, № 1.

представлением, что в новом мире будут жить только умные машины и чистые люди. Но фантазии Платонова, не будучи подкрепленными идейным и организационным фанатизмом, не жили долго. (Об этом – разговор в дальнейшем). Если они отвергались жизнью, Платонов это принимал и их изживал. Из себя самого, из своего тела писатель, как больной раком, вырывал пораженные фантазиями – опухолью куски и они, брошенные на бумагу, разлетались бисером букв, сцеплялись в неуклюжие фразы и слова. Кажется, что платоновские слова сочатся кровью, слезами, гноем.

Платонов – философ, которого уже более шестидесяти лет, прошедших с его смерти, думаю, понимают мало. Это было почти невозможно в СССР. После, наверное, стало не до того. Впрочем, и сами платоновские идеи не соотносимы ни с одной из известных философских конструкций. А отрешиться от ученически усвоенного, от закоряченных в сознании мерок, встать на точку зрения «живого мертвеца» мало кому из исследователей удастся.

В качестве примера приведу один из таких случаев. Не так давно вышла статья литературоведа К.А. Баршта о «Котловане».⁵⁹⁶ Автор уверен, что философия Платонова глубоко связана с идеями Анри Бергсона. «Оба мыслителя чувствуют, что вещи и дух не просто согласуются или сочетаются друг с другом, но образуют нерасторжимое единство, сокровенный смысл которого является основным направлением поисков человека». Строители «Котлована», «...растворяя свою волю в бергсоновской творческой интенции окружающей их мировой субстанции, обращают себя в коллективный орган творения, включаются в органическое единство с плотью земли как полным сокровенных ресурсов “веществом жизни»⁵⁹⁷.

⁵⁹⁶ Баршт К.А.. Истина в круглом и жидком виде. Анри Бергсон в «Котловане» Андрея Платонова. «Вопросы философии». 2007, № 4.

⁵⁹⁷ Там же. С. 145, 154.

«Единство вещи и духа», «коллективный орган и плоть земли»... Положим, что так. Но что из этого следует? Какие горизонты открывает нам платоновская мысль, получившая такую интерпретацию? Ведь мысль жива, пока продолжает движение, заданное автором, а это движение не могло не быть направлено в сторону светлого и лучшего. В данном случае на мысль, напротив, надеваются кандалы.

Точка зрения Баршта – в конкретной «привязке» Платонова к идеям автора «Творческой эволюции», к сожалению, не редкость. То же и уже давно повторяется с Платоновым в связи с фигурой Н.Федорова, когда юношеское увлечение экстраполируется на зрелого мастера.

Много исследователей, далее, сходятся в том, что пафос платоновской прозы – в натурфилософском видении мира. Разброс в аллюзиях необъятен: от якобы имеющего место следования Платонова концепции З. Фрейда о «родовой травме» и переживании человеком жизни как трагического изгнания из лона матери⁵⁹⁸, до объявления писателя последовательным буддистом или «натурфилософом».⁵⁹⁹

Иногда даже предпринимается попытка увидеть в платоновских текстах связь между конкретной российской социальной и планетарной мироустроительными революциями. Но при этом причина и следствие меняются местами: зафиксированное писателем историческое начало – начатое капитализмом переустройство мира (в том числе, и на научной основе) не предшествует, а выводится из российского социального катаклизма: «Платонов считает задачу переделки Вселенной продолжением тех преобразований, начало

⁵⁹⁸ Карасев Л. Движение по склону. (Пустота и вещество в мире А. Платонова) // «Страна философов» Андрея Платонова: проблемы творчества. – М., 1995, вып. 2. С. 7.

⁵⁹⁹ Толстая-Сегал Е. Натурфилософские темы в творчестве Платонова 20-30-х гг. // Slavica Hierosolymitana. – Jerusalem, 1979, t. 4. С. 232.

которым положила революция. Социальная революция, по его мнению, должна перейти в стихию технической культуры, которую он тоже понимает как революцию»⁶⁰⁰. При этом, что представляется и вовсе удивительным, Л. Коробков, к примеру, отмечает: «все без исключения рассказы, повести, пьесы, статьи, письма Платонова – ЗА и только ЗА революцию и социализм»⁶⁰¹. А то, что редкий платоновский сюжет обходится без краха, смерти и трупа как финала социального преобразования, не замечается.

Столь же труден для восприятия и анализа почти не соотносимый с реальной жизнью платоновский язык. Однако то, что только на его основе возможна реконструкция препарированного Платоновым большевистского мировоззрения⁶⁰², представляется верным.

Справедливости ради, для частичного оправдания неудач предпринимаемых исследователями усилий с целью адекватного толкования гения, надо сказать, что в этом повинен и он сам. Молодой Андрей Платонов – мечтатель, изобретатель и радикальный преобразователь далеко не сразу понял, что российский мир, изуродованный, а затем назначенный большевиками к выздоровлению, на операционном столе умер. А вместе с ним, подобно Владимиру Ленину, убитому собственным фанатизмом, умер и писатель Платонов. Но, в отличие от пролетарского вождя, он получил страшную долю: остаться сознающим и пишущим мертвецом среди бессознательных мертвецов – жителей страны советов.

Можно, конечно, вслед за Хансом Гюнтером согласиться, что слова Платонова «мертвецы в котловане – это семя буду-

⁶⁰⁰ *Дмитровская М.А.* Макрокосм и микрокосм в художественном мире А. Платонова. Калининград, 1998. С. 173.

⁶⁰¹ *Коробков Л.* «Чевенгур»: достоверность фантастики: Опыт комментария // Платонов А.П. Чевенгур. – Воронеж, 1989. С. 404.

⁶⁰² *Дмитровская М.А.* Язык и мирозерцание А. Платонова. Дис. на соиск. учен. степ. докт. филол. наук. – М., 1999. С. 5.

щего в отверстии земли» – в одно и то же время обозначают смерть и новое возрождение⁶⁰³. Но следует признать: достоверно перед нами только одно – история мертвых. А семья мертвых в земле – мало пригодный для плодородия прах.

Гюнтер глубоко и содержательно проанализировал основные тексты Платонова. Однако и он, как мне представляется, не нашел в себе достаточно сил для признания платоновского заключения, которое в новую эпоху повторяет гоголевский приговор о «мертвых душах» и птице-тройке, которой правит Чичиков: «СССР – страна новых мертвых душ»⁶⁰⁴.

Мысль эта тяжела. И чтобы избежать ее (к тому же, иностранцу ее формулировать едва ли уместно), Гюнтер изобретает схему, согласно которой у платоновской «утопии» якобы есть две стороны: разочарование уравнивается надеждой, распад – конструкцией, хаос – порядком. «При наличии лишь однозначно отрицательной тенденции развития сюжета произведения не отличались бы характерной именно для Платонова парадоксальной смесью сатиры и трагичности»⁶⁰⁵. Думаю, довод про «положительную тенденцию развития» получился не слишком убедительным. Трагичность от сочетания с сатирой становится трагичностью в степени, а не оптимизмом. А раз так, что же это, как не та самая «отрицательная тенденция», с существованием которой Гюнтер не хочет соглашаться. Или, по другому: отсутствует в основных произведениях зрелого автора оптимизм.

Оптимизм в паре с фантазиями был свойственен молодому Платонову. Однако выбор между юношеским опти-

⁶⁰³ Гюнтер Х. По обе стороны утопии. М., 2012. С. 10.

⁶⁰⁴ «Эсхатологическое чувство (образ Смерти. – С.Н.) – вот то общее, что есть у Гоголя, Достоевского и Платонова» – верно фиксирует ряд мыслителей – предшественников автора «Котлована» Л. Карасев. В кн.: «Страна философов» Андрея Платонова: проблемы творчества. Выпуск 6. М., 2005. С. 217.

⁶⁰⁵ Там же. С. 11.

мизмом и трагической правдой жизни сделан уже в 1926 г., в пору написания истории строителя Епифанских шлюзов англичанина Бертрана Перри. Повесть «Епифанские шлюзы» (1926) – своего рода эпитафия к последующим крупным произведениям, посвященным событиям в СССР второй половины 20-х – начала 30-х гг.⁶⁰⁶ В ней есть все структурные смысло-образы, этой прозе присущие: император-деспот, сформулировавший геополитическую идею для половины страны; гигантский проект, воплощающий идею и переворачивающий жизнь сотен тысяч подданных; реализаторы идеи – инженеры; огромный репрессивный аппарат; невиданные технические изобретения «мастеров»; неодолимое сопротивление природы; крах головной идеи; торжество господствующей над всем живым Смерти – от воеводы, производящего порки и убийства беглых крестьян, до палача, полу-человека – полу-зверя, насилловавшего и умертвившего Перри⁶⁰⁷.

Не получается, как хотел бы Гюнтер, числить Платонова в кагорте мечтающих о светлом и добром государстве-утопии. Его произведения – реалистическая фантазмагория, в которой действуют умершие и живые мертвецы, а надежда, что завтра и в самом деле появятся настоящие живые, таковой и остается.

Надо отметить, что, начиная с Октября, отечественные поэты и писатели столкнулись с небывалой до их времени проблемой. Реальность была столь ужасна, что для ее описания не годился ни один из известных литературе жанров, включая трагедию. Не вынеся реальности, некоторые убили себя. Другие отнесли ужасы к неизбежности, постарались закрыть

⁶⁰⁶ В большой прозе я обращусь к роману «Чевенгур» (1927) и повестям «Епифанские шлюзы» (1926), «Котлован» (1930) и «Ювенильное море» (1934).

⁶⁰⁷ В «Котловане» полу-человек и полу-зверь разделятся на полу-человека инвалида Жачева и определителя классовых врагов зверя-человека медведя.

на них глаза и сосредоточились на восхвалении счастливого завтра. Так поступить Платонов не мог. В результате родился новый жанр – реалистическая фантазмагория.

Попробуем осознать неизбежную для писателя необходимость не придумать, а живописать реальный ужас. Но если об этом ужасе рассказать правдиво, не поверят, сочтут фантазией. Вот и включает писатель в изображение реального элементы фантазии, чтобы читатель вздохнул с облегчением: это придумано!

В этой связи, предложенная мной гипотеза заключается в следующем. Большая проза Платонова представляет собой повествование о жизни в царстве смерти. Вся она – репортажи об умирании, о фактах смерти и жизни мертвых – написаны мертвецом, в совершенстве понимающим то, о чем он пишет. Посмотрите на самую распространенную фотографию Платонова: вряд ли это лицо живого человека. На нас смотрит мертвец. Кроме того, вспомним, что предваривший Платонова в идее «жизни мертвых» Ф.М. Достоевский в своем рассказе «Бобок» точно подметил: до конца слышать и понимать язык мертвых могут только сами мертвецы. И потому пересказ их речей живыми воспринимается как не всегда понятный, странный язык, что и констатируют литературоведы.

Смерть – конец. Платонов описывает именно ее. Но означает ли, что это описание только безысходно и мрачно, ведь нам, его потомкам, еще предстоит жить? На мой взгляд, в ответе на этот вопрос надо говорить о двух вещах. Первая – констатация того, что «время большевиков» – это и в самом деле время конца, время смерти. Платонов несколько раз подчеркивает: большевики объявили коммунизм «концом истории». Прямое свидетельство – слова кузнеца в диалоге с Сашей: народ от голода гибнет, кому твоя революция останется? И заключительное: в нынешней жизни все погибнут, а в будущее «войдет один главный человек».

Но определяя существующее (то, что есть) как время смерти, Платонов не исключает, что люди все же найдут способ это время преодолеть и выйти в другую реальность. Залог тому – безграничная и фанатичная фантазийность человека, чаще всего идиотская, но иногда в чем-то открывающая новое время. Ведь получение энергии из нетрадиционных источников, продуктов – из неорганических веществ, освоение внеземных пространств – все это уже технологические разработки нашего времени, пришедшего на смену времени платоновских героев. Значит, часть истории, описываемая Платоновым как смерть, начинает преодолеваться. А это уже новая жизнь, хотя и «жизнь после смерти».

При анализе платоновских произведений мы сталкиваемся с композиционной сложностью, которая подтверждает мою гипотезу. Большие тексты составлены из отдельных очерков, каждый из которых связан с другим непрочными линиями путешествия героев. Они как будто идут по кладбищу, переходят от могилы к могиле и, останавливаясь у табличек, считывают через слой земли историю каждого мертвеца.

При желании каждый очерк может быть изъят из общего целого и начать жить как отдельная реалистическая зарисовка. Каждая история может подвергнуться специальному рассмотрению как любая могила на большом кладбище от Балтики до Тихого океана. И объединяет обитателей могил только один кладбищенский сторож по имени Смерть.

Смерть в мире Платонова существует в разных ипостасях: как данность, как предмет размышления, как воспоминание, как попытка жить. И даже когда речь идет о строительстве – символе будущего, это все равно повествование о бытии смерти в завтрашнем дне. Вот почему любой удар лопаты о грунт котлована оборачивается еще одной подвижкой в сооружении общей могилы, что бы при этом не думали кладбищенские землекопы или проектировщик инженер Прушев-

ский. Большая проза Андрея Платонова – только части одного философского эссе о царстве смерти с названием «СССР».

По поводу «Котлована» и иной прозы Платонова нельзя не вспомнить слова «соразмерного» ему мастера – Иосифа Бродского: это «произведение чрезвычайно мрачное, и читатель закрывает книгу в самом подавленном состоянии. Если бы в эту минуту была возможна прямая трансформация психической энергии в физическую, то первое, что следовало бы сделать, закрыв данную книгу, это отменить существующий миропорядок и объявить новое время»⁶⁰⁸. «Отменить» – то же, что похоронить скончавшегося, убрать уничтоженное смертью.

Из литературоведов, на мой взгляд, ближе всех к адекватному пониманию платоновской идеи смерти подошли Лев Аннинский и Алексей Варламов. «Путь Платонова – от космизма, от идеи полного «светопреставления», от веры в новое небо и новую землю – к ужасу опустошенности, к рассеянию скопленной энергии, к замороженному ощущению жизни как смерти и смерти как жизни. От героизма – к трагизму: между этими состояниями нет грани», – читаем у Аннинского⁶⁰⁹.

По-иному видит платоновского героя Варламов. Он полагает, что в восприятии жизни автор как бы раздваивался: днем писал «преисполненный сочувствия к бедным, убогим, замученным батракам..., фактически прямо призывая к раскулачиванию и скорейшему созданию колхозов, а по ночам недремлющий сторож его души описывал в «Котловане», что торилось в зажиточных домах, после того как Чиклин «сделал Сталину колхоз».⁶¹⁰ Отчего такое раздвоение?

В одном из писем Платонова Горькому есть загадочная, но многое объясняющая фраза. Раскаиваясь в нанесенном влас-

⁶⁰⁸ *Иосиф Бродский*. Послесловие к «Котловану» А. Платонова. http://lib.ru/BRODSKIJ/br_platonov.txt

⁶⁰⁹ *Аннинский Л.А.* «Откровение и сокровение. Максим Горький и Андрей Платонов». В кн.: «Андрей Платонов. Философское дело». Воронеж, 2014. С. 73.

⁶¹⁰ *Варламов А.* Цит. соч. С. 195.

ти хроникой «Впрок» политическом ущербе, Платонов пишет: «Идеологическая же вредность, самое существо дела, произошла не по субъективным причинам».⁶¹¹ То есть «субъективно», лично Платонов – человек, всерьез заинтересованный в реализации коммунистических целей, не мог желать ущерба большевистской власти. Однако «объективно» Платонов – инструмент «евнуха души» (ангела-хранителя, удерживающего Платонова-человека вблизи Бога и водившего его рукой), не мог не писать о том, что было перед его глазами и внутренним взором. (Вспомним и о страшном ночном видении Платоновым самого себя, сидящего и пишущего за столом).

Думаю, что в этом случае имело место то же, что отмечала Надежда Мандельштам, когда говорила, что Осип Эмильевич не сочинял, а «слушал стихи», которые начинали звучать в нем сами по себе, а он успевал их записывать. Поэтому он «не хотел уйти из жизни, не оставив недвусмысленного высказывания о том, что происходило на наших глазах»⁶¹². Вот почему, возвращаясь к отмеченной Варламовым «раздвоенности», я уверен, что настоящим Платонов был ночью, в то время как днем он мог склоняться к идее колхозов и обращаться с покаянным письмом к Сталину.

В связи с темой смерти в литературоведческих исследованиях платоновских текстов также особо нужно отметить имя Натальи Корниенко – наиболее компетентного академического исследователя творчества Платонова. В одном из ее текстов, который сам по себе заслуживает специального анализа, эта тема органично встроена в разбор апокалиптических аллюзий, наполняющих «Чевенгур»⁶¹³.

⁶¹¹ *Андрей Платонов*. «...я прожил жизнь». Письма... С. 305.

⁶¹² *Мандельштам Надежда*. Воспоминания. Т. 1. М. 2006. С. 186.

⁶¹³ *Корниенко Н.* «Чевенгурские мечтания о новом человеке в статьях Платонова 1920-х годов». В кн.: «Страна философов» Андрея Платонова...» Выпуск 6. См. также: Корниенко Н.В. «Философские эксперименты» Платонова: чевенгурские мечтания о новом человеке». В кн.: «Андрей Платонов. Философское дело». Воронеж, 2014.

При анализе текстов Платонова я хотел бы также вспомнить имя Елены Проскуриной, специально размышлявшей над образом смерти. В нем она отмечает три аспекта: «мистериальный», содержащий идею воскресения; «абсолютного небытия» – смерть без воскресения; «иллюзорности жизни» – смерть как жизнь⁶¹⁴. Соглашусь с наличием у Платонова смерти без воскресения и смерти как жизни. Что же до мистериальной идеи воскресения, то обоснования Проскуриной мне не кажутся убедительными. Трактовку смерти Насти («Котлован»), согласно которой ее смерть – это *«строительная жертва»*, в которой будто бы присутствует «теофанический контекст», приведенные доказательства, на мой взгляд, подкрепляют плохо. Исследователь утверждает, что смерть ребенка – это своего рода жертвоприношение с целью остановить деструктивный процесс, что имя Анастасия символично, поскольку означает Воскресение, а «сцена похорон Насти представляет собой художественную реализацию платоновского представления о смерти как периоде ожидания возрождения, происходящего, однако, в ином пространстве, в глубинных пластах мироздания, которых не коснулось тлетворное дыхание перерожденной жизни».⁶¹⁵

В отличие от Проскуриной, я не вижу в повести свидетельств трактовки смерти Насти как жертвоприношения. Имя «Анастасия – Воскресение» в отношении погребаемого человека может быть истолковано не только как надежда на будущую жизнь, но и как прощание с надеждой на воскресение. Что же касается мысли о «возрождении, происходящем в ином пространстве, в глубинных пластах мироздания, которых не коснулось тлетворное дыхание перерожденной жиз-

⁶¹⁴ Проскурина Е. «Гримасы смерти у Платонова» («Чевенгур», «Котлован», «Ювенильное море»). В кн.: «Страна философов» Андрея Платонова...» С. 137.

⁶¹⁵ Там же. С. 141.

ни», то ничего, кроме фантазии самого исследователя, я за этим не вижу. Также обращаю внимание и на смерть младенца в «Чевенгуре». Он не имеет имени и никаких надежд на его воскресение нет. А, между тем, смерти детей в обоих произведениях несут похожие, если не одинаковые, смысловые нагрузки.

Что же все-таки хотел сказать Андрей Платонович, избирая себе в качестве символа бытия в СССР старуху с косой? Думаю, он хотел найти то, посредством чего можно объять необъятное. Вспомним. Когда древнегреческие философы озаботились вопросом о мире в целом, они нашли единственно возможный для этого мыслительный ход – сообщить нечто о «материале», из которого он устроен. Их ответы – вода, воздух, огонь, атом – об общем в мире с необъятным разнообразием. Думаю, что и Платонов, размышляя над вопросом, что такое новая советская страна, нашел свой «атом» – то, что пребывает во всем. К его ужасу этим первоосновным и вездесущим атомом оказалась смерть. И она же связала воедино недавнюю предысторию страны, ее настоящее и будущее.

Утверждение образа смерти в качестве универсального смыслообразующего начала в творчестве Андрея Платонова в противоположность, например, сложившейся исследовательской традиции видеть в его произведениях разного рода эманации «вещества» требует доказательств. Этим я и намереваюсь заняться. Отмечу лишь, что в литературе XIX столетия у Пушкина и Льва Толстого, так же как у Гоголя и Достоевского, смерть – граница, непреодолимое обстоятельство. Выбирая способ, как на этой грани удержаться, как перестать бояться приближающегося рубежа, Пушкин и Толстой открывают, что защищаться от страха смерти человеку следует продолжением жизненного дела, исполнением долга, любовью. Дело позволяет не замечать близости смерти, долг и любовь примиряют или даже избавляют от страха перед

ней. У всех отечественных классиков XIX столетия жизнь и смерть не пересекаются. Совершенно иное, неожиданное – у Андрея Платонова.

* * *

Идея «смерти в СССР» реализуется в платоновских текстах разными способами. Ее нельзя считать характерной для какого-то одного произведения, она разрабатывается автором в разных текстах, она – из важнейших. Кроме того, поскольку предлагаемое видение творчества Андрея Платонова сквозь призму смерти прежде анализировалось не достаточно, такую работу необходимо выполнить по возможности тщательно.

Начну с семантического показа значимости идеи смерти в «Котловане». Обращать внимание буду, конечно, не только на само слово «смерть», но и на близкие к нему по значению, сопровождая комментариями выдержки из текста. Комментировать вещи элементарные с одной целью – показать, что везде и во всем смерть.

Вощева уволили из-за «слабосильности». Недостаток сил – приближение смерти; он оказывается на «безлюдной» дороге. Близкая смерть отделяет человека от других людей; на «глинистом бугре» стоит дерево с «завернутыми» листьями. На глине жизнь растений слаба, а перед умиранием листья свертываются; в пивной люди предаются «забвению своего несчастья». Атрофия памяти – свидетельство близости смерти; Вощев лежал и не знал, «полезен ли он в мире или все без него благополучно обойдется». Человек, лишний в жизни, не жилец; новый день Вощев встречает «с сожалением», потому что ему «предстояло жить». Жизнь – тягость. Тягость стараются прекратить; Вощев констатирует отсутствие «плана общей жизни» и то, что ему нужно «выдумать что-нибудь вроде счастья». Человек, не знающий как жить, недалеко от того, чтобы жизнь остановить; в домах «безмолвно существуют» массы. Безмолвие – атмосфера смерти; в ме-

сте ночлега осталось «что-то общее» с жизнью Вощева. Углубление в земле – намек на могилу? увиденные Вощевым родители живут, «не чувствуя смысла жизни», все время забывая «тайну жизни». Лишенная смысла жизнь недалеко от смерти; их ребенок растет «себе на мученье». Мученье, как правило, предваряет смерть; Вощев ложится отдохнуть и замечает, что рядом с головой лежит «умерший, палый лист», которому предстоит «смирение в земле». Новые указания на смерть; Вощев убирает лист в мешок, где «он собирал всякие предметы несчастья и неизвестности». Обозначает свою траекторию жизни без смысла, то есть смерти?; более того, Вощев обобщает: «все живет и терпит на свете, ничего не сознавая». Из нас как будто извлекли «убежденное чувство». Жизнь, лишённая чувства и сознания – смерть; появившийся строй пионеров вроде намечает уверенность в силе жизни, но оказывается, что им сила жизни нужна лишь для «непрерывности строя и силы похода». То есть, и у пионеров – жизнь не для жизни; пионерки родились в то время, когда в полях «лежали мертвые лошади социальной войны» и не все девочки при рождении имели кожу из-за того, что матери недоедали. Смерть – часть детской истории; в разговоре с Вощевым Жачев сообщает, что скоро помрет; Вощев гуляет между людей как «заочно живущий». Новые указания на смерть; для ночлега Вощев находит «теплую яму» – «земную впадину» и это место «скоро скроется навеки под устройством». Место в земле, в которое уходят навеки – могила; в бараке все спящие «были худы, как умершие»; у них сердца бьются в «опустошенных телах»; спящие лежат «замертво», у них «охладевшие ноги» и каждый существует «без всякого излишка жизни»; Вощев чувствует «холод усталости» и ложится меж «тел». Характеристики смерти; инженер Прушевский весь мир представляет «мертвым телом». В разговор вступает Чиклин: «...Отделаем

.....

ся, тогда назначим жизнь и отдохнем». Сейчас землекопы не живут; Прушевский смотрит на строительство завода, где «нет ничего, кроме мертвого строительного материала и усталых, недумаящих людей». Прушевский строит здание «в чужой прок, лишь бы не тревожить своего сознания, в котором он установил особое нежное равнодушие, согласованное со смертью и с чувством сиротства». Он живет «предсмертную, равнодушную жизнь». Новые указания на смерть; когда к землекопам с биржи труда присылают новую партию работников, каждый тут же придумывает себе «идею спасения». Спасаться нужно от чего-то ужасного, смертельного; Но спасаться некуда. «Отживающий мир» обретает все большую ветхость. Чиклин идет на завод, так же ветшающий и постепенно поглощаемый расположенным рядом с ним кладбищем. Обветшавшая лестница под его весом превращается в «истомленный прах» и обрушивается. В помещении он находит умирающую женщину и ее дочь. Снова указания на тлен и смерть; после ужина землекопы сели глядеть на девочку – свое будущее. А Жачев «еще с утра решил, что как только эта девочка и ей подобные дети мало-мальски возмужают, то он кончит всех больших жителей своей местности; он один знал, что в СССР немало населено сплошных врагов социализма, эгоистов и ехидн будущего света, и втайне утешался тем, что убьет когда-нибудь вскоре всю их массу, оставив в живых лишь пролетарское младенчество и чистое сиротство». В будущем это «малое существо» «будет господствовать над их могилами и жить на успокоенной земле, набитой их костями». Смерть, кладбище; к землекопам приходит крестьянин, чтобы забрать заготовленные деревней гробы. Крестьянство – класс, намеченный к уничтожению.

* * *

Описанное Платоновым – отраженная реальность, существующая в исторических фактах. Так, большевики изначально

строили свою политику, исходя из того, что после уничтожения буржуазии врагом рабочего станет мелкий деревенский собственник-крестьянин. Л. Троцкий, например, открыто заявлял, что рабочий обречен на борьбу с крестьянством. Пролетариат, «...взявши в руки власть, не сможет ограничить себя буржуазными рамками революции. Наоборот, именно для обеспечения своей свободы пролетарскому авангарду придется на первых же порах своего господства совершать глубочайшие вторжения не только в феодальную, но и в буржуазную собственность. При этом он придет во враждебные столкновения не только со всеми группировками буржуазии, но и с широкими массами крестьянства, при содействии которых он пришел к власти»⁶¹⁶. Также думал и писал Ленин.

Что же платоновский мужик? Говорит он с большой натугой – «то ли он утомился или же умирал по мелким частям на ходу жизни»⁶¹⁷. В разговоре обнаруживается, что предвидимая Троцким классовая борьба зашла столь далеко, что гробы занимают центральное место в жизни крестьян. «У нас каждый и живет оттого, что гроб свой имеет: он нам теперь целое хозяйство! Мы те гробы облеживали, как в пещеру зарыть».⁶¹⁸ Смерть, стало быть, не только вытесняет жизнь, а сделалась ее условием.

Чиклин оставил два небольших гроба, предназначавшихся для крестьянских ребят, Насте: «в одном гробу сделал ей постель на будущее время, когда она станет спать без его живота, а другой подарил ей для игрушек и всякого детского хозяйства: пусть она тоже имеет свой красный уголок»⁶¹⁹. Будущее Насти – в смерти.

Авторский анализ смерти не только ширится, но переходит в сарказм. Вот Козлов, став начальником, прекращает изъяснения в любви одной дамы стихами:

⁶¹⁶ Троцкий Л. 1905. М. 1922. С. 4 – 5.

⁶¹⁷ Андрей Платонов. Ювенильное море. М., 1988. С. 128.

⁶¹⁸ Там же. С. 129.

⁶¹⁹ Там же. С.128.

«Где раньше стол был яств,
Теперь там гроб стоит!»

Отправленные в деревню для проведения раскулачивания Сафронов и Козлов убиты и теперь «политические трупы» надлежит сторожить от «зажиточного бесчестья». Тема смерти как убийства ширится.

Продолжая развивать идею живых мертвецов, которые ничем не отличаются один от другого, Платонов и в эпизоде с мертвыми телами находит способ это подчеркнуть. Вначале – Чиклин ложится спать между трупами, «...потому что мертвые – это тоже люди», а потом рассуждает вслух: «– Ты кончился, Сафронов! Ну и что ж? Все равно я ведь остался, буду теперь как ты... ты вполне можешь не существовать...

– А ты, Козлов, тоже не заботься жить. Я сам себя забуду, но тебя начну иметь постоянно. Всю твою погибшую жизнь, все твои задачи спрячу в себя и не брошу их никуда, так что ты считай себя живым»⁶²⁰ Отмечу, что поскольку идеи, ради которых погиб Козлов и в самом деле живы, бытие смерти обретает новое измерение.

Воцев, продолжая отыскивать истину жизни, без которой он не может жить, спрашивает активиста, полагается ли истина пролетариату. Активист отвечает, что пролетариату полагается движение, при этом, все встреченное им на пути, пойдет в общий котел и «ты ничего не узнаешь». Значит, надежды на познание чего-либо помимо смерти, нет.

«Встреченная» активистом смерть в лице убитых Сафронова и Козлова тут же утилизуется им в «похоронное шествие», которое поможет массам почувствовать «торжественность смерти во время развивающегося светлого момента обобществления имущества». Отмечу, что слово «торжественность» происходит от «торжества» и это походит на прямое авторское обозначение происходящего – торжества смерти.

⁶²⁰ Там же. С. 138.

И снова Платонов не удерживается от сарказма: обнаруживается, что мертвых на столе стало уже четверо. Активист поясняет Чиклину, что последний мертвец – доброволец, «лично умерший» от вида «организованного движения» масс в колхоз.

По улицам деревни бродят массы, а над ними встает вечерняя желтая заря, похожая на «свет погребения». Вновь прямое указание на смерть.

В этой атмосфере не унывают лишь активист и Чиклин. Первый транслирует указания из района или выдумывает их сам. Так, он велит председателю сельсовета «средняцкому старичку» беречь бедняков от кулацких хищников и старичок тут же идет делать сторожевую колотушку – снова сарказм Платонова. Чиклин же, на все тот же вопрос Вощева об обретении смысла жизни, отвечает, чтоб тот жил так, как будто он уже есть: «видишь, нам все теперь стало ничто...»⁶²¹ Что такое «ничто», как не обозначение состояния людей, которые будто бы есть, но которых на самом деле нет?

Вот Чиклин ходит по деревне. В одной избе в гробу лежит мужик, намеревающийся умереть. В церкви курит стриженный поп, который тех, кто приходит и крестится, записывает в поминальный листок и потом доставляет активисту. Поп признается Чиклину, что ему «жить бесполезно», потому как он остался без Бога, а Бог без человека. И тут следующий шаг – смерть.

Значительную часть финала повести составляет подготовка и сплав на плоту в море и далее в океан «кулака как класса». В подготовку входит не только изготовление плота, но и уничтожение всего живого, что сопутствовало крестьянину в жизни прежде. Так, старый пахарь Крестинин «целовал молодые деревья в своем саду и с корнем сокрушал их прочь из почвы», а беззубые мужики убивают голодом лошадей, «чтоб обобществиться лишь одним своим телом,

⁶²¹ Там же. С. 142.

а животных не вести за собою в скорбь»⁶²². Будущее – тоже скорбь и смерть.

Отмечу, что у Платонова живущие в Смерти люди кажутся более приспособленными к умиранию, чем к жизни. Это впечатление создается, возможно, от того, что они представляются читателю либо менее чувствующими, либо более терпеливыми. Но одно из самых сильных мест в повести, посвященных теме смерти, о том, как умирает лошадь.

Хозяин двора «взял клок сена из угла и поднес лошади ко рту. Глазные места у кобылы стали темными, она уже смежила последнее зрение, но еще чуяла запах травы, потому что ноздри ее шевельнулись и рот распался надвое, хотя жевать не мог. Жизнь ее уменьшалась все дальше, сумев дважды возвратиться – на боль и еду. Затем ноздри ее уже не повелись от сена, и две новые собаки равнодушно отъедали ногу позади, но жизнь лошади еще была цела – она лишь бледнела в дальней нищете, делилась все более мелко и не могла утомиться»⁶²³.

Когда кулаки сплавлены в океан, наступает черед умирать для других героев. Вслед за убитыми Сафроновым и Козловым даже активист «должен быть немедленно изъят из руководства навсегда». Чиклин активиста убивает. Следом умирает Настя. Колхозники пришли на котлован и «работали с таким усердием жизни, будто хотели спастись навеки в пропасти котлована».⁶²⁴ Жачев, потерявший после смерти Насти веру в будущее, уползает, чтобы на прощанье убить товарища Пашкина. Более на котлован он уже никогда не возвращается. Последней фигурой, возникающей в финале повести, оказывается Мишка-молотобоец: Чиклин дал ему прикоснуться к Насте на прощанье. Смерть, кажется, забрала всех, кого могла. А уход остальных – вопрос недолгого времени.

⁶²² Там же. С. 154.

⁶²³ Там же. С. 155.

⁶²⁴ Там же. С. 187.

В «Котловане» прошлое, настоящее или будущее героев никак не связано с жизнью, а, напротив, обусловлено смертью. В том числе, автор не видит в жизни героев чего-либо, что ориентирует их на Жизнь. Так, когда в бараке землекопов установили радиорупор, «чтобы во время отдыха каждый мог приобретать смысл классовой жизни из трубы», Жачеву и наравне с ним Вощеву, «становилось беспричинно стыдно против говорящего и наставляющего, а только все более ощущался личный позор. Иногда Жачев не мог стерпеть своего угнетенного отчаяния души, и он кричал среди шума сознания, льющегося из рупора:

– Остановите этот звук! Дайте мне ответить на него!..»⁶²⁵

Образом репродуктора, назначение которого – информацией связать воедино разрозненных людей – Платонов еще раз подчеркивает их крайнюю разобщенность. Власть предлагает землекопам для единения то, что не только не объединяет их, но отчего им, напротив, становится «стыдно». Единения, в чем проявляет себя жизнь, нет ни теперь, ни в будущем. Герои Платонова почти ни в чем друг другу не сочувствуют, не сопереживают, ничем живым не соединены. Они существуют рядом, но по отдельности, даже двигаясь либо гуськом, либо параллельно, но не будучи ничем объединенными. (А если они объединены, то это случается так, как, например, у крестьян, волокущих караван связанных гробов, т.е. объединение это смертное).

Но вот рупор смолк и Сафронов, «заметив пассивное молчание, стал действовать вместо радио:

– Поставим вопрос: откуда взялся русский народ? И ответим: из буржуазной мелочи! Он бы и еще откуда-нибудь родился, да больше места не было. А потому мы должны бросить каждого в рассол социализма, чтоб с него слезла шкура капитализма и сердце обратило внимание на жар

⁶²⁵ Там же. СС. 120 – 121.

жизни вокруг костра классовой борьбы и произошел бы энтузиазм!..»⁶²⁶ Рассол, от которого слезает шкура; жар костра как первопричина энтузиазма. Смыслы эти далеки от живого и, напротив, близки к смертному.

А вот Чиклин, объясняя девочке черты меридианов на карте СССР, подтверждает ее догадку, что это «загородки», чтобы «буржуи к нам не перелезали». В разговоре девочки и Сафронова о крестьянах–кулаках объясняется, что убить двух человек нельзя. Установка власти – убивать класс. И девочка понимает это, потому что имеет опыт смерти – вспоминает умершую буржуйку-мать.

Смерть ждет героев и в будущем. Так, Прушевский, глядя на девочку, сожалеет, «что этому существу, наполненному, точно морозом, свежей жизнью, надлежит мучиться сложнее и дольше его».⁶²⁷ Активист призывает колхоз «к социалистическому порядку, ибо все равно дальнейшее будет плохо».⁶²⁸ А Вошев говорит Насте: «...Трудись и трудись, а когда дотрудишься до конца, когда узнаешь все, то уморишься и померешь. Не расти, девочка, затоскуешь!»⁶²⁹

И еще в обоснование господствующего положения и бытия смерти – неожиданно пререзающийся авторский голос. Так, Вошев отошел в сторону от землекопов и девочки и прилег полежать, «довольный, что он больше не участник безумных обстоятельств». И итог: «устало длилось терпение на свете, точно все живущее находилось где-то посередине времени и своего движения: начало его всеми забыто и конец неизвестен, осталось лишь направление».⁶³⁰

Смерть везде, во всех и во всем. Совершенно прав в своих впечатлениях Иосиф Бродский, когда говорит, что сюрреа-

⁶²⁶ Там же. С. 121.

⁶²⁷ Там же. С. 123.

⁶²⁸ Там же. С. 143.

⁶²⁹ Там же. С. 171.

⁶³⁰ Там же. С. 131.

лизм Платонова, (а, на мой взгляд, это сочувствующая сатира, иногда переходящая в сарказм), – есть «форма философского бешенства, продукт психологии тупика».⁶³¹ Как отметил однажды сам автор «Котлована»: народ жить хотел. Но жить было нельзя. «Котлован» – квинтэссенция смертного мироощущения его автора.

* * *

Хотя «Чевенгур» является признанным социально-философским романом, написанным, к тому же, раньше повести «Котлован», я начал именно с «Котлована» потому, что именно в нем исследуемый Платоновым смысл «Жизнь в СССР – это жизнь в смерти» стал центральным предметом рассмотрения. И если в «Котловане» это явление раскрывается как вполне развившееся, зрелое, «ставшее», то в «Чевенгуре» автор пока еще притворяется, что этого вывода не знает и путешествует вместе с героями в поисках смысла коммунистической жизни.

Роман – художественное исследование коммунистической теории и ее практической реализации в России. По этой причине я буду не только обращаться к роману, но и прибегать к анализу отдельных положений марксизма, а также реальной исторической практике большевизма.

История Захара Павловича, одного из главных героев романа, начинается в предсоветское время, в которое люди также живут чуть ли не в обнимку со смертью. Через четыре года на пятый случается неурожай и село снимается с места. Часть детей умирает «заранее». Матери-кормилицы либо недокормом, либо отравой умервщляют грудничков и верят, что теперь они отмучились и «слушают в раю серебряные ветры». Съев ящерицу и задохнувшись собственной зеленой рвотой, умирает бобыль – товарищ Захара Павловича по лесному жилью.

⁶³¹ Там же.

Тема смерти концентрированно проступает в романе, начиная с первых страниц. Она органична в жизни героев. Рыбак с озера Мутево «многих расспрашивал о смерти и тосковал от своего любопытства». Он вообще «видел смерть как другую губернию, которая расположена под небом, будто на дне прохладной воды, и она его влекла». ⁶³² Он намеревался «пожить в смерти и вернуться» и однажды свое намерение осуществил, связав ноги веревкой, чтобы нечаянно не поплыть. От отца остался сын Саша и подзаголовок романа «путешествие с открытым сердцем» – о нем.

В конце своего земного странствия Саша, как отец, возвращается к озеру. На берегу Пролетарская Сила путается в удочку, забытую Сашей в далеком детстве, когда он был рядом с отцом. Жизненный путь – по кругу – пройден. Возвращение состоялось. Странствие было бездомьем, а здесь – озеро, кладбище и смертная ямка – настоящий дом. В принципе, можно было никуда не ходить. Прямо с седла Саша сходит «в воду – в поисках той дороги, по которой когда-то прошел отец в любопытстве смерти, ...потому что Александр был одно и то же с тем еще не уничтоженным, теплящимся следом существования отца». ⁶³³

Правда, еще в детстве, вскоре после смерти отца, Саша еще раз посещает озеро, потому что рядом расположено кладбище, за оградой которого лежит утопленник. Это было, когда Прохор Абрамович посылал Сашу побираться. Тогда он начал рыть рядом с могилой отца для себя землянку. Потом, в горячечном бреде, он все бормотал, чтобы «отец берег палку и ждал его на озеро в землянку». ⁶³⁴ Отец годами созерцал озеро и «думал все об одном и том же – об интересе смерти». Он годами бродил по свету, но интереса к смерти не

⁶³² Там же. С. 192.

⁶³³ Там же. С. 551.

⁶³⁴ Там же. С. 208.

потерял. Почему жизнь не задержала Сашу у себя? Может, потому, что везде оборачивалась смертью? И есть ли из этого тупика выход? Обратимся к роману.

Хотя Платонов, как кажется, переходя к послереволюционной жизни героев, оставляет в стороне проблему бытия смерти в жизни (по крайней мере, не говорит о ней прямо и последовательно), на самом деле это не так. Непосредственное рассмотрение смерти автор «Чевенгура» с момента начала странствий Саши заменяет рассмотрением опосредованным. В финале всех сюжетных коллизий, включая и небольшие эпизоды, как правило, маячит смертельный исход. В завершении любого предприятия героя поджидает смерть.

Но, в отличие от Толстого, в самих людях и между ними нет любви и, значит, нет спасения. Единственный (за исключением отцовского чувства Захара Павловича к Саше) случай длящегося «любовного переживания» – между Степаном Копеникным и замученной буржуями в далекой Германии Розой Люксембург – откровенный лирический фарс. По большому счету между персонажами даже нет сколько-нибудь прочных связей. Все они живут и движутся по параллельным, редко пересекающимся траекториям, все всего лишь функциональны. Все действуют только в логике «поручения (наказа, принуждения) – исполнения (подчинения)». Между ними нет признаков живой жизни, а есть механические действия, похожие на приготовления к смерти, подобные тем, которые совершает Чиклин с мертвыми Козловым, Сафроновым и двумя крестьянами.

С точки зрения проблемы жизни и смерти – может быть самый интересный герой романа – Захар Павлович. У него более сложная, чем у Саши Дванова, мировоззренческая история. В начале это человек, никогда не создавший ни семьи, ни жилища. Его не интересуют ни люди, ни природа. Он любит безлюдье и со страстью изготавливает разные предме-

ты. Тем не менее, именно он ведет Сашу за руку на похоро-
нах отца и определяет в семью Прохора Абрамовича.

Потом его жизнь целиком заполняют «бешеные железно-
дорожные поезда». В них он любил и чувствовал «готовое
изделие – то, во что превратился посредством труда человек
и что дальше продолжает жить самостоятельной жизнью»⁶³⁵.
Вслед за машинистом-наставником он понимает, что «в труде
каждый человек превышает себя», постигает один из важней-
ших природных законов, согласно которому «тишиной и гру-
стью», «постоянством горькой тоски ...равномерные силы
природы всю землю держат в оцепенении» и «какими были
деревни и люди, такими и останутся». И даже посылаемая
человеку природой беда всегда повторяется – «ради сохра-
нения равновесности в природе». «Был четыре года назад
неурожай – мужики из деревни вышли в отход, а дети легли в
ранние могилы, – но эта судьба не прошла навеки, а снова те-
перь возвратилась: ради точности хода всеобщей жизни»⁶³⁶.

Новый поворот в сознании Захара Павловича случается
после встречи с побирающимся Прошкой. С этого момента
мастер «усомнился в драгоценности машин и изделий выше
любого человека». «Он увидел, что время – это движение
горя и такой же осязательный предмет, как любое вещество,
хотя и не годное в отделку».⁶³⁷ Более того. Ему становится
скучно и стыдно за то, что как ни в чем не бывало продолжа-
ют идти часы церковного сторожа, а поезда следовать своему
расписанию, в то время как умирают рыбак, бобыль и выми-
рают деревни. Захар Павлович убеждается, что люди живут
на свете «голыми» и не обманываются надеждами на помощь
машин. Иллюзия, что смерть преодолевается разумом и его
продуктами, отпадает.

⁶³⁵ Там же. С. 216.

⁶³⁶ Там же. С. 220.

⁶³⁷ Там же. С. 223 – 224.

Здесь же Платонов формулирует две главные идеи дальнейшего содержания романа, обе безысходные, но вокруг которых будет идти обсуждение главного философского вопроса – как жить? Первый – о радикальном социальном перевороте: могут ли люди посредством революции устроить жизнь по-новому? И следует отрицательный ответ, данный на примере Прошки: «Он бы нарушил что-нибудь, сукин сын!.. Хотя Сашка и при его царстве побирался бы»⁶³⁸. Революция – катастрофа, которая происходит независимо от того, какие люди ее совершают. И жизнь все равно течет под насильственным контролем смерти.

И второй ответ – о времени, революции предшествовавшем, о капитализме, когда господствующей формой сделались товарно-денежные отношения: «...Когда исчезнет в рабочем влекущее чувство к машине, когда труд из безотчетной бесплатной естественности станет одной денежной нуждой, – тогда наступит конец света, даже хуже конца – после смерти последнего мастера оживут последние сволочи, чтобы пожирать растения солнца и портить изделия мастеров»⁶³⁹. И опять перед нами торжество смерти. По этой причине и Захар Павлович «стал жить смиренно, уже не надеясь на всеобщее коренное улучшение: сколько бы ни делать машин – на них не ездить ни Прошке, ни Сашке, ни ему самому»⁶⁴⁰.

А далее, для проверки этих идей, начинается история про странствия Саши Дванова и про страну Чевенгур, в которой создается завтрашний день.

* * *

Тема революции, как никакая другая изобилует авторскими вкраплениями. И по главному для себя вопросу, не смотря на то, что в стране уже начались карательные политические

⁶³⁸ Там же. С. 225.

⁶³⁹ Там же. С. 226.

⁶⁴⁰ Там же. С. 233.

процессы, Андрей Платонов высказывается столь же смело, как и в начале 20-х, когда говорил о необходимости физического уничтожения всей буржуазии.

Вот Саша и Захар Павлович пришли записываться в партию большевиков и Захар Павлович думает, что большевики, наверное, будут «умнейшей властью, которая либо через год весь мир окончательно построит, либо поднимет такую суету, что даже детское сердце устанет». И тут же формулирует рецепт отношений власти и народа: «Имущество надо унижить... А людей оставить без призора – к лучшему обойдется, ей-богу, правда!»⁶⁴¹ Такова платоновская позиция.

Но этот рецепт не принимается большевиками. Они действуют по-другому. Вот встреченный Двановым в губернии «бог», который ест глину, а надеждой имеет мечту. Для того, чтобы крестьяне в него поверили, он решает в одну ночь объявить отъем земли, а на другую – раздачу ее обратно. В этом случае «большевистская слава по чину» будет его. Или, как выражается товарищ Чепурный, ревком нужен для того, чтобы «жилять» пролетариат. А если не «жилять», то тогда ревком следует упразднить. А этого нельзя. То же отвечает Захару Павловичу и принимавший у Саши документы в партию большевик: люди без призора – это анархизм. Что означает этот «призор» покажут коммунистические «реформы» Чепурного в Чевенгуре.

Надо отметить, что реально имевшие место в истории большевистские манипуляции с землей по своей технологии очень напоминают планы «бога» с коррекцией на временной отрезок в одну ночь. Это ясно видно на примере изменения большевистского аграрного законодательства, начиная с лозунга Октября «Земля – крестьянам!». Так, раздав землю в первые месяцы после октября, большевики в течение 1918 – начала 1921 гг. последовательно отбирали саму землю и свободу хозяйствования на

⁶⁴¹ Там же. С. 237.

ней назад, а с «поворотом» к НЭПу – фактически снова отдали. Как оказалось, опять же, только на несколько лет⁶⁴².

Не видят для себя жизни без власти и маленькие большевистские начальники, из рабочих. Так, предревкома, машинист из депо, говорит Дванову: «Революция – риск: не выйдет – почву вывернем и глину оставим, пусть кормятся любые сукины дети, раз рабочему не повезло!»⁶⁴³ Значит, пусть приходит смерть. И такое настроение массовое. Напомню небольшой эпизод с матросом в поезде, которому не спалось и он от скуки стрелял в дверной проем в попутные огни железнодорожных жилищ и сигналов, чтобы приобрести себе чувство воевать за людей, пострадавших от его руки. После этого он сразу удовлетворенно заснул.

Социализм как «конец всему» в реальности может наступить только потому, что «людям некуда деться» и им остается только «сложиться вместе от страха бедствий и для усиления нужды». Но, может, они уже «самодельно» изобрели социалистические элементы жизни? Для проверки этой идеи предгубисполкома Шумилин посылает в губернию «этичного научного парня» Сашу Дванова.

Саша и командир степных большевиков Степан Копенкин начинают путешествие с села Ханские дворики, где абсурдность жизни обеспечивается руководством полномочного волревкома по имени Федор Достоевский. Овладевшая им тоска происходит от незнания, как строить социализм. Рецепт Дванова и Копенкина о строительстве новой жизни – перетащить село и согнать его обитателей на новое место – быстро приблизит смерть.

В лесничестве произведенный Двановым и Копенкиным расчет производительной отдачи использования земли под

⁶⁴² Подробнее об этом см.: *Никольский С.А.* «Власть и земля. Хроника утверждения бюрократии в деревне после Октября». М. 1990.

⁶⁴³ *Андрей Платонов.* Ювенильное море. С. 241.

лес или под поле приводит к решению вырубить лесной массив. В этом эпизоде смерть принимает вначале облик гибели природы, а уж потом человека.

В похождениях Дванова и Копенкина поражает простота предлагаемых решений в свете исповедуемых ими идей. Советы Саши вполне укладываются в унаследованную от Захара Павловича веру в могущество машин и в его приверженность коммунистическим идеям. Идеи Копенкина нацелены дальше – на торжество коммунизма в мировом масштабе.

Описываемый Платоновым большевистский фанатизм – не художественная выдумка. «Военно-коммунистическое» мировоззрение того времени, говоря современным языком, насквозь было пропитано духом партийного сциентизма – безоглядной веры в возможности «коммунистического» знания и немедленного действия, отвечающего интересам «неимущих масс». Как свидетельствуют современники дискуссий той поры, стоило кому-либо из теоретиков произнести, например, слово «электричество» или «электрический плуг» и дальнейшие вопросы как бы растворялись, а у собеседников появлялась уверенность в возможности простого разрешения любых проблем. И это касалось не только техники и технологии, но и любых аспектов изменения сознания и самой природы человека.

Об имущих и неимущих массах послушаем Ленина: «Если крестьянин сидит на отдельном участке земли и присваивает себе лишний хлеб, т. е. хлеб, который не нужен ни ему, ни его скотине, а все остальные остаются без хлеба, то крестьянин превращается уже в эксплуататора. Чем больше оставляет он себе хлеба, тем ему выгоднее, а другие пусть голодают: «чем больше они голодают, тем дороже я продам этот хлеб»⁶⁴⁴. Надо, формулирует он задачу «военно-коммунистического» замысла, «чтобы все работали по одному общему плану на

⁶⁴⁴ Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 41. С. 310.

общей земле, на общих фабриках и заводах и по общему распорядку. Легко ли это сделать? Вы видите, что тут нельзя добиться решения так же легко, как прогнать царя, помещиков и капиталистов. Тут надо, чтобы пролетариат перевоспитал, переучил часть крестьян, перетянул тех, которые являются крестьянами трудящимися, чтобы уничтожить сопротивление тех крестьян, которые являются богачами, наживаются на счет нужды остальных».⁶⁴⁵

Эти мысли в разных вариантах воспроизводят герои Платонова – коммунисты. Такого рода примеров в его текстах множество. Но вот – слово самого автора. Встреченный Двановым кузнец соображает, «что перед ним такой же странный человек, как все коммунисты: как будто ничего человек, а действует против простого народа»⁶⁴⁶. Произносимые кузнецом слова могут быть отнесены не только на счет персонажа, но и – по смыслу романа – к авторским. «Десятая часть народа – либо дураки, либо бродяги, сукины дети, они сроду не работали по-крестьянски – за кем хошь пойдут. Был бы царь – и для него нашлась бы ячейка у нас. И в партии такие же негодящие люди... Ты говоришь – хлеб для революции! Дурень ты, народ ведь умирает – кому ж твоя революция останется?»⁶⁴⁷

Следующий пункт в путешествии Дванова и Копенкина – коммуна «Дружба бедняка». Ее изображение почти точно воспроизводит реальные коммуны, создаваемые советской властью в первые годы. Существовали они исключительно на дотации государства и, как в описываемом Платоновым случае, «доедая» провиант, захваченный в экспроприированном имении. Работали коммунары, как правило, из рук вон плохо. И в платоновской коммуне – гротескном изображении

⁶⁴⁵ Там же. СС. 310 – 311.

⁶⁴⁶ *Андрей Платонов. Ювенильное море. С. 325.*

⁶⁴⁷ Там же.

действительности – крестьяне вовсе не пашут, дабы не нарушать устроенный порядок на хлебничества.

Абсурдность реального советского опыта Платонов усугубляет «обоснованиями» необходимости такого рода существования. Цель коммуны – «усложнение жизни», чтобы изгнанным кулакам и буржуйам «в узкие места сложности не пролезть». Но коммуна – не просто пример отдельного идиотизма. После того, как коммуна выстоит в борьбе против бродящих по степи бандитов, должно придти время «завоевания земного шара», а потом «наступит час судьбы всей вселенной, настанет момент страшного суда человека над ней...»⁶⁴⁸

Платонов точно воспроизводит большевистские мечтания о мировой революции и даже распространяет ее за пределы планеты. Такого рода перспектива – не плод авторской фантазии. Она имела реальное место в партийных дискуссиях. В первые годы после захвата власти (а в соответствии со взглядами некоторых исследователей, и вплоть до начала Отечественной войны) идеи мировой революции, поддержка которой должна была исходить из России, вполне разделялись руководителями страны. Более того, ее подготовка была одной из задач созданного Москвой III Интернационала, в том числе – немалым финансированием. (Краем эту тему задевает Платонов: «В то время Россия тратилась на освещение пути всем народам, а для себя в хатах света не держала»).⁶⁴⁹

Одним из непоколебимых сторонников «военно-коммунистических» приемов перехода к новому строю, кроме Л. Троцкого, был товарищ Н. Бухарина, известный теоретик партии Е. Преображенский. В научно-футурологическом эссе автор от лица профессора русской истории Минаева (который, будучи «гармонически развитой личностью», одновременно служит слесарем в железнодорожных мастерских)

⁶⁴⁸ Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 41. С. 305.

⁶⁴⁹ Андрей Платонов. Ювенильное море. С. 327.

рассказывает в 1970 г. о событиях после введения нэпа. Само собой разумеется, его устами говорит автор.

Прежде всего, обращается к своим слушателям профессор-слесарь, вы должны попытаться в истинном свете представить тех людей, которые участвовали в революции. «Вам, например, трудно поверить, что великие дела этой эпохи совершали люди с такими слабостями, недостатками, иногда с преступными наклонностями, почти всегда с необычайно низким культурным уровнем, как было в действительности, поскольку мы говорим об общей массе, а не об отдельных единицах или небольших группах»⁶⁵⁰. Эти люди с психологией, представляющей из себя поле сражения между «вчера» и «завтра», несли на себе все вековое варварство и некультурность.

После введения нэпа в экономике воцарился «рыночный хаос». Финансируемая Госбанком и руководимая ВСНХ промышленность функционировала капиталистически – например, торговала не только с необобщественной частью хозяйства, но и внутри социалистического сектора. Экономике начали потрясать перепроизводства и дефицит, средства тратились неоправданно и т. п. В этих условиях должно было возобладать плановое начало. Государство взяло все в свои руки: было известно – сколько, чего, кому, как, из чего, куда и когда должно быть произведено и поставлено. Интересы производителей и потребителей замечательно совпали.

Но этим были решены не все проблемы. Оставалось необобщественное сельское хозяйство. Государство начало планомерную и всеохватывающую работу по учету крестьянского производства и рынка. Посредством рычагов цен сельское хозяйство стало включаться в плановое регулирование. Но все же проблема равномерного развития промышленности и сельского хозяйства оставалась. Нужно было переходить от

⁶⁵⁰ Преображенский Е. От НЭПа к социализму. Взгляд в будущее России и Европы. М. 1922. С.81

мелкотоварного производства к крупному социалистическому земледелию. Этот шаг сделать до поры до времени не удалось. Люди еще «не поняли» всех преимуществ социализма. Нужен был, кроме того, длительный период «всеобщей слежки друг за другом», чтоб качественная и продуктивная работа сделалась привычной, стала «инстинктом труда», выковавшимся из «разумного принуждения».

Одновременно Советское государство начало испытывать «ограниченность своих экономических средств для мощного движения вперед»⁶⁵¹. Требовалось новое перераспределение производительных сил Европы. «Психологически это выражалось в известном «натиске на Запад», во все более и более нервном ожидании пролетарской революции на Западе и в нетерпении, напоминавшем нетерпение 1917-1920 гг.»⁶⁵² Развитие производительных сил России толкало ее на Запад с тем, чтобы ускорить поворот производительных сил Запада в сторону России. «Если б революция на Западе заставила себя долго ждать, такое положение могло бы привести к агрессивной социалистической войне России с капиталистическим Западом при поддержке европейского пролетариата»⁶⁵³. Этого не произошло: революция на Западе стучалась в двери. Массы, по мнению Преображенского, разочаровались в капитализме. События разворачивались стремительно. Возникли Советская Австрия и Советская Германия. Против них выступили Польша и Франция, но внутри этих стран начались восстания рабочих. В войну вступила Советская Россия. Конница Буденного лавиной прокатилась по степям Румынии и воссоединила Болгарию и Россию. Красная Армия и вооруженные силы Советской Германии вступили в Варшаву. Победа пришла к пролетариату Франции и Италии. Помощь

⁶⁵¹ Там же. С. 119

⁶⁵² Там же.

⁶⁵³ Там же. С. 120.

буржуазии Северо-Американских Соединенных Штатов, спешившая через океан, опоздала. Возникла Федерация Советских республик Европы с единым плановым хозяйством. Промышленность Германии соединилась с русским земледелием. Советская Россия, перегнавшая до этого Европу в политической области, теперь «скромно заняла свое место экономически отсталой страны позади передовых индустриальных стран пролетарской диктатуры».⁶⁵⁴

Сравним слова Преображенского с мимолетной мыслью командира полевых большевиков: «Копенкин ехал поникшим от однообразного воспоминания о Розе Люксембург. Вдруг в нем нечаянно прояснилась догадка собственной неутошенности, но сейчас же бред продолжающейся жизни (о бреде говорит, конечно же, сам автор. – С.Н.) облек своею теплою его внезапный разум, и он снова предвидел, что вскоре доедет до другой страны и там поцелует мягкое платье Розы, хранящееся у ее родных, а Розу откопает из могилы и увезет к себе в революцию»⁶⁵⁵. Разве между текстами есть диссонанс?

Очередной пункт путешествия героев по преобразованной большевиками стране – «Революционный заповедник товарища Пашинцева имени всемирного коммунизма. Вход друзьям и смерть врагам». Приют униженных и оскорбленных располагается в одном из платоновских обиталищ смерти – среди старого хозяйства, от которого уцелели остатки служб и малых домов, лежащих в зарослях кустов и трав «как могилы на погосте». Да и колонны барского дома «сторожили пустой погребенный мир». Обитатели заповедника, также как и коммунары, не работают, а живут за счет остатков фруктового сада и природного самосева: из крапивы щи варят. Хозяин пристанища Пашинцев – непримиримый революционер, сознательно остановивший для себя мир в 1919 г. и с тех

⁶⁵⁴ Там же. С. 137-138.

⁶⁵⁵ Андрей Платонов. Ювенильное море. С. 307.

пор хранящий революцию «в нетронутой геройской категории». Его вневременное состояние подчеркивается странными средневековыми доспехами, которые в то же время могут служить символом организуемых большевиками преобразований, равно как и не действующие гранаты. Сам Пашинцев объясняет то, что «ходит в железе и ночует на бомбах» – политикой, посредством которой он «берет» народ. Как недалеко от действительности эта писательская придумка: большевики ведь тоже имели свою форменную одежду – кожанки, но вот бомбы и револьверы у них были действующие и пользовались они ими не понарошку. Пашинцев мало чем отличается от прочих платоновских руководящих персонажей. Он так же вооруженным путем освобождает для неимущих занимаемое прежде помещиками и сельскими буржуями место, так же бездельничает, надеется на «самосев», так же сбивает в кучу лодырей-неимущих.

Образы Платонова – способ насмешки (если не издевательства) над мировоззрением большевиков. Однако под ним, следующим слоем проглядывает реальность и тогда читателю становится не до смеха. За средневековыми латами – комиссарские кожанки, за Розой Люксембург – готовящий мировую революцию III Интернационал, за устройством заповедника, Чевенгура или сплавом кулаков посредством плота – реальные расстрелы, конный бросок Красной Армии на Варшаву, выселения и уничтожение сотен тысяч «непролетарских элементов» по всей стране.

Играть в революционные игры могут фанатично настроенные или ущербные люди – такие как Саша Дванов и Копенкин. О Дванове Платонов, например, говорит как о человеке, которого переполняет сила «нетерпения к своему будущему, ожидающему его за этой дорогой. В нем встала детская радость вбивать гвозди в стены, делать из стульев корабли и разбирать будильники, чтобы посмотреть, что там есть»; и

еще как о человеке, исполняющим «жизнь вперед разума и пользы». Обладая «узким, бедным умом», но посредством «отвлеченной любви молодости», Саша мог «добавочно и внезапно видеть неясные явления, бесследно плавающие в озере чувств».

Копенкин же, о котором Платонов отзывается как о человеке, не умеющем думать, тем не менее, обладает «спокойным духом и ровной верой в летнюю недалекую страну социализма, где от дружеских сил человечества оживет и станет живою гражданкой Роза Люксембург»⁶⁵⁶. Неудержимый в своих фантазиях подросток и запрограммированный на революционное действие бездумный убийца – такова пара друзей, путешествующих по стране в поисках самосевого коммунизма⁶⁵⁷. «Товарищи грабить поехали, пропасти на них нет!» – так определяет наших героев встретившийся им в степи человек. Впрочем, разрешает себе такую мысль он только тогда, когда отошел достаточно далеко.

⁶⁵⁶ Там же. С. 319.

⁶⁵⁷ Всего один раз Платонов дает нам понять, как относится к путешественникам и к тому, что они творят, большевистская власть. Это оценка пославшего Дванова в недра губернии Шумилина: «Тебя послали, чудака, поглядеть просто – как и что. А то я все в документы смотрю – ни черта не видно, – у тебя же свежие глаза. А ты там целый развал наделал. Ведь ты натравил мужиков вырубить Биттермановское лесничество, сукин ты сын! Набрал каких-то огарков и пошел бродить...» Там же. С. 338. Однако сделано это мимоходом и звучит так же неубедительно, как и запоздалая отставка за перегибы активиста в «Котловане». Дванов, Копенкин, Пашинцев, Чепурный, Прошка и прочие руководители – одно целое тела большевизма. И сам замысел обречен на провал: «А я тебе говорю, что все мы товарищи лишь в одинаковой беде. А будет хлеб и имущество – никакого человека не появится. Какая же тебе свобода, когда у каждого хлеб в пузе киснет, а ты за ним своим сердцем следишь! Мысль любит легкость и горе...», – говорит Гопнер, один из умных большевиков. Там же. СС. 341 – 342.

Дванов и Копенкин – не исключения, они норма. В эпизоде партийного собрания секретарь губкома, бывший железнодорожный техник, на редкие слова об объективных условиях, «разности и единичных числах», из которых состоят человеческие сообщества, обрывает: «Нам важно знать, ... что нам делать по выходе отсюда из дверей. А он тут плачет нам о каких-то объективных условиях. А я говорю – когда революция, тогда нет объективных условий...»⁶⁵⁸

Мировидение большевиков, присущее им небрежение человеческой жизнью, а иногда – и своей собственной, непонимание того, какое будущее и каким образом они хотели бы создать и – при этом – не естественное для разумного человека действие – вначале думать, а потом действовать, а, напротив, противоположное – кончается уничтожением живого, смертью. Смерть – основной атрибут разворачивающейся в СССР жизни – постоянно звучащая мысль писателя.

* * *

Уездный центр Чевенгур, превращенный в реальный коммунизм и его вождь председатель ревкома, а ныне уисполкома Чепурный – главная и конечная точка путешествия наших героев. Здесь же, в этой части романа, читателя ждут знакомство с наибольшим количеством смыслов, раскрывающих явление коммунизма.

Уже в первых словах при встрече с Сашей Чепурный сообщает: «у меня коммунизм стихией прет» и что в Чевенгуре коммунизмом обозначен конец всемирной истории: «на что она нам нужна?» В городе не было ни денег, ни бюджета, потому как жители «давно предпочли счастливую жизнь всякому труду, сооружениям и взаимным расчетам». Здесь живет «общий и отличный человек ... без всякого комода в горнице, – вполне обяательно друг для друга». Один из жителей формулирует Копенкину отличие их жизни от предшествующей,

⁶⁵⁸ Там же. С. 341.

при капитализме: «У нас, товарищ, тут покой человеку: спешили одни буржуи, им жрать и угнетать надо было. А мы кушаем да дружим...»⁶⁵⁹

Тема – как жить при коммунизме волнует героев постоянно. Размышляя о ней, Саша сосредотачивается на использовании природы в качестве заместителя трудящегося человека. Солнце можно «мобилизовать на вечную работу». Копенкин же способен только «чувствовать» коммунизм и сам для себя решает – есть он или отсутствует. Что же до Чепурного, то он, не зная чем заняться «после погребения буржуазии», в качестве последнего варианта посредством Прокофия Дванова обращается к Карлу Марксу. Эпизод этот, как и иные подобные у Платонова, носит фарсовый характер. Умея лишь разрушать и уничтожать, Чепурный и в этом случае находит естественный для него вывод: вначале остатки населения выдворяются из Чевенгура, а в случае возвращения уничтожаются. «Писал-писал человек, – сожалел Чепурный, – а мы все сделали, а потом прочитали, – лучше бы и не писал!

Чтобы не напрасно книга была прочитана, Чепурный поставил на ней письменный след поперек заглавия: «Исполнено в Чевенгуре вплоть до эвакуации класса остаточной сволочи. Про этих не нашлось у Маркса головы для сочинения, а опасность от них неизбежна впереди. Но мы дали свои меры». Затем Чепурный бережно положил книгу на подоконник, с удовлетворением чувствуя ее прошедшее дело».⁶⁶⁰

Платонов несколько раз обращается к теме содержания коммунизма и каждый раз свидетельствует отсутствие не только у чевенгурцев, но и у власти какого-либо представления о том, что это такое. Поэтому на героев и жителей Маркс смотрит со стен как «чуждый Саваоф», а его «страшные» книги не могут довести «до успокаивающего воображения коммунизма».

⁶⁵⁹ Там же. С. 358, С. 370.

⁶⁶⁰ Там же. С. 492.

Назначенные к уничтожению чевенгурцы не оказывают сопротивления большевикам. Они готовы «кратко пройти по адову дну коммунизма» (снова слова Платонова), смиренно принять смерть.

Смерти в «страшном Чевенгуре» посвящены многие страницы. Начиная с приказа Чепурного Пиюсе «сделай мне город пустым» Платонов подробно и отстраненно, как в операционной при ампутации какой-либо части человеческого тела, свидетельствует об «учреждении коммунизма». Пиюся, специализировавшийся на убийствах, был председателем чевенгурской чрезвычайки. Из-за отсутствия образования он, выполняя свою работу, «не вел бумажный учет» уничтожаемым помещикам, а «предлагал убивать пойманных помещиков самим батракам, что и совершалось».

Но это в прошлом. Теперь же предстояла казнь ради коммунизма. Осуществляется она посредством нагана, излюбленного чекистами оружия и описывается автором хирургически точно. Так, после того как Пиюся первым выпустил пулю в голову буржуя, из нее вышел «тихий пар» и человек упал на землю, «обняв ее раскинутыми руками и ногами, как хозяин хозяйку».

Чекисты ударили из нагана по безгласным, причастившимся вчера буржуям – и буржуи неловко и косо упали, вывертывая сальные шеи до поврежденья позвонков.

...Где у тебя душа течет – в горле? Я ее сейчас вышибу оттуда!

Пиюся взял шею Завына левой рукой, поудобней зажал ее и упер ниже затылка дуло нагана»⁶⁶¹.

После экзекуции Пиюся и Чепурный «прощупали всех буржуев и не убедились в их окончательной смерти: некоторые как будто вздыхали, а другие имели чуть прикрытыми глаза и притворялись, чтобы ночью уползти и продолжать

⁶⁶¹ Там же. СС. 389 – 390.

жить за счет Пиюси и прочих пролетариев; тогда Чепурный и Пиюся решили дополнительно застраховать буржуев от продления жизни: они подзарядили наганы и каждому лежащему имущему человеку – в последовательном порядке – прострелили сбоку горло – через железки»⁶⁶².

Все происходит не только просто, обыденно, но и по плану. Ведь это предвидел благословлял пролетарский вождь Ленин. Для государства «вчераших наемных рабов», писал он, – дело подавления будет «настолько, сравнительно, легкое, простое и естественное, что оно будет стоить гораздо меньше крови, чем подавление восстаний рабов, крепостных, наемных рабочих, что оно обойдется человечеству гораздо дешевле»⁶⁶³. Легко и дешево.

После расстрела на площади воцарилась смерть, а «жизнь отрешилась от этого места и ушла умирать в степной бурьян». Возможно, что чевенгурская ночь «потушила мир навеки». Однако за городской чертой оставались изгнанные

⁶⁶² Там же. С. 391.

⁶⁶³ Ленин В.И. Полное собрание сочинений. Т. 33. С. 90. Предвидимое Лениным сопротивление вчераших эксплуататоров, а также несознательных элементов революционной власти не замедлило сказаться. Уже в начале января 1918 года Ленин требовал от любой «коммуны» – фабрики, деревни, потребительского общества – строжайшего учета и контроля за трудом и распределением продуктов в соответствии с правилами и законами социализма, в соответствии с принципом «кто не работает, тот пусть не ест». Формы и способы такого учета могут быть разнообразны. «В одном месте по садят в тюрьму десяток богачей, дюжину жуликов, полдюжины рабочих, отлынивающих от работы (так же хулигански, как отлынивают от работы многие наборщики в Питере, особенно в партийных типографиях). В другом – поставят их чистить сортиры. В третьем – снабдят их, по отбытии карцера, желтыми билетами, чтобы весь народ до их исправления, надзирал за ними, как за вредными людьми. В четвертом – расстреляют на месте одного из десяти, виновных в тунеядстве. В пятом – придумают комбинации разных средств» Там же. Т. 35. С. 204.

«полубуржуи». И потому окончательное «освобождение» города от «остаточной сволочи» продолжается с наступлением утра. На этот раз вместо нагана используется пулемет. При этом автор сообщает, что пулеметчик успевает «для аккомпанемента» в такт быстроходной отсечке пуль хлопнуть себя руками по щекам, рту и коленям. Чем не пляска смерти?

Итог действий Пиюси по поводу качественного уничтожения буржуев подводит автор: «Буржуев в Чевенгуре перебили прочно, честно, и даже загробная жизнь их не могла порадовать, потому что после тела у них была расстреляна душа».⁶⁶⁴

Кажется, коммунизм восторжествовал. Однако десять чевенгурских большевиков не могут составлять население города, в который ненароком может заглянуть даже Ленин, и Чепурный посылает Прокофия привести в Чевенгур найденных по дорогам страны людей.

Поставив произведение Платонова в длинный ряд русской классики, нужно признать, что таким сюжетным поворотом авторское повествование входит в классическую для отечественной литературы тему нового человека. Явившись на свет в прозе И.С. Тургенева, Чернышевского и Достоевского, она была подхвачена Островским, Чеховым и Горьким. Однако если у этих платоновских предшественников, за исключением Горького с его босяками, «новое» было сопряжено с позитивными, человекостроительными и миростроительными новациями, то у Платонова «новые» люди (помимо большевиков) – некие пришельцы из мира теней, люди без качества, именуемые автором «прочие». Сказать о них стоит особо.

У «прочих», сообщает автор, не было «классовой наружности» или «революционных достоинств», их возраст был «неуловим», они были чужие всем и имели лишь «непроизвольно выросшее тело». Это были люди «без всякого значе-

⁶⁶⁴ Андрей Платонов. Ювенильное море. С. 385.

ния, без гордости и отдельно от приближающегося всемирного торжества». ⁶⁶⁵ «Прочие» были рождены без дара ума и чувств. У них не было матерей, потому что матери оставляли их сразу после рождения и «прочий» ребенок лежал посреди мира и плакал своему горю – навеки утраченной теплоте матери. Спустя немного времени к этому прибавлялось отсутствие отца. Поэтому «прочие» были сплошь «самодельные люди неизвестного назначения». И это оказалось именно то, что нужно ничего не желающим и ничего не делающим чевенгурцам. Кроме того, как сообщил Прокофий Чепурному: это – никто, это «интернациональный пролетариат», который нужно только вперед вести, он и не пикнет.

За этими рассуждениями отчетливо просматривается идея Маркса о безнациональной природе пролетариата. Но Платонов идет дальше и бесстрашно доводит идею коммунизма до главного коммунистического лозунга: «...Лучше будет разрушить весь благоустроенный мир, но зато приобрести в голом порядке друг друга, а посему, пролетарии всех стран, соединяйтесь скорее всего!» ⁶⁶⁶

В связи с развитием темы «прочих» особый интерес представляет эпизод заседания ревкома с участием старика – одного из «новых» людей в Чевенгуре. Вопрос об уничтожении буржуазии Чепурный формулирует так, будто их не убили, а «они сами пропали от коммунизма», на что старик соглашается: «Так будет терпимо». «Терпимо без классов», – заключает для протокола Чепурный.

О срочной организации потребительской кооперации Чепурный решает, что торговля в городе не нужна, это пройденный этап. «Так ведь степь же сама заросла чем попало – пойдди нарви купырей и пшеницы и ешь! Ведь солнце же светит, почва дышит и дожди падают – чего же тебе надо еще? Опять

⁶⁶⁵ Там же. С. 437.

⁶⁶⁶ Там же. С. 438.

хочешь пролетариат в напрасное усердие загнать? Мы же далее социализма достигли, у нас лучше его».⁶⁶⁷

Этими смыслами Платонов ставит крест на иллюзиях тех сторонников коммунистической идеи, которые заявляли о «пересмотре» Лениным своих прежних взглядов в предсмертной статье «О кооперации». Действительность и в самом деле ушла дальше и сделала «лучше», чем предлагал Ленин в 1921 г. Надо отметить, что к этому времени он уже вполне уничтожил российское кооперативное движение. Скажу об этом подробнее.

По оценке российского историка В.П. Данилова, все формы кооперации объединяли к 1917 г. не менее половины крестьянских хозяйств и, соответственно, сельского населения.⁶⁶⁸ В условиях послеоктябрьской национализации промышленности и ликвидации частно-торгового аппарата потребительская кооперация развилась настолько, что к концу 1918 г. обслуживала уже три четверти населения страны. Народ активно самоорганизовывался и, говоря словами Чепурного, в перспективе «ревком был не нужен». Удерживая власть любыми средствами, Ленин понимал, что сила у того, у кого хлеб. По этой причине кооперация как форма хозяйственной самоорганизации крестьянства была объявлена им врагом номер один. Заместитель наркома продовольствия в первые послеоктябрьские годы М.И. Фрумкин, непосредственно занимавшийся вопросами кооперации, так оценивает действия тогдашней власти. Это было стремление превратить кооперацию «в небольшой придаток к государственному организму. Мы «изживали» кооперацию с такой поспешностью, словно изживание мелкобуржуазных настроений и интересов деревни приходило уже к концу. Нужно отметить, что мы действовали так без особой нужды, только во имя го-

⁶⁶⁷ Там же. С. 443.

⁶⁶⁸ Человек и земля. М., 1988. С. 190.

лой схемы»⁶⁶⁹. Схемой, воплощенной в жизни, был и увиденный Андреем Платоновым Чевенгур.

Участие старика в заседании чевенгурского ревкома выводит разговор на вопрос о предназначении власти. Старик объясняет, что если ревком может «организовать и сплотить раздробленные силы в одном определенном русле», то только потому, что эти силы сами того хотели. Значит, работа ревкома не трудная и для нее требуются самые «ненужные» люди. Чепурный же и другие большевики – люди нужные и им следовало бы другими делами заниматься, а обдумывать чужую жизнь вместо самого живого – срам. Но и тут оказывается кстати хитрый ум Прокофия Дванова и большевики принимают решение проводить заседания по ночам, когда живущие мимо не ходят и размышлениями, чем занимается власть, не заботятся.

Еще один вопрос, поставленный перед чевенгурцами в циркулярах из губернии – «организация массового производительного труда в форме субботников, для ликвидации разрухи и нужды рабочего класса, это должно воодушевлять массы вперед и означает собою великий почин» коммунизма.⁶⁷⁰ Платоновская саркастическая переключка с хрестоматийной работой Ленина настолько очевидна, что в комментировании не нуждается.

Старик стал уточнять, в чем должен состоять труд и выяснил, что дело ограничивается очередной перестановкой с места на место домов для тесноты жизни и перемещением садов для прогона свежего воздуха. Поскольку исполнение своей жизни «по чужому записанному замыслу» в данном случае больших усилий от «прочих» не требовало и ничем плохим не грозило, то старик легко соглашается.

На этом ревком замер в оцепенении: других указов из губернии не было и жизнь в чевенгурцах пошла самотеком. Это

⁶⁶⁹ Четыре года продовольственной работы. М., 1922. С. 78.

⁶⁷⁰ Там же. С. 448.

.....
было недопустимо и Чепурный как настоящий пролетарский вождь, не желающий терять руководящую инициативу, итожит: «Жил у нас враг навстречу, а мы его жилили из ревкома, а теперь вместо врага пролетариат настал, либо мы его жить должны, либо ревком не нужен»⁶⁷¹.

Как отмечалось, Чевенгур стоит в одном ряду с другими революционными хозяйствами, которые прежде посещали Саша и Копенкин. И Чевенгур если и отличается, к примеру, от хутора товарища Пашинцева, то только содержанием руководящих инициатив его начальства, как передвижка домов и садов. Коммунизм же одинаков везде. Это подтверждает еще не видевший Чевенгура Пашинцев: «Тут просто ревзаповедник, какой был у меня», – говорит он Копенкину. А Копенкину при воспоминании ревзаповедника приходит на ум «молчаливая босота».

В «Чевенгуре», как и в «Котловане», важное значение, образующее иные смыслы, имеет смерть ребенка. Но если в повести Настя уже сознает происходящее и даже формулирует принципы устройства будущего, то в романе ребенок слишком мал и значение его гибели передается через восприятие других персонажей. Копенкин, например, озадачивается: «Какой же это коммунизм? ... От него ребенок ни разу не мог вздохнуть, при нем человек явился и умер. Тут зараза, а не коммунизм. Пора тебе ехать, товарищ Копенкин, отсюда – вдаль», чтобы кончив ночью всех германских буржуев разом и «к рассвету объявить коммунизм»⁶⁷². Здесь в который раз Платонов высказывает уже много раз повторенную мысль: коммунизм – царство смерти. Коммунизм может только убивать и не может создавать.

Созидание – это вообще то, о чем, за исключением квалифицированного рабочего Гопнера, вообще никто не говорит.

⁶⁷¹ Там же. С. 450.

⁶⁷² Там же. С. 459.

Чевенгурцы удовлетворяются жизнью за счет даров природы и достижением блага для другого человека. Так, когда в Чевенгур пришли «прочие», а потом и Прокофий привел женщин «наниматься в жены», эти занятия лишь разнообразились, но качественно не поменялись: одни стругают доски, из которых кто-нибудь, может быть, «собьет подарок или вещь», другие штопают мешки, чтобы набирать в них зерна из степных колосьев, третьи ходят по дворам, чтобы в дырках стен и печей искать клопов и там душить их. Каждый заботится не о своей пользе, а о благе какого-нибудь другого чевенгурца. Но за всем этим – бездеятельность и безысходность.

Мысль о близкой смерти транслируется не только в конкретных коллизиях, но и в авторских размышлениях о судьбах героев. Так, придя в Чевенгур, «Дванов увидел, что в природе не было прежней тревоги, а в подорожных деревнях – опасности и бедствия: революция миновала эти места, освободив поля под мирную тоску, а сама ушла неизвестно куда»⁶⁷³. Эти размышления соседствуют с мыслями Саши о том, что и в нем самом, как и в природе, день прожит, начинается «вечер» и, возможно, он похож на тот, в который его отец ушел на дно озера.

Зачем Саша прожил день, добиваясь коммунизма? Ему самому он не нужен. Скорее, напротив, любовь к созиданию – машинам – не гармонирует с коммунистической идеей жизни за счет сил природы. Но он идет со всеми и делает коммунизм потому, что «все шли и страшно было остаться одному», тем более, что у него не было отца и семейства. По этой причине он любил Чепурного и Копенкина «и многих прочих за то, что они все погибнут от нетерпения жизни, а он останется один среди чужих»⁶⁷⁴.

Саша разочаровывается в коммунизме. Но есть другие. Например, Гопнер, умеющий задавать вопросы коммунист,

⁶⁷³ Андрей Платонов. Ювенильное море. С. 470.

⁶⁷⁴ Там же.

который, наблюдая жизнь в городе, заботится тем, чтобы такое «изобрести, что к чему надо подогнать в Чевенгуре, дабы в нем заработала жизнь и прогресс». На это Дванов отвечает: «Здесь, Федор Федорович, ведь не механизм лежит, здесь люди живут, их не наладишь, пока они сами не устроятся. Я раньше думал, что революция – паровоз, а теперь вижу – нет».⁶⁷⁵

В своих размышлениях о коммунизме Саша идет дальше. Он, например, догадывается, для чего большевики-чевенгурцы желают наступления коммунизма: ведь коммунизм, как говорит Маркс, это конец истории. То есть, это конец времени. Оно должно остановиться. А поскольку в человеке вместо времени «стоит тоска», то единственный способ ее изжить – это так же «остановить» ее, подобно времени. А что такое остановить время (тоску) в человеке, станет ясно скоро.

Итак, по мере того, как Саша открывает для себя скрытые прежде истины, жизнь начинает терять смысл. Понять нам это Платонов дает и посредством своих любимых образов. Один из них – умерший лист, постоянно сопровождавший в «Котловане» Вощева. Здесь – «синий лист дерева легко упал близ Дванова, по краям он уже пожелтел, он отжил, умер и возвращался в покой земли»⁶⁷⁶. Умерший лист – знак близкого прекращения жизни во всем живом.

* * *

Подходя к финалу романа, Платонов дает читателю еще одну возможность взглянуть на «коммунизм в действии» – в этот раз не изнутри, а со стороны – с позиции «центральных» людей. С этой целью вводится фигура Симона Сербинова. Настораживает авторская характеристика героя: «Он был усталый, несчастный человек, с податливым быстрым сердцем и циническим умом». Он «почти не желал существовать», «глубоко разлагался и не мог чувствовать себя счастливым

⁶⁷⁵ Там же. С. 485.

⁶⁷⁶ Там же.

сыном эпохи», а чувствовал лишь «энергию печали».⁶⁷⁷ Хотя Сербинов «не любил стоять на ответственных постах, уткнувшись лицом в кормушку власти», он, тем не менее, по ее заданиям ездил по провинции, помогая тамошним большевикам «стронуть жизнь мужика с ее дворового корня». Нужен ли он был кому-нибудь, кроме тех, кто посылал его в глушь? «...Ни в ком из живущих не было по отношению к Симону смертельной необходимости», – дает ответ автор.

Странность фигуры Сербинова подчеркивается его именем – Симон (перекличка с французским утопистом Сен-Симоном? – *С.Н.*). Однако развитие сюжета посредством этой фигуры помогает Платонову сделать обобщения относительно всей России. Новые садовники страны из-за отсутствия «прочного полезного ума» в нетерпении заменяют культурные садовые растения быстро созревающими «мелкими злаками», для которых не нужно ни труда, ни терпения. «И после снесенного сада революции его поляны были отданы под сплошной саморастущий злак, чтобы кормиться всем без мучения труда»⁶⁷⁸. Конечно, в данном случае речь вряд ли идет именно о растениях. Речь о большем, чем растениеводство. О чем же?

Если принять во внимание описываемое время, предметную область коммунистического действия и, наконец, сами объекты, на которые направляется внимание и усилия российских «чевенгурцев», то ничем иным как оценкой и даже приговором большевистской организации жизни и аграрной политики, в частности, это признать нельзя. Более того. Платонов определяет убийственный характер этой политики для будущего: злак съест почву и люди останутся на глине и камнях, на иссушенной безлюдным ветром земле. Большевизм не жизнеспособен. При нем не растут злаки и умирают дети.

⁶⁷⁷ Там же. С. 501.

⁶⁷⁸ Там же. С. 505.

Свежий человек Сербинов нужен и для оценки чевенгурского (коммунистического) принципа хозяйствования, согласно которому «мучение телом ради предмета», т.е. для пользы, заменяется на работу «друг для друга» посредством того вещества, которое предоставляет природа. Так, чевенгурцы Саша и Гопнер собираются получать электричество из света солнца, в городе стоит соломенно-глиняная башня, на которой горит огонь – маяк для путников в степи, Карчук делает из бычачьей кости меч для Пашинцева, Чепурный тащит глину из оврага для памятника и т.д. Так вот, наблюдая коммунистическое хозяйствование, человек со стороны Сербинов «понять то, что стоит перед его зрением, не мог».

Конец коммунизма наступает неожиданно. Он умирает в Чевенгуре после того, как в некоторых героях проступают человеческие чувства. По мере роста тоски по Розе, Копенкин намеревается покинуть город. Проснулись и окрепли доселе спавшие чувства хозяина в Прокофии – он начинает оформлять на себя городскую собственность. Кирей, получивший в жены Грушу, перестает «давать подарки» в коммунизм и только жену считает «своей идеей коммунизма», становясь одним этим «спокойно-счастливым». От коммунизма начинают отходить и прочие чевенгурцы.

Коммунизм умирает и автору не остается иного как умертвить героев, выражающих эту идею. Неизвестно откуда близ Чевенгура оказываются то ли казаки, то ли кадеты на лошадах и все, кроме Саши Дванова и Прокофия, гибнут в бою.

Но и Саша не умеет жить по-иному. И он уходит в озеро, в котором искал жизнь, но нашел смерть его отец. На этом коммунизм, кажется, должен исчезнуть, если бы не последний эпизод романа. Вновь возникает Захар Павлович, вновь просит Прошку найти ему Сашу, и вновь Прошка обещает его привести.

* * *

В заключительной части повести «Ювенильное море» есть размышление Николая Вермо: «Зачем строят крематории? – с грустью удивился инженер. – Нужно строить химзаводы для добычи из трупов цветметзолота, различных стройматериалов и оборудования».⁶⁷⁹ Бред, абсурд? Нет, еще одна грань большевистского сознания – фантазийность.

Зародившись еще в «Епифанских шлюзах» как идея добычи большой воды для судоходного канала из подземного озера, эта грань никогда не оставалась забытой ни в одном из последующих произведений. В «Котловане» она материализовалась в гигантский общепролетарский дом, в который должно войти население целого города. В «Чевенгуре» – во все, с чем связывают свое бытие герои: от могилы Розы Люксембург до самосевного сельского хозяйства.

Однако в отличие от других произведений, в «Ювенильном море» фантазийность рассматривается чуть ли не как главный способ жизнепрживания героев. Ее составляющие – идеи извлечения на поверхность земли «древней воды», лежащей в недрах в «кристаллическом гробу»; выведения вместо обычного скота «социалистических гигантов, вроде бронтозавров, чтобы получать от них по цистерне молока в один удой»; предложение отапливать пастушьи курени «весовой силой обвалов или варить пищу вековым опусканием осадочных пород» и еще многое.

И здесь обнаруживается, что фантазийность не просто полет мыслей отдельных чудаков. Будучи принципиально не согласующейся со здравым смыслом и научным знанием, она, тем не менее, постоянно воспроизводится в структурах общественного сознания. Значит, у нее должно быть собственное качество, для чего-то и кому-то необходимое. Выскажу предположение. В том случае, когда фантазийность перестает контролироваться здравым смыслом, у нее дейст-

⁶⁷⁹ Там же. С. 65.

вительно обнаруживается новое важное свойство. С ее помощью решается извечная проблема «соседства» жизни и смерти. Фантазия, не претендуя на пространство жизни, в то же время лишает пространства смерть.

Большевизм, создающий для человека ситуацию жизни в царстве смерти, не мог этой возможностью не воспользоваться. Утверждения – «сегодняшние поколения живут ради счастья будущих»; «очистим землю, посадим сад и еще сами успеем погулять в том саду»; «нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме» – тому свидетельство. Это не отрицание жизни, а перенос ее в будущее. И перенос жизни в будущее («превращение будущего в родину», как говорит Платонов), совершается тем более легко, потому что герои, как правило, безродные.

Делая предметом рассмотрения фантазийность, Платонов, наряду с прочим, откликается и на традицию анализа феномена смерти в русской классике. Но вместо найденного в ней способа «взаимодействия» жизни и смерти – установления границы и поиска возможностей удержания смерти на этом рубеже – автор «Ювенильного моря» предлагает новый: смерть вытесняется за границы бытия, поскольку бытие обретает столь фантастические формы, что ни для жизни, ни для смерти места нет. Герои, охваченные фантазиями, уничтожают в себе страх смерти. Фантазийность – способ, которым герои укрываются от страха. Их жизнь полностью высвобождается из-под влияния и власти смерти. Правда, при этом жизнь превращается в абсурд. Но это авторами фантазий и теми, кто ими захвачен, не замечается.

К сожалению, фантазийность не приходит в жизнь одна. Ее неизменным спутником, если не родственником, всегда оказывается фанатизм. И зараженные тем или другим (или тем и другим вместе), герои советской литературы, включая платоновских, самой смерти, как известно, не боятся. Впро-

чем, смерти это все равно. Она делает свое дело помимо наличия или отсутствия страха перед ней. Но точно так же и фантазии живут вне и помимо смерти.

Авторский рецепт фантазийного, «внесмертного» бытия уже в первых абзацах повести сообщает читателю Николай Вермо. На ходу, пока он движется в глубину степи, он уже управился открыть первую причину землетрясений, вулканов и векового переустройства земного шара «лишь бы занять голову бесперебойной мыслью и отвлечь тоску от сердца»⁶⁸⁰. И чем этот создаваемый в сознании мир грандиознее, тем он лучше защищает от страха смерти.

Однако от чего тоскует герой, ведь он участвует в «пролетарском воодушевлении жизни» и скапливает вместе с друзьями посредством творчества и строительства «вещество для той радости, которая стоит в высотах нашей истории»? Отмечу, что понятие «тоска», так же как и «скука», у Платонова предвестники смерти. «...Я сейчас помру, мне скучно начинается», – говорит, к примеру, один из героев «Чевенгура»⁶⁸¹.

Ответ дается, как это всегда у Платонова, через столкновение разных способов жизни. Тоска Вермо объясняется при встрече с Адрианом Умрищевым, читающим книгу по истории Ивана Грозного. Умрищев со своим предостережением «не суйся» «разумно, – по мнению автора, – не хотел соваться в железный самотек истории, где ему непременно будет отхвачена голова»⁶⁸². Вермо же не только сунулся, но летит по гребням волн, спасаясь до поры тем, что перескакивает с одной волны на другую. Однако конец этой эквилибристике уже виден: дальше Америки и дольше, чем на полтора года, Вермо и Босталоевой плыть некуда. А провожают их, что

⁶⁸⁰ Там же. С. 3.

⁶⁸¹ Там же. С. 549.

⁶⁸² Там же. С. 9.

значимо для философского понимания повести, герои, олицетворяющие два противоположных принципа жизни – «Не суйся!» (Умрищев) и «Надо решить вопрос о добыче подземных морей» (Федератовна). Борьба этих начал, похоже, неизбывна.

В коллизию столкновения способов жизни представителя «технического большевизма» Вермо и Умрищева – бюрократа и врага нового, Платонов прячет свои собственные слова о том, что «вековечные страсти-страдания происходят оттого, что люди ведут себя малолетним образом и повсюду неустанно суются, нарушая размеры спокойствия».⁶⁸³ Яснее не скажешь. Как малые дети, люди, подобные Вермо, Дванову, Копенкину мечтают – разрезать лазером земную твердь, нырнуть в озеро как рыбы, за одну ночь кончить всех буржуев Германии и на следующее утро установить коммунизм. И не просто мечтают, но «неустанно суются».

Слова о «нарушении спокойствия» могли бы в случае их расшифровки стоить Платонову того же, чего Мандельштаму стоили стихи о «тараканьих усищах» пролетарского вождя. Поэтому Платонов и прячет их. Так, Умрищев, инспектируя гурт, дает сопровождающему указание: «Сорвать былинку на пешеходной тропинке, а то бьет по ногам и мешает сосредоточиться». Божев склонился было, чтобы сразу уничтожить былинку, но Умрищев остановил его: «Ты сразу в дело не суйся, – ты сначала запиши его, а потом изучи: я же говорю принципиально – не только про эту былинку, а вообще про все былинки в мире».⁶⁸⁴ Верно. Умрищев говорит о принципе жизни.

Мысль о «нарушении спокойствия» и предостережение «не суйся, а сначала изучи» могут показаться абсурдными, будучи рассмотрены в связи с конкретным предметом. Но ведь

⁶⁸³ Там же. С. 11.

⁶⁸⁴ Там же. С. 15.

дело не в предмете, а в отвергнутом большевиками способе жить. И если подумать об этих словах в связи с творчеством писателя, то они будут звучать по-другому. Обращу внимание на следующее: Платонов очень мало пишет о страданиях человека до Октября, в то время как послеоктябрьская жизнь изображается им панорамно и как непрерывно длящийся ужас – царство смерти, укоренившееся, в том числе и по причине «нетерпеливости» и «малолетнего поведения» творцов нового мира.

Фантазийность в сочетании с нетерпеливостью малолетства и фанатизмом – одна из глубинных черт большевизма. Идеями такого рода был наполнен воздух российского социума двадцатых годов. Вот как о коммунистической хозяйственной системе писал уже упоминавшийся Е. Преображенский: постепенно социализм создаст возможность для проявления некапиталистических стимулов деятельности человека – появится более совершенная техника, будет производиться больший и лучший продукт, возрастет досуг, все будут «втянуты в культуру». «Миллионы глаз будут устремлены на то, нельзя ли где-нибудь что-нибудь улучшить...»⁶⁸⁵ (директор совхоза Умрищев, излагая свое видение усовершенствования организации производства, говорит: «Пора, товарищи, социализм сделать не суетой, а заботой миллионов»⁶⁸⁶).

Но до того, продолжает Преображенский, как это положение теории станет действительностью, нужно изжить неверные взгляды, в частности буржуазные представления об общечеловеческой морали. Таковой не существует. Всегда и во всем мы найдем классовую подоплеку, выгоду того или иного поступка тому классу, от лица которого выступает индивид. В революционной борьбе, в процессе перехода общества от ка-

⁶⁸⁵ Преображенский Е. О материальной базе культуры в социалистическом обществе. М. 1923. С. 24.

⁶⁸⁶ Андрей Платонов. Ювенильное море. С. 17.

питализма к коммунизму работают важные классовые пролетарские принципы. Согласно им, например, отдельный член класса должен смотреть на себя как на орудие борьбы всего рабочего класса в целом. Конечно, это противоречит позиции «хваленного теоретика» буржуазии И. Канта, согласно которой никогда нельзя смотреть на другого как на средство достижения цели, а всегда – как на цель. «Можно себе представить, – иронизирует Преображенский, – как далеко ушел бы пролетариат в своей борьбе, если бы руководствовался этим, а не совсем противоположным требованием в своих классовых интересах. Пролетариат в борьбе за власть жесток и беспощаден. Он не только не щадит своих врагов, но не щадит, где это нужно для дела, и лучших представителей своего класса... На севере Сибири, бывает, что громадное стадо оленей переходит широкую реку. Перейти на тот берег необходимо для спасения от голода всего стада. Но река глубока, и мост наводит социальный инстинкт стада трупами передовых»⁶⁸⁷. Подходящий образ для кончины чевенгурцев или землекопов котлована?

Платонов, активно интересовавшийся в двадцатые годы теорией большевизма, возможно, был знаком с этим трудом, равно как и с изданной в 1920 г. и переиздававшейся около десяти раз совместной книгой Бухарина и Преображенского «Азбука коммунизма», наполненной такого рода идеями.

О большевистской нетерпеливости уже в октябре 1921 г., в начале НЭПа осторожно и расплывчато с оттенком раскаяния писал и Ленин: «Переход к «коммунизму» очень часто (и по военным соображениям; и по почти абсолютной нищете; и по ошибке, по ряду ошибок) был сделан без промежуточных ступеней социализма»⁶⁸⁸. И еще: «О наших задачах экономи-

⁶⁸⁷ Преображенский Е. О морали и классовых нормах. М., Петр. 1923. С. 72 – 73.

⁶⁸⁸ Ленин В.И. Полное собрание сочинений. Т. 44. С. 473.

ческого строительства мы говорили тогда гораздо осторожнее и осмотрительнее, чем поступали во вторую половину 1918 года и в течение всего 1919 и всего 1920 годов»⁶⁸⁹.

Столкновение фантазийного способа жизни и жизни по принципу «А ты не суйся!», в котором Платонов прячет свой разумный взгляд на преобразование мира (нельзя «порочить естественное самотечное устройство природы»), маскируется им и через доведение умрищевского тезиса до смеха и гротеска. Вот в гурт прибыло начальство и секретарь «недалекого райкома партии» справляется у директора Умрищева о распространенности его лозунга. Директор охотно поясняет, что лозунг был и плохо, что ему не всегда следовали. Вот Божев «сунулся» к Айне и довел ее до самоубийства. А если бы Федератовна не «совалась» повсюду, то и не узнала бы, что кулаки выдаивают колхозных коров и такого вопроса для секретаря райкома вовсе не было бы. В ответ секретарь обещает Умрищеву, что «партия его разлюбит» и мечтает о Бастолоевой, с которой в дальнейшем, наряду с Вермо, и будет сопряжено все фантазийное в повести.

Босталоева, например, обещает при государственном задании тысяча тонн поставить три тысячи тонн мяса. Но «нормальной мещанской работой» этот план не выполнить. «Москва вызывает нас на творчество», – говорит она, а Федератовна комментирует, что партия уж слишком любит и ценит ум масс, которые «жадны стали на новую светлую жизнь: никакого укорота им нету!» Но Вермо (а, может, Платонов) думает, что тот же расчет на «максимального человека» – т.е., на большинство «имел сам Ленин перед Октябрем семнадцатого года». Опасная двусмысленность?

Здесь, как и в других местах, Платонов прячет свою позицию за многими смысловыми слоями. Первый – на поверхности: власть опирается на большинство, ценит его ум

⁶⁸⁹ Там же. С. 156.

и любит массы. Второй – изображение этого большинства. Что в «Котловане», что в «Чевенгуре», что в «Ювенильном море» говорить об уме большинства и, тем более, о любви к нему со стороны власти не получается. Вспомним чуть живых землекопов, «молчаливую босоту», толпы «прочих», забитых киргизов. Третий смысловой слой – существо выдвигаемых властью задач. Общепролетарский дом, коммуна, революционный заповедник, ничего не производящий, питающийся самосевом Чевенгур, «Родительские дворики» – фабрика мяса на «ветряном отоплении». И везде – уничтожение того, что называется «нормальной мещанской работой» и тех, кто ею занят. И, наконец, четвертый смысл – фантазийность и фанатизм «новых» людей: от инженера Прушевского – до Вермо. И, само собой, параллельно с выстраиванием смыслов, Платонов вплотную приближается к страшной для объективного наблюдателя того времени грани: к событиям Октября и их творцам. И смыслы, которые Платонов вкладывает в ответы, перекидываются за эту грань. Мечтавший стать коммунистом Платонов становится его врагом.

Фантазийность, как и фанатизм, вещь заразительная, легко передаваемая от человека к человеку, в особенности, если к ней применить «теоретическую диалектику» – главное философское оружие большевиков. Это, к примеру, демонстрирует Умрищев, назначенный председателем колхоза. Его посещает Федератовна с целью обнаружить «диалектику в действии». Так, когда к нему является кооперативный работник Священный с известием, что у него в кооперативе прошлогодние моченые яблоки стали солеными, как огурцы, а морковь приобрела горечь, он отвечает: «Это прекрасно! – радостно констатировал Умрищев. Это диалектика природы, товарищ Священный: ты продавай теперь яблоки, как огурцы, а морковь, как редьку!»⁶⁹⁰ Разыгравшаяся далее

⁶⁹⁰ Андрей Платонов. Ювенильное море. С. 58.

сцена – один из ярчайших примеров платоновской смеси политической сатиры, авторского сарказма, гротеска и ужаса. Умрищев просит у Священного пищу, вспомнив, что «мысль есть материалистический факт». Священный дает ему отрезанный и копченый на огне «бычий член размножения». Умрищев, «начитавшись физико-математических наук, ничем теперь не брезговал, поскольку все на свете состоит из электронов, и съел ту колбасу»⁶⁹¹. Не напоминает ли рассуждение об электронах ленинские тезисы из «Материализма и эмпириокритицизма»?

После убийства Священного погонщиком вентиляторного вола Федератовна корит его: «Ты зачем, поганец, человека убил? – что ты, вся Советская власть, что ли, что чуждыми классами распоряжаешься?»⁶⁹² Чем это отличается от сталинского курса на «сполошную» коллективизацию с неизбежной ликвидацией класса кулаков?

Давая волю сарказму, Платонов, тем не менее, предельно серьезен. Так, он формулирует то, что можно назвать существом большевизма. «Вермо понял, насколько мог, столпов революции: их мысль – это большевистский расчет на максимального героического человека масс, приведенного в героизм историческим бедствием, на человека, который истощенной рукой задушил вооруженную буржуазию в семнадцатом году и теперь творит сооружение социализма в скудной стране, беря первичное вещество для него из своего тела»⁶⁹³.

К финалу повести фантазийность естественным образом сходит на нет. Командировочное задание Вермо и Босталовой – проверить в Америке «идею сверхглубокого бурения вольтовым пламенем и научиться добывать электричество из пространства, освещенного небом», равно как и из света че-

⁶⁹¹ Там же. С. 59.

⁶⁹² Там же. С. 61.

⁶⁹³ Там же. С. 75.

ловческих глаз, ограничено местом и временем. «Корабль уплыл в водяные пространства земли», а читатель остался в компании Умрищева и Федератовны. Все вернулось на круги своя. И тему ювенильного моря, как и обещание Прошки вновь привести утонувшего Сашу, можно считать началом новой истории.

* * *

Читая Платонова, специалист-философ задаст вопрос: отчего в рассуждениях о смерти отсутствуют ее естественные оппозиции – рождение и жизнь? Ведь очевидно, что этого требует полнота рассмотрения философской категории смерти как самой по себе, так и в ткани художественного произведения. Этого в текстах Платонова и в самом деле нет. Однако вряд ли это является недостатком. Андрей Платонов, отражая реальность, создает особый мировоззренческий конструкт. Он рассматривает не просто мертвое или живое, а «живое в процессе умирания» («мертвое живое»). Предмет объединяет в себе оба начала, тем самым снимая вопрос о феномене жизни как естественной оппозиции феномена смерти. И это не мешает, а помогает читателю глубже задумываться над тем, чем совсем недавно было время большевиков.

* * *

Вместо заключения

Внимательное чтение недавно опубликованных Г.О. Павловским бесед с М.Я. Гефтером удивляет своевременностью. Похоже, главный вопрос, стоявший перед нами в последние годы жизни Сталина, требовавший осмысления и действия в конце XX в., не решен и сегодня. Вопрос о «пересоздании» русского человека, о попытках этот процесс начать и об их пресечении посредством заморозки «оттепели», «борьбы» с «лихими девяностыми», помутнения разума от «вставания с колен».

Вопрос в императивной формуле таков: «Человек пересоздаем. Может быть, это самая коренная, самая глубинная черта XX века. Обставленный страхом и ужасами, человек возвращает себя с помощью пересоздания прошлого.

Но что именно он вернул – подтверждение своему существованию? Нет, планку надо поднять выше. Подтвердить лишь свое существование мало – ввиду всего, что с легкостью может вычеркнуть всякое существование вообще. Противопоставить этому можно лишь *подтверждение своего пересоздания...*

Почему это нужно? Потому что человек весь там, в этом прошлом. За счет того, что это прошлое он включил в себя, ему нужно его – отринувши – принять... Только существовать, поверь, для этого мало. Человек легко сдает позиции, если слишком многое может его существование вымарать. Но есть и Шаламов. Твердя, что в лагере жить нельзя, он доказал, что человек, прожив там десятилетия и выйдя, может создать «Колымские рассказы». Значит, что-то в нас возоб-

новимо – и именно там, где человек не сохраняет себя. Сохранить себя человек не сможет, но есть шанс возобновить. Сохранять себя ему легче без прошлого, а возобновиться без прошлого нельзя»⁶⁹⁴. И далее – не утешительное: «Россия – круглая невежда в отношении своего же опыта и своей исторической страшной судьбы»⁶⁹⁵.

Невежда – не ведающая. Но значит ли это, не желающая знать? Отчасти – да. Но в какой мере? Сказать здесь нечего, кроме как указать на пресловутые проценты «за» и «против». И остается одно – не прекращать попыток «возобновиться». Терпя неудачи и каждый раз извлекая из них все новые уроки – наказания для следующих попыток.

Насколько хватит терпения и сил? Когда конец? «Дай ответ. Не дает ответа...»

⁶⁹⁴ Михаил Гефтер в разговорах с Глебом Павловским. Третьего тысячелетия не будет. Русская история игры с человечеством. М., 2015. С. 300.

⁶⁹⁵ Там же. С. 309.

С.А.Никольский

ГОРИЗОНТЫ СМЫСЛОВ
Философские интерпретации
отечественной литературы XIX – XX вв.
(в авторской редакции)

Директор издательства «Голос»
Светлана Сергеевна Неретина

Дизайн обложки Екатерины Смирновой
Компьютерная верстка Анны Юргановой

Подписано в печать 00.00.2015 г.
Гарнитура Times New Roman
Объем 31,16 усл. печ. л. Формат 60x84 1/16.
Печать офсетная. Бумага офсетная.
Тираж 1000 экз.